САБИТ МУКАНОВ

СВЕТЛАЯ ЛЮБОВЬ

РОМАН

Перевод с казахского
Алексея БРАГИНА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ЖАЗУШЫ»
Алма-Ата — 1983

писанное более двадцати лет назад, от каждого прикосновения авторского пера стало расползаться по швам. Его нельзя слегка подштопать — да таким и отдать на суд читателя — его надо заново написать. Это я и сделал.

Естественно поэтому, что я и назвал роман по-другому — «Светлая любовь».

Автор будет очень благодарен тем, кто дружеским словом отзовется на его новый труд.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

(Из первой тетради Буркута)

Земля моя! Была ты колыбелью
И стала нам любимой навсегда.
Здесь рождены, отсюда мы взлетели,
Как птицы вылетают из гнезда.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Еще совсем недавно я был ребенком, и вот уж мне восемнадцать лет! Как говорил наш великий поэт Абай:

Было все как будто вчера,
А оглянешься — давно!

Впрочем, восемнадцать лет — не так уж и много. Но даже эти немногие годы не прошли для меня впустую. Начиная с раннего детства, события оставляли в моем сознании беспорядочные, порой запутанные, на первый взгляд, следы, подобные тем, какие видишь зимним утром на белой и чистой поро ше. Но приглядитесь пристальнее — и по бесчисленным следам, оставленным на снегу степными обитателями, вы прочтете не одну увлекательную историю.

Так и я, вглядываясь в свою недолгую жизнь, вижу отнюдь не беспорядочное нагромождение событий и впечатлений. В моей памяти воскресают картины моего детства, навсегда ушедшие события, свидетелем которых я был, люди, которых я знал.

Мне хочется написать, насколько хватит сил и умепья, о своей жизни. Я стремился восстановить не только картины жизни, но и процесс зарождения во мне мыслей и чувств, связанных с этими событиями.

Надеюсь, что эти записи могут принести некоторую пользу людям.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Вы не встретите, дорогой читатель, человека, который не любил бы своей родины. И каждый думает, что любит свою родину больше всех, и все любят ее по-разному, потому что ничего нет прекраснее тех мест, где родился и рос.

На моей родине нет ни гор, ни лесов, ни моря. Моя земля — гладкая равнина Тургая. Равнина до самого горизонта. В однообразие бесконечного степного простора лишь кое-где врываются редкие каменистые сопки. Они словно существуют для тех, кто сбился с дороги, заплутал в море Тургайской равнины.

Иногда сопки возвышаются над равниной небольшой грядой.

Наш аул находится у подножия такой гряды, поблизости от перевала Кызбель — Девичий стан. Чуть повыше Кызбеля — два больших каменных выступа, прозванных Кыземшек — Девичья грудь.

Издали каменная гряда сопок своими очертаниями действительно напоминает лежащую девушку. Кажется, какой-то звук где-нибудь наверху или в стороне привлек ее внимание, и она, повернувшись всем телом на этот звук, да так и застыла навеки, точно по воле злого волшебника превратившись в камень.

С Кызбеля сбегает шумный ручеек Конырау — Звонок. Этот слабенький Конырау весной, когда начинает пригревать солнце и тает снег, разливается так, что его невозможно перейти вброд. А в жаркие летние месяцы от него остается тоненькая струя. Благодаря Конырау, никогда не высыхает самое большое из окрестных озер —

Сарыкопа — Желтый камыш, в то время как от других озер к лету остаются лишь белые пятна соли.

Я родился в одном из кочующих аулов глубокой осенью тысяча девятьсот девятого года. Назвали меня по имени нашего аула — Буркут.

На всю жизнь запомнил я долгие кочевки. Нас, малышей, сажали в деревянный сундук, навьюченный на верблюда, и привязывали внутри сундука.

Должно быть, обычай этот казахи переняли у ласточек. Ласточки устраивают свои гнезда на вершине раздвоенных подпорок — такие подпорки есть во дворе каждой зимовки. Чтобы птенчики не выпали, ласточки привязывают их шерстинкой за лапу к гнезду, пока они не научатся летать.

И мои родители опекали меня, как ласточки своих птенцов. Однако мне не очень нравилась такая опека; едва начав ходить, я возненавидел сундук, и каждый раз, когда меня сажали в него, поднимал отчаянный рев.

Однажды, не желая дальше терпеть такие муки, я потихоньку отвязался и упал на ходу с верблюда. Ушибся и потерял сознание. После этого меня больше не сажали в сундук.

Когда мы немного подросли, нас стали привязывать к седлу смирной лошади или к кошме, свернутой в рулон и уложенной между горбами верблюда. И с этим унижением я не мог примириться. Может быть, поэтому я рано научился самостоятельно управлять лошадью.

Мне было два года, когда в Тургайской степи не выпало ни одного дождя. Скот кормился высохшей травой и тростником, потом грыз замшелые камни. У моего отца было около тысячи лошадей, три тысячи овец и двадцать верблюдов. Гнать такие громадные стада по всей степи в поисках корма было немыслимо. Тогда отец роздал всех наших овец в окрестные аулы с условием, что через год ему вернут «копыто за копыто»; верблюдов отец отдал жителям своего аула, а лошадей погнал к горе Орал, у ее подножья росли густые травы.

С полгода мы ничего не знали об отце. В середине зимы он вернулся. Однажды ночью я проснулся от пронзительного крика матери и злого мужского голоса. Я представил себе яростное хрюканье степного кабана в камышах. Отец ругался, мать кричала: «Умираю! Помогите!», а бабушка, всем телом повиснув на отце, пыталась отвести от матери жестокие удары.

— Опомнись, опомнись, Абеужан!— приговаривала она.— Ты же убьешь бедняжку!

Закричали проснувшиеся дети, и в доме у нас поднялся невообразимый шум. Сбежались соседи. Отец, нахмуренный и злой, отошел к порогу и присел на корточки, не желая ни с кем разговаривать.

«У невезучего и кумран (верблюжье молоко) свертывается»,— говорят в таких случаях казахи. Отцу, как потом выяснилось, тоже не повезло.

Пока было сухо, лошади паслись на склонах Орала. Но вскоре начались дожди, потом выпал снег, ударили морозы. Лошади не могли пробить копытами толстый слой льда и снега, чтобы достать себе корм. А там начались бураны — и почти все животные погибли. Отцу ничего не оставалось, как вернуться домой с пустыми руками. Он едва отыскал аул — так занесло все дома снегом. Мы протягивали арканы, чтобы не заблудиться. В ауле все спали. Была поздняя ночь. Дверь нашего дома завалило снегом, окна — тоже. Отец стал кричать, но никто его не услышал. Разгребать снег было нечем. Тогда он пошел к соседям, взял у них лопату и откопал нас.

Вошел в дом — и сразу к матери. Стащил ее с постели, стал бить — надо же было ему, вконец рассерженному, ожесточившемуся от неудач, отвести душу.

Долго отец ходил хмурый и злой, переживая свое несчастье.

Едва землю пригрели первые весенние лучи, он взял с собою помощников и отправился по окрестным аулам собирать свой скот. Через месяц пригнали двадцать тощих лошадей — это было все, что осталось от громадного косяка. С той поры наш аул не отправлялся больше в далекие кочевки. Кызбель стал нашей летовкой на несколько лет.

О РОДИТЕЛЬСКОМ ДОМЕ

Странны нравы старого аула. Обедневшие потомки местных родов гордятся тем, что их предки были богаты; смирные и робкие гордятся предками-батырами. Но казахи не стыдятся ни бедности, ни робости; стыдно быть пришлым из другого племени; быть рабом — унизительно.

Мой дед в восьмом поколении — Ерназар, калмык по

национальности, был тоже пришлым. Но рабом его никто не смел назвать.

По рассказам отца, Ерназар (его настоящее калмыцкое имя было Субетей-мерген, Субетей-стрелок) попал к казахам не пленником; он добровольно пришел к хану Есиму, знаменитому храбрецу и богатырю, и стал одним из лучших его батыров.

Есим женил его на одной из своих сестер. Так по женской линии мы происходили из ханского рода. Отец мой очень этим гордился и непрочь был при случае похвастать нашей знатностью.

— Наши джигиты,— любил рассказывать отец,— были все как на подбор — рослые, плечистые. «Где калмык — там и сила»,— говорили тогда. Когда наши жигиты ехали стремя в стремя, никто не осмеливался на них напасть.

У Ерназара были богатые и многочисленные потомки. В нашем роду, когда отец был молодым, насчитывалось около двухсот человек. Моего дедушку звали Жаман, хотя считалось, что мой отец — сын Жаутика. Жаман и Жаутик были братьями, Жаман был кроткий и смирный, а Жаутик был батыром.

Жена Жаутика Нарбота, моя бабушка, была дочерью известного бая и бия Оренбургского уезда Дербесалы.

Бабушка недолго жила с Жаутиком. С первыми годами ее замужества совпала борьба нашего рода с Кенесары Касымовым. Кенесары считал, что наш род подчинился России, и воевал с нами. В одной из многочисленных стычек отчаянного храбреца Жаутика закололи копьем.

Старики говорили, что в этой борьбе принимала участие и бабушка Нарбота, и что от ее руки пал не один враг. Я охотно верю этим рассказам. Бабушка моя, сухощавая и крепкая, с большими жилистыми руками, даже внешним обликом была больше похожа на мужчину, чем на женщину. Ей ничего не стоило поднять какую-нибудь тяжесть под стать сильному джигиту. И говорила она веско, убедительно, а если нужно было кого-нибудь обругать, делала это по-мужски.

После гибели Жаутика бабушка, согласно законам аменгерства, стала второй женой его брата Жамана. Мой отец был их сыном, хотя, как я уже сказал, многие считали, что он — сын погибшего Жаутика. Да и сама бабушка называла отца сыном Жаутика; так с тех пор

его и звали: Абеу Жаутиков (его полное имя было Абуталип).

Может быть, поэтому мой отец всю жизнь враждовал с сыновьями Жамана, селился подальше от них, а когда стал совершеннолетним, ушла от Жамана и бабушка.

Интересна история женитьбы моего отца. Мою мать, Асылтас — Благородный камень, происходившую из рода Шакшак Жанибека, одного из самых знатных родов Аргына, сначала сосватали за сына Жамана. Вскоре после помолвки жених скоропостижно скончался. Кроме моего отца в семье не было подходящего аменгера, отцу было всего шестнадцать лет. К тому же в это время он учился в городе Тургае. Считая отца еще «учеником», родственники Асылтас решили забрать невесту, а калым возвратить в двойном размере.

Отцу, принимавшему участие в совете, это решение показалось унизительным. Вскочив на коня, он объявил, что не желает подчиняться старейшинам, и умчался в свой аул. Старейшины не придали никакого значения опрометчивым легкомысленным словам молодого человека.

Зато все видные аульные джигиты поддержали и даже подзадорили отца. Решено было похитить Асылтас. На стороне джигитов оказалась и бабушка Нарбота. Она предложила спрятать невесту после похищения у ее родных.

Еще одно известие подлило масла в огонь: один из кинганских баев, чьи владения были расположены вдоль Тобола, посватал Асылтас для своего сына.

Дело быстро пошло на лад. Родные Асылтас согласились отдать девушку за сына бая. Но наши джигиты подкараулили байскую свиту, возвращавшуюся с невестой, и похитили Асылтас.

Отец вместе с похищенной невестой помчался к ее родственникам, а те, приятно пораженные настойчивостью и храбростью молодого человека, радушно приняли его и даже помогли через тургайского губернатора замять эту историю. В родной аул мать и отец вернулись уже с ребенком. Казалось, отец и мать должны были жить в согласии. Этого, однако, не случилось. Моя мать, выйдя замуж, была уже беременна, и отец тяжело это переживал. Из вежливости по отношению к ее родным он ничем не обнаруживал своих переживаний, но, вернувшись в свой аул, стал избивать ее. Бил так, что, как го-

ворится, она стала похожей не пеструю овцу. Из-за этих побоев мать месяцами не смела показываться на люди и лежала в доме за пологом.

Я был двенадцатым ребенком в семье. У матери было до меня два сына и девять девочек. Самый старший брат Кашкарбай умер, другой брат — Текебай — жив и сейчас. Живы и семеро сестер. Интересно, что всем девочкам давали имена драгоценных вещей: Алтын — Золото, Кумис — Серебро, Гаухар — Бриллиант, Меруерт — Жемчуг, Жибек — Шелк...

...Но возвращусь к рассказу о матери. Характер у нее был далеко не кротким. На побои она неизменно отвечала бранью, а однажды решилась даже на жестокий поступок.

Лет за пять до моего рождения отец привел в дом вторую, младшую жену — токал, дочь бедняка, ибо считал, что, мол, мать уже стара для него. Мать жестоко отомстила отцу и своей сопернице: в один из летних дней она толкнула ее в большой казан с кипящим куртом. От страшных ожогов та умерла. Жизнь матери после этого не стала легче. Правда, в ауле никто ее не обвинял, говорили, что не мать, а бодливая корова свалила в казан токал.

В нашей семье я был самым младшим сыном и, может быть, поэтому самым капризным и избалованным.

Бабушка упорно продолжала распространять слух, что я — ее сын и сын Жаутика, а не Абеу. Я быстро усвоил все то, что внушала мне бабушка, и называл отца агеке, как называют старшего брата, а мать — женеше, как его жену. Когда посторонние начинали расспрашивать, как же случилось, что я родился у бабушки, я рассказывал, как однажды она, испугавшись, громко вскрикнула: ах!— и в это мгновение я выпал у нее изо рта.

Бабушка утверждала, что ее чувство ко мне было так сильно, что у нее появилось молоко и что она, а не мать вскормила меня. Судя по рассказам бабушки, едва я появился на свет, как ее сильные руки приняли меня в свои объятия, и с тех пор мы с ней неразлучны.

Ах, эти бабушкины объятия! В ее руках я чувствовал себя как птенец в теплом гнезде и ничего не боялся. С детства я привык к мысли, что родила меня бабушка, что она — моя настоящая мать, и никто, кроме нее, не имеет на меня никаких прав. Никто, кроме бабушки, не смел обнимать и целовать меня, никому я так не пови-

повался, как бабушке. И даже не потому, что она меня воспитала.

Бабушка моя была женщина необыкновенная. В народе ее уважительно величали «нашей матерью». При всей внешней грубоватости эта отважная сильная женщина-батыр была скромна и обходительна. Не было человека щедрее и гостеприимнее ее. Но особенную славу снискали ее справедливость и ум. К ней ходили за советом, как к родной матери, и за ее мудрость перед ней преклонялись. Неудивительно такое глубокое влияние бабушки на меня в самом раннем детстве.

Вместе с тем безграничная преданность бабушке и мой строптивый характер доставляли много хлопот моим родителям, а однажды со мной произошла неприятная история, конец которой мог бы быть очень печальным.

Вскоре после того как наша семья потеряла в джут почти весь скот, отец задумал съездить к нагаши — родственнику с материнской стороны. Этому родичу, по слухам, удалось сохранить свои стада от джута даже в тот страшный год. Смутно помню, что отец с разрешения бабушки взял и меня с собою. В то лето мне было четыре года. Сначала все шло благополучно. Отец посадил меня перед собой на одногорбого верблюда, и несколько часов мы медленно двигались по пыльной дороге. Жаркий летний день был в разгаре, когда мы достигли песчаных холмов Тосына, густо поросших джидой и тамариском. Эти живописные холмы прорезают Тургай, одну из трех самых полноводных в наших краях рек.

Вокруг было так хорошо, вода так манила к себе, что отец решил устроить небольшой привал. Повинуясь внезапному приливу нежности, отец привлек меня к себе и стал целовать. Я, не признававший ничьих ласк, кроме бабушкиных, заревел от злости, вырвался из рук отца и побежал, сам не зная куда.

Отца это очень оскорбило, и он с места не двинулся, чтобы бежать вслед за мной. Я убегал все дальше и дальше, в пески, пока совсем не скрылся в зарослях джиды и тамариска, и не было силы, которая заставила бы меня вернуться назад к моему обидчику — отцу. Между тем солнце начинало клониться к западу, а я и не думал возвращаться. Да если б я и захотел вернуться, вряд ли смог бы отыскать дорогу обратно.

Отец вначале был уверен, что я никуда не денусь. Но время шло, и он стал беспокоиться не на шутку. Тщетны

были его поиски, напрасно звал он меня охрипшим голосом, умоляя вернуться.

Вконец расстроенный, он готов был повеситься или утопиться.

Так прошла ночь.

На рассвете, уже обессилев от поисков, отец напал на след большого каравана, ночевавшего тоже на берегу Тургая, только ниже по течению. Отец погнал своего верблюда по этим следам — у него оставалась единственная надежда.

Только в полдень отец нагнал караван незнакомого аула. Я мирно спал, устроившись на одном из верблюдов. Отец едва было с ума не сошел от радости, а караванщики посмеивались и удивлялись, когда он рассказывал им о том, как я потерялся.

Отец узнал от караванщиков, что они меня нашли в песках Тасына. Их внимание привлек беркут, делавший в воздухе круги над одним и тем же местом. Когда они подъехали ближе, то увидели в песчаной впадине какое-то живое существо. Кто бы это мог быть? Ягненок или теленок, отбившийся от стада? Нет, вокруг и в помине нет аулов. Может быть, звереныш? Но звери редко бросают своих детенышей на произвол судьбы. Спугнутый людьми, беркут улетел. Верблюды достигли впадины, и караванщики увидели ребенка, который шел с чапаном в руках неизвестно куда, спотыкаясь и падая.

— Мы побоялись сразу подойти к нему,— говорили они.— А вдруг это шайтан, принявший образ ребенка. Но все же нашелся среди нас добрый и смелый человек, взял напуганного мальчика на руки, напоил его водой, подкисленной сыром — куртом. Малыш поел, но упрямо отказывался отвечать на наши вопросы и держался очень заносчиво.

— Меня люди называют жестоким,— говорил караванщикам отец,— может быть, это и правда. Но упрямство моего сына ни с чем не сравнимо. Иногда я и впрямь думаю, что не мой это сын, а сын Жаутика, как утверждает моя мать.

— Да, своенравный малыш,— соглашались караванщики.— Трудно придется ему в жизни. Да хранит твоего сына дух отважных предков, как сохранил в этот раз.

Отец же поклялся никогда не брать меня с собой. И все-таки однажды он не устоял и перед просьбами ба-

бушки и перед моим хмыканьем и повез меня в Байконур, где у него были какие-то важные дела.

В Байконуре — ауле угольщиков — мы жили целую неделю. Впервые я видел аул, который не кочевал. Раскинулся он у подножия небольшого холма, на берегу мелководной речушки, высыхавшей летом. Маленькие аульные домики без дворов были сложены из камня. Всего в ауле насчитывалось около ста домиков, скота же здесь было меньше, чем у одной нашей семьи до джута. Мне с детства прививали пренебрежительное отношение к оседлым аулам, но это не мешало мне видеть жизнь такого аула в ее истинном свете. В нашем ауле даже самый бедный человек имел и верблюдов, и коров, и овец; а здесь редко встретишь семью, в которой пьют чай с молоком, не говоря уж об айране или верблюжьем молоке кумране. Хлеба — и того в обрез.

В честь нашего приезда родственники зарезали своего единственного козленка. Это было такое событие, что почти все женщины аула сбежались отведать козлиного мяса из нашего казана.

Все состояние аула заключалось в угле, который добывали глубоко под землей. Мне захотелось посмотреть, как это делается. Когда я сказал о своем желании отцу, он так накричал на меня, что об этом нечего было и думать. Тогда я решил обойтись без его помощи.

Я подружился с одним из байконурских мальчиков, и однажды мой новый приятель проводил меня к тому месту, где спускались под землю за углем. Только что на поверхность земли вытащили большой ящик — заменявший углекопам теперешнюю клеть. В ящике сидел молодой человек. Я попросил его спустить меня в яму, он просто и весело согласился.

На джайляу Кызбель я однажды спускался на дно очищенного колодца, и как он ни был глубок, до самого дна его доходил свет. А в этом колодце было темно, как в могиле. Спускаемся, спускаемся — и нет конца!

От темноты и быстрого спуска у меня закружилась голова, стало тошнить. Из гордости я ничего не сказал своему спутнику, но он, видно, понял, что мне не по себе.

— Терпи, мальчик, терпи! — сказал он.— Работать в шахте — не скот пасти. Отец, видно, у тебя богатый, деньги ему легко достаются. Посмотри же, с каким трудом мы добываем себе хлеб.

Наконец ящик уперся во что-то твердое — мы достиг-

ли дна. Понемногу глаза стали привыкать к темноте; как говорят казахи — «привыкнуть можно и к могиле».

Сначала мы шли по темному коридору шахты, почти не пригибаясь. То там, то здесь мелькали шахтерские лампочки, люди тянули тележки с углем, слышны были удары кирки. Теперь нам приходилось уже ползти, и мой спутник предупреждал меня, чтобы я не расшиб себе лоб. Наконец темный коридор широко раздался, и мы снова могли выпрямиться.

Мой провожатый всем был хорош, только уж очень усердно он меня опекал. Такая опека была мне не по праву. Мне хотелось самому полазать по шахте и все потрогать собственными руками. Выбрав подходящий момент, когда молодого джигита кто-то окликнул, я смешался с углекопами, стал лазить по всем коридорам, и кончилось все это тем, что я заблудился.

Вокруг была кромешная тьма. Слышалось дальнее эхо чьих-то приглушенных голосов, но откуда они шли — определить было невозможно. Я на ощупь, ударяясь о каменные выступы, стал пробираться, как мне казалось, в их сторону, но на самом деле удалялся от них.

Скоро шум голосов совсем исчез. Я громко закричал, но меня испугало эхо, многократно повторившее мой голос. В шахте было холодно, а меня прошибал пот.

Силы мои скоро иссякли. И когда я упал, то встать уже не мог. Я был в полудремоте. Казалось, по моему лицу, по телу скользят холодные змейки. Мне мерещились чьи-то огненные глаза, то узкие, маленькие, то широкие, большие, страшные.

Я сжался в комок, старался не шевелиться. И постепенно потерял сознание. Не знаю, сколько времени я пробыл под землей. Может быть, два-три дня. Меня с трудом нашли, привели в чувство, а заодно поругали. И джигиту досталось от его товарищей-шахтеров и от моего отца.

Но я не раскаивался в своем поступке. Не будь я любопытным и упрямым, не спустись я в шахту, не потеряйся в ней,— я не узнал бы о многих интересных вещах. Так строптивый мой характер не во всем мешал мне, часто он был и хорошим помощником.

Кончая эту главу, хочу сказать несколько слов о тех изменениях, которые произошли в нашей семье. Моих сестер давно уже выдали замуж. Изменились и отношения между матерью и отцом. После того как он, вернувшись в год джута домой, избил ее до полусмерти, ругань

и драки в нашем доме прекратились, и мать как будто бы стала играть в доме первую роль. Иногда мать, упрямая и вспыльчивая, принималась бранить отца, но он ей либо не отвечал, либо, выругавшись, садился на коня и уезжал в степь.

Когда мне пошел восьмой год, моя бабушка умерла от разрыва сердца. Но об этом речь впереди.

ТУЧИ НАД АУЛОМ

Отец продолжал беспокоиться. Он не оставлял мысли вернуть скот, потерянный во время джута в тяжелый год. Этот год по нашему старинному календарю назывался годом свиньи и слыл приносившим несчастье.

Долгое время все попытки отца вернуть былое богатство кончались крахом. Никто из жителей соседних аулов, где он разместил своих овец и верблюдов, не мог вернуть ему долга.

Неожиданно судьба улыбнулась отцу: в тысяча девятьсот четырнадцатом году его избрали в волостные. А волостной в те времена был царь и бог казахского аула. Слово волостного — закон, и если волостной называет белое черным — говори и ты, что это черное, а не белое.

519544

Воспользовавшись властью, мой отец не только возвратил себе весь скот, но даже увеличил поголовье вдвое или втрое. Его грабежа не избежали ни жители дальних аулов, ни ближних. Многие из них вынуждены были вовсе уйти из нашего края. Отец в своей жадности дошел до того, что не стеснялся отбирать последнюю корову и последнего верблюда.

Наш дом снова стал полной чашей. Но теперь отцу мало было скота; он купил сепаратор, чтобы делать масло на продажу. От озера Сарыкопа он проложил арыки и стал сеять пшеницу, просо, овес. Огромные караваны, груженные мешками пшеницы, отправлялись в Тургай, Оренбург, Кустанай, Байконур, Карсакпай. Я часто ездил с отцом, и до сих пор стоят у меня перед глазами бесконечно дорогие для меня Тургайские степи. Они зовут и зовут меня с материнской приветливостью. И если я их долго не вижу, то скучаю так, как скучают по матери.

Может быть, наша семья богатела бы и дальше. Но в тысяча девятьсот четырнадцатом году началась миро-

Северо-Казахстанская областная
им. С. Мусрепова
г. Петропавловск

вая война. Казна брала в свой карман все больше и больше, жить становилось тяжелее. А в тысяча девятьсот шестнадцатом году по степи разнесся слух, что русский царь будет забирать казахов в солдаты. В аулах начались волнения. Люди не спали дни и ночи, сходились и расходились, обсуждая страшную весть. Джигиты седлали коней и собирались в отряды. Вот тогда-то степь впервые узнала имя Амангельды.

Я, конечно, не мог понять всего происходящего вокруг, потому что был слишком мал, зато навсегда запомнились мне картины народного волнения. Вместе со всеми переживали эти вести и в нашем доме.

Эти вести, неожиданные, как гром, настигли нас на пути к джайляу Кызбеля. Степью и в окрестных пойменных лугах вдоль реки разъезжали взволнованные джигиты — и в одиночку и группами. Стало необычно многолюдно и вокруг нашего аула. Покой откочевал из родительского дома. К нам заходили люди и днем и ночью. Не стихали возбужденные споры. То и дело звучала крепкая ругань. И я думал: какой нехороший царь, если он хочет погнать всех наших джигитов куда-то на далекую войну и всех их там истребить.

Отец снова стал угрюмым и беспокойным.

Однажды он с несколькими спутниками срочно выехал в Оренбург. Поездка была спешной: каждый всадник вел с собой в поводу двух сменных лошадей. Вскоре они вернулись с известием, что только от одного нашего Тургайского уезда нужно выставить пять тысяч солдат.

И ничего нельзя было поделать. Отец, оказывается, советовался с некоторыми учеными казахами — в их число был Жакаш, младший брат моей матери Асылтас; но Жакаш и его почтенные друзья тоже пришли к решению, что остается только подчиниться царю.

Так началась запись казахов в солдаты. Набору подлежали все джигиты в возрасте от девятнадцати до тридцати одного года. Вокруг этого события завязались настоящие беспорядки. В народе говорят: «Седой начнет, остальные подхватят». И мой отец как волостной с первых же шагов стал допускать беззаконие за беззаконием. В список вносились и мальчики, не достигшие шестнадцати лет, и взрослые мужчины, которым было далеко за тридцать.

В нашем ауле жил джигит по имени Еркин Ержанов, ровесник моего брата Текебая. Было ему шестнадцать

лет. Его отец, Ержан, пас наших лошадей, но в год джута погиб во время бурана в Приуралье. Отцу приглянулась вдова Ержана Казина, и он решил взять ее во вторые жены. Как сейчас, помню эту стройную, красивую женщину. Ее все любили за мягкий характер и приветливость. Казина, верная памяти мужа, отказала отцу, и он очень оскорбился. Отец попытался ввести Казину в наш дом своей властью и силой, но в дело вмешался младший брат Ержана Нуржан. И вот теперь мстительный отец включил в список солдат и подростка Еркина и Нуржана, которому, должно быть, перевалило за сорок.

Грустный Нуржан пришел к отцу и стал просить пощадить своего племянника:

— Если тебе так хочется послать меня — посылай,— говорил Нуржан.— Но пожалей Еркина, ведь он ровесник твоему Текебаю, еще совсем ребенок! В одну весну родились!..

И слезы текли по его впалым щекам.

Но отец был непреклонен.

— Бумага уже написана, ничего не могу сделать. К тому же никто не дает Еркину шестнадцати лет. Он и за двадцатилетнего сойти может. Он же здоровяк!

Так ни с чем Нуржан и ушел.

В дело вмешалась бабушка.

— Зрачок моих глаз! Грешно поступать несправедливо!— пыталась она уговорить отца.— Освободи Еркина, пожалей его молодость. Побойся слез, которые он прольет.

— Это не твое дело, апа,— коротко сказал отец и вышел из юрты.

Впрочем, если отцу давали взятку, он шел на уступки. Но слезы и уговоры бедных не действовали на него.

Разумеется, беззакония, творимые отцом и его приспешниками, не могли остаться без последствий. Чаша народного терпения переполнялась. Жители окрестных аулов садились на коней и мчались куда-то. Я чаще и чаще слышал имя Амангельды: это к нему ехали джигиты.

Если вам приходилось когда-нибудь бывать в степи, вы должны знать, как собирается степная гроза. С утра небо чистое и ясное; неожиданно откуда-то низко над горизонтом выплывает белое облачко величиной с токым — подстилку под седлом. Облачко темнеет, растет. Словно по его зову в разных месах небосвода появля-

ются другие белесые облака. Они мчатся друг к другу, сгущаются вокруг первой тучки. И очень скоро все небо затягивается сизой тревожной пеленой. Вот налетел порыв ветра, пролились первые косые струи. Еще несколько мгновений, и вдруг разом хлынет на землю поток, прошумит над степью стремительный холодный ливень.

На этот раз такая история случилась с людьми. Еще не был закончен набор джигитов, а по степи пронесся слух, что мужчины окрестных аулов поодиночке и группами покидают свои жилища и собираются, подобно грозовым облакам на небе, вокруг Амангельды Иманова.

Сегодня к нему устремлялись жители одного аула, завтра — другого. Даже от нашего аула в двадцать юрт остался небольшой островок из пяти-шести семей. То же происходило и в других аулах, пустевших с удивительной быстротой.

Такие, как мы, конечно, оставались и, боясь жить в одиночку, примыкали к другим неприютным стоянкам. Вокруг нашего опустевшего аула появились новые жители. Считая зазорной совместную жизнь, они держались поодаль, но все-таки рядом с нами.

А вести становились все тревожнее и тревожнее. Сторонники Амангельды были настроены решительно. Они не хотели умирать на чужой земле. Наотрез отказавшись записываться в солдаты, они шепотом говорили в аулах, что вступили в борьбу с самим русским царем, а пока что задумали расправиться с местными волостными.

В эти грозовые дни особенно тяжело приходилось отцу, хотя внешне он старался ничем не обнаруживать своей тревоги. И все-таки все мы отлично понимали его состояние. Отец в эти дни особенно усердно объезжал своего лучшего саврасого коня по кличке Жылансырт — Змеиная масть. Этот конь и летом был первым в байге и зимой по глубокому снегу мог догнать волка. Нет, не зря отец его держал в путах. Он готовил его на случай беды.

Так и случилось. Однажды на рассвете мы были разбужены громким криком Кайракбая, молодого джигита, служившего у отца вестовым. Вся наша семья поднялась на ноги. В притихшей степи откуда-то со стороны донесся громкий конский топот. Всадники, скрытые густой пылью, приближались с каждой секундой.

Отец бросился к Жылансырту, освободил его от пут и, вскочив в седло, на ходу крикнул матери:

— Мое ружье!

Испуганная мать пустилась в слезы:

— Ойбой, что ты только будешь делать с ним?

Но отец стегнул ее по голове камчой.

Когда она вернулась с ружьем, по ее лицу текла тонкая струйка крови.

На отца было страшно смотреть: лицо его перекосилось от ужаса и злобы.

Конь перебирал ногами. Топот приближался. Отец еще раз крикнул:

— А где патронташ?

И, вооружившись, он мигом скрылся с наших глаз. Не зря отец надеялся на этого коня. Жылансырт был замечательным скакуном. Он полетел стрелой, выпущенной из лука, оставляя за собою пыльное облачко.

Между тем весь наш аул потонул в тучах пыли, поднятой копытами не одного десятка лошадей. Земля гудела от конского топота, слышались громкие возгласы незнакомых людей, кто-то кричал: «Догоняй его! Догоняй!»

В суматохе я совсем забыл про бабушку. Я подумал, что она с матерью спряталась где-нибудь в юрте, но вдруг увидел ее и невольно закричал. Бабушка в глубоком обмороке лежала за юртой. Около нее никого не было.

Я набрал холодной воды в чугунный чайник и стал брызгать бабушке в лицо, пока она не очнулась. Едва сообразив, где она и что с нею, бабушка сказала:

— Где мой единственный?

Я понял, о ком она говорит. Я знал, что у бабушки было много и сыновей, и дочерей, но по-настоящему она любила только своего Абеу и называла его сыном отважного батыра Жаутика. «Что дочки,— говорила она,— дочки не бывают камнем для очага, опорой дома. Сын — вот моя надежда. Пусть лучше в мой лоб вонзится заноза, чем в его пятку!»

— Где мой единственный?— повторяла бабушка сейчас.

Я не знал, догонят ли отца его враги, вернется ли он домой живым, но я не хотел добавить горя ее ослабевшему сердцу и сказал:

— Его не догнали, бабушка, он спасся и скоро вернется к нам!

И как бы в подтверждение моих слов, снова послышался конский топот.

Снова облако пыли двигалось в нашу сторону. Отряд возвращался.

В кочевых аулах знали изречение:

Плохо возвращаться в отчий дом
Дочке, что уже рассталась с домом.
Плохо с прежним встретиться врагом,
Чья жестокость хорошо знакома.

И еще говорили: если буря, которая пронеслась над аулом, опять повернет к нему,— не жди ничего хорошего: она опрокинет юрты, разбросает утварь.

Отряд показался нам возвратившейся бурей.

Повстанцы поняли, что отца им не настигнуть. С каждым мгновением их становилось все больше и больше. Да, отцу удалось ускользнуть из их рук, и они решили разорить его гнездо.

Один из них, одетый в потрепанный пропыленный чапан, крупный мужчина, с проседью в бороде, точно хищная птица, бросился к бабушке.

— А, старая сука! Твой щенок от нас удрал, но это ничего! Он еще попадется в наши руки. Твое гнездо надо сжечь дотла! А ну, джигиты, вяжите их! Всех вяжите — и детей, и мать, и эту каргу! Увезем с собой,— а там посмотрим, не вернется ли птичка в свое гнездо.

В ужасе я спрятался за бабушку — толпа надвигалась на нас и некому было нас защитить.

— Попьют его щенята воды на дне Тургая,— раздалось в моих ушах.

Мы думали, гибель неизбежна. Спешившиеся джигиты плотную окружили юрту. И в это самое мгновенье я услышал чей-то знакомый сильный голос:

— Остановитесь! Не надо.

Около нас появился Нуржан, тот самый Нуржан, который так возненавидел моего отца!

Он закрыл нас своими руками, как двумя широкими крыльями. Его никто не осмеливался тронуть, никто не попытался оттолкнуть.

— Слушайте меня!— говорил он.— Абеу — злой человек. Как бы жестоко мы его ни покарали, это будет справедливо. Но его дети, его домашние и, особенно, эта старая добрая мать — разве они в чем-нибудь виноваты?

Джигиты пробовали что-то возразить... Правда, не

очень настойчиво. Но Нуржан сделал знак, и они затихли.

— Верьте мне. Издевательства Абеу мне знакомы лучше, чем вам. Я испытал от него и ругань и побои. Но от бабушки я видел только хорошее. Она не отвечает за злодейства сына. А уж если его поймаете, то отвечу пословицей:

Вода найдется,— то в воде варите,
Воды не будет — жареным съедите,

Но еще раз говорю: не трогайте мать, жену, детей!

Недаром бабушка считала его хорошим джигитом, человеком настоящей души. Нуржан выделялся среди повстанцев, они уважали его. Я видел, ему подчинялись все. Видимо, эти люди уважали его ничуть не меньше, чем сам Нуржан мою бабушку. Позднее я достоверно узнал, что он был одним из главных вожаков повстанцев.

Повстанцы оставили нас и вскоре уехали. Но они не просто покинули наш аул, а захватили с собою весь отцовский скот.

После несчастий, постигших нас в год свиньи, пришел еще один джут, уже не связанный с бескормицей. Бедность снова пришла в наш аул.

ТРЕВОЖНЫЕ ВРЕМЕНА

Отец, спасаясь от преследования, проскакал на взмыленном Жылансырте верст триста — четыреста и достиг Карабутака; вскоре из Оренбурга был выслан отряд для усмирения восставших в Тургае. Возглавлял отряд младший брат моей матери — Жакап.

Вернулся с отрядом в Кызбель и мой отец.

Жакана я знал с прошлого лета. Он у нас гостил, когда наш аул находился на джайляу. Это был еще довольно молодой человек, слишком полный для своих лет, среднего роста, слегка сутулый. Было что-то игривое и лукавое в его маленьких, глубоко посаженных, очень живых глазах. И тонкие черные усики над толстыми выразительными губами особенно подчеркивали веселое лукавство, светящееся на всем его смуглом лице.

Среди нас, жителей аула, Жакап выглядел тогда городским франтом, хотя это была, вероятно, его самая обычная будничная, а вовсе не праздничная одежда. На нем был черный камзол (я узнал позднее, что он называется сюртуком), спина которого свисала, как хвост у

собаки, черные брюки, ослепительно белая рубашка с черным бантиком, а на ногах — остроносые черные ботинки. Для пущей важности он носил очки, а в руках его была неизменная тросточка. Впрочем, к такому костюму, а может быть, и очкам, его обязывала служба. Ведь Жакан работал в газете; говорят, он был хорошим оратором; кроме того, Жакан писал стихи. Они были изданы отдельной книжкой, и некоторые из них — особенно стихи, посвященные джуту тысяча девятьсот одиннадцатого года, Жакан любил читать в нашем доме, а Кайракбай, который неплохо пел, не раз исполнял их в сопровождении домбры.

Мне очень нравился Жакан, но его городской костюм и лукавые, хитрые глазки меня отпугивали. Больше всего я боялся хоть чем-нибудь обнаружить наше родство. Я был довольно большой мальчик и смутно начинал понимать, что старая бабушка не может быть моей матерью; несмотря на это, бабушка оставалась для меня самым любимым и дорогим человеком, и я, как и прежде, считался ее сыном. Если сближусь с Жаканом,— размышлял я,— вдруг он догадается, что я — его племянник и что никакой я не бабушкин сын, а просто меня обманывают. Меня бы это унизило, и хотя Жакан был со мною ласков и приветлив, я избегал его.

Зато теперь, когда Жакан появился в нашем ауле во главе карательного отряда, если б мне и захотелось подойти к нему, я не посмел бы этого сделать.

Вид у него был грозный — куда только девалась его веселая игривость и обходительность! От изящной франтоватой одежды не осталось и следа, лицо почернело от пыли, усы отросли — Жакана нельзя было узнать!

Безгранично было бешенство отца, узнавшего, что весь наш скот восставшие угнали в барымту. Мы думали, он с ума сойдет от злости. Он выл, точно раненый волк, и в ярости скреб ногтями землю. Он уговаривал Жакана немедленно собрать отряд и перебить всех повстанцев Амангельды.

Но у Жакана было на уме другое. Посоветовавшись с наиболее близкими ему людьми, он с небольшой группой вооруженных солдат отправился в лагерь повстанцев. Как ни упирался отец — Жакан и ему велел ехать.

Вскоре все они вернулись.

Амангельдинцы объявили, что будут стоять насмерть до тех пор, пока не отменят приказ о мобилизации каза-

хов в солдаты на тыловые работы. Жакан обещал передать это требование высшему командованию при условии, что Амангельды на время прекратит свои действия.

На том и порешили.

Тем временем Жакан, воспользовавшись примирением, послал в Оренбург вестового с просьбой дать военное подкрепление. Готовилась настоящая война, о которой я имел представление только по старым сказкам. Это слово все чаще и чаще произносилось в нашем ауле.

Я цеплялся ко всем взрослым, хныкал и упрашивал взять меня на войну.

— Замолчи!— кричал отец,— ты думаешь, война — это той или айт, праздник мусульман?

Бабушка уговаривала отца не принимать участия в этой жестокой схватке.

— Не ходи, мой милый, не ходи, карагым, не надо! Недоброе дело затеяли,— со слезами умоляла она отца.

— Не по своей воле иду, апажан. Я не из тех баев, для которых самое важное — жирная баранина и свежий кумыс. Я — волостной, это моя государственная служба. И Жакан не по своей воле идет. Ему дали людей и сказали: «Иди». И он пошел. Нельзя теперь отказаться и ему и мне.

Бабушка не стала больше отговаривать, только с горечью сказала.

— Что ж, иди! Но смотри, милый мой, чтобы по твоей вине не пролилась кровь...

Тревожной, невеселой жизнью жил наш аул. Мы не знали ни сна, ни отдыха. Окрестности аула превратились в настоящий военный лагерь. Каждый день здесь появлялись все новые и новые люди. Бесконечной вереницей тянулись подводы с оружием и другим снаряжением. А когда стали привозить небольшие пушки — не только дети, взрослые таких никогда не видели,— всем стало ясно, что затевается нешуточное дело.

— Что же будет?— волновались в ауле.

— Если в ход пойдут пушки, они уничтожат все отряды за шестью хребтами,— говорили одни, надеясь на возможный разгром повстанцев Амангельды.

— Если народ дружно встанет на борьбу — и пушки не помогут,— говорили другие.— Вспомните Кенесары: разве не хотел он пушками, приобретенными у русских, покорить киргизов? И разве киргизы не разнесли в пух и прах его самоуверенные расчеты?

Но однажды в нашем ауле все смолкло. В одну из ночей, вконец измученный тревожными волнениями этих дней, я уснул крепким и блаженным сном, а когда проснулся — был уже час первой дневной дойки кобылиц — полдень, и вокруг стояла тишина.

Встревоженный, я вскочил на ноги и выбежал из юрты. Я не увидел ни людей, ни повозок с оружием, ни лошадей — вокруг было пусто и тихо; будто не наш аул еще вчера вечером шумел, двигался, волновался, готовясь к грозным событиям.

Я вернулся домой и растолкал дремавшую бабушку. Она объяснила мне, что этой ночью все вооруженные джигиты отправились сражаться с амангельдинцами. С ними ушел и отец. Неохотно рассказывая мне об этом, бабушка утирала слезы концом головного платка — кундика.

А через несколько дней в аул привезли первых раненых. Неподалеку от нас разбили палатки, около палаток поставили часовых, а из города прислали доктора. Раненых становилось все больше. А на одном из холмов Кызбеля появились могилы с крестами.

Из уст в уста передавались были и небылицы о схватках между противниками. С удивительной быстротой распространялась по всей степи слава об Амангельды.

Слушая рассказы старших, я детским воображением рисовал легендарный и величественный образ Амангельды — настоящего батыра. Его не берет ни окопь, ни пуля, ни шашка, он смело сокрушает своих врагов, и все они в ужасе бегут от храбреца.

Время от времени навещавшие аул приближенные Жакана хвалили храбрость моего отца, прозвавшегося в самую гущу повстанцев. Он, говорили, и смелый, и храбрый, и меткий в стрельбе.

Я в душевной простоте радовался этим похвалам, а бабушка и женщины только тихо проливали слезы и обращались к богу за помощью. А когда пришла весть, что привезли раненого отца,— бабушка полетела к белым палаткам.

Здоровенный солдат загородил ей дорогу — никого из аульных жителей в палатки не пускали — но она так толкнула его, что он едва устоял на ногах. На счастье, из палатки вышел доктор. Узнав, в чем дело, он отстранил солдата и провел бабушку в палатку.

Невозможно понять, как она все-таки узнала своего

сына, перебинтованного с ног до головы, посреди таких же перевязанных изуродованных людей. Ужас застыл в глазах бабушки, и она остановилась, застыла, веря и не веря, что это в самом деле се Абеу.

Врач стал осторожно успокаивать бабушку, убеждать, что раны не очень тяжелы, что у них есть отличные лекарства, и что недели через две-три он будет здоров.

Но бабушке не нужны были ни лекарства, ни ученые врачи. Она тут же заявила, что заберет сына домой и сама будет лечить его.

Доктор только рукой махнул, а бабушка едва не на руках унесла своего любимца домой.

Не доверяя лекарствам, бабушка пригласила знахаря — баксы.

Баксы велел зарезать жирную белую кобылу и содрать с нее шкуру.

— Возьму в свои объятия его злой дух, заверну его в шкуру и унесу с собою,— сказал знахарь,— а сын твой скоро будет здоров.

На всякий случай, однако, были пущены в ход и лекарства, так что трудно сказать, кто вылечил отца — жирная белая кобыла или медикаменты, привезенные из города.

Но бабушка, конечно, чудодейственную силу приписывала только баксы.

Отец почти выздоровел, когда в наш аул пригнали группу пленных повстанцев. Я не знал, кто такие эти люди и почему их конвоирует несколько солдат. Лицо человека, идущего в одном из первых рядов, показалось мне очень знакомым. Я подбежал поближе и узнал Нуржана. От усталости, а может быть, от слабости, он еле волочил ноги, на руках и лице его запеклась кровь, вместо одежды на нем висели лохмотья. Не помня себя от ужаса и сострадания, я бросился к нему.

— Нуржан!— крикнул я.— Нуржан!

Он вздрогнул, искоса посмотрел на меня — и отвернулся.

Я бежал рядом и почти бессмысленно повторял его имя. Но он ни разу не взглянул на меня.

Захлебываясь слезами, я побежал к бабушке и, путаясь и сбиваясь, рассказал ей о Нуржане. Я кричал, топал ногами и требовал освободить Нуржана, как будто это было в ее власти. Бабушка была в моих глазах су-

ществом всесильным и необыкновенным, и я был убежден, что она все может сделать.

Выслушав меня, как взрослого, она вошла в дом.

Отец сидел на деревянной кровати и разглядывал свои заживающие раны. Рассеянно, несколько равнодушно он посмотрел на нас.

Бабушка остановилась у порога и довольно долго, точно придумывая, с чего начать, молчала. В глазах отца на секунду промелькнуло удивление, но он не сказал ни слова.

— У меня есть просьба к тебе, сын мой.

— Я слушаю, апа.

— Обещай, что ты ее исполнишь.

— Разве был такой случай, когда я не выполнял твоей просьбы?

Отец явно был смущен той почти торжественной медлительностью, с какой бабушка произносила слова, и той строгостью и спокойствием, с какими она на него смотрела.

— Любишь ли ты меня, сын мой?

— Что с тобой, апажан? К чему эти вопросы?— все более изумлялся вконец растревоженный отец.— Похоже, что на меня сейчас обрушится буря!— попробовал он пошутить.

— Буря, не буря,— возразила бабушка,— а дождичек будет. От тебя зависит, чтобы он не превратился в ливень.

— Да не томи же ты меня, апа!— взмолился отец.

— Здесь привели пленных, твоих врагов. Среди них Нуржан — Буркут его только что видел. Надо его спасти.

Отец так и подскочил на своей кровати, будто она запылала.

— Нуржан, говоришь ты? Сын Казыбая?

Глаза отца засверкали, от недавнего равнодушия не осталось и следа.

Помню, у нас жил старый ястреб. Неподвижно дремал он летом в своем гнезде. Но стоило показать ему живую мышь или суслика, как он мгновенно оживлялся. Тело его наливалось силой, в глазах появлялись огоньки.

Так и отец встрепенулся, как старый ястреб при виде добычи. Движения его приобрели решительность. Непроясняющиеся со дня ранения глаза заблестели, заиграли, словно горячий уголь под сильным порывом ветра.

— Попался-таки!— злобно и радостно прошипел он.—

Ну, теперь мы ему покажем! Не все же нас крошить,— настал и его черед!

О бабушке отец как будто вовсе позабыл.

— Ты должен его спасти!— гневно крикнула бабушка.— Если б не Нуржан, не было бы у тебя теперь ни матери, ни сына. Нельзя платить злом за добро!

— Не могу выполнить твоей просьбы, апа! Я не властен распоряжаться такими делами.

— Заклинаю тебя всем святым, не допусти этого позора! Я его не переживу!

— Не могу, апа,— сухо сказал отец,— не могу!

Так ничего и не добилась бабушка от отца, нанесшего ей самую страшную и тяжелую обиду: редко оставалась у казахов неисполненной просьба старших.

Мы, вездесущие дети, скоро узнали, что пленников поместили в потрепанной черной юрте наших соседей и окружили вооруженной стражей.

После обеда на котане — месте для ночлега овец — стали устанавливать что-то похожее на праздничные качели — алтыбакан, которые обычно складывались из шести шестов.

Солдаты не позволяли нам, детям, приближаться к алтыбакану. Я, как и другие ребята, не понимал, в чем дело, но уже предчувствовал, что ничего хорошего не будет.

Я побежал к бабушке. Она сердито, по вполголоса разговаривала с отцом. Стоило появиться мне, они смолкли. Я бросился на шею бабушке и рассказал ей о странных качелях.

— Видишь, мой сын,— сказала бабушка отцу,— даже у ребенка сердце дрогнуло.

Отец нахмурился, но промолчал. Бабушка снова начала его упрашивать не допустить позора:

— Тебя уважают, тебя послушают, умоляю...

Я пугливо посматривал то на бабушку, то на отца и все еще ничего не понимал. Пробовал задавать им вопросы, они не отвечали. Сердце мое забилось еще сильнее, дыхание перехватывало.

— Заклинаю тебя моим белым материнским молоком! Остановн!— произнесла бабушка с мольбой.

Отец не поднял опущенных век:

— Не в моих силах! Не надо меня зря мучить.

Бабушка покачнулась, словно теряя сознание, и ослабевшим голосом, но твердо сказала:

— Вот моя последняя просьба: уговори хоть не вешать на аульном котане. Дети и женщины вовек не забудут этого. Во сне пугаться будут! Пусть свершится это черное дело подальше от людских глаз.

Только тут я понял все до конца.

Значит, не только в сказках бывают такие мрачные казни. Какими страшными качелями оказался этот алтыбакан. Так вот какую расправу хотят учинить над Нуржаном и его товарищами!

Я был сам не свой. Бабушка старалась удержать меня дома, ласково уговаривала меня. Тем временем вокруг котана собиралась толпа. В ней были и жители окрестных кочевий. Ушел куда-то из юрты и мой больной отец. Несмотря на запреты бабушки, я улучил удобную минуту и тоже убежал. Вот детство! Ничего толком не понимая, смотришь на мир любопытными глазенками даже тогда, когда он ужасен.

У виселицы стояли солдаты с винтовками. Они сдерживали толпу. Я протиснулся ближе и увидел петли, свисавшие с поперечной перекладины. И жители и солдаты молчали. Вдруг это безмолвное ожидание прорезал странный звук. Так весной под напором воды лопается туго затянувший речку лед. Дрожь прошла среди собравшихся. Солдаты вели к виселице пленников. Я не видел их лиц. Пленные были завязаны в мешки. Только на ногах звякали железные цепи. Гул то нарастал, то становился глуше и внезапно стих.

Пленников поставили на помост под петли.

Началось!..

Вдруг среди солдат, конвоировавших приговоренных, я узнал Жакана, который мне так нравился и которого я так боялся. Рядом с Жаканом прилаживал петлю мой отец.

— Агеке!— хотелось крикнуть мне, но язык не повиновался.

В отчаянии я увидел, что отец собственными руками накинул петлю на шею одного пленного. И вдруг по хриплому голосу я узнал Нуржана.

— Агеке!— заорал я, что было силы, и, бросившись к отцу, вцепился в него, как маленький тигренок. И услышал последние слова Нуржана:

— Пусть бог благословит твоего сына, Абеу. Пусть он покарает тебя!

Какой-то солдат схватил меня и оттащил от виселицы.

Я вырывался, отчаянно кричал, но солдат был сильнее меня.

Меня швырнули в юрту, как котенка, я упал и больно ушибся. Бабушка подбежала ко мне.

— Агеке повесил Нуржана!— крикнул я и заревел пуще прежнего.

Что было дальше, я не помню. Когда поздним вечером я проснулся и по привычке позвал бабушку, никто ко мне не подошел.

Я отдернул полог кровати, на которой спал, и увидел, что в нашем доме полно чужих молчаливых людей. Среди незнакомых находился и отец.

— Где бабушка?— спросил я у него.

— Нет больше у тебя бабушки,— тяжело вздохнул он.

— Как нет?

— Бабушка твоя отправилась туда, откуда никто не возвращается.

— Куда, говоришь?— все еще не понимал я.

— Зачем мучить ребенка? Скажи правду!— вмешался в разговор седой старик.— Твоя бабушка умерла, дитя мое.

Не понимая всего горького значения этого слова, я побежал к бабушкиной кровати — она лежала неподвижно, вытянувшись во весь рост, чуть запрокинув голову.

— Это ты убил бабушку!— крикнул я на весь дом и, зарыдав, выбежал на улицу.

НАЧАЛО СКИТАНИЙ

В те времена в степных аулах хорошо знали поговорку: «Худую юрту аллах бережет». Так говорили потому, что в сильные бури самыми устойчивыми оказывались юрты из ветхой, дырявой кошмы. Если в юрте было много отверстий, ветер продувал ее, как решето. Наталкиваясь же на плотную кошму богатой добротной юрты, он нередко опрокидывал ее.

Оттого казахи и говорили, что худой юрте покровительствует бог. Но одной надеждой на бога не проживешь. Кочевники нашли способ защиты от сильных степных ветров.

Чтобы юрта не опрокидывалась, по обеим сторонам ее деревянного остова — шанырака привязывают желбау — крепко сплетенную из конского волоса веревку;

перед бурей желбау прикрепляют к колу, а кол вбивают в землю. Этот ветровой столб — жел-казык — священная вещь в юрте, от дедов она переходит к отцам по наследству и бережно хранится. Был такой жел-казык, выстроганный из ствола жимолости, и у нас; мои родители говорили, что он перешел к нам еще от прадеда Субетея.

Таким жел-казыком нашей семьи была и моя бабушка. С ее смертью после сильных ударов бури шестнадцатого года мы долго не могли собрать нашей юрты; будто в разные стороны разлетелись клочья рваной кошмы и обломки разрушенного остова.

Но прежде чем перейти к повествованию об этом, я хочу сказать несколько слов о похоронах в наших краях.

Еще от дальних предков шел обычай выкапывать покойнику глубокие колодцы-могилы. Над колодцами возводился купол — кумбез. Наши предки построили такой кумбез на берегу реки Каракенгир. Для него были изготовлены кирпичи, замешанные на топленом козьем жире и укрепленные конским волосом. Такой кумбез, как говорили старшие, не берут ни время, ни ветер, ни вода. Он, должно быть, и сейчас сохранился в своем прежнем виде. Колодец внутри кумбеза устилался узкими досками. На эти доски и клали покойника. После разложения трупа кости падали в яму. Все вместе — и колодец и купол-кумбез — называется сагана.

Только зажиточные казахи могли строить такие склепы. И в широких наших степях не так часто встречаются сагана. Но уж если построили, то в каком бы конце степи ни умер человек — тело его везут хоронить в родовую сагана. Так наш батыр Жаутик, муж бабушки, погиб в схватке с Кенесары жарким летом. Могила его отца Субетея находилась на расстоянии десятидневного перехода на конях. Но тело Жаутика зашили в кошму и повезли к родовому кумбезу.

Бабушка вышла замуж за Жамана, и наш аул зимовал на берегах озера Сарыкопа. Жаман там и умер. Его похоронили на одном из прибрежных холмов, и с той поры это место стало аульным кладбищем. Туда, по обычаю, должны были повезти и тело бабушки. Но так не получилось. В эти страшные дни было не до соблюдения обычаев.

На следующий день после смерти бабушки, едва рассвело, в аул прискакал вестовой моего отца Кайракбай,

прозванный Торопыгой за то, что вечно он куда-то спешил и слова не мог спокойно вымолвить. И на этот раз, не успев отдышаться, он промолвил:

— Ойбой, надо складывать юрту.

— Что еще случилось?— встревожился отец.

— Враг идет! Так сказал твой шурин Жаканбек.

Это известие потрясло отца. Ведь еще не была похоронена бабушка, ведь на котане все еще висели тела Нуржана и его товарищей. Их так и оставили на виселице для устрашения, чтобы впредь другим было неповадно бунтовать. Никто не смел приблизиться к котану под угрозой расстрела.

Отец выбежал из юрты — вокруг уже кипела работа. Почти все соседние юрты были разобраны, а некоторые даже успели навьючить их на верблюдов.

— Сваливать юрту!— приказал отец.

— Что будешь с матерью-то делать?— грубо сказала женеше.— Или, может быть, здесь ее бросишь?

Отец по привычке хотел на нее накричать, но слова застряли у него в горле, он насупился и что-то глухо и грозно забормотал, как дикий кабан, пробирающийся в камышах.

— Что так дерзишь? Верно, прав был Буркут — это ты убил ее! Разве не говорила она тебе — пожалей людей, пощади Нуржана! Одного песком засыпать можно, ну, а если людей много — их не засыплешь, а сам задохнешься!

Женеше залилась слезами и запричитала по бабушке.

Отец совсем растерялся, не зная, как поступить и что предпринять.

Неизвестно, сколько времени продолжалось бы это, если б в юрте не появился Жакан, одетый по-военному и вооруженный.

— Перестань реветь!— прикрикнул он на причитающую мать так, точно приказ отдавал.— Разве одна старуха умерла? Мужчины гибнут сотнями в сражениях. Говори спасибо, что твой муж жив. В конце концов не тысячу лет жить старухе.

Жакан шумно и долго отчитывал мать, а когда она заикнулась о том, что, бабушку все-таки надо по обычаю похоронить на берегу Сарыкопа, он совсем разъярился.

— Попробуй-ка, похорони! Разве можно сейчас пройти в ту сторону? Да от всех вас вместе с бабушкой только

пыль останется. Хороните ее здесь, да побыстрее, и собирайтесь в дорогу. Не соберетесь к часу дойки кобылиц — будет поздно!

Мать залилась горькими слезами. Ее терзала мысль о том, что бабушка Нарбота будет лежать в земле одна, вдали от своих близких, бабушка, всю жизнь державшая в руках честь своей семьи.

Это были самые грустные и самые поспешные похороны. Никакого кумбеза не соорудили на одиноком холмике рядом с аулом. Никто, кроме нашей семьи, не проводил Нарботу в последний путь — все были заняты сборами в новую дорогу, которая должна спасти от бед. Даже мулла не читал молитвы над телом бабушки, он одним из первых сбежал из аула. Полуграмотный старик наспех, запинаясь, читал по корану. Он не успел закончить своего сбивчивого чтения: пришла весть, что к аулу приближаются отряды повстанцев.

Мы погрузили последнюю утварь на верблюдов и примкнули к уходящему каравану.

Так начался наш долгий скитальческий путь.

Нашу семью, словно утлую лодчонку без руля и паруса, бросало по бурным волнам времени. События гнали нас бескрайними степными просторами, как ветер гонит перекати-поле.

Хотя наш скот и угнали джигиты Амангельды, мы на первых порах не испытывали недостатка в мясе. К нам приблудились чужие овцы и коровы, их много бродило тогда в степи. Но, как говорил Абай,—

Добро без труда нажитое,— не впрок:
Оно испарится, как стаявший снег,

И еще один акын говорил:

Что ветер у ветра возьмет —
По ветру обратно уйдет!

Прошло немного времени, и скот, собранный без труда, как ветром сдуло!

Теперь наша семья перебивалась охотой. Отец в молодости был хорошим охотником и сравнительно недавно бросил это занятие. И вот пришла пора вернуться к охоте не ради забавы, а чтобы прокормиться.

Правда, теперь отцу охотиться было труднее, чем прежде. В стычке с воинами Амангельды ему повредили левую руку; на ней сабельным ударом были перерезаны

сухожилия. Но отец приспособился: он укреплял ложе ружья на предплечье искалеченной руки и, прицелившись, спускал курок пальцем правой. Отец и прежде был метким стрелком. А теперь в придачу к двухстволыному ружью, подаренному кем-то из его военных друзей, отец достал двух борзых. И конь у него был быстрый — Курай-курен, мало чем уступавший знаменитому Жылансырту, погибшему в сражении.

Судьба продолжала о нас заботиться. В пище у нас недостатка не было.

Избегая встречи с нашими врагами, мы побывали и в Тосыне, и в Иргизе, и в Каракумах. Словно земля горела у нас под ногами, мы долго не останавливались нигде.

Весть о свержении царя застала нас в Каракумах. Мне было тогда без малого восемь лет. Помню, бабушка говорила про одного хитрого человека: «Его так долго гоняли, что он стал юрким, как лисий хвост». Вот так и я. Где мне только не пришлось быть, каким только опасностям я не подвергался, какими прозвищами меня не награждали. Но я все терпел, всюду проникал, обо всем узнавал. Я увидел, как по-разному у нас в ауле отозвались на весть о падении самодержавия. Одни подпрыгнули от радости: «Настала свобода. Дай бог, чтобы белому верблюду распороли брюхо!» Другие хотели вернуться в родные кочевья. Но, находясь в изгнании, притаились, спрятались, как складной нож, и не выдавали никому настоящих чувств.

А мой отец, прежде совсем не отличавшийся степенностью и выдержкой, отвечал всем одной фразой:

— Посмотрим, что скажет элип.

Он намекал на судьбу, на гаданье по овечьим шарикам, исход которого решает сорок первый катышек — элип.

Короче, отец выжидал.

Весну сменило лето. Стали поговаривать о белых — защитниках богатых, и о красных — защитниках бедных. Как же нам быть теперь, с кем идти? Но ответ отца был неизменным:

— Посмотрим, что скажет элип.

И на следующую зиму мы остались в Каракумах.

Теперь говорили, что и казахи разделились на белых и красных, и что белых возглавляет Жакыпбек Даутов, а красных — Амангельды Иманов. И белые как будто побеждают красных. А отец все свое:

— Посмотрим, что скажет элип.

Наконец, дошла до нас и такая весть: красные разбили белых и гонят их по всей степи.

Вот тут-то отец всполошился не на шутку и в первый раз не сослался на элип.

Однажды, когда каракумская жестокая зима пошла на убыль, в нашем доме появился незнакомый мне человек.

Они вдвоем с отцом долго о чем-то переговаривались вполголоса, но им очень мешал любопытный Кайракбай, приставший к отцу, как селезенка к печени, ему ужасно хотелось узнать, кто такой этот неизвестный и о чем они так долго и таинственно шепчутся в уголке. Наконец отец не выдержал и выпроводил любопытного Кайракбая и его жену Катиру, помогавшую моей матери по хозяйству.

Когда в доме осталась только наша семья и были соблюдены все меры предосторожности, отец сказал, указывая на незнакомца:

— Этот джигит приехал к нам от Жакынбека. Только держите язык за зубами! Помните, вышло одно слово через тридцать зубов и все тридцать родов его узнали. Жанаш жив и здоров, от белых он отстал, а нам велел ехать в Туркестан. Жанаш утверждает, что в Туркестане нам нечего опасаться — Амангельды туда не пойдет. Сейчас он в Тургае, набирается сил, и власть в его руках.

— Что такое Туркестан?— испугалась мать и залилась слезами.— Опять будем скитаться!

— Зачем плачешь? И в Туркестане есть хорошие места. Жить будем на берегу Сыра, в Кармакчи живут родственники ишана Марала — примут нас хорошо. Другого выхода у нас нет.

Как я узнал потом, ишан Марал был шурином нашего дедушки Малдыбая. Отец бывал в этих местах еще ребенком. На берегу Сыра есть кумбез — надгробный памятник ишана Марала, и к этому памятнику со всех концов степи стекаются несчастные и больные люди. И Марал, и сын его Калкан, и внук Тобагабыл считаются святыми. Рядом с кумбезом выстроили мечеть и медресе.

На следующее утро отец собрал всех друзей и близких, зарезал барана и объявил, что едет в Кармакчи.

Его стали расспрашивать о причине такого внезап-

ного отъезда. Отец очень ловко нашел благовидный предлог:

— Буркут подрастает, надо его вывести в люди — а там есть медресе.

— А почему бы ему не учиться в Тургае?

— Там хуже, там еще кочуют. А главное, власть в Тургае держит Амангельды. Разве он, испытавший крепость наших зубов, оставит нас в покое? На берегах Сыра будет лучше. Пока туркестанцы узнают, кто я,— сын закончит школу.

И после некоторых раздумий отец сказал так:

— Я вам напомню одну народную сказку:

Большая кулану грозит беда.
Кулан заметался, стрелой помчал
И в страхе он забывает тогда,
Что жеребенок его отстал.

Пусть каждый из нас сам ищет себе приют. И не будем сердиться за это друг на друга. Но кто хочет идти за мной, завтра утром вьючьте свои пожитки!

Наша семья проснулась на рассвете и сразу начала разбирать юрту. Я услышал спросонья, как всхлипывала мать:

— Мало мы из-за тебя скитались. И опять ты заставляешь нас отправляться неизвестно куда...

НЕОЖИДАННЫЙ ГОСТЬ

Уже наступала осень, когда мы с семьей Кайракбая, медленно двигаясь вдоль Сырдарьи, наконец достигли Кармакчи. Мне, за всю свою маленькую жизнь не видевшему речки больше узкого степного Тургая, Сырдарья показалась необъятным морем. Впрочем, если б Сыр и в самом деле не была великой рекой, разве прибавили бы к ее имени слово Дарья — полноводная, большая.

Родственники ишана Марала, как и предполагал отец, приняли нас с душевным гостеприимством.

Мы поселились в низеньком глинобитном домике с маленькими оконцами и плоской крышей. Такой домик местные жители называют тамом. За аулом на небольшом взгорье расположилось кладбище.

Рядом с приземистыми саманными постройками аула, на небольшом взгорье среди могильных памятников, выделялся кумбез ишана Марала, похожий на мечеть. Ря-

дом с куполом высились две башни: одна низкая, но широкая, как ствол столетнего дерева, другая — в два раза тоньше и выше. На вершине каждой башни тускло поблескивали серпики полумесяцев.

Жители аула, хотя и гордились родством с известным ишаном, но особенным богатством похвастаться не могли. Преемник Марала ишан Мухамеджан слыл самым зажиточным в роду, но у него было всего десять верблюдов, около сотни овец да косяк лошадей.

Не все потомки Марала жили в Кармакчи; некоторые из них поселились в Тургайском уезде в урочище Песчаного дерева — Кумды-Агач, другие на севере, в стороне Петропавловска — Кызыл-Жаре. Говорят, среди них были и настоящие богачи.

Самым уважаемым из здешних потомков Марала был Мухамеджан.

Тот, кто решил стать верным мусульманином, слугою ишана — мюридом — должен был прежде всего пойти к Мухамеджану и засвидетельствовать ему свое почтение. Больные шли к нему лечиться, в медресе он учил детей, а в мечеть, расположенную рядом с его домом, каждую пятницу и в дни религиозных праздников — айтов из всех окрестных аулов стекались люди со щедрыми дарами. Верующие чтили дух ишана Марала, а потомки его получали от этого немалую выгоду.

В начале тысяча девятьсот восемнадцатого года в Кармакчи установилась Советская власть. Самыми ревностными защитниками Советской власти были русский по имени Кержут и казах по имени Жорабек, наводившие страх на местных верующих богачей. Больше всего на свете Кержут и Жорабек ненавидели бая и муллу. Незадолго до нашего приезда они явились в аул на праздник айта как раз во время чтения намаза. Ишана Исхака они обвинили в том, что он ведет религиозную пропаганду и забивает головы бедняков вредными выдумками. Они назвали его буржуем, избили, увезли в Ак-Мечеть и продержали два месяца в тюрьме.

С тех пор верующие не очень охотно шли поклоняться праху ишана Марала и свидетельствовать свое почтение Мухамеджану. Те же, кто продолжали чтить святой дух Марала, старались делать это скрытно, по ночам. Где уж тут было рассчитывать на богатые приношения.

Но медресе сохранилось, и ишан Мухамеджан властвовал в нем по-прежнему. Правда, теперь медресе стали

называть просто школой, а Мухамеджана — ее заведующим. Хотя, по существу, здесь ничего не изменилось и никаких знаний, кроме религиозных, из школы вынести было невозможно.

Отец отдал меня в учение к Мухамеджану.

— Пока поупражняй свой язык,— сказал он,— учись здесь, а там видно будет.

И я пошел твердить непонятное — элиф, би, ти, как русские школьники в старину — аз, буки, веди.

Все это продолжалось недолго и кончилось тем, что я упрямо заявил отцу:

— Больше в школу не пойду.

Он и настаивать не стал.

Вместо школы я начал с отцом и Кайракбаем заниматься охотой и очень быстро освоился с незнакомой для меня своеобразной природой побережья Сырдарьи.

Трудно было привыкнуть к величавой полноводной реке, вмещающей в себя столько пресной воды.

Очень странной показалась мне и здешняя зима. Позднее я прочел у Пушкина, что «...наше северное лето — карикатура южных зим». Так вот, сырдарьинская зима — карикатура на нашу тургайскую осень.

У нас в Тургае уж зима так зима! Сразу выпадает много снега, и он, чистый, белый, лежит нетронутым до самой весны. А на берегах Сырдарьи снег то выпадет, то растает, и тогда вязнут ноги в непролазной грязи. Но какие сильные ветры бывают в этих краях! Под напором такого ветра трудно устоять на ногах; холод пронизывает до костей, обжигает лицо и руки. И в Тургае бывают сильные бураны, но таких ветров я даже там не видел.

Пока не наступила зима мы почти каждый день втроем отправлялись на охоту. Отец садился на своего темно-рыжего Курая, Кайракбай — на крепкого мухортого коня, а я — на пятилетнюю лошадку, подаренную мне в день обрезания. С собой мы брали двух гончих, отец не расставался с ружьем, а за плечами и на поясе Кайракбая висели сумки и патронташи. На всякий случай, если где-нибудь придется заночевать, отец в переметную ковровую сумку-коржун укладывал небольшое медное ведро с треножником, чтобы варить мясо. Заботясь обо мне, отец брал еще немного сухого острого курта и творожистого иримшика. Для себя он ничего не припасал, памятуя, что пища мужчины и волка лежит на дороге.

Мы ехали берегом реки по редким песчаным барханам, зарослям тамариска, джиды, колючего жынгыла и кустов саксаула. Здесь в изобилии водились фазаны и зайцы.

Если вблизи воды кустарник был вырублен местными жителями, мы ехали дальше. Настоящая охота начиналась в густой чаще.

Здесь из-под кустов один за другим шумно взлетали фазаны, растревоженные нашими гончими, а отец тут же, на лету пристреливал одного из них, а то и сразу двух. Мы с Кайракбаем едва успевали подбирать убитых птиц. Гончие помогали нам. Отец сбивал одну птицу за другой у него были зоркие глаза, он сразу намечал цель. За день он мог бы сбить и сто фазанов, но всякий раз, настреляв десяток-другой, он прекращал охоту: «На сегодня хватит, а там что бог пошлет. Давайте лучше обедать».

Я расспрашивал отца, как это он научился так метко стрелять.

— Мои руки сами чувствуют птицу! Настоящий стрелок тот, кто не целится долго, а в цель попадает,— отвечал отец.

Водились в чащах Кызылкумов и зайцы, но были они такими маленькими и щуплыми, что отец не охотился за ними — уж очень их было жалко. «Пусть еще подрастут!»— говорил он, и даже своим гончим не позволял травить зайчат.

Зато волкам и особенно шакалам отец не давал никакого снисхождения. Шакалов он ненавидел, как своих заклятых врагов, и жестоко преследовал этих хищников с красноватой шерстью, похожих на собаку. Отец не прекращал погони до тех пор, пока не убивал зверя. Он много рассказывал мне об их отвратительных повадках. Страшно и неприятно было слышать: «Шакал он такой — не найдет себе пищи — из могилы откопает труп; встретит безоружного человека — растерзает».

В дни наших странствий по Кызылкумам я понял по-настоящему, какое интересное это занятие — охота. Охотиться можно не только целыми днями, но даже неделями и месяцами напролет...

Может быть, вся зима на побережье Сырдарьи была бы для нас такой увлекательной, но однажды мы с отцом в сильный буран едва не заблудились в Кызылкумах. С тех пор мать решительно отказалась пускать меня на

охоту, а отец не любил ездить в одиночку, да и расставаться со мной ему не хотелось.

Сердце, привыкшее к быстрой езде, походному костру и выслеживанию зверья, тосковало в четырех стенах маленького саманного тама. Мне тошно было слоняться в томительном безделье по дому и мешать родным, занятым своими делами.

Мы с Кайракбаем стали убегать к прорубям, где жители окрестных аулов ловили рыбу. Целыми днями торчали мы на реке и хоть этим заполняли свое вынужденное безделье. Отец же по каким-то одному ему известным делам уехал в Ак-Мечеть, а потом в Ташкент.

Вернулся он не с пустыми руками: привез калым — выкуп за моих старших сестер — двадцатилетнюю Меруерт и восемнадцатилетнюю Жибек, он их просватал за нездешних байских сынков.

Скот в те времена было гнать слишком далеко и небезопасно — Советская власть в тот год уже начала бороться с калымом. Пошли на хитрость: шелка, бархат, чай и ковры должны были захватить с собой женихи, а отец привез деньги — николаевские и бумажные английские. Николаевские еще куда ни шло, хотя, понятно, отец и здесь просчитался, но зачем понадобились ему английские?

Печаль поселилась в нашем доме с приездом отца. Меруерт и Жибек, узнав, что их выдают замуж, залились слезами. Глядя на них, заплакала, запричитала и мать.

— Неужели ты не мог повременить? Разве Жибек и Меруерт — не твои родные дети? Зачем отдашь их в чужие края? Никогда не увидят они своей родины!

Отец долго молчал, опустив голову, как бы подыскивая оправдание поспешности, с какой выдал он дочерей замуж. Наконец, когда мать немного поутихла, он заговорил:

— Э, милая моя, где ты видела, чтобы дочь была опорой семьи? Разве не для чужих растим мы своих дочерей? Кто удержит девушку в родительском доме? Надо пристроить их пока не поздно. Ведь не за бедняков каких-нибудь отдаю я дочерей: один — сын бая, и другой — сын богатого ташкентского купца. Какого счастья им еще нужно? И кто знает, сколько еще суждено нам скитаться, пока не попадем на родину?

А вскоре к нам пожаловал жених Меруерт. Он был

не так уж молод — лет тридцати пяти — сорока. Гладко выбритый подбородок делал его чуть моложе. Как мы потом узнали, у него, кроме Меруерт, уже было две жены: первый раз он женился на совсем молодой девушке, второй раз — на женгей, вдове старшего брата.

Бедная Меруерт! Посмотрела она на своего жениха и едва не упала в обморок. Кое-как помогли ей сесть на верблюда, простились с нею — и Меруерт навсегда покинула родную семью.

Через несколько дней увезли от нас и Жибек. Жених Жибек, кроме своей бритой головы, ничем не походил на Датке, мужа Меруерт. Хотя он был метисом, как у нас говорят — курама, отличить его от настоящего узбека было почти невозможно. Смуглое гладкое лицо, чистая узбекская речь, и одет так, как обычно одеваются узбеки: яркий, сшитый из полосатого шелка чапан, перехваченный в талии четырьмя-пятью платками, белые штаны, ичиги, вместо шляпы — черная тюбетейка.

Жених Жибек утверждал, что ему двадцать пять лет. Может быть, так оно и было. Но его очень старили излишняя полнота и сизый цвет бритого лица.

Своим веселым открытым характером и сердечным отношением к окружающим он быстро расположил к себе всех родственников. Старших он почтительно называл «аке», мою мать — «апа», а нас, малышей, братишками. Когда жена Кайракбая Катира, заполучив от жениха полагающийся по обычаю выкуп — подарок, повела его показать Жибек, он разнежничался, начал приставать к невесте с ласковыми речами и поцелуями. Застенчивая Жибек не знала, куда деваться от стыда.

Жибек уезжала от нас уже не на верблюде. Она села с мужем в тарантас, запряженный парой лошадей. Грустной и бледной была она в минуту отъезда. И не зря, оказалось, так печалилась она. Ей тоже пришлось быть уже второй женой толстенького ташкентского купчика.

После отъезда сестер у нас в доме стало грустно и тихо. Мать все еще ругала отца за то, что он так легко отдал дочерей чужим. Отец сначала молчал, потом стал раздражаться все больше и больше и наконец тоже уехал. В сущности, ему наскучило сидеть без дела, и он начал перепродавать мануфактуру где-то под Оренбургом и в Туркестане.

Чтобы не томиться в одиночестве, я уходил к рыбакам или проводил время с Кайракбаем. Он был не только ве-

стовым отца, но и нашим родственником. Наш прадед в пятом колене Саудабай имел пять жен. Отец Кайракбая Туякбай родился от самой младшей жены — токал.

Как и в каждой казахской семье главенствующее положение в доме занимали дети старшей жены — байбише. Они всячески старались унизить детей токал, чаще всего покорно смирявшихся со своей судьбой. Но порою бывало иначе. Дети токал, не желая переносить унижения, росли дерзкими и своевольными. Подчас они даже подчиняли себе детей байбише. Так было с нашим прадедом в четвертом колене Молдабаем.

Сын третьей токал Саудабая собрал вокруг себя братьев и соседей и согнул детей байбише в бараний рог. Робкий и тихий Туякбай видел в Молдабае своего защитника и покровителя и всю жизнь пас его скот. Если разобраться, он был в нашем доме обыкновенным батраком.

По слухам, жена Туякбая была в связи с моим отцом. Должно быть, люди говорили правду: Кайракбай поразительно был похож на моего отца и чертами лица и чертами характера.

Было много общего в монгольском дугообразном разрезе их глаз и даже в самом взгляде; Кайракбай так же, как отец, отличался проворством и ловкостью, недаром же его прозвали Торопыгой. Пожалуй, ему не хватало только энергии и упорства отца. Кайракбай был очень безволен и легкомыслен. У него не было ни своего хозяйства, ни одежды, ни коня — всем снабжал его отец. Только спал он в отдельной юрте. Надо, однако, отдать должное: у отца не было джигита преданнее и проворнее Кайракбая. Черная работа ему давно не поручалась, он был только вестовым, приспешником. Правда, мать, довольно долго с ним была очень холодна. Но со временем и ее неприязнь прошла, и Кайракбай стал в нашем доме своим человеком.

Все знали, что Кайракбай любит франтить. Мясом его не корми — позволь только хорошо одеться и сесть на быстрого легкого коня. И этой его слабости потакали мои родители, зная, как дорожит Кайракбай, шутник и балагур, любитель песен и веселья, своим успехом у девушек и молодых женщин.

Была еще одна слабость у балагура Кайракбая. Любил он тайком от взрослых собрать вокруг себя несмышленышей-ребятишек и научить их отборной матерной ругани. Как же потом он потешался, когда какой-нибудь

малыш неожиданно отругает своих родителей или даже самого Кайракбая самыми крепкими словечками, ровно ничего в них не понимая! В числе таких способных учеников Кайракбая был и я. Только повзрослев, я отвык от этой привычки.

Любил Кайракбай в грубой и откровенной форме рассказывать детям об отношениях между девушками и джигитами. Но это нас не удивляло. Мы же росли в ауле, в юрте. Другое дело — поэтические истории — о Козы-Корпеш и Баян-Слу, Кыз Жибек, Бадигул — Жамал, Сейди-Батык, Жусип — Злиха! Я слушал его и думал про себя: «Боже мой! Неужели и я когда-нибудь буду любить так же, как они!»

В таких забавах прошла вся зима. Вернулся отец, и мы из глинобитного тама переехали на джайляу в серую войлочную юрту.

В это время у нас появился неожиданный гость, один из самых важных казахских деятелей в Ак-Мечети. Фамилия его была Аралбаев. Одет он был по-русски, только шапка из купьего меха с черным суконным верхом была казахская. Сухощавый, с впалыми карими глазами, высокий и подобранный, он держался просто и с достоинством. Видимо, он был хорошим знакомым отца, если так быстро освоился в нашем доме и сразу стал называть отца Абеке, а мать — женеше. Тогда впервые я услышал странное и непонятное слово Антанта.

Смысл разговора не доходил до меня. Говорили о том, что Запад прижимает Советы, что недалеко от Самарканда и Бухары появились басмачи во главе с каким-то Ануар-пашой. Сухощавый незнакомец утверждал, что недолго осталось жить Советскому государству, зажатому и с Запада и с Востока.

— А знаете, Абеке, Амангельды убит.

Отца обрадовала эта новость. Он стал расспрашивать о подробностях убийства.

— Кто убил, не знаю, но это наши люди,— ответил Аралбаев, так звали незнакомца, и вдруг неожиданно спросил:

— Абеке, вы должны знать, где сейчас Жакынбек Даутов. Он же ваш зять.

— Не знаю,— силясь быть равнодушным, ответил отец. Зато мать вся превратилась в слух и внимание.

— Дадите подарок — суюнши, если скажу вам, где он теперь?— пошутил Аралбаев.

— Все, что пожелаешь!— воскликнула мать.

— Ваш Жакып работает судьей Чингистау в ауле нашего акына Абая!

— Всему поверю, но не поверю, что судьей!

— От самого верного человека слышал. В Ташкенте. Этот человек — младший брат Абая, внук Исхака, джигит по имени Данияр. И теперь не верите?

— В рот тебе масла, дорогой мой!— сказала мать и заплакала от радости.

По-видимому, это было все, что Аралбаев мог сообщить во всеуслышание. После этого они с отцом вышли из дома — продолжить свой разговор. Вернувшись, поели вяленого мяса с рисом, напились чаю, и Аралбаев стал собираться в обратный путь. Он уже надел пальто и свою купью шапку, когда, вспомнив, видимо, что-то очень важное, крикнул Кайракбаю:

— Эй, джигит! Принеси-ка мне тот коржун, что лежит около тебя!

Когда Кайракбай принес ему коржын, Аралбаев развязал его и достал пачку маленьких книжек в серой обложке. Затем вынул из коржуна перо и чернильницу.

— Звать тебя Абуталип. А фамилия твоя как?— спросил он у отца.

— Жаутиков.

— Так. Жаутиков Абуталип,— повторил Аралбаев и быстро записал что-то в одной из книжечек.

Пачку оставшихся книжек и перо с чернильницей он положил обратно в коржун, а ту, в которой что-то записал, протянул отцу.

— Что это?— удивился отец.

— Это партийный билет.

— Ойбой, какой билет?

— Бери, бери. Еще пригодится. Я многим нашим людям уже роздал такие билеты. Пока спрячь его в сундук.

Когда отец, проводив Аралбаева, вернулся домой, он долго еще вертел в руках серую книжечку и рассматривал ее.

— Ну и ловкач,— удивлялся он Аралбаеву.— Сын известного бая, каким-то чудом сам вступил в партию коммунистов и теперь кому попало раздает партийные билеты!

О, господи, прости меня, грешного,— вздохнул отец и спрятал книжечку в сундук.

КАК Я ЕЛ ЗМЕИНОЕ МЯСО

В прежние времена, когда на побережье Сырдарьи наступало засушливое лето, скотоводы вместе со своими стадами откочевывали в кызылкумские или каракумские пески. В этих пустынях с незапамятных времен были вырыты колодцы со стенками, укрепленными саксаулом. Эти колодцы спасли от разорения не одно поколение казахов-скотоводов даже в самые тяжелые годы.

Труднее было земледельцам. Им приходилось рыть арыки и пускать по ним воду из Сырдарьи на свои поля.

А Сырдарья — река капризная. Ее образует слияние двух рек — Карадарьи, что течет из ледников Памира, и Нарына, рождающегося в ущельях Тянь-Шаня. Поэтому ее часто лихорадит. В иные годы она разливается еще зимой, заполняя окрестные берега, и людям, чтобы не погибнуть, приходится спешно переселяться в другие места. А иногда Сырдарья так мелеет, что невозможно оросить даже маленькие приусадебные участки. В годы разлива земля в изобилии родит и хлеб, и фрукты, и овощи; в годы обмеления реки жди голода.

Не радость, а горе принес сырдарьинским жителям тысяча девятьсот двадцатый год. Всю зиму и весну люди только и ждали, что Сырдарья вот-вот разольется, напоит сухую землю, и тогда год будет плодородным, а земледелец — счастливым.

Но прошла зима, за нею — весна, наступило лето — а Сырдарья не только не разлилась, но так обмелела, что от могучей полноводной реки в некоторых местах остались лишь сверкающие на солнце узкие мутные полоски.

Люди, из памяти которых еще не изгладились ужасы прошлогодней голодовки, носили воду в ведрах, чтобы полить хотя бы огороды, расположенные около каждого дома. Чахлые ростки посевов, едва пробившись на поверхность земли, быстро желтели и погибали.

Не было и корма для скота, высыхала и желтела трава. Долины Сырдарьи растрескались, иссохли, чаще и чаще выступали на поверхность белесые пятна солончаков.

В то лето я понял истинный смысл бытующей у казахов поговорки: «Одна беда — в кыре (кыр — холмистая местность с пастбищами и посевами), тысяча — в Сырдарье».

Если бы все несчастья, связанные с обмелением Сырдарьи, ограничивались засухой, это было бы, может быть,

не так мучительно. Но засуха на берегах Сырдарьи приносила с собою поистине тысячу самых разных бед, от которых страдало все живое: и скот, и люди, и посевы.

Казалось, природа нарочно придумала для каждого живого существа в степи своих опасных и злых врагов.

Едва летний зной высушит последние скудные травы, верблюды в поисках корма забредают в заросли тростника, расположенные преимущественно на вязких глинистых местах вдоль берега. Здесь-то их и подстерегает опасность. На верблюдов целыми полчищами нападают слепни. Их укусы тем чувствительнее, что верблюдов недавно постригли и теперь, без толстого покрова шерсти, они совсем беззащитны. Обезумев от невыносимой боли, верблюды катаются по земле.

Некоторые из них, обычно кроткие и терпеливые, в ярости сбивают слепней ногами и головой. От частых ударов тело верблюда распухает, и многие животные в конце концов погибают.

Не раз я видел, как десятки коров, задрав хвосты, с диким мычанием вразброд бежали степью. Трудно было поверить, что спокойные неторопливые животные в состоянии вынести такую скачку. Невероятным казалось то, что коров обратили в бегство всего-навсего пестрые шпанки — разновидность овода. А эта безобидная на первый взгляд шпанка — такой же враг для коровы, как слепень — для верблюда.

Только овцы и козы не боятся ни слепней, ни шпанок. Но в засушливые годы козам не дают покоя клещи, а овцы гибнут от болезни, которую казахи называют секиртпе.

Болезнь эту, как рассказывали старики, вызывают маленькие белые черви. Они обычно забираются в ноздри овцы и раздражают слизистую оболочку. Бедная овца перестает пастись, бьет свою морду передними ногами, прыгает и, выбившись из сил, погибает. Само слово секиртпе в буквальном переводе на русский язык означает: «заставляющий прыгать».

Каждую весну, как только растает снег и появится первая зелень, люди нашего аула вооружались вениками из таловых прутьев и отправлялись уничтожать личинки саранчи. Осенью саранча откладывает яйца в глинистых местах. Всю зиму эти яйца хранятся в земле, а весной, когда пригреет солнце и стает снег, из яиц развиваются маленькие белые черви с красной головкой — личинки са-

ранчи. Еще немного времени — и личинки превращаются в саранчу. Местные жители стремятся вовремя успеть согнать, смести этих червячков, пока у них не выросли крылья, в одно место, обложить их сухим камышом и сжечь. Но это не значит, что среди лета откуда-нибудь со стороны не налетят тучи саранчи и не уничтожат все наши посевы.

Сколько несчастий и бед поджидает на каждом шагу сырдарьинского жителя! Я уже не говорю о каракуртах, скорпионах, тарантулах, змеях — их укусы могут быть смертельными. Но к ним так привыкают, что если во время обеда на скатерти — дастархане — вдруг появится скорпион или каракурт — никто не удивится и даже с места своего не вскочит и не вскрикнет. В конце концов, скорпиона можно здесь же прикончить — и конец всем волнениям.

Бывает труднее, когда в засушливое лето над каждой юртой или домом начинают кружить миллионы желтых комаров — сары-маса, как их у нас называют. В Тургае тоже есть комары, но их укусы почти безвредны. Не было еще случая, чтобы от тургайской лихорадки умер человек. А укусы сары-маса вызывали особенно в прежние времена одну из самых губительных болезней — тропическую лихорадку. От тропической лихорадки умерли одна из моих сестер и дочка Кайракбая. Спастись от нее в те времена было почти невозможно. Если лето дождливое, крылья у комаров быстро намокают и не позволяют им летать далеко. Но в засуху комары поднимаются тысячами из тростниковых зарослей, и нет такого места, куда бы им не удалось проникнуть. Они забиваются во все щели, и тогда ни днем ни ночью нет от них покоя.

Состоятельные люди на лето переходят жить в легкий и плотный шатер — масахана. Но ведь не каждая семья имеет возможность соорудить свою масахану. Так и промучится все лето. Хоть я и был еще маленьким мальчиком, тысяча бед Сырдарьи коснулись и меня. Началось с того, что в тот год в наших краях разразилась эпидемия оспы. Не знаю, каким чудом я остался в живых.

Но как была изуродована оспой Булис, старшая моя сестра, сверстница моего детства. Она росла стройной и привлекательной девочкой, а теперь, после болезни, ее лицо казалось сшитым из красноватых клочков.

Едва оправившись от оспы — я стал жертвой змеи. Вот как это случилось.

Однажды я сидел дома и возился со своими нехитрыми игрушками. Недалеко от меня дремал наш пушистый, тигровой масти кот Жолбарыс. Внезапно кот вскочил и, выгнув спину, тревожно и протяжно мяукнул. Я, целиком увлеченный в игру, поднял голову — и к ужасу своему увидел недалеко от кота серую в черных пятнах змею! Жолбарыс переступал с лапки на лапку, фыркал, но к змее приблизиться не решался. Он ощетинился, стал похожим на ежа и сердито смотрел на незнакомого врага.

Я с места не мог двинуться от страха и удивления. Но вот Жолбарыс изловчился и ударил змею сначала одной лапой, потом другой; вероятно, это занятие ему так понравилось, что он принялся тузить змею обеими лапами без передышки, попадая куда попало. Тем временем разозленная змея стала обвиваться вокруг тела Жолбарыса. Он отчаянно замяукал. Мне стало жаль кота, и я наконец собрался с духом, шагнул вперед, протянул руку и схватил змею за голову. Она укусила меня за палец. Я громко заревел от боли. В это время в дом вошел отец.

Он сразу понял, в чем дело.

— Она тебя не укусила, нет?

Я принялся реветь пуще прежнего и показал на палец.

Отец не стал меня успокаивать, а ловкими движениями изловил змею и спрятал в небольшой плотный мешок.

С ужасом я увидел, что ранка на моем пальце стала чернеть, боль усилилась.

Отец схватил меня за руку, и мы побежали к ишану Исхаку, лечившему местных жителей от всех известных и неизвестных недугов.

Исхак подвесил змею за хвост, ее голову привязал к колу, вбитому в землю. Затем он опустился около змеи на колени и что-то невнятно забормотал.

«Чем только все это кончится?» — думал я.

Меня и отца Исхак посадил рядом с собою, а всех посторонних прогнал. Нам он приказал молчать и ни в коем случае не называть его по имени.

Ишан бормотал, бормотал до самого вечера, а потом велел нам закрыть глаза. Мы закрыли. И в это время раздался какой-то странный звук. Когда мы открыли глаза, змея была разрублена пополам.

— Молитвой раздвоил змею,— пояснил Исхак.— Возьми теперь половину змеи, свари из нее бульон:

Излечит аллах все болезни твои,
Когда ты напьешься супы из змеи.

Не знаю, что меня спасло. Укус был очень болезненным. Я весь распух и задыхался в жару. Но после змеиного супа дело быстро пошло на поправку.

ТОЙ В СУМАТОХЕ

Все прелести Сырдарьи пришлись не по душе моей матери. Она все сильнее скучала и чаще приставала к отцу, умоляя его вернуться в родной Тургай.

— Ты же сам говорил, что тревожные времена позади, и теперь народ успокоился. Почему бы нам не вернуться в Тургай? Сыт ли, голоден — лучше жить в родных краях, чем на чужбине.

Отец вначале ее отговаривал:

— Что ты торопишься возвращаться на родину? Там у нас ничего нет, кроме разоренного жилья. Нечего нам пока делать в нашем Тургае. Правда, и здесь у нас нет особенного богатства, но, слава аллаху, живем неплохо. Стол наш не опустел — едим масло, пьем чай,— а что будет дальше — кто знает?

Однажды отец сказал:

— Вчера встретился со знакомым человеком — он только что приехал из Тургая. Рассказывает, на пять овец или одну корову можно обменять только пуд пшена; скот весь истощен, народ бедствует. А ты все свое: Тургай да Тургай.

Мать как будто бы отступила перед этими вескими доводами отца и не докучала больше ему своими просьбами.

Осенью стало голодно и на побережье Сырдарьи. Появилось много нищих — беженцев из разоренных мест. Не в каждом доме могли приютить нищего и вволю накормить его — жить становилось все труднее.

Наша семья, как могла казаться, жила очень скромно, едва сводя концы с концами. Но это было не совсем так.

Как я уже рассказывал, отец, отправив в Ташкент старших дочерей — Жибек и Меруерт, получил от их мужей много отрезов дорогих тканей. Эти отрезы он спрятал в ура — яму для хранения хлеба, вырытую под печью.

Однажды ночью отец с помощью Кайракбая и Теке-

бая вынул из ура все ткани и втроем они стали докапывать и расширять и без того глубокую яму. Они ее делали похожей на лисью нору с ответвлениями в разные стороны. А мы, дети, выносили глину и сваливали ее во дворе нашего дома. Тут же присыпали мусором, чтобы никто не мог догадаться, в чем дело. Нам строго-настрого велено было молчать.

Так мы работали несколько ночей.

Скоро мы узнали, зачем отцу понадобилось тайком от всех рыть такое большое хранилище.

Каждый день, едва наступали сумерки, к нам стали приходить неизвестные люди.

Позднее я узнал, что это были служащие из Дома для сирот и сумасшедшего дома в Ак-Мечети. Они приносили мешки с зерном и другое продовольствие, взамен зерна отец давал им одежду и мануфактуру. До наступления зимы отец реализовал большую часть мануфактуры и заполнил яму хлебом. Не раз мать приставала к отцу с расспросами — откуда приносят эти люди столько хлеба и зачем нам этот хлеб? Отец загадочно улыбался и говорил:

— У бабы волос долог, а ум короток. Не понимаешь разве, каждое зерно превратится в крупинку золота! Эта пшеница еще поможет нам собрать счастье.

Отец хорошо знал, что делает.

Но как ему удалось разбогатеть в этот раз — увидеть мне не пришлось. На берегах Сырдарьи появилось все больше и больше нищих и голодных. Опухшие, бледные, они тянулись и в наш аул за милостыней. И чтобы избавить меня от этих невеселых картин и дать мне возможность к тому же подучиться грамоте, в начале зимы отец повез меня в Ак-Мечеть. Он собрался поместить меня в «Коммуну для сирот».

Я не знал, что такое «коммуна», но слово «сирота» мне было понятно. Одно только мне было невдомек: как же так — у меня есть отец, и мать, и родные, а меня хотят поместить в сиротский приют?

Я приставал с расспросами к отцу, но отец ничего вразумительного мне так и не сказал. Подробно мне все разъяснил Аралбаев, у которого мы остановились, когда приехали в Ак-Мечеть.

Щуря хитрые маленькие глазки, подергивая бровями, Аралбаев принялся мне объяснять все по порядку.

— Чтобы тебе было понятнее, заменим слово «ком-

муна» простым словом «дом»—«Дом для сирот». В этом доме сейчас воспитывается четыреста пятьдесят детей, но это дети зажиточных людей — таких, как твой отец. Настоящих сирот там человек пятьдесят, не больше. С этими детьми ты будешь теперь жить и учиться.

— Не хочу в дом для сирот. Я не сирота, у меня есть отец и мать.

— Занятный у тебя сын,— сказал Аралбаев, обращаясь к отцу.

— Ну, а учиться ты хочешь?— Аралбаев нахмурил свои широкие брови и вонзил в меня свои злые змеиные глазки.

— Хочу,— сердито буркнул я. Чем дольше я смотрел на этого человека, тем больше он мне не нравился.

— А ты знаешь, что Советская власть не любит детей богатых? Что будешь делать, когда нас начнут преследовать, кто пустит тебя, байского сынка, в школу? Пока есть возможность — учись в коммуне, послушайся совета старших! Тебе хотят добра.

Не в силах разобраться в том, что внушал мне Аралбаев, я обратился к отцу, как бы ища у него защиты. Но отец был на стороне Аралбаева — он тоже считал, что мне надо остаться в коммуне.

На другой день меня отвезли в большой красивый дом с обширным фруктовым садом. Это было поместье известного узбекского богача, который после падения Кокандской автономии бежал за границу. В тысяча девятьсот двадцатом году дом был передан детской коммуне.

Странное зрелище представлял собою этот так называемый «Дом для сирот».

Вместе с маленькими трех-четырехлетними детьми здесь жили совсем взрослые девушки и парни. Настоящих сирот было много только среди малолетних; взрослые же, как правило, принадлежали зажиточным семьям. Они стеснялись грубой казенной одежды и если выходили в город, надевали свою, взятую из дому.

Все, что я видел в коммуне, в первые дни меня очень мучило. Я не мог понять, как случилось, что в коммуну, созданную для настоящих сирот, голодных, обездоленных детей, гибнувших десятками на улицах города, попали эти байские сыны и дочки. И почему, наконец, меня отдали сюда же? Правда, я охотно учился, мне нравилось ходить на занятия, но ведь я не был ни голоден, ни разут, ни раздет!

В конце зимы пришла весть о том, что к нам из Ташкента едет проверочная комиссия во главе с Гани Муратбаевым, человеком, уже известным в наших краях. Рассказывали, что сейчас ему всего восемнадцать лет, что он — секретарь ЦК комсомола Туркестанской республики.

В коммуне поднялся переполох. Испугались не только наши руководители. Сами «сироты» тревожно перешептывались по углам, строя разные догадки и предположения.

В день приезда комиссии нас одели в одинаковые костюмы и выстроили в ряд в широком коридоре. Заведующий предупредил нас, что когда гости будут входить в дверь, раздастся команда «смирно». По этой команде мы должны вытянуться в струнку и на приветствие ответить громким и дружным салемом.

У меня сердце готово было выскочить из груди — так я волновался. Внезапно прозвучавшая команда «смирно!» подействовала на меня как удар грома. Я вздрогнул и в тот же момент я увидел незнакомых людей, идущих по коридору. Это и была комиссия. У меня было такое ощущение, что комиссия непременно сейчас подойдет ко мне, все остановятся и произойдет нечто страшное, непоправимое. Я стоял красный, как рак, с опущенными глазами, из которых вот-вот брызнут слезы. Мне было стыдно.

Кто-то взял меня за подбородок. Я поднял голову.

Передо мною стоял совсем еще юный джигит с едва пробившимися усиками, черноволосый, черноглазый, с открытым умным лицом.

— Как тебя зовут, мальчик?— сказал приветливый джигит.

Заведующий коммуной выдвинулся вперед, льстиво изгибаясь и заискивающе посматривая то на меня, то на джигита:

— Это, мальчик, наш старший товарищ, наш ага. Его зовут Гани Муратбаев.

Но джигит решительно отстранил заведующего:

— Не мешайте нам. Мы сами сумеем поговорить. И не стесняйся, мальчик. Итак, как тебя зовут?

— Буркут Жаутиков,— смело и громко проговорил я.

— Хорошее имя — Буркут. А родители у тебя есть?

— Есть.

— Твой отец очень беден? Что-то ты не похож на сына бедняка? Не бойся, говори честно!

У меня перехватило дыхание, и я почти против своей воли выпалил:

— Мой отец — бай!

— Спасибо за правдивый ответ,— сказал джигит.— Ты хороший мальчик.

— А ну, дети, поднимите руки, у кого нет родителей?

Я оглянулся. Над шеренгой робко поднялось несколько детских рук.

— Я так и знал, Султеке,— сказал джигит, обращаясь к одному из своих спутников,— на десять байских сынков здесь приходится один сирота. Мне все ясно — теперь идемте в канцелярию, нам предстоит много поработать!

Когда члены комиссии ушли, меня вызвали к заведующему коммуны и стали отчитывать:

— Что же ты наделал?!

Чаша моего терпения переполнилась — мало того, что они сами врали на каждом шагу,— они и от меня требовали лжи. Они хотели, чтобы я обманул Гани Муратбаева и притворился сиротой!

На другой день я убежал из коммуны и поехал в Кармакчи. И правильно сделал: вскоре оттуда выгнали всех байских детей.

Кое-как добрался я домой. Отец сперва очень удивился и разволновался. Но, выслушав меня, успокоился. Он был отчасти даже доволен тем, что мы так легко отделались.

...В жизни нашей семьи за время моего отсутствия произошли серьезные перемены. Первое, о чем я узнал, едва переступив порог нашего дома, была весть о предстоящей женитьбе Текебая, моего старшего брата, которому было уже двадцать лет.

Невеста уже была у нас в доме. Она, как я узнал, еще не достигла совершеннолетия; отец долго скрывал все это от меня и не хотел мне даже ее показывать. Он купил ее за полпуда пшена у каких-то бедняков, опухших от голода. Родители девушки решились на этот страшный шаг ради спасения дочери и себя.

Мне стало не по себе от жестокости отца. Но все же хотелось посмотреть на девочку. И в этом мне помогла жена Кайракбая — Катира, я доводился ей младшим шурином. Согласно казахским обычаям, она могла пока-

зать мне невесту моего старшего брата — нужно было только сделать ей коримдик — подарок за право посмотреть невесту.

Выбрав удобный случай, мы проникли в дом, где жила девочка. Катира распахнула занавес — и я не поверил своим глазам.

Это была очень красивая худенькая девочка. Чем-то она походила на большую куклу. Мне она показалась удивительно светлой. Я даже не знал, сколько лет можно было дать Шинар — так звали ее. Восемь? Десять? Двенадцать? Одета она была в сильно поношенную, большую, не по росту одежду.

Катира только посмеивалась, глядя на мое изумление.

Однако мне было не до смеха.

Чем старше я становился, чем больше понимал, тем больше удивлялся жадности и жестокости моего отца. Зачем ему понадобилось отправлять меня в коммуну? Зачем он так несправедливо поступил с этой девочкой, отобрав ее у родителей? Каждый день в его голову приходили все новые и новые затеи, одна злее и коварнее другой.

Так думал я, глядя на эту маленькую светлую невесту. Неожиданно в комнате появился отец. Я его попросил выйти для разговора наедине и твердо сказал:

— У меня есть одна большая просьба, агеке! Я хочу, чтобы эту куколку, которую здесь называют «келин», сегодня же отвезли отсюда.

Отец удивился моей смелости и моим словам:

— Куда, почему? Я не понимаю тебя, Буркут.

— Я прошу отвезти Шинар в дом для сирот. А почему? Надо ли об этом говорить, отец. Но если ты не выполнишь моей просьбы, я уйду сам из дому. Ты спрашиваешь, куда? Уйду — и все. И никто не узнает, куда я уйду.

Пытаясь изменить мое решение, отец называл меня самыми ласковыми словами, но сам бледнел и злился.

— Ты правда все обдумал, в своем ли ты уме, мой сын?

— Я хорошо помню твои слова, агеке: «Бог не много дал нашему роду, но в твердости он нам не отказал». Что я сказал, то сказал, агеке. Выбирай в доме меня или келин. И если ты спрашиваешь «почему», я тебе отвечу. Постеснялся бы ты за полпуда проса покупать этого бедного ребенка...

Как мне ни хотелось держаться твердо, я тут сбился и захныкал. Я ведь тоже был еще мальчиком.

— Постеснялся бы ты, отец, так покупать жену для своего родного сына.

Отец пробовал подавить свой гнев. Его рот скривился, мускулы лица мелко дрожали, словно кипящий в котле курт. И особенно жестокими были его скрещенные руки: окаменелые сжатые кулаки были готовы вот-вот нанести удар. Но неожиданно он размяк, неопределенно махнул рукой, показывая куда-то в сторону пустыни:

— Ну что ж, убирайся!

И я пошел, сам не ведая куда. А он закричал мне:

— Подожди, остановись!.. Ты ведь всегда слушался меня.

— Что сказано, то сказано,— отвечал я сквозь слезы,— если ты не хочешь устроить девочку в дом сирот, то я, агеке, оставлю твой дом.

— А если я не отпущу ни тебя, ни ее?— В голосе отца звучала усталость.

— Что ты, меня веревкой привяжешь? Я упрям, отец. Не удастся убежать — брошусь в Сырдарью или повешусь!

— И что ты нашел в этой...

Тут отец грубо и несправедливо обругал бедную эту девочку:

— Чего тебе страдать из-за нее...

— Издеваешься ты над человеком, агеке. Она же человек...

Отец замолчал. Он потянулся ко мне, словно испытывая прилив отцовской нежности, простонал, но снова взял себя в руки и окаменел.

Почувствовав недобрый его взгляд, я снова пошел из аула.

Неподалеку от нашего дома начинались густые сырдарьинские камыши. В них были протоптаны конные и пешие тропы. Этой весной, раньше, чем тронулся лед на реке, стаял снег и почти просохла земля. Я брел к Сырдарье узкой тропинкой. Не знаю, много ли я прошел, когда услышал за собой стук копыт. Конечно, это меня догонял отец.

— Бокежан!— назвал он мое самое нежное имя.

Но я не ответил. Он обогнал меня, спешился и загородил путь:

— Довольно дурить, сын! Надо возвращаться домой.

И хотя слова были самыми обыкновенными, в отцовском голосе слышалась необычная теплота. Я ему так же тепло ответил, что вернусь. Лишь бы он исполнил мою просьбу.

— Сынок, зря ты так переживаешь!— еще мягче заговорил отец.— Ты не смотри на молодость Шипар. Ей уже четырнадцать лет. А деды говорили, что девушка и в тринадцать уже хозяйка юрты. Мне же приходилось видеть, как приходят в дом и десятилетними. Поначалу ведут хозяйство, а потом становятся женами.

— Не те времена сейчас, агеке...

— Ах ты глупый!— Отец, кажется, даже улыбнулся.— Разве она уже не была несколько месяцев женой твоему старшему брату? Как же быть? Если мы ее отпустим — это будет настоящий грех!

— Никакого греха не будет! В детском доме она себя лучше почувствует.

— А вдруг она сама откажется уйти?

— Так она может отказаться только из страха. А не побоится и пойдет, где ей лучше,— полетит, как годовалый верблюжонок.

Все-таки отец продолжал настаивать на своем.

— Давай, агеке, не будем хитрить,— вспылил я.— Мне уже двенадцать! И не ты ли сам мне говорил: «Я в десять лет уже сам отвечал за себя». А мне теперь двенадцать. И я дал себе клятву. Ты должен справедливо поступить с девочкой.

Неожиданно для меня отец сдался.

Он, правда, еще постоял в суровом раздумье, помолчал, тяжело вздохнул и наконец произнес:

— Пусть будет по-твоему, сын мой. Только надо сделать так, чтобы никто не посмеялся над нами... Мы дадим ей возможность самой убежать.

— Нет, агеке, так нельзя. Уж если ты не хочешь поехать в Кармакчи, тогда я поеду туда и обо всем договорюсь...

На следующее утро мы с отцом уехали. Отец занялся какими-то своими делами, а я пошел в детский дом, познакомился с его заведующим — приветливым пожилым человеком. Все подробно рассказал. Он похлопал меня по спине:

— До чего же ты хороший паренек. Приму вашу келин, обязательно приму. Она растворится среди ребят и станет хорошей девочкой.

Прошло еще три дня, и Адамбеков — так звали заведующего детским домом — подъехал к нашему дому, и я своими руками усадил келин Шинар на арбу.

Кстати сказать, она согласилась уехать в детдом довольно быстро.

Одно меня огорчило — это скупость моих родителей: всю ее одежду они оставили дома. Шинар уехала от нас в старом залатанном платьице.

В эти же дни я узнал, что все зерно, спрятанное в нашем ура, отец роздал в окрестные аулы с тем, чтобы осенью каждый вернул ему пшеницу в пятикратном размере. В тот год необычайно широко разлилась Сырдарья и ждали хорошего урожая. А сеять было нечего — где возьмешь зерно в такую пору? У отца брали зерно с радостью, несмотря на хищнические условия, которые он поставил.

Наступило лето, и отец объявил матери, чтобы она приготовила его и меня в дорогу.

Мать, не любившая внезапных отъездов, стала расспрашивать отца, куда он едет. Но он, по своему обыкновению, только прикрикнул на нее.

— Еду — значит, есть дело. А ты лучше помалкивай. Будут спрашивать, куда уехал, говори в Тургай.

Ни мне, ни Кайракбаю отец тоже ничего не сказал. Только на станции железной дороги мы узнали, что поедем по направлению к Оренбургу, на станции Челкар сойдем, на подводах доберемся до Иргиза, а оттуда — в родной Тургай.

На станции Челкар уже выстроились в ряд подводы, груженные продовольствием для голодающих Иргиза и Тургая. Подводы тянули тощие лошади и верблюды, погонщики шли рядом с ними. К ним присоединились и мы.

Трудным и безрадостным было это путешествие!

С самого утра начинало нещадно палить солнце, так что обессиленные верблюды не могли двигаться. Они ложились вместе с людьми на песок и так лежали до захода солнца. Когда наступали сумерки, караван поднимался на ноги и до самого рассвета двигался вперед. Изголодавшиеся погонщики еле волочили ноги — на день им выдавали по небольшой деревянной чашке пшена — вот и весь их паёк. Они варили из него жиденький суп и этим довольствовались.

Не хватало воды — вокруг ни пресного озера, ни речки. На протяжении пятисот километров, разделяющих

Челкар и Тургай, мы встретили только два озера — Иргиз и Тургай, но вода там была мутная, горячая и соленая.

Досада, злоба, ненависть кипели во мне — зачем понадобилось отцу гнать нас по этой бесплодной степи, переносить мучительную жару, голод, жажду! Какая недобрая затея гнездится в его голове, почему он не хочет рассказать нам о цели этого путешествия?

Я поделился с отцом своими мыслями. Но моя досада не произвела на него никакого впечатления. Отстав немного от погонщиков, он наконец раскрыл мне все, что задумал.

— Твой нагаши, дядя по линии матери, сообщил мне через верных людей, что казахи Семипалатинской и Акмолинской губернии гонят скот для голодающих Тургая. Если приедем вовремя, достанется и нам немалый куш.

— Ойпырмай, отец,— воскликнул я,— не стыдно ли нам вырывать кусок у голодных!

— Э-э, мой дорогой, совсем ты еще ребенок, как я посмотрю! Что же здесь стыдного? Скота много, хватит и голодным и сытым.

На том наш разговор и кончился. До самого Тургая я старался не вступать в разговор с отцом. Мне почему-то вспоминался эпизод с Гапи Муратбаевым, когда он так мягко взял меня за подбородок, задал несколько вопросов, и я не смог ему солгать. Что, если и здесь кто-нибудь подойдет ко мне, посмотрит мне в глаза и спросит:

— Ты очень голоден, мальчик?

Что я скажу? И что будет делать мой отец?

В Тургае мы остановились у дальних родственников отца. Тургай с Ак-Мечетью нельзя даже сравнивать... Ак-Мечеть — настоящий город с каменными и деревянными зданиями, а в Тургае почти все дома, как в аульных зимовках,— глиняные, невысокие, с плоскими крышами.

В Тургае был детский дом на пятьсот человек, но в эту голодную зиму не многие дети уцелели — часть разбежалась, многие умерли голодной смертью. Голодно было и в самом городке и в окрестных селениях. Тургай находился далеко от железной дороги, и суровой долгой зимой обозы с продовольствием не могли сюда пробиться по глубоким сугробам сквозь степные метели.

Отец в первые недели после приезда жил в Тургае тихо и незаметно. Он редко покидал дом и обо всех со-

бытиях обычно узнавал от Кайракбая и отчасти от меня. В эти дни я убедился, что до сих пор мало знал Кайракбая, хотя часто бывал с ним вдвоем. Прежде он казался мне балагуром, простаком и верным коноводом отца. Нет, я ошибался. Это было далеко не так. Кайракбай отличался хитростью, изворотливостью, умел входить в доверие к незнакомым людям и ловко, неприметно узнавал их секреты.

А отца интересовали друзья и враги Амангельды, кто из них сейчас на виду, пользуется уважением, кто притаился, бедствует...

Отец шаг за шагом убеждался, что врагам Амангельды живется совсем не плохо. Порою они сильнее друзей. Но и многие друзья пошли в гору.

В Тургае нам рассказали о том, что Еркин Ержанов, бывший во время гражданской войны правой рукой Амангельды, в прошлом году на нашей родине в Сарыкопа организовал коммуну. Он собрал в ней около пятидесяти бедняцких семей. В этом году коммуна получила от Советской власти семена и посеяла на берегах Сарыкопа около десяти десятин проса и пшеницы. Говорили еще, что Еркин провел к посевам арыки от озера. И урожай обещал быть хорошим.

Коммунары, строя жизнь на бывшей нашей земле, не любили нас, прежних хозяев, и даже отправили бумагу в Ак-Мечеть с просьбой прогнать нас с берегов Сырдарьи.

Подробно рассказывали нам и о том, с какой жестокостью убили Амангельды, хитростью заманив его в ловушку. А его заклятые враги пробрались сейчас в советские учреждения Тургая и Оренбурга и спокойно работают там.

Многие обстоятельства казались очень странными. Соратники Амангельды, сражавшиеся плечом к плечу с ним и в повстанческих отрядах и в Красной гвардии, писали заявления с просьбой наказать его врагов, его убийц. Но их заявления остались без ответа. Отцу удалось узнать еще, что один из алашординских главарей Ахмет Байтурсунов осенью тысяча девятьсот девятнадцатого года ездил в Москву с повинной головой и договорился с видными советскими работниками, что алашордынцам простят их прежние ошибки. Сейчас их уже не наказывают за старые дела. Да и сам Ахмет Байтурсунов, говорят, вступил в партию и стал Наркомом просвещения.

После этих известий отец уже не стал прятаться и часто ходил по улицам Тургая. Нас постоянно приглашали в гости. И хотя народ голодал, в зажиточных домах и бурдюков с кумысом и ягнят было вдоволь. Черные тросточки — кара-таяки именитых казахов мелькали то тут то там. Бывали на этих сборищах и домбристы, и певцы, и шутники-острословы. Среди них и наш Кайракбай.

Через несколько дней в Тургай пришла весть о том, что вот-вот сюда пригонят со стороны Акмолинска и Семипалатинска огромные стада скота — преимущественно коров, лошадей, верблюдов.

Немедленно Тургай был наводнен жителями всего уезда — здесь были и голодные и сытые, слетевшиеся, точно вороны на добычу. В городке и места всем не хватило. И многие располагались, как на кочевках, на берегу реки.

Отец начал обживаться в Тургае и купил лошадей для себя, меня и Кайракбая. Себе — крепкого резвого коня, скакуна — Кайракбаю, мне — смирную трехлетку. Он уже ждал своей доли скота. А как без коней гнать его в родные места.

Мы, понятно, были среди сытых. И, слушая разговоры отца и его единомышленников, я невольно видел их волчьи повадки. Волк приучает своих волчат, как только у них прорежутся зубы, красть козлят. Мой отец тоже был настоящим хищным зверем: как только мы приехали в Тургай, он никуда не отпускал меня; посвящал в свои тайны, планы, секреты.

Сытые замышляли страшное дело: им хотелось поднять бунт голодных против Советской власти. Поэтому они и хотели сделать так, чтобы скот не попал в руки бедняков. Для этого они решили угнать его по волостям, раздать баям, всеми правдами и неправдами пробравшимся к власти. Был даже составлен список баев, для которых предназначался этот скот. Мой отец и Кайракбай числились в этом списке голодными, прибывшими из сырдарьинской стороны.

Когда стало известно, что стада приближаются к восточному берегу Тургая, от «Комитета в помощь голодающим» была послана целая комиссия навстречу погонщикам. В комиссию вошел и Кайракбай.

Мы уже знали со слов Кайракбая, что в Тургай пригонят тысячу шестьсот сорок три головы скота, в том числе двадцать одного верблюда, четыреста сорок две ло-

шади, триста шестьдесят две коровы, восемьсот шестнадцать баранов. Среди тех, кто сопровождает скот, был один из образованных семипалатинских воротил — Жунысбек Мауытбаев.

Такой точный подсчет велся неспроста. Ведь каждый хотел побольше урвать себе. Отец с Кайракбаем были убеждены, что им выделят коров по десять.

Незадолго до этого Кайракбай вместе с тургайскими аткаминерами и каратаяками разработали довольно хитрый план. По этому плану погонщики приглашались в город; для них, как для самых почетных и желанных гостей, на берегу Тургая устраивали той, игры, скачки и всевозможные увеселения; на широкой площади в центре города организовывали митинг с пышными речами и приветствиями. Скот же тем временем верные люди должны были разделить на небольшие стада и погнать его в разные стороны.

Приближался срок исполнения этого плана. Но внезапно мой отец начал беспокоиться. Дело в том, что в городе он встретил Еркина Ержанова и боялся, как бы не вышло какой-нибудь неприятности.

Отцу стало известно, что и Еркин узнал его. И не только узнал, а сообщил, что среди «сытых» ходит и Абсу Жаутиков, раненный в боях с Амангельды, бежавший на Сырдарью. Еркин подозревал, что в хитрых делах со скотом участвуют и уездные работники. Он сказал: пусть пеняют на себя, если обидят голодных. И пригрозил, что мой отец не уйдет живым отсюда, если вмешается в дележ.

Отцу было не по себе, он изрядно испугался, но пока еще продолжал надеяться на лучший исход. Он снова произнес свое любимое:

— Посмотрим, что скажет элип.

В эти дни и мне удалось увидеть Еркина. Он очень изменился — стал мускулистее, раздался в плечах. Округлился лицом. Прежде и пушка не было у него над губами, а сейчас он отрастил красивые тонкие усы. В старой армейской шинели, перехваченной ремнем, в солдатских сапогах, с наганом в кобуре, он, молодцеватый и стройный, выглядел мужественным и воинственным.

Я искренне восхищался джигитом, хотя не решился к нему подойти. Все-таки я думал, что он враг нашей семьи, и где-то в глубине души питал к нему злобу.

Наконец, погонщики прибыли в Тургай. Их сразу по-

вели в дом одного из баев. Там началось пиршество, произносились речи. Особенно красноречив был Жунусбек Мауытбаев, низенький, полный, в халате из верблюжьей шерсти и богатой шапке. Ему в то время исполнилось тридцать лет.

Он знал все: и как жили в старину наши прадеды, и как будут жить наши внуки при коммунизме. В старину жили богато, вольготно, а при коммунизме все будет общее: и скот, и еда, и жены, и дети. Жунусбек был мастер говорить, и слушали его, затаив дыхание. Когда же он стал рассказывать о том, что такое коммунизм, в просторном доме богатого бая поднялся невообразимый шум. Всех так ошеломили слова Жунусбека, что многие, кажется, забыли и о главном для всех сейчас — о пригнанном скоте. Люди теснились к Жунусбеку и выпытывали у него разные подробности жизни при коммунизме, но Жунусбек твердил одно: все будет общее.

А рано утром на городскую площадь стал стекаться народ. На некоторых страшно было смотреть — такие они были оборванные и худые, едва ноги волочили. Никто из зажиточных на площадь не явился, ибо таков был уговор: на площадь не идти, делить скот тайно, без участия голодных и тайно гнать его по волостям. Поэтому мой отец остался дома, и мы с Кайракбаем отправились на площадь.

Толпа гудела, как растревоженный улей. Посреди площади был сооружен высокий помост. Откуда-то со стороны появилась группа всадников; среди них были председатель уездного совета Алимбетов и уже знакомый нам Мауытбаев. Толпа раздалась, образуя проход. Всадники спешились и, пройдя сквозь толпу, взошли на помост.

Наступила тишина. Первым взял слово Алимбетов.

— Сейчас не время много говорить,— начал он.— Семипалатинская и Акмолинская губернии, желая помочь голодающим Тургая, пригнали к нам большие стада скота. Скот надо поделить — но не здесь, на площади. Если будем делить здесь, выйдет неразбериха. Надо быть справедливыми! Весь скот мы решили распределить по волостям Тургайского уезда, а волости будут его распределять для каждого.

— Неправильно говоришь, товарищ!— крикнул кто-то,и на помост взобрался Еркин Ержанов. Он взмахнул своей красноармейской фуражкой.— Скот надо распре-

делять здесь, только здесь — между этими голодными людьми. Ни в коем случае не гнать по волостям! Пусть каждый сам гонит свою долю к себе! Так дело будет вернее.

— Правильно! Правильно!— поддержали Еркина.

— Перестаньте!— раздался густой хрипловатый голос.

Гул несколько приутих. Алимбетов хотел познакомить Еркина с Мауытбаевым, но Еркин усмехнулся:

— Придемся друг другу по вкусу, успеем познакомиться. Сейчас надо закончить дело...

— Я хотел дать слово этому товарищу...

— После, когда народ будет сыт, он скажет десять своих речей.

— А кто заставил их голодать?— сказал Мауытбаев. Ему не понравилось поведение Еркина.

— Царь!.. Белые!.. Алашординцы!..— выкрикнул Ержанов.

— Ну и придирайся к ним!

— Нет, я придерусь и к тебе и к твоим друзьям. Вы сами последыши и царя, и белых, и алашординцев!..

— И я?— в упор спросил Алимбетов.

— И ты!

— Можно подумать, что ты, а не я председатель ревкома,— крикнул он Еркину Ержанову.— Ты распоряжаешься, а отвечать буду я. Так получается? Так кто же председатель?

— Ты!.. Но ты волк, прикрывающийся овечьей шкурой!.. Мы знаем, что ты был среди тех, кто тайно убил Амангельды...

— Был!— загудела толпа.

Дальше уже ничего нельзя было разобрать.

— Ойбай, уйдем!— дернул меня за рукав Кайракбай. Он был не только бойким, но и трусливым. Я пробовал упираться, но верный вестовой отца насильно поволок меня домой.

...Назавтра стало известно: Алимбетов и его сообщники бежали из Тургая от народного гнева.

В ту же ночь из Оренбурга в Тургайский ревком пришла телеграмма: «Пока не прибудет комиссия Джангильдина, скот запрещается раздавать. Комиссия выезжает на автомобиле. Охранять скот поручено военному гарнизону города...»

События на этом не кончились. Местных и приехавших баев стали арестовывать и привлекать к суду. Отец

понял, что надо немедленно бежать. И мы бы уехали сразу, но днем нельзя было обращать на себя внимание, и отец с нетерпением дожидался ночи.

Длинным показался этот день отцу. Солнце взошло, поднялось к зениту и неподвижно застыло. Отец метался по комнате, будто под ним горела земля. Он был плохим мусульманином, не читал намаза, не соблюдал поста — уразы. Ему не было дела до бога, но сегодня он непрестанно повторял: «Боже мой! Боже мой! Спаси меня, аллах».

Под вечер хозяин дома пригласил нас к чаю. И только мы расселись вокруг самовара, как в комнату без стука вошли вооруженные люди. И среди них был Еркин. Отец побледнел, сузились его ноздри, потускнели, посерели глаза. Он хотел подняться и не мог, словно привязанный ремнями. Он хотел что-то сказать, но голос не повиновался ему.

— Погоди!— сказал Еркин.— Ты заволновался не зря. Тебя надо было бы убить сейчас, на месте. Но на этот раз я тебя не трону. И не ради тебя. Ради сына твоего, Буркута.

По щеке отца прокатилась слеза, но Еркин и не взглянул на него.

— Мальчик!— обратился он ко мне.— Я ведь узнал тебя вчера на площади. Ты стоял почти рядом со мной. Я скажу тебе, что мне хотелось давно тебе сказать. В шестнадцатом году, когда вешали моего старшего брата Нуржана, только ты один хотел помешать казни. Только ты один плакал. А ведь Нуржан был в руках твоего отца. Но ради тебя я не пролью крови.

— Дорогой, зрачок моих глаз, карагым!— отец протянул руку Еркину.

— Где у тебя совесть? Убери поганую руку!— разгневался Еркин.— Ты приехал с далекой Сырдарьи грабить голодающих. Вы степные волки! Вы находите друг друга по вою, и в Тургае сбились в одну стаю. Но вы не знали, что здесь для вас приготовлен капкан. Еще раз тебе говорю: я не пролью твоей крови ради сына. Но убирайся, покуда цел. Убирайся сегодня ночью.

И уже повернувшись к своим, добавил с ехидной усмешкой:

— Они хотели устроить той в этой суматохе. Не вышло! Кончился их той. Ну, пошли, товарищи. Здесь нам больше нечего делать.

Отец, стремившийся разбогатеть и на отдаленных берегах Сырдарьи и в пыльном Тургае, сам едва не попал в капкан. Наутро после разговора с Еркином он начал собираться в обратный путь. Жить в городке было и опасно и бессмысленно.

Одну из наших трех лошадей отец продал и купил вместо нее верблюда, на которого удобнее навьючивать кладь. Верблюд предназначался Кайракбаю. Кайракбай, как обычно, пробовал пошутить по этому поводу. Но в то утро отцу было не до балагурства. Кровь отлила от его лица, ставшего бледным и злым. К отцу трудно было подступиться не то что Кайракбаю, но и пожилому уважаемому человеку. Кайракбай заегозил, как молодой бычок, помахивающий издали хвостиком перед грозным быком. Он даже не решился спросить у отца, какой дорогой мы поедем, и попросил меня узнать об этом. Но отец и мне сердито ответил:

— А тебе не все ли равно, ты ведь не знаешь дороги.

Я обиделся, но не оробел:

— Скажешь, тогда буду знать.

Отец, чтобы отвязаться от меня, нехотя рассказал:

— Вначале будем ехать вдоль озера Сарыкопа, потом пересечем джайляу Кызбеля, через Аксуат, возьмем направление на леса Аман-Карагая и святое озеро — Лулиеколь, оттуда доберемся до Кустаная. Там пересядем на поезд...

Я передал разговор Кайракбаю. Как он обрадовался, что скоро увидит родную степь! Как он просиял!

— Только жаль, что мы не остановимся у Сарыкопа. Он ведь ничего тебе не сказал об этом. Там наша зимовка — кыстау. Хорошо бы отдохнуть у озера денек-другой. Может, попросим его завернуть?

Но я посоветовал Кайракбаю не докучать просьбами и без того раздраженному отцу.

Мы стали собираться в дорогу.

Вначале наш путь проходил по глинистому скучному плато — такыру. Часто встречались белые, как пролитое молоко, солончаки. Кайракбай рассказывал мне, что именно сюда Амангельды заманил царские войска и здесь, в безводном пустынном краю, наголову их разбил. В этом сражении был ранен и мой отец.

За такыром пошла ковыльная степь. Ковыль мягко

и ритмично колыхался под ветром. Степь здесь напоминала простор Аральского моря. Прошлым летом мы ездили с отцом к Аралу. На рыбачьем паруснике поплыли к острову «Барса-Кельмес» («Уйдешь — не вернешься»), расположенному далеко от берегов, чуть ли не на середине моря. В первый день наше плаванье было спокойным. Суденышко слегка покачивалось на волне. Но, когда мы отдалились от берега, белопенные волны становились выше и выше. Мы то стремительно подымались на гребне яростного вала, то снова ныряли в морскую пучину. Порою думалось — утонем, не вернемся домой...

Ковыльные тургайские волны были мягче и спокойнее. Но, как и в Аральском море, невысокие и редкие у берегов, они сгущались к центру. Углубляясь от юго-восточного края такыра и Сарыкопа, мы неожиданно почувствовали себя в безбрежном ковыльном просторе. Если там, у такыра, гривы ковыля при легком дуновении ветра начинали едва слышно перешептываться, то здесь они шумно закипали, как морские буруны, и голова томительно кружилась от однообразного гула... Я слышал, что морские волны подымают со дна драгоценные камни и порой выбрасывают их на берег. Вот так и ветер Тургая, раскачивая ковыль, подымает пряный запах трав и наполняет упругий степной воздух ароматами мускуса. Ойпырой, как ты прекрасна, степь!.. Ойпырой, как целебен и вкусен твой воздух!

Мы ехали неподалеку от восточного берега Сарыкопа. Щадя не слишком откормленных коней, не спешили, делали стоянки и к исходу дня достигли урочища Катын-Казган, названного так по имени колодца на джайляу у подножья Кызбеля. Здесь давно уже не останавливались кочевые аулы, и земля заросла густой свежей травой. Волнение Кайракбая оказалось напрасным. Отец не торопился. Он давно тосковал по этим местам и без наших просьб задержался на джайляу. Он бродил со мною и Кайракбаем по сочной, зеленой после дождей траве и любовался открытым простором. Но самым привлекательным был для нас сам колодец, у которого мы провели два дня.

Как рассказал отец, я родился у этого колодца весной, когда наш аул только приехал на джайляу. Поэтому меня особенно тянуло к нему и теперь. Лежал на земле верблюд, остывали разгоряченные кони. А я достал из переметной сумы ведро для варки пищи, привязал к его

ручке веревку и позвал Кайракбая к колодцу испить воды.

К колодцу не было тропинок, давно люди не утоляли здесь жажду. Мы заглянули вглубь и увидели темную воду. Я закинул ведро, и оно сразу наполнилось доверху. Вода была прозрачная, как слеза, холодная, как лед, сладкая, как медовый напиток. Я закрыл глаза от наслаждения и пил, не переводя дыхания. И вдруг что-то скользкое, неприятное коснулось моих губ. Я посмотрел и увидел дохлую мышь. Без всякой брезгливости я ее выбросил из ведра и с прежней жадностью припал к воде.

— Как только ты можешь?— удивился Кайракбай. Но я оставил его слова без ответа. И только почувствовав, что утолил жажду, сказал:

— Материнское молоко всегда остается вкусным. И мышь его не испортит. Не правда ли?

Кайракбай согласился со мной и даже вздохнул.

Вода Катын-Казгана для меня всегда будет сладкой, как материнское молоко!

Два дня мы здесь отдыхали. Ранним утром в час отъезда я пошел попрощаться с колодцем. Первые алые лучи солнца скользнули по его краю и осветили высохшую твердую землю глубокого ствола. Эта земля впервые показалась мне темно-красной. Я сковырнул пальцем несколько сухих песчаных комков и растер их на ладони. Я подумал, что эта земля впитала мою кровь, кровь моих предков. Когда вскоре мы уезжали, и я взглянул в сторону колодца, то убедился еще раз: красноватый теплый оттенок не исчез. Это был цвет моей земли. Больно было мне с ней расставаться!

Родная моя земля...

Такой же безлюдной была степь, таким же густым и волнистым ковыль. И вдруг на горизонте показались незнакомые мне очертания синеватой стрельчатой каймы. Мне сказали, что это и есть Аман-Карагай, но я не сразу поверил. Только когда мы подъехали ближе, я действительно увидел лес, большой лес, где вперемешку росли березы и сосны. Ни прежде, ни после не доводилось мне видеть такого чудесного леса. С прямыми медными стволами сосен соперничали своей стройностью и красой серебристо-белые стволы кудрявых берез. А когда мы въехали в тень деревьев, я залюбовался солнечными лучами, которые просачивались сквозь листву и хвою, ко-

леблемую ветерком со степной стороны. И, казалось, по земле медленно прокрадываются пятнистые барсы. Стоит соскочить с коня и пойти по траве среди кустарников, как заметишь под мелкими листьями темно-алые ягоды малины, пахучие, сладкие, щекочущие язык.

Извилистая лесная дорога привела нас к светлому озеру, круглому и довольно большому. В это время легкие облака заволакивали небо. Облака отражались в озере, затеняли его, и вода поэтому казалась темной и блестящей, как ртуть.

— Вот это и есть Аулие-коль!— сказал отец, и я вспомнил его прежние рассказы, что в глубине Аман-Карагайского леса спрятаны семь озер с чистой пресной водой и что на их берегах раскинулись поселки крестьян-переселенцев, обосновавшихся здесь лет сорок тому назад. А еще раньше на берегу одного из семи озер была кыстау — зимовка одного уважаемого человека по имени Жампыхожа.

— Те, кого называют хожой, считаются потомками пророка Мухаммеда,— говорил отец.— Имя Жампы было Жан-Мухаммед. Но казахам было трудно произносить это имя полностью, и его стали звать кратко Жампы. Он приехал со стороны Туркестана к хану Младшего Жуза Абулхаиру, и хан сделал его своим имамом. Казахи были плохими мусульманами, и он обучал их посту — уразе и молитве — намазу, предсказывал будущее, учил детей, лечил больных заклинаниями и нашептываниями. Поэтому его стали считать святым, и озеро назвали Аулие-колем.

— Помнишь,— продолжал отец,— мы видели в Тургае Мамбета. Отец Мамбета — Карахожа, потомок Жампы, нашему деду приходится племянником. Но Карахожа знал немного. Обряды вроде обрезания, и сбор на мечети — зекет и кушыр. Ум у него был небольшой, красноречием он не отличался, любил угощаться, но не любил угощать. Сын его, Мамбет, мало чем походил на отца. Рос он способным, бойким. Дома узнал первые азы грамоты, но решил учиться дальше. Упросил, чтобы его послали в медресе ишана Зейнуллы в Троицке. Там он хорошо усвоил и старую грамоту — кадим, и новую грамоту — жадши.

Женился он на Каракыз, младшей сестре известного в тех краях бая из рода кипчаков — Смаила, сына Жаманшала. Каракыз была уже в возрасте — около тридца-

ти лет. Женихи в синих сапогах, люди состоятельные, ее не брали, а женихам в сыромятных сапогах — бедноте — отказывали ее родители.

Женившись, Мамбет стал приказчиком в большом торговом деле, связанном с Москвой и Петербургом, Бухарой и Хивой, Омском и Семипалатинском. Мамбет разбогател, но ему пришлось вернуться на родину, когда обанкротился Смаил и их общему имуществу грозила конфискация. Мамбет, продолжая заниматься торговлей, принял на себя и обязанности муллы. Во время восстания шестнадцатого года он был против Амангельды. Повстанцы угнали у него скот так же, как у нашей семьи. Но он, лишившись своих табунов и отар, оставался куда богаче моего отца. И если бы не революция, он разбогател бы опять. Во времена Алаш-Орды он снова стал подниматься и был избран имамом. Но тут установилась Советская власть, и все его планы рухнули.

— Теперь он, бедняга, в чужие дела не вмешивается, таится дома,— размышлял вслух отец.— И только одна надежда сейчас у него, как и у всех состоятельных: присвоить часть скота, присланного для голодающих...

Отец обижался на Мамбета, часто наезжавшего прежде к нему в гости. После дел, затеянных Еркином, Мамбет сразу скрылся и не предупредил нас. И вот теперь отец к нему не заехал, хотя его дом был на нашем пути.

Однако на берегу Аулие-коля отец не раз вспоминал и родичей Мамбета и его самого.

— Вообще-то хожа не всегда бывает богатым,— говорил он.— Но если много земли, то и скот легче приумножать. А в Аман-Карагае много пастбищ с высокой сочной травой. Вот и сын Жампы — Акхожа и сын Акхожи — Карахожа из года в год увеличивали свои стада, отары и табуны. Одних лошадей у Карахожи было до двух тысяч. Но пришел черный год джута «Такыр-коян» и погибло много скота — и только сотня лошадей осталась у Карахожи. Вот и пришлось ему взяться за ремесло муллы — обрезание. И Мамбет после падения Алаш-Орды тоже занимался этим малоприбыльным делом. Да и чем ему было заниматься: байбише Каракыз не принесла ему детей. Младшая жена — токал рожала только девочек. И только в наше беспокойное время дождался он сына. А ведь дочки — не опора очага! И вот теперь, пожилой и небогатый, он занялся, чтобы как-то существовать, ремеслом своего отца.

— Впрочем,— добавил отец,— его смиренности я не очень-то верю. Он найдет способ жить безбедно.

...Мы пробыли в Аман-Карагае около недели, гостили и в русских селах и в казахских аулах. С неохотой я отправился дальше. Будь бы моя власть, я жил бы здесь все лето. Все здесь есть — густой лес, и озеро с родниково чистой водой, и освежающий воздух. К конским гривам липнут лесные ягоды. Не бывает здесь докучливых комаров и слепней. И хотя холод проник в аулы этого края, жить здесь все-таки легче,— выручают русские крестьяне Семиозерного. За все эти дни мы не встречали в Аман-Карагае пухнущих с голода, не видели просящих милостыню...

...Кустанай оказался небольшим городком на высоком берегу Тобола. Среди деревянных рубленых домов двухэтажные попадались очень редко. На широких улицах в сыпучих песках росли низенькие деревца.

— Городу лет семьдесят — восемьдесят,— просвещал меня и Кайракбая отец.— Костанаем его назвали по имени матери знатных людей из рода кипчаков Кангожа и Бальгожа. Могила Костан-ай, одной из двух близнецов, находилась на том самом месте, где заложен город.

У отца и в Кустанае был один родственник — богатый бай Мынайдар, ему принадлежали дом, магазин, мечеть и медресе — почти целый квартал.

Кустанайские баи тучнели от праздности — целыми днями пили пиво и играли в девятку. Отец тоже примкнул к картежникам и неожиданно для меня — прежде он соблюдал мусульманский запрет на спиртные напитки — все эти дни был под хмельком. Ему повезло в карты. Он выиграл целый мешок денег. Впрочем, в ту пору они ценились очень дешево.

Из Кустаная мы поездом доехали до Челябинска, и оттуда через Кинель к себе домой...

Не ради забавы по кругу бегут
За стрелкою стрелка: жизнь в беге минут.
Минута — и жизнь человека прошла!
И доли минуты тебе не вернуть*.

Так говорил великий Абай. Вот и нам казалось, что мы только вчера выехали из дому. Хотя нигде долго не задерживались, не гостили, а лето уже прошло.

* Перевод А. Глоба.

Зима на берегах Сырдарьи начинается поздно, зато осень приходит рано и длится почти до декабря. У нас в Тургае к жатве обычно приступают в конце августа или в первых числах сентября, а здесь к этому времени весь хлеб бывает уже в закромах.

К нашему приезду жатва кончилась, и между нашей семьей и жителями местных аулов вспыхнули распри и ссоры. Я уже говорил, что отец весною многим одолжил семенное зерно из своей потайной норы, а осенью рассчитывал получить в пять-шесть раз больше.

Пришла пора получить долг, но должники, как сговорились, вернули отцу только то, что он давал. Будь бы это в старые времена, перед войной, когда отец был болысом — волостным, все бы обстояло иначе. Должники бы в дом принесли пшеничку. Не то бы он так уселся им на плечи, что никто бы и пискнуть не посмел. Но те дни миновали. Что же оставалось делать отцу? Он поехал в Ак-Мечеть к своему постоянному советнику Аралбаеву и очень быстро вернулся с казахом Лаумуллиным и еще двумя милиционерами. Лаумуллин, как поговаривали, был начальником штаба уездной милиции. Ему было лет тридцать пять, но, судя по всему, он прожил трудную жизнь. Во рту у него поблескивали вставные зубы, он припадал на правую ногу. Его смуглое в оспинках лицо наливалось кровью, когда он кричал, сжевывая слова. Но как ни крут был Лаумуллин, должники оказались тоже не робкого десятка. Их волю не могли бы сломить и кокандские наместники. Они не отступали. А когда милиционеры попытались применить силу, их самих едва не избили. Словом, долги отец так и не получил. Лаумуллин ни с чем вернулся в Ак-Мечеть.

Но и на этом дело не кончилось. Люди, обиженные отцом и милицией, написали заявления не только руководителям Туркестанской республики, но и в Москву. В начале зимы из Ташкента приехала комиссия. Отца посадили в тюрьму. Выручить его сумел только Аралбаев.

Опять из рук ушел достаток, приобретенный хитростью. Злился отец отчаянно. А тут на его беду и в семье у нас стало неблагополучно. Отец решил выдать замуж двух оставшихся сестер, с корыстной целью получить калым, и просватал их довольно ловко. Мать заупрямилась. Но все-таки старшая, Берен, была отдана жениху. Но когда пришла очередь Булис, отец ничего не мог поделать. Мать защищала ее как тигрица. Отец попытался

силой вырвать дочку из материнских рук, но за мать и сестру стали горой мы с Текебаем. Волей-неволей отцу пришлось смириться.

«Счастье улетает оттуда, где гнездится раздор». Справедливость старинной казахской поговорки мы все чувствовали на себе. Ладу не было и в помине в нашем доме. После ссор, связанных с дочерью, и говорить никто не мог друг с другом спокойно. Есть такое изречение:

Я стал перед ханом, сник —
Не вырвал мне хан язык.
К народу за правдой пошел,
Народ вины не нашел.
А дома юлю, как лиса,
А дома живу хуже пса.

И еще говорил один акын:

Не в почете я у жены —
Ей изъяны мои видны.
И, лицо мое зная, родня
Очень редко похвалит меня.

Отец, казавшийся грозным всем посторонним, уже не страшил мать. У нее после долгих лет молчания развязался язык, и она не давала себя в обиду.

Думаю я о своем доме и снова вспоминаю изречение одного аульного острослова:

Когда в сухом навозе
Запрятан огонек,
Его ты не потушишь.
Он разгорится в срок.

Словом, старые раздоры разгорелись костром, и мать не только в злости и напористости перестала уступать отцу, но и в своем властолюбии.

После этих распрей отец еще чаще стал отлучаться из дому. Перед самой весной он взял меня с собой в Ташкент. Мы остановились у знакомого узбека Балатхана, который в царское время вел торговлю в Иргизе и Тургае. И в каждом этом городке он имел не только магазины, но и дома и семьи. Впрочем, жены и магазины были у него и в других местах. Мой отец, давний приятель Балатхана, не так давно отдал ему в жены свою молоденькую племянницу. Балатхану ко времени нашей встречи было уже семьдесят. Седой, морщинистый, обрюзгший, он медленно передвигался, опираясь на палку,

и уже ничего не видел без очков. А отцова племянница, его жена, оказалась такой молодой, полнотелой, красивой... Она только раз выходила к нам, скрываясь все остальное время на женской половине. Старый Балатхан ко всем ее ревновал.

Нас обильно угощали и здесь и у других знакомых, чаще всего образованных влиятельных казахов. И несмотря на то, что я был мальчуганом, присматриваясь к этим людям, слушая их беседы, я многое начинал понимать. В Ташкенте осели сливки Алаш-Орды. Здесь был главарь алашордынцев Западного Казахстана Жиханша Досмухамметов, восточноказахстанский главарь Халил Габбасов и центральноказахстанский — Айдархан Турлыбаев. Всех не счесть. Были здесь и известные писатели — Магжан Жумабаев и Жусыпбек Аймаутов.

Нет, они не просто гуляли. В Ташкенте шла напряженная работа. Я слышал разговоры о статьях и стихах в местной газете «Белый путь» и журнале «Звезда». Но особенно удивился я рассказам о басмачах. Они прячутся в горах Памира и Тянь-Шаня, а руководит ими турецкий паша Ануарбек. У меня даже мороз по коже пробежал, когда я услышал произнесенные шепотом слова, что этот Ануарбек в начале зимы тайно приезжал в Ташкент и совещался со здешними националистами.

Один из новых знакомых напрямик сказал отцу:

— Чем так жить, гонимому ветром, скрываться в оврагах, не лучше ли тебе перебраться к басмачам.

Отец заколебался:

— А как это можно сделать?

— Ты только решись, остальное не так уж сложно. Хочешь — иди в басмачи, хочешь — перейди границу — афганскую или иранскую.

Отец продолжал колебаться, а уже потом сказал мне:

— Не все алашордынцы съехались в Ташкенте. Среди них нет твоего дяди. А он и хитростью, и умом, и знаниями никому здесь не уступит. Почему, интересно, он в стороне?

Вскоре отец узнал, что мой дядя из Чингизтау перебрался в Оренбург и устроился там на службу. Отец стал задумываться — почему это произошло. Прощаясь со своими ташкентскими друзьями, он пообещал им скоро вернуться и сообщить свое решение.

В поезде он неожиданно сказал мне:

— Ты сойди на станции Джусалы и отправляйся в

аул. Скажи всем, что я задержался в Ташкенте. А я поеду в Оренбург и повидаюсь с дядей. Смотри, никому об этом!

Возвратился отец только через месяц.

— Летом здешние зажиточные люди будут кочевать в Каракумы. Мы вначале присоединимся к ним, а потом незаметно продвинемся дальше дорогой Сазанбая. Там через Ак-коль к Тургаю и вторую половину лета проведем у своего Кызбеля.

Так говорил отец.

И перед моими глазами маревом проплывали родные края. Они и во сне мне снились, они звали наяву. Но тяжкая власть отца связывала меня, как заарканенного жеребенка. Поэтому я был рад предстоящей поездке в Тургай на джайляу Кызбеля.

Жди меня, родная земля. Скоро, очень скоро я снова увижу тебя.

ПЕРВАЯ КОММУНА ТУРГАЯ

Весной мы присоединились к аулам, кочевавшим в сторону сырдарьинских Каракумов. И хотя мы хранили в тайне решение навсегда покинуть туркестанские края и возвратиться в Тургай, соседи, кажется, разгадали наши планы. Уж слишком тщательно готовил отец верблюдов и снаряжение. Было ясно, что он задумал далекую кочевку. Он ничего не хотел оставить в кармакчинском ауле, вплоть до изгороди для загона скота. Он навьючивал на верблюдов даже жерди — мол, пригодятся, не забыл подпорки и даже кизяки. Что не под силу было увезти, он продал по дешевке.

Собирались, можно сказать, открыто, но никому не выдавали своих намерений.

Я спросил у отца:

— Зачем мы играем в прятки? Неужели надо скрываться от своих соседей?

— Заткни глотку!— прикрикнул отец.— Или ты хочешь, чтобы нас ограбили?

Караваном в десять верблюдов мы тронулись в путь. Через пять-шесть ночевок мы уже достигли Каракумов. Нам пришлось пересечь безводную широкую степь, поросшую полынью, житняком, заячьей костью. Чаще и чаще попадались заросли саксаула и колючего тростника — жынгыла. Колодцы встречались редко. Тропки к

ним знали только старожилы этих мест. Нещадно палило солнце.

Когда остались позади сыпучие песчаные бугры, снова повеяло весенней прохладой. Здесь было вдоволь корма. Два года в эту сторону Каракумов не кочевали аулы. Может быть, поэтому здесь и поднялась такая высокая сочная трава. Хорошо было за песчаными буграми и с водой. Стоило выкопать неглубокий колодец, как он заполнялся водой до краев. Рассказывали, что в низинах, поросших кугой, степные козы передними копытами выбивают ямки, и на дне таких ямок сразу выступает вода. Я как-то наблюдал, как этим же способом и лошадь добывала воду. Отощавший на берегах Сырдарьи скот разбредался по пастбищам и быстро нагуливал жир. Кисло-сладкие каракумские травы куда питательнее сырдарьинских. Мясо и молоко скота, откормленного в Каракумах, и вкуснее и полезней. Гуще и слаще сливки, пьянее кумыс.

В этом году в песках было много дичи, но отец забросил охоту и неутомимо продвигался вперед. К исходу лета мы уже вышли на окраину Тургайской степи. И первый ковыль засверкал на солнце, как брызги пены близкого ковыльного моря. Вовсю заливались жаворонки, степные соловьи. Они, словно с почетом встречая нас, тысячами подымались в глубокое голубое небо и, невидимые, распевали свои песни. Погода была почти все время ясной. Только однажды приплыли с севера белесые облака, и редкий дождичек прибил пыль на дорогах.

Как никогда много зорманов — сусликов было в это лето в Тургайской степи. Раньше за ними охотились, гоняли их, и они встречались очень редко. Теперь же они, как столбики, вбитые в землю, неподвижно возвышались вдоль дорог и тропок. И только когда мы вплотную приближались к ним, скрывались в норках, вильнув хвостом. От их порок шел приятный мускусный запах, смешанный иногда с полынной горечью. Я узнал, что девушки и щеголи-джигиты в нашем краю зашивали хвосты сусликов в рукав с той же целью, с какой нынешние франты пользуются одеколоном и духами. Запах назывался жупар.

Любуясь красою родных мест, я с особенным восторгом наблюдал за стадами пасущихся дроф. Они тоже перестали бояться человека. Но когда мы подъезжали к ним совсем близко, они убегали, хлопая широкими крыльями. Порою они взлетали на высоту человеческого

роста и снова опускались неподалеку от нас. Отец раньше готов был охотиться на дроф с утра до ночи. Теперь же он не обращал на них внимания.

Другие баловни степи — журавли кружились в небе и перекликались между собой.

— Видишь, обучают летать птенцов,— говорил мне отец,— нет другой птицы, которая в степи летала бы так высоко!..

Так встречали нас птицы и звери. Но люди Тургая,— среди них так много знакомых,— до сих пор не встречались на нашем пути.

Мы проезжали берегами белого озера, Ак-коля. Я много слышал о нем, но увидел впервые. Много птицы гнездилось в его камышах, а у самого берега, затянутого водорослями, кишела рыба. И все это богатство пропадало даром!

Гладкая прямая дорога привела нас от озера к речке Кенжаик, впадавшей в родное Сарыкопа. Мне казалось, я знаю здесь каждый кустик, помню запах каждой травинки. Весною Кенжаик заливает берега, а летом входит в свое русло. В густой прибрежной траве может спрятаться жеребенок. Шелковым узорным ковром расстилаются цветы. Чего только здесь не найдешь: и дикий лук, ароматный и сладкий, и буылдык с белыми цветами на длинных стеблях. Испеченная в золе луковица буылдыка — вкусное лакомство. Она так и рассыпается, так и тает во рту.

Еще в прошлом году в Тургае до нас дошел слух, что земли вокруг Кенжаика заняла коммуна «Искра», созданная Еркином. И когда теперь наш караван приблизился к Сарыкопа, отец велел поставить малые походные юрты, а сам решил посмотреть своими глазами, что происходит на Кенжаике. С отцом поехал и я.

Мы не поверили своим глазам. Густые высокие посевы зеленели вокруг. Это был рис, он еще не вызрел. Мы шли вдоль границ посевов, ведя за собой лошадей. От видневшегося на горизонте поселка к нам приближался всадник. Мы сели в седла и поскакали ему навстречу. Отец оторопел. Это был Еркин. Поздоровались сдержанно, даже отчужденно. И только когда Еркин тепло пожал мою руку и спросил о здоровье, отец, словно спохватившись, произнес слова традиционного приветствия:

— Здоровы ли твои близкие, здоров ли ты, здоров ли твой скот?

Мне было стыдно за отца. Он мне всегда казался одним из самых сильных, самых смелых людей, но как он юлил, каким жалким был он сейчас перед Еркином.

И чтобы как-то смягчить напряженное состояние, я спросил, указывая на зеленые рисовые посевы:

— Какому баю они принадлежат?

Еркину понравился мой вопрос. Он посмотрел с улыбкой на меня и ничего не ответил.

А отец, преодолев смущение, стал говорить о том, как он тосковал по родной земле.

— Особенно вот он рвется домой.— И отец показал на меня. Я взглядом подтвердил, что это так.

— Короче говоря, переезжаете?— в упор спросил Еркин.— А где же ваше кочевье?

— У нас уже нет кочевья, как прежде... Всего две семьи — моя и Кайракбая. Мы остановились около того оврага... Когда же узнали, что здесь есть аул, решили, по обычаю, проведать земляков...

— Что ж, ладно,— сказал Еркин,— не будем жариться на солнце. Поедем, посмотрите, как мы живем.

Отец только и ждал этого вынужденного приглашения: уж очень ему хотелось взглянуть на коммуну.

Мы ехали рядом, и Еркин, почти не обращая внимания на отца, рассказывал о себе, о жизни аула.

Осенью тысяча девятьсот восемнадцатого года Еркин присоединился к отряду Красной гвардии, воевавшему с атаманом Дутовым. Весной двадцатого года, когда враги Советской власти были разгромлены, он вернулся на родину. По пути заехал в Омск и неожиданно для себя поступил на двухмесячные курсы по подготовке советских и партийных работников. После курсов через Кустанай возвратился в родной аул. Около четырех лет Тургайская земля была фронтом гражданской войны. Она разорилась, обезлюдела. Многие далеко откочевали и только сейчас стали возвращаться обратно. Маленькие кочевые хозяйства за четыре года войны совсем пришли в упадок. Только теперь, когда установился мир, люди стали приходить в себя, заботиться о скоте, о посевах. Надо было им как-то помочь, объединить их, позвать в новую жизнь.

— Вот поэтому я решил обосноваться здесь и поехал в центр Тургайской губернии — Оренбург,— продолжал Еркин.— Я увидел, как строится дом Тургайской автономной республики. Дело, можно сказать, оставалось

только за крышей. Мне предлагали остаться в Оренбурге. Но я отказался, решил быть со своими аульными товарищами. Вот так я и вернулся на родину... Я коммунист с осени девятнадцатого года. И когда узнал, что в разных местах Советской России создаются коллективные хозяйства — коммуны, решил и у себя провести такой опыт. Я посоветовался с бедняками своего аула, с другими бездомными людьми, прикочевавшими сюда на землю дедов. Вот мы и обосновались у берега Сарыкопа... Первой в Тургае коммуной...

Отец кивал головой, будто в знак одобрения, но ему трудно было скрыть зависть и злобу.

Еркин рассказал и о том, что значительную часть скота и имущества помещика Чушкина, жившего в Семиозерном, государство передало коммуне. Коммуна получила двадцать две дойных коровы, восемь быков-производителей, молодняк, семь лошадей...

Тут отец, прислушивавшийся к каждому слову Еркина, не скрывая своего раздражения, буркнул:

— Да-а, немалая добыча!

А Еркин спокойно продолжал, словно подливал масла в огонь:

— Есть еще у нас двухлемешные плуги, сеялка, брички и все другое снаряжение.

— И это пригодится!.. Бесплатно ведь получили!..— Отец вздыхал так тяжело, будто его имущество стало имуществом коммуны.— Значит, вы уже в сборе, хозяйство идет на лад.

— Да,— нехотя отвечал отцу Еркин,— ваш Кенжаик оказался самым подходящим местом — и для посевов и для поселка.

— А сколько у вас домов?

— Семьдесят три. Можно сказать, у нас люди сорока родов, а живут дружно. Весной прошлого года посеяли в Кенжаике две десятины проса, две десятины пшеницы, одну десятину овса. Мы оросили посевы водой Сарыкопа. Урожай получили хороший: проса по сто пятьдесят пудов, пшеницы — восемьдесят, овса — сто десять. Посеяли на пробу около десятины картошки, моркови, огурцов, арбузов и всякой другой зелени. И все удалось. Люди остались довольны.

Нелегко это было слушать отцу, который когда-то сам сеял на этой земле и овес и пшеницу. Даже оросительные каналы прокапывал от озера к посевам.

Так, за разговорами, мы незаметно подъехали к аулу. Саманные домики, вытянутые в два ряда, образовали подобие улицы.

Еркин остановился около одного такого плоскокрышего дома, крашенного желтой глиной и, слегка свешиваясь с седла, заглянул в маленькое оконце.

— Апа!— негромко крикнул он.— Выходи сюда, апа, родственники приехали.

Пока мы привязывали коней к столбу у ворот, из дома вышла женщина в стареньком коричневом халате. Я сразу узнал мать Еркина Казину. О ней когда-то говорили как об очень красивой женщине. Моя мать не без основания ревновала когда-то к ней отца. Постарела с тех пор Казина, но морщины не портили ее лица, и сухощавая фигура сохраняла молодую стройность. Я посмотрел в ее чистые и прозрачные глаза. В них можно было прочитать все. Сейчас они выражали недоумение: мол, кто такие приехали.

— Апа, узнаешь этих людей?— спросил у матери Еркин, указывая рукой на нас.

Она растерянно смотрела на отца, ущипнула пальцами щеку и наконец воскликнула:

— Боже мой, никак это Кесир!

— Да, Кесир и есть,— и отец шагнул к ней.

Она назвала его старым прозвищем Кесир — Вредный. Оно произносилось только за глаза, но, конечно, отец хорошо знал эту свою аульную кличку. И даже потому, что пожилая женщина без всякого смущения вслух произнесла оскорбительное прозвище, отец понял, как переменились времена.

Времена переменились, но люди еще оставались верными законам родства. Иначе бы Казина вряд ли поздоровалась с отцом так тепло, как предписывает обычай. Казина, как было исстари принято в аулах, заплакала с причитаниями. Только она не голосила, а приглушенно бормотала какие-то жалостные слова. О чем она плакала? Может быть, вспоминала повешенного Нуржана?

Потом, вытирая пальцами слезы, она взглянула на меня и удивилась еще больше:

— Да это никак Буркутжан!

И поцеловала меня в лоб.

— Каким ты стал настоящим джигитом. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить!

Когда вошли в дом, Еркин отозвал меня в сторону.

— Буркут, погоди немного! Есть у меня жирная коза, я ее хочу зарезать для вас. Пусть откушает вся ваша семья, а ты — я тебе дам провожатого, привези с собой мать и всех, кто кочует с вами.

Я поблагодарил Еркина, а сам подумал: «Неужели он и вправду хочет быть близким человеком для нас?»

Вместе с джигитом из коммуны я поскакал к нашему кочевью. Поднявшись на холм, я увидел, что без нас уже успели поставить юрту совсем недалеко от «Искры».

Мать с беспокойством спросила об отце. Узнав, что он остался у Еркина, удивилась и огорчилась. А когда я неосторожно назвал имя Казины, даже озлобилась. Губы ее задрожали, по лицу пробежали тени, как с порывом ветра пробегает рябь по глади озера; глаза вспыхнули, как воспламенившиеся спички.

И напрасно я ей передал привет и приглашение Еркина. Она и видеть его не захотела.

— Передай отцу,— гневно сказала она,— пусть он будет там сколько ему влезет. А мы все равно утром двинемся прямо в Кызбель!..

Я понял, что сам испортил все, и уговаривать мать было теперь бесполезно. Молча поскакал я обратно в «Искру».

...Еркин и отец уже успели напиться чаю, в котле варилось мясо козла. В доме стоял гул от разговоров. Я выпил чашку кисловатого просяного напитка — коже, вышел на улицу и примкнул к мальчишкам, которые и здесь, как в любом ауле, обычно собираются в стайки.

Я слышал народное изречение:

Взгляд у орленка обращен в простор,
Щенок к объедкам устремляет взор.

Не знаю, какими глазами смотрел я на аул коммуны — глазами ли птенца беркута или щенка, но все, что я увидел вместе с мальчишками, меня очень интересовало.

Пока меня не позвали к обеду, я побывал во многих домах. Байского изобилия, когда на голову собаке льется кислое молоко, здесь еще не было, но люди жили уже в достатке и возлагали большие надежды на осень.

Еркин был здесь самым главным. Такой молодой джигит, ему было всего двадцать два года. А вот его ровесник и наш родственник Текебай и свою-то голову едва носит на плечах, где уж ему быть опорой для других?

Как шутил один акын:

Из рода Оразды
В пятнадцать лет джигит.
Из рода Тогышар
И в двадцать — детский вид!

Далеко ушел Еркин от нашего Текебая.

...Я проснулся и увидел, что в комнате больше никого нет. Лучи полуденного солнца просачивались в окно. Я оделся, вышел во двор. Отец сидел в тени и беседовал со стариками. Я не хотел ему мешать и опять стал бродить по аулу. Скоро мне повстречался озабоченный хозяйственными делами Еркин.

— Так значит ты, мальчик, интересовался вчера нашей жизнью? Смотри, наблюдай. Приезжай еще к нам. Обязательно приезжай! Мы стараемся открыть дорогу новой жизни. И кровь проливали ради этого. Знаешь, почему мы так назвали нашу коммуну? Первую в Тургае коммуну. Это искра, которая должна уничтожить старину. Но есть еще много людей, которые стремятся ее потушить. Только разве хватит у них сил?

Я подумал про себя: да, такие люди есть. И среди них мой отец.

Когда мы уже выезжали из аула, отец мне сказал:

— А знаешь, осенью Еркин собирается в Оренбург. На три года. Учиться. Образование-то у него маленькое.

— Это, наверное, хорошо, что он поедет.

— Очень хорошо!— И тут я увидел в отцовских глазах знакомые мне злые огоньки.— Пока он будет в Оренбурге, мы уж добьемся, чтобы рухнула его коммуна.

Страшными показались мне эти его слова.

— Зачем ты так говоришь?

— Молод ты еще, чтобы понять это.

Я не мог догадаться, какую беду задумал приготовить «Искре» отец. Но мне стало ясно, что он ни перед чем не остановится. И у меня дрогнуло сердце в предчувствии несчастья. Но ведь Советская власть, победившая врагов, куда сильнее отца. Она и его сомнет.

Нет, так не будет. Меня, как степную травинку, вырванную из материнской почвы, швыряет ветром с малолетства. Но я нашел свою судьбу, я снова стал зеленым ростком, укоренившимся в Тургайской степи. Я чувствую, как во мне растет светлая любовь к родному краю. И такой близкой стала мне искра, зажженная Еркином. Она подожгла и мое мальчишеское сердце.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ЛЮБИМАЯ НЕВЕСТА

(Из второй тетради Буркута)

...По полный жизнью молодой,
Я человек, как и другой!

М. Лермонтов.
«Боярин Орша».

Мы подъехали к колодцу, называвшемуся Катын-казган — выкопанный женщиной. Здесь, у восточного подножья Кызбеля, мы останавливались и в прошлом году.

Сейчас было начало лета, ярко зеленели высокие и густые травы. Легкий и свежий ветерок разносил повсюду их крепкий и нежный запах. Казалось, он звал отдохнуть. Хотелось остаться здесь навсегда.

Наши немногочисленные верблюды и лошади щипали сочную траву. Наконец-то измученные долгой дорогой животные могли свободно пастись. И впрямь, когда верблюд ложился на землю, трава достигала его спины. Бедный верблюд! Он устал от долгого пути и тяжелой клади. Ему так хотелось отдохнуть, он прилег и удобно вытянулся, но тут сладкий запах трав приятно защекотал его ноздри. Верблюд поднял голову, чихнул, зашлепал губами. И, не вставая, принялся с хрустом пережевывать сочные стебли.

С нежностью я взглянул на мать. Истосковалась она по родной земле, устала ждать возвращения. И теперь, вдохнув знакомый до боли воздух Тургая, вдруг припала к травам грудью, распростерла руки, словно обнимая степь, и заголосила, запричитала от радости.

И я, как жеребенок, сорвавшийся с привязи, забегал, запрыгал, не чуя ног под собой. Катался по земле, снова вскакивал, мчался к колодцу, заглядывал в его темную глубину и шевелил ртом, будто втягивал в себя холодную чистую воду.

Другие тоже восхищались Тургаем, только сдержаннее, скромнее, как подобает серьезным людям. «Да, чу-

десно! Чудесно! Здесь можно жить!» И лишь отец ни жестом, ни словом не проявлял восторга. Он опустил глаза и угрюмо глядел себе под ноги. Должно быть, он вспомнил о коммуне «Искра», которая угрожала его спокойствию, и теперь думал, как бороться с ней. Причитания матери и моя беготня помешали его размышлениям.

— Перестань визжать, вставай! Никто у тебя не отбирает твоего щенка!— злобно крикнул он.

Мать в тот же миг замолчала, испуганно подняла голову.

— Пора ставить юрты!— буркнул отец.

Все принялись за дело. Работа не спорилась, решетчатый остов юрты расползался, и было сущим мучением натягивать на него соединяющие обручи. Тем временем нас окружили какие-то пешие и конные люди. Должно быть, их аулы уже расположились во впадинах — оврагах Кызбеля. С прошлой осени жизнь в Тургае стала налаживаться. И поэтому весной почти все тургайцы прикочевали на джайляу Кызбеля.

С помощью земляков мы установили, наконец наши юрты, разгрузили и убрали вещи, полакомились ерликом — угощением в нашу честь. Ведь мы прибыли на джайляу позже всех. Гостеприимно встретила нас родная земля, близкие нам люди. Конские тропы, ведущие к нашему аулу, как говорится, не остывали от копыт.

В гости к нам приехала Батсапы, родная сестра моей матери. Мать и тетя были удивительно похожи друг на друга. Только мать моя, хотя и была старше Батсапы лет на пять, на шесть, выглядела значительно моложе. С грустью они вспоминали юность, расспрашивали друг друга о житье-бытье. По новым морщинам, по седине в волосах младшей сестры мать догадывалась, что нелегко ей пришлось в эти годы.

Батсапы приехала не одна: она привезла с собой младшего сына. Его звали Мусапыр. Он был изящен, тонок, щеголял в городской одежде. Его продолговатое, мягких овальных линий лицо было бы совсем приятно, если бы не нос, чуть крючковатый, как у хищной птицы. Я был значительно крупнее и крепче его, но все же Мусапыр выглядел взрослее. Да он и на самом деле оказался старше меня на четыре года. Мусапыр учился в Оренбурге.

В детстве я был драчун и забияка. Не было случая, чтобы я не отколотил мальчишку, гостившего у нас, не

довел бы его до слез. Уж такой у меня был вздорный характер. Мусапыра, наверное, постигла бы эта же участь, если бы не его безропотность и тихий нрав. В душе я не чувствовал к нему большой симпатии, но он ни разу не давал мне повода вступить с ним в драку. Мусапыр многое унаследовал от своей матери, такой тихой женщины, о каких у нас в народе говорят: до того кроткая, что и у овцы не решится отнять травку. И хотя сын был в нее, мне все равно хотелось порой побить его. Но что поделаешь, если он мне всегда подчинялся. А ведь даже собака не кусает лежачего.

Особенно любопытной чертой Мусапыра было его умение угождать. Стоит только во время какого-нибудь незначительного разговора взглянуть ему в глаза и беспричинно улыбнуться, как и он улыбнется в ответ. Стоит тебе снова принять серьезный вид, холодно посмотреть на него, как и он становится серьезным, выражение его лица можно настраивать и менять, как настраивают струны домбры перед тем как проиграть мелодию.

Когда Мусапыр пытается мне пересказывать содержание прочитанных книг, его речь становится плавной, как река. Он любит декламировать стихи. Пожалуй, чаще всего рассказывал он мне о далеком Оренбурге, всячески расхваливал его и убеждал меня непременно ехать туда учиться. Но редко его слова доходили до моего сердца.

Едва Батсапы с Мусапыром уехали, как к нашим юртам стали прибывать новые гости. Так Батсапы проторила дорогу к нам сородичам и знакомым.

Однажды около нас остановились трое: верхом на двугорбом верблюде сидела женщина; этого верблюда вел за повод мужчина-верховой; за первым верблюдом на привязи медленно переступал ногами молодой верблюд-производитель — буыршын, через его спину был перекинут большой кожаный бурдюк, из него торчала мешалка для взбалтывания кумыса. Этот маленький караван замыкал мальчуган на саврасом жеребенке-трехлетке с укороченным хвостом и остриженной гривой. Только челка коня оставалась нетронутой. Всадники привлекли мое внимание, когда я находился в степи. Они подъехали ближе, и я внимательно разглядел их. Грузное тело пожилой темнокожей женщины едва умещалось между двумя горбами верблюда. Лицо ее было таким жирным, что не только глаза, но и нос заплыл. Ее голова, повязанная платком, казалась огромной, как котел. Что ка-

сается верхового, который вел в поводу верблюда, то его немудрено было принять за четырнадцатилетнего подростка,— таким он был низкорослым. Но густая вьющаяся черная борода говорила о прожитых годах. Пристально взглянув на мальчугана, замыкавшего караван, я удивился: лицом он больше походил на девочку.

Неподалеку от наших юрт они остановились. Чернобородый коротыш легко спрыгнул с седла и заставил лечь на колени отчаянно ревевшего верблюда. Он попытался снять женщину, но вероятно скоро понял, что одному это не под силу. Он стал оглядываться, словно в поисках помощника. В это время я подошел к ним и, хотя в душе посмеивался над низкорослым коротышом, но по обычаю отцов приветствовал его.

— Алейкум ассалам,— не очень приветливо ответил коротыш, бросив на меня недоброжелательный взгляд. Коротыш был озабочен тем, что ему не помогают снять старуху.— Ты чей сын?

— Отцовский!— не мог я сдержать своего озорства.

— Да разве бывают дети без отцов? Как ты со мной говоришь? Что ты болтаешь? Лучше помоги ее снять,— и коротыш показал на старуху. Но тут из юрты вышел отец и подбежал к путникам.

— Боже мой, да ведь это Карекен!

— Абеке!— низким мужским голосом воскликнула черная старуха. Боясь упасть, она старалась не шевелиться. Отец обнял ее, попытался снять, но и ему это не удалось. Только подоспевшая на помощь мать и еще несколько человек с трудом сняли толстую женщину. И среди мужчин и среди женщин я видел много толстых, но такой огромной и высокой толстухи до сих пор не встречал!..

И она и коротыш так удивили меня, что я и не заметил, как мальчуган слез со своего жеребенка и подошел к нам. Взрослые шумно здоровались со старухой по имени Кареке и с коротышкой Кикымом, а я всматривался в ребенка, смущенно стоявшего в стороне. Ну конечно это девочка!.. Глядя на тонкие приятные черты ее лица, на стройную, высокую фигурку, на длинные, изящные пальцы, сжимавшие камчу, я подумал, что она либо ровесница мне или же на какой-нибудь годик моложе. Словом, она была в том возрасте, которому приличествует наряд казахской девушки. Но почему же в таком случае она в одежде мальчика?

Матушка моя, здороваясь с Кареке, по обычаю попричитала, а потом, вытирая платком выступившие слезы, заговорила спокойнее, пока не увидела девушку-подростка.

— Боже мой, да ведь это Батесжан. Иди сюда, милая!

И крепко обняв ее, совсем смущенную, припялась целовать в лоб и щеки.

— О новостях, о своем житье-бытье давайте поговорим в юрте,— пригласил отец.— Кареке, должно быть, устала в дороге, да и день сегодня душный. Ну, заходите, прошу вас.

Кареке и впрямь выглядела уставшей, нездоровой. Она едва держалась на своих толстых ногах. Отец и мать подхватили ее под руки и повели в юрту. Девочка пошла вслед за ними. Только коротышка Кикым остался у верблюдов и вместе с Кайракбаем разнуздывал их и разгружал кладь с угощением, которое привезла с собой Кареке.

Маленький Кикым ступал тяжелыми шагами, словно стараясь прибавить себе важности и веса. Всем своим видом он говорил: «Я свое дело сделал, остальное устроится само собой, без меня».

— Кто они такие?— спросил я у Кайракбая, который вел к юрте отвязанного верблюда.

— Ты видел в прошлом году в Тургае Мамбета-хожу, потомка святого Жампы? Значит, видел. Так вот, эта толстая женщина Каракыз его старшая жена, байбише. А бородатый коротыш — родной младший брат Мамбета — Кикым. Девочка, одетая, как мальчуган, должно быть, вторая дочь младшей жены Мамбета. Твоя матушка зовет ее Батес. Старшая дочь, кажется, Катима, а по домашнему Какен. Имя же этой девочки, если я не забыл, Батима. Чаще ее называют Батес. Она всего на год моложе Какен, а Какен твоя ровесница. Если мне память не изменяет, имя ее матери — Жания. Слышал я, в их доме принято говорить, что мать Батес — не токал, младшая жена, а старшая жена — байбише Каракыз. Помни это, и смотри не проговорись. Иначе ты смутишь девочку и обидишь байбише!

— Ладно, запомню!— сказал я, и мы с Кайракбаем разошлись по своим юртам.

Когда казахи собираются в гости к уважаемым людям, они по обычаю надевают самую лучшую, красивую одежду, будь она летней или зимней. Я сразу обратил

внимание, что и наши новые гости разрядились вовсю: Кареке была в лисьей шубе с суконным верхом. Кикым натянул на себя чекмень из толстого сукна и самодельные сапоги с войлочными чулками. Девочка поверх камзола надела шубу из белого мелкозернистого каракуля. Когда я вошел в юрту, наши гости уже сбросили свои тяжелые зимние одежды. Степной свежий воздух проникал в юрту из-под приподнятой у основания кошмы. Разгоряченные красные лица гостей постепенно стали приобретать обычный вид. Темным и сухим становилось лицо Каракыз, еще недавно казавшееся мне багрово-черным. Бледной, белолицей выглядела Батес, розовость быстро сошла с ее щек. Без шубки, в тонком вельветовом камзоле, перетянутом в талии поясом, Батес была удивительно хрупкой и тонкой. Я смотрел на нее и думал: пошевельнется она, нагнется — и переломится. Вначале ее шея показалась мне чуть коротковатой по сравнению с высокой фигурой. Но сейчас я убедился, что и шея тоже соразмерна. Единственный недостаток нашел я в ее круглом красивом лице — это чуть узковатые глаза. Но, признаться, и глаза мне понравились — чистые и прозрачные, они блестели как ягоды черной смородины среди зеленых листьев.

Дней пять-шесть жили гости в наших юртах. Я присмотрелся к ним и привык. Каракыз была женщиной крутого и властного нрава. В семье она чувствовала себя хозяйкой, мужчиной — и не каким-нибудь замухрышкой, а сильным уважаемым человеком. Часто слова ее звучали приказом. Знайте, мол, наших и не вздумайте перечить. Коротышка Кикым тоже упорно стремился произвести впечатление крепкого, сильного человека, не гвоздя со шляпкой, как говорили у нас в аулах. Он рассказывал, что с малолетства занимается тренировкой скакунов и что кони, обученные им, во время байги всегда приходили первыми к финишу. Должно быть, он немного прихвастнул. Иначе бы во время беседы о скакунах не вспоминал так часто «Калису». Я полюбопытствовал, кто она такая. И сведущий Кайракбай сказал, что Калиса — жена Кикыма, женщина вдвое выше его, статная, красивая, чистоплотная щеголиха, избегающая черной домашней работы.

— Хозяин дома совсем не этот коротыш, а его жена,— говорил мне Кайракбай.— Девушкой она не хотела идти замуж за Кикыма, но «святой» Жампа переубедил

ее. До свадьбы она себя вела вольно, даже после замужества не изменила своим привычкам. Кипым знал об этом, но боялся, что если разведется, другой такой жены у него не будет. Злой, как хорек, буян, не дающий людям прохода, он ходит перед женой робким тетеревом, никогда ей не перечит. Эта Калиса командует не только своим мужем, но и всей аульной молодежью. Не было случая, чтобы во время игр какой-нибудь юноша или девушка выходили из ее повиновения. Не понравится ей поступок джигита, участника игр, Калиса скажет: «Ну, нам пора!» и поднимается с места, а вслед за ней уходят девушки и молодухи. Джигиты, знающие, что девушки подчиняются Калисе, стремятся прежде всего понравиться и угодить ей. А джигиту, который угодил ей, помогает сам бог. Никто лучше и скорее Калисы не сумеет познакомить его с приглянувшейся девушкой.

Так мне рассказывал Кайракбай. Но меня больше всего интересовала Батес. На первых порах мы чуждались друг друга, смущались, но мало-помалу сблизились.

Вначале она обычно отмалчивалась, а перед отъездом стала лучшей моей советницей. Батес часто напоминала мне детеныша дикой козы, которого мы около года воспитывали дома. Сперва очень пугливый, не подпускавший к себе людей, козленок постепенно стал самым ласковым домашним животным. Стоило его позвать, и он уже мчался к тебе, начинал бодаться, взбрыкивать, ласково тыкался мордой в колени и обижался, когда с ним переставали играть. Я очень привязался к козленку, даже полюбил его. И очень хорошо помню, как горько было у меня на душе, когда его растерзала хромая борзая наших соседей. Несколько дней я не мог ничего есть и безутешно плакал. Наконец, я решил отомстить; положил иголку в сырое мясо и подбросил борзой. Собака проглотила мясо и вскоре сдохла. Смерть ее была мучительной. Она делала судорожные движения глоткой, но есть уже не могла. Посмотрев на ее мучения, я понял, что мой козленок отомщен.

Как похожа была Батес на того козленка, и капризного, и ласкового. Она водила меня за собой как верблюжонка-двухлетку на поводу. Она делала то, что ей хотелось, и я никогда не смел ей прекословить. Не впервые я видел девочку, одетую мальчишкой. Помню, когда мы жили на берегах Сырдарьи, я встретил такую девочку. Ее прозвали Еркекшора — слуга мужчины. «Если ты сегод-

ня мужчина, что ты будешь делать завтра?», «И кем ты будешь, если тебя выдадут замуж?»— вслух посмеялся я тогда над щеголеватой кичливой девчонкой.

Моя дерзкая выходка обидела не только девочку. Ее отец и мать поссорились с моей семьей. Поэтому здесь, у подножья Кызбеля, мои родители опасались, что я, по складу своего характера, могу оскорбить и Батес. Первое время они настороженно наблюдали за нами, но затем успокоились, убедившись в нашей дружбе. Так мы вместе играли, вместе разъезжали верхом в Тургайской степи.

Перед отъездом Кареке пригласила отца и мать приехать к ним в гости вместе с «братишкой-женихом». Подобные приглашения бывали и прежде. Порою я ездил вместе с родителями, порою оставался дома. Не знаю, как бы случилось на этот раз, если бы не одно обстоятельство. Вместе с отцом я поехал проводить гостей. Прощались мы далеко в степи. Сойдя с лошади, Батес мне сказала:

— Буркут, ты тоже приезжай,— не приедешь — обижусь!— и погрозила мне тонким своим пальцем.

И я ей пообещал.

В назначенный срок отец, мать, я, Кайракбай и еще человек пять-шесть поехали в аул Мамбета-хожи. Он находился на западной стороне Кызбеля, в урочище Таскудука — Каменного колодца. Вокруг виднелись и другие аулы. Юрты аула хожи приятно выделялись своей белизной. Особенно центральная юрта, возвышавшаяся над остальными, как огромный одногорбый верблюд. Такие богатые светлые юрты редко встречаются в наши дни. Как показалось мне, в окрестностях аула паслось очень много скота. Особенно копей и верблюдов. Отец даже вздохнул с печальной завистью:

— Ведь вот как живут люди! Они не меняют стоянок своего аула, они знают свои угодья... Не то что мы! Кочуем туда-сюда. Посмотрите на их скот и на наш!

Уже совсем недалеко от аула хожи двое верховых галопом вылетели нам навстречу. Я не думал о том, кто был вторым всадником, но первой — я не сомневался — мчалась Батес. Я разгорячил коня и оставил далеко позади отца и его спутников.

Было это мальчишество или другое чувство, но так или иначе — я думал только о Батес. Я поравнялся с ней и, крикнув на ходу: «Давай состязаться!»— проскакал дальше. Оглянувшись через несколько мгновений, я уви-

дел, что Батес мчится за мной, и голова ее лошади почти касается хвоста моего коня.

Казахи любят игру, называемую «кыз-куу». В ней участвуют верховые — девушка и джигит. Джигит догоняет девушку. Он получает право поцеловать ее, если догонит до определенного игрой места. В противном случае джигит резко поворачивает коня назад. Девушка скачет за ним. Догнав джигита, она стегает его камчой до финиша.

Нынешняя скачка с Батес представилась мне этой игрой. Мой скакун не раз побеждал на байге. Отец приобрел его у одного из самых близких своих друзей. Дам я волю коню,— он победит и в этой скачке. Да вот беда, уж очень самолюбива Батес. Я изучил ее характер в прошлый приезд. Если будет не так, как ей хочется, она может жестоко обидеться.

Попробуй только я ее обогнать или не позволь ей себя догнать, она расстроится, будет злиться. Ну, а я, понятно, не огорчусь, оказавшись побежденным. Вот поэтому я и придержал своего коня, пропустил всадницу вперед и только делал вид, что изо всех сил стремлюсь не отстать. Так мы проскакали больше версты. Залаяли аульные собаки, встревоженные конским топотом. Самая отчаянная из них бросилась на моего коня и укусила, должно быть, за голень. Испуганный конь на скаку взбрыкнул ногами и сбросил меня с седла. Оглушенный сильным ударом, я с трудом поднялся. Болела голова, по лицу текла кровь. Аульные собаки, словно злорадствуя, сидели неподалеку от меня, навострив уши. Увидев подъезжающую ко мне Батес, я прикрыл ладонью лицо.

— Что с тобой случилось?— Батес была совсем рядом. Она спрыгнула с лошади, подошла ко мне.— Что с тобой случилось? Ты не поранил глаз?

— Нет, глаза целы,— и я отнял ладонь.

Из нагрудного карманчика она достала маленькое зеркальце и поднесла к лицу. Я увидел, что над правой бровью содрана кожа. Какие-то люди подошли к нам и стали меня успокаивать. Мол, с кем это не случается. Голова цела, кости на месте, маленькая ранка заживет. Кто-то уже поймал моего коня. Подъехал и отец. Он был недоволен, даже обижен. Как же так?! Его сын, джигит, упал с лошади перед самым аулом.

— Ну, сынок, садись на седло и не вздумай падать еще раз.

Да что отец! Я сам был раздосадован своей неловкостью, сам был готов сгореть от стыда. Я сел в седло и тихо поехал к аулу.

Так мы наконец достигли большой белой юрты. Карекен, несколько мужчин и женщин вышли к нам. Они видели, как я упал, теперь донимали меня своими жалостливыми расспросами.

— Не тяжело ли ранен бедный мальчик?

— Голова, наверное, сильно болит?

В юрту нас пригласила Карекен, и я подумал, что хозяина, значит, нет дома, иначе бы он тоже встречал нас. Я скромно шел позади старших.

В юрте, на почетном месте — торе сидели три-четыре аксакала. В правом углу, на подстилке из шкур, расстеленной перед кроватью, сидел пожилой большеголовый человек. Кровать была украшена казахской резьбой по кости. Я по привычке стал присматриваться к этому человеку. Он носил коротко подстриженные усы и необычную — в три клинышка — бородку. Из-под нависших бровей смотрели большие навыкате глаза. У него был большой нос, короткая толстая шея и тяжелое массивное тело. Смуглой кожей и резко очерченными чертами лица он походил на узбека. Это сходство довершалось и одеждой: черной тюбетейкой, желтым чапаном, расшитым шелком, белыми широкими штанами. Когда мой отец и его спутники поздоровались с ним за руку, я без знака старших присел у порога. Это не понравилось отцу: он искоса, неодобрительно посматривал на меня. А похожий на узбека великан и внимания не обратил на мою ребяческую невежливость. Ему, как видно, было не до меня.

Скоро я понял, что он приходился Мамбету-хожке родным братом. Коныр, так звали его, был первым и по возрасту и по уважению среди потомков «святого» Жампы. Разговаривал он мало, тягучим и медлительным голосом и все время пыжился, напускал на себя суровый вид, сидел неподвижно, как вбитый в землю кол. Но, самое удивительное,— Коныру было семьдесят восемь лет, хотя и сединки нельзя было обнаружить в его иссиня-черных волосах, и все зубы — крупные и желтые — были целы.

Когда мы уже освоились с обстановкой и неплохо чувствовали себя в прохладной юрте, приехал Мамбет. Он остриг свою пышную, как у Коныр-хожи, бороду, но зато так отпустил коротенькие прежде усы, что их концы

закручивались. Причина такой перемены объяснялась просто: прошлой осенью в Тургае он закончил месячные курсы учителей и зимой в своем ауле занимал должность государственного учителя.

За короткое время я успел здесь перезнакомиться со всеми. Прежде всего я узнал родную мать Батес — Жанию, хотя при мне ее не называли по имени. Всеми своими чертами и фигурой Батес была точная копия матери. И меня поражала та убежденность, с которой Батес называла родной матерью эту черную чужую старуху, на которую она и отдаленно не походила.

Что я узнал еще? Жания рожала после Батес несколько раз, но все ее дети умирали в младенчестве, кроме мальчугана Сеила, которому к этому времени исполнилось четыре года. Но и Сеил тоже считался ребенком черной старухи.

Жанию можно было принять за пожилую женщину, хотя на самом деле ей было всего тридцать лет. Ее муж был старше ее на девять лет, а выглядел особенно рядом с ней совсем молодым: у него были такие розовые румяные щеки, что, кажется, дотронься до них — и брызнет кровь.

Дочь бедняка Жания была привезена в юрту Мамбета, когда ей исполнилось всего четырнадцать лет. За нее Мамбет уплатил полный калым — сорок семь голов скота. Но вручал калым не он сам, не сам ездил за невестой. Для хожи, аткаминера и богатого торговца ехать к бедняку считалось унизительным. И он послал за Жанией старшую свою жену — байбише.

Если женщина в доме, где заждались детей, приносит то сына, то дочь,— значит в семью пришла удача. Если к тому же она энергична и расторопна, то ее очень скоро начинают уважать. Но я довольно скоро приметил, что Жанию совсем не уважают в этой семье. А работает она больше всех — встает с рассветом и до темноты занята домашним хозяйством. Сколько труда вложила бедная Жания в семейное богатство! Но сама она не заработала себе и на праздничное платье, ее обычная одежда — какое-то латаное тряпье.

Даже дочь, родная дочь Батес избегает ее, считая своей матерью Каракыз.

Хозяйством Мамбета по его поручению управлял Кикым, человек деловой, «крепкий», как говорили про него.

Он умел держать в руках наемных работников и наблюдать за тем, как пасутся и множатся стада.

Но настоящим правителем на деле оказалась Калиса — жена Кикыма.

Это была одна семья, хотя и жила она в двух юртах. Продукты питания и домашняя утварь в каждой юрте были своими. Юрта Кикыма и Калисы считалась младшей юртой — отау.

В обычные дни Калиса не вмешивалась в жизнь большой юрты. Когда же приезжали гости — о них заботились все сообща.

Доход был общий, но поровну его не делили. Жизнь в ауле Мамбета-хожи отличалась еще одной особенностью. Несмотря на то, что богатство было сосредоточено в большой юрте, именно там было неряшливо и неуютно. А отау напоминала расцвеченную всеми красками деревянную чашу. Каждая вещь занимала в ней свое место и выглядела красивой. Аккуратно и приятно одетой была и сама Калиса. Казахи говорят, что малое потомство бывает у самых породистых. И у лебедя и у орла — а среди птиц нет выше их — самки приносят по два яйца. Царица зверей — львица — рожает только двух детенышей. Должно быть, и Калиса была особой породы. За девять лет замужества она родила только одного сына — Актая. Его, пятилетнего мальчика, она одевала по-городскому красиво, заботилась о том, чтобы он был всегда чистым, подстриженным. Рядом с ним маленький Сеил, одетый в тряпье, выглядел сыном раба.

— Отчего это так?— спросил я у Кайракбая.

И он мне объяснил, что дело здесь совсем не в неряшливости или небрежности родителей, а в некоторых казахских обычаях. Долгожданному сыну дают плохое имя, чтобы его не коснулось дурное слово. Спасибо еще, ребят не принято называть собачьей головой Итбас или богатым свинопасом — Шошкабаем. И плохую одежду надевают на ребенка, чтобы его не сглазили!

В этот свой приезд я еще ближе познакомился с Батес. И чем внимательнее я присматривался к ней, к ее поведению, тем чаще думал: «Она ведь держится как и подобает девушке. Почему бедняжка до сих пор считает себя мальчиком?»

Своими осторожными движениями, своим еще спрятанным в глубине души характером она напоминала мне нераскрывшийся бутон ландыша. Тонкая, нежная, чувст-

вительная к холоду, она была и впрямь цветком, еще не подставившим лучам солнца свои свернутые лепестки. Какой она станет завтра? Может быть, она пышно расцветет как городской, заботливо выращенный цветок с широкими лепестками, но лишенный настоящего аромата. Но я верю, что она будет скромным небольшим цветком наших степей, цветком с душистым нежным запахом. Но что бы там ни было, как походила она сейчас на только что завязавшийся душистый бутон ландыша!

ПРЕДАННАЯ ЛЮБОВЬ

Мы гостили недолго и вернулись домой. Но теперь я был, точно зааркаленная лошадь, привязан к колышку в ауле Мамбета. Под разными предлогами я навещал Батес. Пусть хитрая Калиса и подозревала нас во всяческих грехах, но наши отношения по-прежнему оставались чистыми, как у брата с сестрой.

Дружба с Батес снова приблизила меня к той крепости, к которой я недавно не хотел и близко подходить — к учению. Я возненавидел коммуну Ак-Мечети. Раньше я считал, что именно в школе воспитываются справедливость и честность. Но столкнувшись в Ак-Мечети с Аралбаевым и другими так называемыми образованными людьми, я убедился, что подлости в них больше, чем достаточно. Напрасно я стремился найти у них хоть искорку честности. Настоящий свет впервые вспыхнул для меня, когда я увидел Гани Муратбаева. Но за короткий срок я не мог до конца понять, что он за человек. Я просто поверил в его честность и чистоту.

«Что [illegible] меня будет? Надо же, наконец, учиться? А не поздно ли?» — вот о чем я раздумывал в эти дни. У меня была хорошая память. Я вспомнил рассказ о бие Толе. Этот бий уже в девять лет разбирал тяжбу. И наш Абай с тринадцати лет помогал своему отцу в его делах султана. Принято думать, что только достигнув совершеннолетия молодые люди обретают разум и могут избрать себе специальность. Но если это правда, как же быть с бием Толе и поэтом Абаем? А прославленный казахский ученый Чокан Валиханов записал песню «Едиге» со слов акына Курлеут-Кипчак Жаманкула, когда ему было только пять лет!..

Значит, не всегда надо дожидаться совершеннолетия, чтобы решать свою судьбу. Ведь иногда умственное раз-

витие опережает возраст человека. Доказательства я уже привел. Но это вовсе не значит, что я и себя причислял к великим. Я даже не думал, что из меня со временем получится большой человек...

Но кем же все-таки буду? Мне часто приходилось задумываться над этим. Из моей недолгой жизни можно видеть, что я с малых лет пошел по извилистому пути. Мне кажется, что уже в десять лет я научился по-настоящему думать. И с той поры мне представляется, что наш родной дом похож на воронье гнездо, свитое на ветке засохшего дерева. Оно постоянно колеблется на ветру и вот-вот упадет: стоит только буре сильнее разыграться. Мой бедный отец хорошо понимал это и всегда думал о том, как бы спасти свою семью и себя. Не находил выхода и метался туда и сюда. Уже ни на что не надеясь, вернулся в родные Тургайские края и обосновался здесь. Слабую надежду вдохнул в него лишь дядя Жакынбек. Он говорил:

— Сейчас в России возникло направление под названием «Новая экономическая политика»— НЭП. Это — борьба богатых и бедноты на хозяйственном фронте. Вождь большевиков Ленин уверен в своей победе. Но откуда он это знает? Конечно, он надеется победить, иначе и не начинал бы борьбы. Но ведь и мы не отказываемся от нее. Может быть, еще найдем выход и победим большевиков.

Отец перекочевал от Сырдарьи в родимые места словно для того, чтобы услышать эти дядины слова. Это мне стало понятно во время встречи отца с его друзьями из Тургая. А я то ли по молодости, то ли по неразумению своему, а может быть, потому, что верю лишь своим глазам, считаю напрасными дядины надежды. Все прежние баи и бии Тургая, о которых говорили, что «у них клыки в шесть вершков», испугались бы одного Еркина Ержанова. Стоит только сказать — он идет — как они разбегутся и попрячутся!.. Я видел жизнь бедного люда со времен восстания 1916 года. Сейчас беднота стала намного сильнее. А как же иначе? Разве Советская власть не ее власть?.. Советская власть не давала себя сломить вооруженному врагу, не даст она победить себя и врагу невооруженному. Она опирается на громадное большинство, на трудящихся. И это большинство не позволит победить себя меньшинству — эксплуататорам. А что же

ожидает их, эксплуататоров, если они не смогут победить?..

Такие мысли овладевали мной в пору начала моей сознательной жизни. Но чем больше я думал об этой борьбе, тем труднее мне было представить ее исход, тем неяснее становилось мое собственное будущее. Временами мне казалось, что я стою перед неприступной горой и никогда не одолеть мне ее вышины. Что же делать? Сперва я решил, что моей главной опорой в жизни будет ученье. Но я уже рассказывал, что разочаровался и в ученье и в учителях. Потом я захотел остаться в ауле. Мол, поживу, а там будет видно, что дальше.

И вот теперь встречи с Батес снова заставили меня думать о необходимости учиться.

— Почему?— спросите вы.

Я так подружился с Батес, что уже не находил себе места, когда оставался один. Но было неудобно постоянно ездить к ней, не давая даже остыть копытам своего коня. Я не понимал вначале, что со мной происходит, но зато это прекрасно поняли окружающие. Пересуды и разговоры доходили до меня. Я был бы рад не обращать на них внимания, но понял, что в конце концов может возникнуть нехорошая сплетня...

Что же все-таки предпринять.

И ответ пришел сам собою — учиться!

Теперь надо рассказать, что же это за школа, куда я собрался ехать.

Читателю должно быть известно, что с именем Ибрая Алтынсарина связано начало широкого просвещения в казахской степи. Он и родился здесь, в Тургайском ауле, а отсюда поехал учиться в Оренбург. Когда Ибрай стал образованным человеком, он начал создавать школы, которые назывались русско-казахскими. Ибрай тогда заезжал и в наш аул; в эти дни, говорят, родился мой отец Абуталип. Ибрай будто бы сказал нашему деду Жаману: «В честь рождения сына откройте в ауле школу». Дед был человеком несговорчивым. Он не сказал ни да, ни нет, а попросил Ибрая посоветоваться с уважаемыми людьми и обещал поступить так, как скажут они. Дескать, окажутся они единодушными в своем решении, тогда и просьба Алтынсарина будет выполнена. И рассказывают еще, что некий человек по имени Танатар произнес тогда такую речь:

— Состоятельные аульные люди не отдавали своих

детей в школы. Иной раз русским чиновникам удавалось отвозить на ученье бедных сирот. И нашелся среди неграмотных темных казахов бий Байгожа, который сам отвез своего внука Ибрая в Оренбург в русскую школу. Многие в аулах тогда окаменели от гнева. Дескать, бий отрекся от своего ребенка и крестил его. Теперь перед нами Ибрай, и вы видите сами, что он остался настоящим казахом и его никто не крестил. Зачем же теперь мы будем отказываться от доброго дела. Давайте поступим так, как предлагает Ибрай, и откроем школу.

Танатара уважали, к его словам прислушивались.

— Где же мы откроем школу?— спросили тогда у Ибрая.

— В ауле Танатара, на берегу Сарыкопа, там больше всего народа,— отвечал Алтынсарин.

С Ибраем все согласились. В 1875 году в ауле Танатара началось строительство школьного здания из жженого кирпича. Здание строили пять лет. В 1880 году из Оренбурга приехали два учителя — казах и русский. В числе первых учащихся — шакиртов из окрестных аулов был и мой отец. Я пошел в него: он не очень-то хотел учиться и, немного разобравшись в грамоте и письме, бросил посещать школу. Не в пример отцу многие другие закончили учение, на смену им приходили новые учащиеся. Школа в Сарыкопе многим открыла глаза, приобщила к источнику знаний. Из ее стен вышли люди, ставшие впоследствии первыми образованными людьми в нашем краю.

Сарыкопская школа просуществовала до восстания 1916 года. В это время и прекратила свою работу. Царские войска, сражавшиеся с повстанцами Амангельды, белые войска в годы гражданской войны превратили школьное здание в казарму и испакостили его вконец.

После окончательной победы Советская власть взяла в свои руки и ремонт школ. Летом 1922 года, когда мы перекочевали в Тургай, заканчивался ремонт здания и в Сарыкопе. Учащихся мелких аульных школ, закрывавшихся на ремонт, предполагалось перевести в эту большую школу.

Так со школой Сарыкопа неожиданно связались мои мечты и желания. Я вспомнил одну из песенок нашего Кайракбая:

Горы Алатау в тучах,
Вершины в туманах неясных.
Не надо прощаться,— лучше
Встречаться нам ежечасно.

Школа в ауле Танатар помогала мне ежедневно, ежечасно видеть Батес, быть постоянно рядом с ней. Здание школы было почти новым. Но трудно было в этом ауле разместить всех учащихся. Многим школьникам пришлось обосноваться где-нибудь поблизости, в окрестных аулах. Так решил сделать и я и поселился в ауле Мамбета.

Батес закончила три класса начальной школы, примерно такие же знания были и у меня. Поэтому мы поступили в четвертый класс и сели вместе за одну парту.

Заведовал школой Балкаш Жидебаев. И кроме него было еще два учителя. Как говорится, было и уютно и тепло. Ученье пошло хорошо, жизнь стала радостнее, веселее!

Мой дорогой друг! Я не знаю, сколько вам было лет, когда вы полюбили свою невесту. Если верить сказаниям о Баян-Слу и Козы-Корпеш, о Меджнуне и Лейле, то они полюбили друг друга чуть ли не с самого рождения. А я? Когда же полюбил я?

Вспоминая сейчас дни, которые я проводил вместе с Батес, я начинаю думать, что любил ее совсем не как брат любит сестру. Во мне пробудилась грешная любовь джигита к девушке. И когда я понял, что со мною происходит, смущение овладело мною, я стал бояться самого себя.

А почему так, спросите вы?

Мне стыдно говорить об этом откровенно, но все-таки попробую объяснить. Часто бывая в юрте хитрого Кайракбая и его такой же хитрой жены, я уже давно был обучен тем житейским «азам», до которых так охочи подростки. И посматривал я на Батес совсем не безгрешно. Калиса, прекрасно разбирающаяся во всех этих делах, быстро раскусила меня. Однажды я сидел у нее дома, и она, любящая побалагурить, стала смущать меня нескромными намеками.

— Я-то думала, что ты простодушный наивный ребенок, а ты, мальчик, начинаешь юлить, как лиса...

— Почему ты так решила?— с наигранным удивлением спрашиваю я, еще не зная, куда поведет дальше свою речь хитрая Калиса.

— Я уже с первой встречи заметила, что ты мальчик бывалый. И сейчас в этом убеждена.

— Бывалый! Ты скажи яснее.

— Да и так ясно. Такие баловни, как ты, созревают рано. Но я понимаю и другое. Созреть ты созрел, но ты еще невинный. Вот у тебя не хватает решимости совершить задуманное.

— И откуда ты только взяла это, Калиса?

— Ты, наверное, считаешь, милый мой мальчик, что у тебя одного есть глаза, а у меня их нет. Неужели я не вижу то, что происходит у меня на глазах.

— Ну, если ты видела, так расскажи!— отвечал я Калисе.— В вашем ауле много девушек, моих сверстниц. И когда я встречаюсь с ними, то люблю пошутить, побалагурить, побаловаться.

Я приготовляюсь бывало слушать Калису, уверенный, что она будет говорить именно об этом. Она начинает издалека, потом словно поддакивает моим мыслям и вдруг неожиданно сворачивает в сторону:

— Светик мой, ты, кажется, очень полюбил нашу Еркежан,— называет она Батес ее мальчишеским именем, а сама играет своими красивыми черными глазками.

Я заикаюсь от смущения и говорю, что это так, но сам рассчитываю, что Калиса начнет допытываться дальше. Уж тут-то я ей объясню, что мы просто дружим. Но хитрая Калиса минует расставленные мною силки:

— Разве твой взгляд что-нибудь скроет,— многозначительно говорит она и делает паузу.— Но, милый мой, думаю, рано еще, рано...

— Что рано?— выпаливаю я.

— Рано смотреть на нее как на девушку!

— Боже мой!— испуганно произношу я слова, которые часто повторяла бабушка. Они у меня вошли в привычку.

— Не бойся, мальчик!— голос Калисы становится тверже, она отбрасывает всякую хитрость.— Ведь не я одна заметила, что ты смотришь на нее влюбленными глазами, есть и другие в доме. Например, младшая жена токал Жания. Я очень хотела сказать тебе об этом. Вчера, когда ты, не отрываясь, любовался Еркежан, токал мне шепнула: «Скажи, невестка, этому мальчишке, чтобы он вел себя пристойно. Заметят старшие — опозорят его. Ему и дня нельзя будет оставаться в нашем доме».

Может, Жания, и вправду произнесла эти слова или

Калиса выдумала все это, бог ее знает. Но я не посмел отрицать правды и оробел, смутился.

Почувствовав мою робость и как бы желая меня подбодрить, Калиса заговорила иначе:

— Знаешь, мальчик, ты оставь Батес. А если тебе хочется раньше срока стать настоящим джигитом, мы найдем выход. И что ты будешь возиться с ребенком, если у этого ребенка есть взрослая старшая сестра. Я уж вам помогу сблизиться...

— О ком ты говоришь?— недоумевал я.

— Пока мы с тобой наедине, я могу сказать. Какен, Какежан. Она твоя ровесница. Уговорить ее легко... Хочешь?

— Да ну ее к черту!— разозлился я и вышел из отау Калисы.

После этого разговора жить в семье Мамбета мне стало очень трудно. Мне казалось, что все пристально следят за мной, ловят каждый мой взгляд, брошенный в сторону Батес. Я постоянно смущался и не знал, куда себя деть. От смущения я вынужден был в конце концов переселиться на время в отау Кикыма. Сама Калиса подсказала мне этот шаг. Да нашелся и хороший повод: Кикым уехал в Тургай по каким-то хозяйственным делам, и Калисе было страшновато оставаться одной.

И в один из вечеров она продолжила тот, выбивший меня из колеи разговор.

— Да, мальчик мой. Теперь я не сомневаюсь, что ты влюблен в Еркежан. Скажи мне, будь откровенен. Я понимаю, что и в твоем возрасте влюбляются. Но если ты повидал жизнь, то ведь она еще младенец, не оторвавшийся от материнской груди. Пусть у тебя настоящая страсть,— не торопись, сдержи ее. Помни слова, сказанные акыном:

Терпенье слитку золота под стать,
А нетерпенье — пыль, ненужный сор.
Достигнет цели, кто умеет ждать.
Удел нетерпеливого — позор.

Хорошие слова! Не правда ли? И помни еще, что казахи говорят: в тринадцать лет — хозяйка дома. И до этого срока немного осталось. Положись на меня! Я сумею сделать так, чтобы ты порадовался и повеселился, пока ее не проводят отсюда.

— Ее? Проводят?— Как мне вдруг стало горько.

Я сразу догадался, в чем дело.— Калиса, неужели уже есть человек, заплативший за нее калым?

— А разве ты не слышал?

— Нет!.. И в мыслях у меня этого не было...

— Эх ты! Разве тебе неизвестно, что казахи сватают невест еще в люльке. И у нее давно есть сват и жених. Ты хочешь узнать кто? Я тебе скажу — бай по имени Сасык.

— Откуда он только взялся?

И вдруг Калиса, по своему обыкновению, сделала крутой поворот в разговоре и начала успокаивать меня.

— Все будет по-твоему, Буркут. Время царя Миколая прошло. Девушек сейчас не увозят насильно. Надо только, чтобы ты понравился Еркежан, а остальное придет само собой. Только будь осторожен, не выдавай себя...

Я принял этот совет хитрой Калисы и стал осмотрительней и серьезней. Я глубоко погрузился в ученье. И скажу без хвастовства, что скоро занял первое место среди учащихся нашего класса. Мне даже поручали, когда болел учитель, заниматься со школьниками младших классов.

Дни наши обычно проходили так: первым в доме, на рассвете, просыпался Мамбет. Он шел совершать утреннее омовение. Вслед за ним просыпался я. Завтракал я почти всегда у Калисы. Потом одевался и выходил из юрты навстречу Батес. В зимнее время мы отправлялись в аул Танатар на санках, запряженных верблюдом. Скажешь ему: «Стой!»— он останавливается. Крикнешь: «Шу!»— медленно зашагает. Произнесешь: «Шок!»— покорно ложится на землю. Смирное, послушное животное. Мы уютно скользим в широких санках, плотно устланных соломой. На крутом сугробе санки порой опрокидываются, мы падаем в снег. И тогда верблюд спокойно застывает на месте, ожидая, пока мы установим санки и устроимся в них.

Четырехверстный путь между аулом Святого и аулом Танатар проходит по льду озера, густо заросшего камышом. Скупой Кикым, жалея верблюда, не позволял другим ребятам садиться в наши сани. И нам нравилось это одиночество, нравились эти утренние и вечерние поездки. В тот год камыш на озере был особенно высоким. Не сразу можно было заметить и всадника, едущего навстречу. Пушистые султаны камыша, забеленные обильным инеем, склонялись друг к другу, сливались друг с другом и

казались издали белыми холмами. Ветер не проникал на озеро. Где-то в степи бушевал буран, а здесь была удивительная тишина. Верблюд, словно подражая камышу, густо заиндевел, особенно там, где густая шерсть — на шее, холке и ногах. Издали может показаться, что движется не верблюд, а сложенный в стог камыш. Пока мы так едем, лисицей подкрадывается мороз и хватает нас за щеки. Бледноватое лицо Батес от укусов мороза становится румяным, алым, как степной весенний тюльпан.

Нет, ни ей, ни мне не страшны укусы мороза. Ехать нам недалеко, а одежда у нас теплая. Верблюд никогда не сбивается с дороги. Мы часто ему даем свободу, и он катит пустые санки. А сами — сворачиваем на узкую тропинку в камышах. То бегаем наперегонки, то взберемся на бугор и скатываемся по снежному насту, то — после снегопада — зарываемся в пушистый сугроб. Когда же устанем — догоним свои санки, сядем рядышком и, обнявшись, поем, поем громко, во весь голос...

Я помню: мы, как обычно, возвращаемся дорогой, зажатой в камышах. День веселый, радостный. Еще позимнему румяное солнце уже разогревало землю. Снег слегка подтаял, а к закату снова подмерз и немного пожелтел. Верблюд ступал медленно, плавно покачивая наши санки. Его неторопливость начинала нас раздражать. Мы сошли на дорогу и наперегонки пустились бежать к бугорку. Я поднялся первый и, оглянувшись, увидел, что Батес поскользнулась на обледеневшем снегу, упала и с трудом выкарабкивается на бугорок. Я бросился ей на помощь, но поскользнулся сам и полетел вниз. Мы переменились местами. Теперь Батес была на бугорке, а я подымался ей навстречу. От мороза, беготни, от смешного происшествия щеки девушки ярко алели.

Батес крикнула мне с крутого бугорка.

— Поймай меня. Сумеешь?

— Прыгай, Батесжан.

И в это же мгновение она оказалась в моих руках. Я приник губами к ее губам и вдруг почувствовал касанье горячего нежного языка. Мы пили поцелуи, как мед, хмельной и сладкий. Мы забыли обо всем и, бог знает, сколько бы продолжалось это блаженство, если бы нас не спугнул резкий насмешливый возглас:

— Поздравляю! Да множатся поцелуи.

Острым ножом полоснули нас язвительные слова. Мы разомкнули губы, разжали руки, отшатнулись в страхе

друг от друга. Батес, задыхаясь от стыда, закрыла лицо ладонями и побежала догонять санки. У меня хватило самообладания обернуться, чтобы увидеть обидчика. В джигите, догнавшем нас на резвом иноходце, я сразу узнал Жумана, сына Саудабая...

— Я тебя поздравляю, мырза. Да множатся поцелуи!— с нагловатой улыбкой повторил он, выпростав руки из варежек и поглаживая черные усы.

Я сразу понял: с Жуманом справиться мне не под силу. Он часто принимал участие в схватках и даже считался палуаном — богатырем. Будь бы это кто-нибудь послабее, я бы вышиб его из седла и затоптал ногами.

Обозленный жестокой обидой, сознавая свое бессилие, я ничего не ответил Жуману и пошел вслед за Батес. Умный верблюд остановился, Батес, спотыкаясь на обледенелых кочках, приближалась к санкам. Но Жуман не пожелал отстать от меня. Его иноходец шел вровень со мной. Неожиданно обидчик схватил меня за подбородок.

— Постой! Надо поговорить.

— Пусти!— отвел я его руку.

— Говорю я тебе, постой!

— Ты что привязался ко мне, разве я что-нибудь должен твоему отцу?

— Что ты такое говоришь, милейший?— Жуман побагровел от злобы и поднял камчу.— Ты, должно быть, хочешь, чтобы я тебя перетянул разок-другой. А?

— Хватит смелости, так ударь!

В ярости Жуман замахнулся камчой, и в этот же миг дрогнул и вяло опустил ее. Он, понятно, испугался не меня, почти мальчика, а моего отца.

— Хорошо, подожди, милейший,— процедил он сквозь зубы,— я еще подкараулю тебя. Я лягу змеей поперек этого твоего пути. Хватит ли у тебя сил перешагнуть.

И с этими словами он круто повернул коня и помчался в сторону аула Танатар.

А наш верблюд далеко оттащил санки. Батес еще не поравнялась с ним. Я догнал ее, взял на руки, прошел еще сотню-другую шагов и бережно усадил Батес в санки.

Верблюд, чуя близость дома, ускорил шаги.

Весь оставшийся путь до аула мы не проронили ни слова. Когда мы наконец приехали, грустная, обиженная Батес ушла к себе, даже не взглянув на меня. В доме Кикыма я застал только Калису. Она была уже в шубе,

собиралась куда-то в гости. Как только смогла она разглядеть в сумерках, что со мной что-то случилось?

— Светик мой, ты что-то не в духе, что с тобою?— с тревогой расспрашивала она.

— Да ничего... Голова разболелась,— невнятно отвечал я, но в голосе моем, наверно, звучало другое.

— С чего бы это голова у тебя заболела?— уже с некоторым недоверием спросила Калиса.

А я продолжал свое бормотанье:

— Да вот уроки. Вчера долго не спал. Сегодня рано проснулся.

Калиса сделала вид, что поверила мне:

— Ты, бедный мальчик, слишком увлекся ученьем. Голова твоя разболелась оттого, что ты ее не поднимаешь от книг и тетрадей. Смотри, ты даже худеть начал. Вот что, милый. У меня всякие дела по хозяйству, а ты пока приляг и поспи до ужина. Я сама тебя разбужу. После сна и голова пройдет.

Она постелила в углу мягкое теплое одеяло, дала мне под голову подушку и вышла, убедившись, что я задремал.

Бывало, стоило мне прилечь после занятий в школе, как я тут же засыпал. Но на этот раз спасительный сон, как ни звал я его к себе на помощь, и близко не подходил ко мне. Я не соврал Калисе, что поздно лег и рано встал. Но меня мучили стыд и злость. От всего этого в самом деле заболела, закружилась голова, а когда я коснулся лицом подушки, то понял, что весь горю.

Я лежал, не в силах собраться с мыслями. Вскоре скрипнула дверь, и я услышал осторожные знакомые шаги Калисы. Я закрыл глаза и засопел, притворяясь спящим. Калиса почти беззвучно ступала в потемках, потом остановилась, прислушиваясь к моему дыханию, и вполголоса, чтобы не нарушать моего покоя, пробормотала: «А он и впрямь занемог, бедный мальчик». Она зажгла у печки керосиновую лампу, прикрутила фитиль. И только тогда, сбросив шубу, на цыпочках подошла ко мне и погладила своей холодной ладонью мой разгоряченный лоб. Тут я сделал вид, что проснулся.

— Ах, боже мой, зачем я тебя разбудила?— воскликнула Калиса и с тревогой спросила:— Ну как, тебе не лучше, мой светик?

— Лучше,— без раздумья отвечал я,— только еще голова немного побаливает.

— Вот подожди, выпьешь крепкого чаю и совсем здоровым будешь.

И она выгребла из печи горячих углей для маленького желтого самовара.

— А знаешь, у меня и беляши с кониной приготовлены. Словно на тот случай, если ты приболеешь. Поспеет самовар, и они, горяченькие, тебе придутся по вкусу. Поешь беляшей, напьешься чайку, и болезни как не бывало.

Калиса умела уговаривать. И с ней было приятно сидеть за вечерним ужином. С таким удовольствием маленькими глотками пила она крепкий чай, аппетитно закусывая кусочками поджаристых, тающих во рту беляшей.

Но какою хитрой была она!

— А ты знаешь, мне ведь все известно,— вдруг произнесла она, отставляя пиалку.

— Что, что тебе известно?— заволновался я.

— Жуман мне все рассказал, светик.

— Жуман?!— и я почувствовал, как дрогнуло мое сердце.

— Ишь, как испугался,— улыбнулась Калиса, лукаво всматриваясь мне в глаза,— разве ты забыл, что я обещала в сердечных делах быть твоей помощницей. Разве я не говорила тебе — подожди, не торопись, а ты взял и поторопился. Но теперь ничего не поделаешь. Уж если так случилось, крепись, дорогой. Будь твердым, как булат. Давай вместе подумаем: что же надо предпринять, чтобы не разгорелся пожар.

Я не мог скрыть своей растерянности, а Калиса между тем продолжала:

— Не я ли тебе давно говорила, что нашу Еркежан уже сватают. Нашелся такой человек. Помнишь? Так вот, этот Жуман и приходится племянником ее свату. Теперь тебе понятно? Потому-то Жуман и охраняет девушку как свою собственную невесту. Особенно от тебя. Кому не известно, что ты в прошлом году часто бывал в ее доме. А уж теперь, после того, как ты здесь стал жить, учиться, только и говорят, что о тебе и Батес. Я слышала от верных людей, сват так сказал Жуману: «Будь моими глазами и ушами». Жена Жумана Бикен так и норовит зайти к нам. По делу и без дела. Они мне уже намекали: ты, дескать, их сводишь, сближаешь! Смотри, не заместя тебе следы. Я уже знаю, что будет дальше, раз Жуман

вас поймал. Встретит меня Бикен и скажет: ну, вот, любуйся — это же ты их сводила. Как им заткнуть глотку, чтобы они молчали? Как избежать позора? Ведь растрезвонят на всю степь, взбаламутят все аулы вокруг.

Мне показалось, что Калиса преувеличивает.

— Ах какой ты еще ребенок! Неужели тебе непонятно? — с досадой обрушилась она на меня.— Ведь эти слухи не остановишь. Они проникнут и в твой дом и в семью Кожа-аты. Ой, как трудно вам придется.

Я снова подумал, что Калиса придает слишком большое значение и Жуману и слухам. Но шаг за шагом она убеждала меня в своей правоте:

— Прошлый год был тяжелым годом. Годом свиньи. Ты ведь это знаешь. Джут, бескормица пришла в степь. Падеж скота. Разорился твой отец. Разорился и этот дом. Как говорится, с одной уздечкой в руках остались. Только Сасыка не тронул джут. Кожа-ата попросил у него помощи. И Сасык пригнал ему целый косяк лошадей. Когда дела стали поправляться, табун хотели вернуть Сасыкбаю.

— Обойдусь как-нибудь, не возвращайте,— ответил Сасык,— я вот слышал, что у вас подрастает малютка. Она, говорят, стоит сорока семи голов. Это полный калым за невесту. И у меня мальчишка скоро джигитом будет. Наречем их женихом и невестой. Благословляешь?

Из рассказа Калисы я понял, что Молда-ата согласился, и осенью состоялся сговор. Косяк лошадей Сасыка очень помог хозяйству. От него пошло все нынешнее богатство в доме. Молда-ага и Сасык стали так дружить, что поглядишь со стороны — ну, прямо нетронутые сливки!

— Ты, мальчик, пойми,— продолжала Калиса.— Многие ругают сына Сасыка. Ну и что из этого! Разве люди, верные старым обычаям, посмотрят на то, что он плох. Сватовство, считают они, святое дело. Вот только Советская власть устанавливает другие порядки. А то бы у них не было никаких препятствий. Но обычаи пока сильнее. Власть запрещает калым, многоженство, не позволяет рано выдавать девушек замуж. Может быть, дальше так оно и будет. Но кто сейчас подчиняется этим законам? Все пока осталось по-старому: и калым платят, и девчонки плачут, когда их выдают насильно замуж, и у стариков-баев жен больше, чем пальцев на одной руке.

Конечно, Калиса говорила правду. Но зачем она так

подробно растолковывала ее мне? В общем, все это мне было известно и раньше.

— Эх, Калеке! Скажи лучше, что мне сейчас делать?

Лукавая тетушка Калиса умиротворенно взглянула на меня.

— Что, спрашиваешь, тебе делать? Надо прежде всего успокоить Жумана, заставить его замолчать.

— Но как это сделать, Калиса?

— Проще простого. Подсластить. Подарочек ему сделать.

— Да примет ли он его?

— Еще как примет. За доху из шкуры жеребенка он свел одного богача со своей родной сестрой. А ведь сестра ему дороже Еркежан.

— Чем же мне его умаслить?— я уже понял всю доброжелательность Калисы, а заодно вспомнил, что и мой брат Текебай некоторыми своими проделками походил на Жумана.— Посоветуй, пожалуйста.

— Придумаем. Я подскажу тебе. Но ты заранее знай: подарком ты ему заткнешь рот. Он будет молчать. А уж об остальном надо самому позаботиться. Ты подожди, пока Батес станет, как говорят, хозяйкой дома. Она ведь еще девочка, да и ты совсем молоденький. Ты посмотри на себя, Буркут. Повремени, дорогой, наберись терпения.

— Ойбо-о-ой, Калеке!— протянул я.— Какая же это долгая история!..

— Попробуй, найди историю покороче,— отшутилась Калиса,— но прежде всего пойми, что надо заставить Жумана замолчать. Иначе плохо тебе придется. Он — злой и болтливый человек. Он всюду будет рассказывать о том, что видел. И не просто рассказывать, а привирать. Такого наговорит, что тебе не то, что жить в этом доме, переступить его порог нельзя будет. Близко подойти не придется. Ты об этом подумал? И, самое главное, что будет с Батес? Ты — мальчик, тебе нечего страшиться дурной славы. А ведь она может себе загубить всю жизнь. Тебе не приходилось слышать, как невесту отсылают обратно в аул, посадив задом наперед на черного ишака и дав ей в руки горящую головню. Она ведь на побои будет обречена до самой смерти. Ты об этом подумал?

Мне стало так жалко Батес, что я едва не заплакал.

— Подскажи, тетушка Калиса, что же мне делать. Договорись с Жуманом.

И Калиса пообещала мне договориться.

Утром я узнал, что Батес лежит в жару: так тяжело переживает она вчерашний случай.

Что касается Калисы, то она выполнила свое обещание. Жуман дал слово молчать, а от меня потребовал за это жеребенка-трехлетку. Я должен был ехать в отцовский аул и весною, когда начнется откочевка на жайляу, вернуться сюда с жеребенком, предназначенным для Жумана. Разумеется, жителям аула надо было сообщить, что трехлетка не подарена ему, а продана.

— Я согласен, пусть будет так,— говорил я Калисе.— Но объясни мне, почему я должен уезжать из аула сейчас, если никто ничего не знает, кроме Жумана и тебя, тетушка.

Калиса взглянула на меня раздраженно и, пожалуй, даже жалеючи.

— Ах ты, мальчик, мальчик! И ничего то ты не понимаешь. Нам с тобой едва удалось потушить опасную искру. Но ведь дальше ты не сможешь скрывать своих чувств. Перед твоими глазами постоянно будет Батес, нежный птенчик лебедя. Тебе самому еще невдомек, что ты вчера натворил. Не будь ребенком. Уезжай, чтобы тайна твоя была с тобой. Школа подождет. И кому какое дело,— ездишь ты на занятия или нет. Ты сам же просил, чтобы я договорилась с Жуманом. Значит, и тебе надо выполнить наш уговор. Не показывай пока здесь своего носа. А там будет видно.

На другой день Кикым отвез меня в родной аул.

Меня сразу забросали вопросами: почему ты вернулся, Буркут? И, важничая, я отвечал, что до конца года в этой школе уже не будет уроков, на которых я мог бы узнать что-нибудь новое.

А на самом деле в моих мыслях была только Батес. Неужели я не увижу ее до лета? Неужели я смогу перенести долгую эту разлуку? Я помнил вкус ее губ, доверчивый огонек в глазах. Милая Еркежан! Она была в моих мыслях и днем и ночью.

Чем околдовала ты меня,
Чем ты меня чаруешь?

Так поется в народной песне. Я часто повторял эти строки в полусне и наяву, вспоминая Батес. С каждым днем мне все больше и больше хотелось ее увидеть. С каждым днем росла моя любовь. И она же внесла раздор в мои отношения с отцом. Все это закончилось опро-

метчивым поступком, которого я до сих пор себе не простил.

Прошло немного времени после моего возвращения в отцовский аул. Все заметнее таял снег, зазвенели ручьи, весеннее тепло пришло в степь. Я сказал домашним, что мне обязательно надо съездить в аул Танатар, побывать в школе. Я уже облюбовал себе верховую лошадь — стройного жеребенка темно-бурой масти, такого упитанного и крупного, что, казалось, ему не три года, как было на самом деле, а все пять. Но отец и слышать не хотел о моем отъезде. Он решительно отказался дать мне лошадь. Я долго спорил с отцом, но напрасно. Тогда я задумал уехать, не посчитавшись с его запретом. Однажды я уже оделся в дорогу и вышел к лошадям. Передние ноги моего жеребенка были в путах. И неожиданно я столкнулся лицом к лицу с отцом.

— Кто наложил путы на моего жеребенка?

— Я.— Отец уставился на меня тяжелым сердитым взглядом.— Я здесь хозяин. И у меня нет лошадей для темных грязных дел.

— Я не понимаю, о чем ты говоришь, отец?

— Значит, ты думаешь, я ничего не слышал?— Он еще ближе подошел ко мне, словно желая пронзить меня холодными злыми глазами.

Тут я начал догадываться, что отцу все уже известно, но на всякий случай спросил:

— О чем же ты все-таки слышал, отец?

— Ты отвечай мне прямо: почему ты бросил школу?

Врать было бесполезно. Откуда он только узнал, думал я, а вслух бессмысленно повторил его вопрос:

— Почему я бросил школу?

Отец взглянул на меня мягче и спокойнее:

— Оставь эти темные дела, мой мальчик. Ни к чему хорошему они не приведут.

— Темные дела? Я не знаю за собой никаких темных дел.

И я открыто посмотрел отцу в глаза.

— Ах, мальчик, неужели я ничего не понимаю? Неужели мы для тебя не найдем свободной девушки? А ты связался с чужой невестой, за которую уже уплачен калым.

— Калым, невеста... Какая невеста, отец?— продолжал я упрямиться.

— Не препирайся, Буркут. Не надо спорить с отцом.

Пойми, мы только-только начинаем по-настоящему жить после откочевки. У нас еще мало сил. Мы не можем вести борьбу с такими воротилами, как Сасык.

Отец меня уже уговаривал, стремясь склонить на свою сторону. В голосе его не было грозных нот. Но я не мог, не хотел согласиться с ним. Врожденное упорство и желание видеть Батес взяли верх.

— Ты не волнуйся, отец,— прервал я его,— ты лучше поверь мне, что у меня есть дело в школе. Разве я не имею права взять из твоего табуна верховую лошадь?

— Если это не темное дело, бери хоть весь табун.— Отец снова вышел из себя.

— Скажи мне только, дашь лошадь или нет?

— Не дам, не дам!— в ярости закричал отец.

Я еще раз попробовал его переубедить, но все было бесполезно. Он догадался обо всем.

— Не для Жума́на, сына Саудабая, я собирал и выращивал скот. Не будет по-твоему.

И отец решительно пошел к дому.

— Подожди, подожди!— крикнул я ему вслед.

— Как сказал, так и будет!— Он даже не обернулся, не замедлил шагов.

Я не отдавал себе отчета в том, что произошло дальше. Сам не помню, как в моих руках оказался складной нож, который я никогда не вынимал из кармана. Сам не помню, как сильным взмахом я распорол правый бок трехлетки. Бедный жеребенок взвизгнул и, взбрыкивая ногами, рухнул на землю. Отец бежал ко мне, а я, не выпуская из рук ножа, выкрикивал:

— Не подходи!

Но сам отошел немного в сторону и смотрел исподлобья на отца, окаменевшего над жеребенком. У несчастного темно-бурого конвульсивно вздрагивали ноги, а земля вокруг потемнела от крови.

ИДУ НА РИСК

Одни радовались ссоре между мною и отцом и гибели жеребенка, другие огорчались.

Одни восхищались мною, подбадривали меня: «Он похож на деда и будет таким же богатырем. Это хорошо, что он не боится крови».

Другие осуждали: «Время богатырей прошло. Своим

дурным характером он еще принесет отцу немало бед и огорчений».

Из домашних мать оказалась неожиданно на моей стороне. Отец хотел наказать меня за мой поступок, отколотить, но мать стала между нами и уперлась отцу руками в грудь:

— Не трогай его. Лучше вспомни, каким ты был в его годы. Буркут не заблудился, он просто идет твоим путем. Ты в четырнадцать лет мог взбаламутить весь аул. А ведь он куда скромнее. Стоит ли бить мальчишку за жеребенка? Считай, что его задрали волки.

Мать почти помирила нас. Отец перестал хмуриться и косо посматривать на меня.

Старший мой брат Текебай — ему уже было за двадцать — кроме хозяйства, ничем не интересовался, ни во что не вмешивался. Дочь свою в прошлом году он отдал в детдом, и даже жениться снова не собирался. Люди про него говорили:

— Текебай пасет баранов и пьет айран с пресным молоком. А на остальное ему наплевать.

И, действительно, он не поддерживал ни меня, ни отца.

Так же вела себя и моя старшая сестра Булис. Забитая, робкая, она редко переступала порог дома и чаще всего молча сидела над шитьем.

Появилась первая трава, стало совсем тепло, и наша семья выехала на джайляу. Мы остановились в издавна облюбованном нами месте, возле Катын-Казгана.

Спустя несколько дней к нам приехал неожиданный гость, дядя Жакыпбек. Он очень изменился за год, пополнел, раздался в плечах, стал поосанистей. И лицо его стало другим. Прибавившиеся морщинки не старили дядю. Усы и борода его были аккуратно подстрижены. Щеки лоснились после бритья. Дядя носил теперь очки в коричневой оправе, и под стеклами трудно было разглядеть его покрасневшие немного усталые глаза. Про дядю говорили, что его глаза налились кровью с той поры, как он был на войне. Должно быть, это было не так. Просто он много читал и часто напрягал зрение. Голос дяди стал немного грубее, но он редко повышал его, потому что вел себя спокойнее и уравновешеннее, чем в прошлый приезд.

По долгу родства и старой дружбы отец встретил дядю Жакыпбека с большим почетом. Он не поскупился

зарезать кобылицу и пригласил на той всех людей с добрым именем из окрестных аулов, выехавших, как и мы, на джайляу. В их числе приехал и Мамбет-хожа. Дядя был ему ровесником, курдасом, и поэтому они, следуя старому казахскому обычаю, то и дело подшучивали друг над другом.

Уже на следующий день дядю начали приглашать в гости. С ним вместе ездили отец и я. Угощение устраивали те, кто был у нас на первом тое,— богатые, состоятельные люди.

За свежим мясом и весенним кумысом шли разговоры о нынешних временах, о Советской власти. Дядя старался как можно подробнее ответить на вопросы, которые ему задавали. В то время я уже не был простачком и почитывал выходящую в Оренбурге газету «Трудовой казах» и журнал «Красный Казахстан». Поэтому я довольно скоро разобрался, что наши степные богачи задавали дяде довольно ехидные вопросы, а он в своих ответах ничего плохого о Советской власти не говорил.

Есть у нас, казахов, шутливое выражение: «Это происходило в те времена, когда жеребенок был немой, а у трехлетки выпали молочные зубы». Словом, давно это было, а может быть, и никогда не бывало. Вот так и дядя стремился доказать своим собеседникам, что кровавые раздоры, вспыхнувшие в Тургае еще в четырнадцатом году, пора забыть и не придавать им большого значения. Дяде возражали. Прислушиваясь к словам спорщиков, я начинал понимать, что раздоры эти продолжаются. Слишком много семей потеряли своих близких и в схватках шестнадцатого года и во время гражданской войны. Многие еще хранят в своих сердцах желание отомстить. И у кого хватит силы объединить враждующих в одно братство?

...Однажды нас пригласил к себе сват Мамбета-хожи Сасык. Не буду скрывать, я очень обрадовался этому приглашению. Еще бы! Я увижу не только хваленого Сасыка, но и его сына, жениха моей Батес.

Аул, когда мы подъезжали к нему, показался нам невзрачным, маленьким. И земля вокруг была пустынной. Вспомнился рассказ степного острослова о путнике, заночевавшем в одном доме. Вышел путник из дома и видит, что его стреноженная лошадь осталась голодной. «Как у тебя голо все вокруг, даже травы для копя нет»,— сказал он хозяину. А хозяин ответил: «Если бы ты был

богатый, то и у тебя лошади давно бы вытоптали траву у дома».

Да, неуютно выглядел аул Сасыка. Около дома темнели силуэты нескольких верховых верблюдов и дойных кобылиц, но зато вдали виднелись многочисленные отары и стада.

— Неужели все это принадлежит Сасыку?— спросил дядя у нашего провожатого.— Значит, ты говоришь, это все его скот. Сколько же у него голов сейчас?

— Беды этих лет и джут отняли много богатства и у этой семьи!

Но дядя хотел знать, сколько же все-таки скота осталось у Сасыка. И провожатый сказал:

— Овец сейчас не больше четырех тысяч. Лошадей — около тысячи. А верблюдов, наверно, голов сто пятьдесят...

— Разве этого мало?— полюбопытствовал я.

— Сравнить с прошлым — очень мало!

— А сколько же было раньше?

Дядя ответил мне словами песни акына Карпыка из рода Аргын:

Отрам Доскана не виден конец,
И столько ж у бая Есжана овец.
Асан их богаче. Асану под стать
Богатых богатством своим затмевать.

Сасык, как рассказали мне, унаследовал богатство своего предка Асана. В продолжении семи поколений удача не покидала эту семью. Говорят, у прадеда Сасыка Тырнака было три тысячи одних верблюдов. Чтобы не сбиваться со счета Тырнак выкалывал глаз каждому сотому верблюду. Его так и прозвали баем — хозяином тридцати слепых.

Слушая эти старые хвалебные речи, я еще сильнее захотел посмотреть на этого знаменитого человека и его жилье.

Аул, лежавший во впадине между холмами, был затянут обычной в наших степях зыбкой пеленой марева. Дома то возникали, то пропадали снова, как лодки в море. Аул словно не хотел подпускать нас к себе.

Путь показался нам утомительным, медленным, и мы перешли на галоп, чтобы скорее достигнуть цели.

Марево продолжало колыхаться, по-прежнему напоминая море с многочисленными юртами-лодками. Но когда

мы подъехали вплотную к аулу, мне на ум пришло другое сравнение. Небольшие темные юрты походили на стаю пасущихся уток. Несколько белых юрт, их было значительно меньше, своей величиной и цветом показались мне важным гусиным выводком. Но и они выглядели тихими скромницами рядом с большой белой юртой, поставленной в центре аула. Какая это была светлая юрта, самая главная, самая нарядная! Уж если те юрты — гуси, то эта не иначе, как белый лебедь. Таких белых, как молоко, кошм я не встречал в детстве. Вот бы туда скорее проникнуть. Там, внутри, должно быть, настоящий степной рай.

Но я очень обманулся в своих наивных ожиданиях. Однако вначале расскажу о самом Сасыке. До чего же он был нескладным и неприятным. Редко встречаются такие некрасивые ширококостные люди. Большеротый, с плоскими и редкими зубами, выступающими вперед этакими лопатками, он без улыбки смотрел на гостей маленькими, глубоко посаженными глазками. Редкие волосы, рассеянные по подбородку, и жидкие усы не придавали красоты огромному корявому лицу какой-то неправильной вытянутой формы. Бык, да и только! Средних размеров бык!

Весна уже переходила в лето, в самую что ни на есть жару, в начало шильде, когда солнце выжигает степные травы, а теплая одежда прячется в сундуки до осени. Но Сасык облачился в стеганый бешмет с накладкой из верблюжьей шерсти, мерлушковую шапку-ушанку и сапоги с войлочными чулками.

Удивил меня и голос Сасыка — густой, верблюжий. Наверное он был не очень разговорчивым и приветливым, если судить по его отрывистым вопросам о здоровье, о семье, о хозяйстве. Признаться, мне не понравилось поведение дяди. Он юлил перед Сасыком куропаткой, всячески оказывая ему знаки внимания.

Если такой сват, то какой же у свата сын, подумал я и стал искать его глазами среди людей, окруживших юрту. Кажется, жениху должно быть лет пятнадцать-шестнадцать, но здесь джигитов его возраста не было.

Наконец, мы вошли в большую юрту Сасыка. Как не соответствовало ее убогое убранство рассказам о богатстве потомка прославленного Асана. Запустение, неряшливость. Дешевая серая кошма в красном углу, выше очага, и несколько конских шкур — подстилка для сиденья.

Обычно в глубине богатой юрты сложены дорогие вещи чуть ли не до самого верха, а рядом стоят сундуки, один другого красивее. У Сасыка ничего подобного не было. Там, где положено стоять сундукам, лежал огромный, туго перетянутый войлочный тюк. Бог его знает, что там хранилось. Я не обнаружил даже одеял с подушками, которые в каждой казахской семье принято держать на виду. Я не понимал, как они здесь спят, чем укрываются, что за постель могут предложить гостям.

Возле юрты я приметил двухосную телегу на высоких колесах. На телеге храпился сундук для продовольствия — кебеже. Оттуда пахло вяленым мясом и сушеным сыром. Недалеко от телеги, за изгородью, лежало еще кое-какое продовольствие — должно быть, бурдюк с молоком, казаны, всяческая посуда. И отдельно от них — черный бу́рдюк, судя по упругим крутым бокам, переполненный кумысом. Из него торчала здоровенная ручка кумысной мешалки. Еще я обратил внимание на кровать, заваленную разной кладью и небрежно прикрытую грязным покрывалом. Между этой деревянной кроватью и войлочным тюком стоял, как и положено, суковатый шест, подпирающий купол юрты. На таком шесте по обычаю вешают самую ценную одежду. У Сасыка все было не так. На шесте болтались овчинные тулупы, заношенные шубейки, грязные женские платья и другое тряпье, на которое и смотреть-то стыдно. Ни лисьего меха, ни волчьих шкур, ни дорогих нарядов. Я привык видеть, что отдельные части юрты связываются тонкими ковровыми полосками разных расцветок. Эти пестрые полоски придают жилью веселый уютный вид. Но здесь никто не заботился об этом. Здесь для связок употреблялись самодельные веревки, свитые из грубой шерсти с вплетенным в них для прочности конским волосом.

Не очень-то удобно здесь располагаться гостям, думал я. Как можно обойтись без подушек, на которые так приятно облокотиться, без ковров... Что-то тут не так.

Но и дядя и остальные гости расселись в красном углу на грубых кошмах и лошадиных шкурах. А я недовольно озирался по сторонам и вдруг вспомнил изречение известного акына Акмолды:

Для красоты немедля убери
Ты грязь, что накопилась изнутри.

Акын подразумевал людскую красоту. Но эти слова удивительно подходили к юрте Сасыка, которая впачале мне показалась похожей на белого лебедя среди гусей и уток. Несчастные! А еще говорили, что у хозяина юрты отец святой. Но все-таки он был прозорливым этот святой, если дал своему сыну имя Сасык[1].

Я с трудом скрывал сразу возникшую неприязнь к Сасыку. Верблюжьим у него был не только голос, он и дышал тяжело, как старый верблюд с больными легкими, хрипло кашлял и поминутно плевался. И кроме того то и дело доставал из пузырька табак — насыбай и закладывал его за губы. Признаюсь, мне редко приходилось встречать таких людей.

Он же как ни в чем не бывало восседал на своем почетном месте. И, желая доставить нам приятное, властно обратился к сморщенной маленькой старушке, чья грязная одежда была под стать всему убранству юрты:

— Ну, байбише, гости, наверно, измучились от жажды. Наливай кумыс.

Значит, это его старшая жена, подумал я, веря и не веря своей догадке. В самом деле жена. Ну до чего же смешно выглядела она рядом со своим огромным, ширококостным, жирным мужем.

Маленькая старушка поднялась с необычной живостью, выполняя приказ своего повелителя. Скрывшись за перегородкой, сплетенной из желтых стеблей степного чия, она крикнула джигиту, дежурившему у входа:

— Эй ты, вытащи поскорее керсен из ямы.

Скоро джигит внес за ручки в юрту большой черный керсен, до краев наполненный кумысом, а байбише к этому времени уже успела расстелить в нашем красном углу скатерть-дастархан, грубо выделанную из овечьей кожи. Тут же появилась сумка из серой кошмы, украшенная цветным орнаментом и черпак с изогнутой ручкой. Из сумки байбише достала деревянные чашки. Каждая из них по величине напоминала небольшие блюда для мяса. Но не их размеры испугали меня: уж больно темными были эти чашки, словно их никогда не мыли.

Сасык сам неторопливо размешивал и взбалтывал пенящийся кумыс. Взбалтывал молча, сосредоточенно. И только закончив священнодействие, обратился к джигиту, сидевшему на корточках чуть дальше гостей:

---

[1] Сасык — тухлый, зловонный.

— Подвигай-ка сюда посуду.

И разливал кумыс, всматриваясь своими маленькими, глубоко посаженными глазами в тяжелые белые струи. Первые чашки бережно, словно опасаясь пролить хотя бы каплю, джигит вручил дяде и мне.

Я хорошо знал обычай, что молодые не имеют права пригубить напиток или притронуться к пище, пока не отведают старшие. Соблюдал, понятно, этот обычай и дядя, который был моложе большинства гостей. Поэтому и он и я передали свои чаши седобородым старикам. Теперь настал и наш черед. Я взглянул на чашу, доставшуюся мне, и обомлел. И кумыс был грязным и посуда. Я попытался сделать глоток, чтобы не обижать хозяина, но мне стало дурно.

— Неудобно получилось, Буркут!— сказал дядя, выходя со мною из юрты.

— Это им должно быть неудобно,— отвечал я.

— Не умеешь ты себя вести.

— Это они не умеют встречать гостей.

Пока дядя меня поругивал, а я огрызался, к юрте подъехали два всадника. Один тянул за собой на аркане неприрученного жеребенка, другой подхлестывал его камчой сзади. И первый верховой, крупнотелый с острой черной бородкой, и скакавший позади юноша-джигит, тоже могучего телосложения, очень походили на Сасыка. Джигит наверняка его сын. Жених, мой соперник. А кто же чернобородый?

Их приезд внес оживление в юрту.

Чернобородый и Сасык громко и весело говорили о жеребенке. Наконец хозяин вместе с несколькими джигитами вышел к всадникам.

— Норовистый, ничего не скажешь,— забормотал Сасык.— Нелегко вам, наверное, было его поймать. Быстроногий, а главное, пугливый. Словно от кулана рожден. Молодцы, справились с ним.

— Да разве есть на свете жеребенок, которого нельзя поймать?— самодовольно хвастал чернобородый.

Но Сасык не слушал его и обращался к дяде:

— Мырза Жакыпбек, далеко забрасывало тебя беспокойное время. Много странствовать пришлось тебе. Слава аллаху, ты живым и здоровым вернулся в нашу степь. Недостойно было бы угощать тебя бараниной, я приказал в твою честь привести жеребенка.

Дядя вежливо поблагодарил Сасыка, а тот продолжал распоряжаться:

— Валите его быстрее, молодцы. Иначе мясо будет невкусным.

Издали я наблюдал, как молодцы Сасыка разделывали тушу. Их восхищал брюшной жир — казы, толщиною в палец, они любовались белым молодым мясом. Они прищелкивали языками, шутили, смеялись, шумели, предвкушая скорое угощение.

Дядя мой не очень любил хозяйственные приготовления и предпочитал в это время уходить из аула в степь. Кроме того, ему, вероятно, хотелось поговорить со мною наедине.

— Давай пройдемся, дупа-племянник, вон туда, к тем холмам.

Я охотно согласился и, когда мы немного отошли от аула, откровенно и несколько раздраженно спросил дядю:

— Зачем мы попали в юрту этого Сасыка?

— А ты, милый, не обращай внимания на грязь, на посуду. Ты лучше узнай про его дела, и тогда все станет ясным.

— Что же за дела его прославили?

— Я многое о нем мог бы рассказать...

— А все-таки?

И дядя стал меня просвещать:

— В год, когда с сабли белого царя капала казахская кровь, мы, группа образованных казахов, решили выпускать в Оренбурге свою газету. Трудно было добиться разрешения правительства, но мы его добились. Еще труднее оказалось достать средства на издания. Родной дядя Сасыка Ахмет Байтурсунов, я и еще несколько юношей основали общество товарищеской взаимопомощи, чтобы найти деньги для газеты. И вот тогда Сасык, которого ты сегодня увидел, одним из первых богатеев Тургая записался в это товарищество и внес свой пай — сто валухов...

— Что же он, такой сознательный?— не без ехидства осведомился я.

— Какое наше дело, почему он дал. Помог — вот главное.

— И часто он расщедривался?

Дядя беспокойно оглянулся вокруг — не подслушивает ли кто... И, убедившись, что мы одни, продолжал:

— В недавние бурные времена, когда большевиков

называли красными, а нас — белыми, в Тургае сформировался полк Алаш. Для этого полка Сасык дал своих самых лучших отборных лошадей. Ты что смеешься, не веришь? Эх ты. Смеяться тут не над чем. Пусть у Сасыка скатерть грязная, но душа у него чистая. Он — опора для тех, кто идет дорогой отцов и дедов...

Я не очень-то был согласен с дядей, но промолчал. Если бы я стал ему возражать, между нами могла возникнуть стена, и дальше уже не получилось бы никакой беседы.

Молчал и он, пока я не заговорил совсем о другом:

— Дядя, а ведь вы были писателем? Правда?

— Почему был? Ты разве уверен, что я сейчас не пишу?— улыбнулся дядя.

— Не приходилось мне, дядя, читать написанное вами теперь. А из прежних я многое читал. Вот вы писали о любви юноши и девушки. Так и не сбылась их мечта. Погибли...

— Правильно, писал я. Но почему ты вспомнил именно об этом?

— Ах, дядя, все повторяется. Умницу, красавицу и теперь выдают замуж за человека скверного, недостойного, вроде сына Сасыка. Выдают вопреки ее желанию, ее заветной мечте. И она сбивается с пути и замерзает в буран. Что делать, дядя, если такое случится с дочерью Мамбет-хожи?

Дядя призадумался. Мы продолжали идти степью. Юрты аула уже скрылись в лощине. И только легкий дымок, вьющийся над холмом, давал знать, что жилье недалеко.

— Ты думаешь, такое может случиться.— серьезно повторил мои слова дядя,— нет, ты ошибаешься. Сейчас не то время. Признаюсь, многое мне не нравится, что делают в степи Советы. Но я радуюсь, что нашим казашкам дано равноправие и наконец они освобождены от пут калыма. Это хорошо, племянник.

— Хорошо-то, хорошо. Но разве ты не знаешь: закон вышел, а калым остался.

— Будет стоять власть, значит, и законы будут выполняться.

Дядя произнес эти слова и вдруг глубоко вздохнул. То ли ему стало грустно, что до сих пор существует калым, то ли он огорчился, что Советская власть держится прочно.

Снова наступило молчание. На этот раз его нарушил дядя.

— Слушай, душа-племянник. Дай бог, все будет благополучно, завтра мы возвратимся к тебе домой, а из дому вместе выедем в Оренбург.

Я сдержанно ответил, что сам надеюсь на это.

— Надеешься?— удивился дядя.— Да ведь я уже договорился с твоим отцом и тебе об этом говорил. Ты уже не хочешь ехать в город?

— Да нет. Я не знаю,— промычал я, занятый своими мыслями.

Тут мы услышали протяжный крик. Нас догонял всадник, мчавшийся во весь опор из аула. Я догадался, что нас приглашают в юрту, и сразу же попросил дядю Жакыпбека сделать все, чтобы только не оставаться на ночлег в ауле Сасыка.

— Там же и места нет, спать негде.

Дядя не согласился со мной. Такое поведение, доказывал он, могут истолковать как чванство.

Посланец Сасыка, сообщивший, что куырдак уже поджарен, помешал нам закончить этот маленький спор.

Мы вернулись в юрту. Там еще прибавилось гостей — знакомых и незнакомых. Отборные люди — баи и бии Тургайской стороны и верные их подручные. Они громко разговаривали и пили кумыс жадными глотками. Чем внимательнее я прислушивался к их речам, тем больше убеждался, что Сасык и в самом деле пользуется среди них особым уважением. Он не отличался красноречием, но каждое его слово собравшиеся в юрте ценили на вес золота.

Может быть, эта беседа затянулась бы до утра, но уже в полночь до аула Сасыка дошла тревожная весть. Оказалось, что в Губчека поступили сведения о тайных совещаниях тургайских баев на джайляу. Кто-то утверждал, что сюда приближается отряд — ловить агитаторов против Советской власти...

Гости Сасыка всполошились, как овцы в загоне, почуявшие волка. Им уже было не до куырдака, дымящегося на блюдах. Самые пугливые бросились к своим лошадям. Донеслась частая дробь копыт. Мало на кого действовали уговоры. Я уже не говорю о темных аульных казахах, изрядно перетрусил и дядя. Его смуглое лицо побледнело, приобрело цвет кости, брошенной среди песков в пустыне. «Отведайте хоть немного мяса, пред-

назначенного для вас»,— уговаривал его Сасык. Но и дядя не притронулся бы к куырдаку — он уже прощался с хозяевами,— если бы не одно неожиданное обстоятельство.

В юрте появился человек, которого аульные сплетники приняли за работника Губчека. Он оказался всего-навсего агентом финотдела, известным в наших краях Самалыком. Когда-то он батрачил у здешних баев, потом два-три года сражался в отряде Амангельды, а в годы Советской власти немного учился и, поднатаскавшись в грамоте, стал налоговым агентом. Он несколько успокоил оставшихся в юрте гостей Сасыка: по его словам, никакого отряда из Тургая не будет. Но беда заключалась в том, что и этого невзрачного Самалыка, как и любого советского работника, баи боялись, как огня. Они и его считали беспощадным и рады были бы спрятаться в любую норку. Самалык это понимал. Ему нравилось важничать и нагонять страх.

— Как же, слышал я, слышал,— ронял он, поигрывая камчой,— тайный пир устроили баи и алашордынцы. Значит, правда. Я думал, где же это баи, которые не платят дополнительного налога, а они разгулялись. Только маловато вас что-то. Куда, спрашиваю, остальные делись?

Взгляд его не сулил ничего доброго. Баи сгорбились, сжались, притихли. А Самалык выщупывал глазами, на ком бы ему сорвать злость.

— Ага, и ты здесь, бродячий алашордынский кобель!— уставился он на дядю Жакыпбека.— Должно быть, сказки рассказываешь, подбадриваешь баев. Мол, Советская власть не сегодня-завтра ослабеет, обессилеет совсем. НЭП ее изнутри подточит. А пока терпите, терпите. Недолго ждать осталось. Так я говорю?

Дядя молчал, да и что он мог сказать?

— Так, говоришь, недолго ждать осталось?— насмешливо повторил Самалык.— Не будет по-твоему. А баев я сам лишу сил дополнительным налогом. Прогрессивным налогом. Понимаешь?

Последнее слово он почему-то произнес по-русски.

— Понимаю,— не очень уверенно произнес дядя.

— А теперь поговорим с тобой, Сасеке,— и налоговый агент смерил нашего хозяина презрительным взглядом.— Ты, надеюсь, слышишь меня?

Сасык отозвался односложным льстивым возгласом.

— Помнишь, ты давал мне слово отправить в Куста-

пай тридцать яловых коров и сто валухов. Давно уже это было, а скот и сегодня дома. Завтра ты его погонишь. А если еще оттягивать будешь, я вместе с валухами погоню и тебя.

— Сам... Сам,— залебезил Сасык.— Сам перегоню скот в Кустанай.

— Хорошо!— протянул Самалык.— Но пока ты будешь в отъезде, я поживу здесь, в твоей юрте.

Сасык согласился и с этим.

— Ну, а что сейчас собираешься делать?— с издевкой допытывался налоговый агент.— Пригласил, значит, баев, зарезал стригунка. Мясо сварилось, а гости разбежались. Так, что ли? Собакам придется отдавать?

— Кто здесь остался, те и будут есть,— обвел руками гостей Сасык.— И ты вместе с ними.

— Нет, так дело не пойдет!— Самалык уже не шутил, не насмешничал. Он говорил, как приказывал:— Твои гости не справятся с жеребенком, а мясо завтра протухнет. Лучше ты поступи так: собери всех своих аульных батраков, ты ведь их нанимаешь благодаря НЭПу, и пусть они съедят все мясо до кусочка, пусть выпьют всю сурпу. А потом угости их как следует кумысом.

— Так хорошо умеешь шутить,— не без робости отвечал Сасык. Он не понимал еще, шутит или всерьез говорит его неожиданный строгий гость.

Впрочем, налоговый агент быстро внес ясность.

— А я и не думаю шутить. Ты делай, что тебе говорят. Иначе завтра погонишь двести овец и шестьдесят коров. Вдвое больше!

Дядя уже хотел вмешаться, но Самалык его грубо одернул и предложил уехать из аула. Немедля уехать.

— А управу я на тебя найду,— пригрозил он.

Дяде ничего не оставалось, как сказать собравшемуся идти за батраками Сасыку:

— Что ж, мы возвращаемся домой.

— Не покушав?

— Да разве это еда, Сасеке. Это одно проклятье. Еще не доставало мне сидеть здесь, за дастарханом, вместе с твоими оборванцами, поденщиками. Глаза бы мои этого не видели!

Сасык вздохнул и не стал больше уговаривать дядю.

Мы сразу же уехали домой. Дядя побыл на нашем джайляу только один день и стал собираться в Оренбург. Отец с матерью упрашивали его погостить хотя бы с не-

делю, но он никак не соглашался, ссылаясь на то, что у него кончился отпуск и он не хочет опаздывать на работу. Я думаю, что разговоры об отпуске были просто предлогом. Очевидно, дядя был напуган встречей с Самалыком, который грозился нагрянуть и к колодцу Катып-Казган. Мало ли какие неприятности мог доставить дяде этот непримиримый к баям агент финотдела?

Дядя возобновил разговор о моей поездке в Оренбург. В глубине души я уже согласился, но из-за своей капризной натуры сделал вид, что еще ничего не решил окончательно.

Признаюсь, вначале я действительно колебался. Но теперь я уже все обдумал.

Глядя на отца, возлагавшего большие надежды на НЭП, я тоже иной раз представлял себя баем. И тогда, рассуждал я, к чему мне учеба? Буду себе жить и богатеть. Не скрою, и такие мечты овладевали мной. Редко, правда. Но стоило мне поглядеть на баев в ауле Сасыка, на самого хозяина, особенно в те минуты, когда он разговаривал с агентом финотдела, и я понял: нет, баем я никогда не буду.

И не всякая ученость меня прельщала. Дядина ученость, например, не приводила меня в восторг. Пропади она пропадом!

Но учиться все же мне очень хотелось. Совсем недавно я снова повстречался с Еркином. Он уже слышал, что я собираюсь ехать с дядей в Оренбург. Так ли это, спрашивал он меня. И когда я уклонился от прямого ответа, стал уговаривать меня.

— Поезжай в Оренбург,— настаивал он.— Обязательно поезжай. Богатство тебе ни к чему. Только ученье сделает тебя настоящим человеком. Я не люблю твоего отца. Но в тебя почему-то верю. Ты наберешься в школе советского духа. И, кто знает, может хорошим работником будешь.

К словам Еркина я всегда относился с уважением. Он и здесь оказался одним из самых душевных моих советчиков.

Но я хочу обо всем рассказывать откровенно, в том числе и о своих колебаниях.

Когда мы с дядей разъезжали по гостям, нам довелось провести одну ночь и в ауле Мамбета-хожи. Я сразу приметил Жумана, продолжавшего следить за мной. Однако я его перехитрил и сумел встретиться с Батес. Немного

нам пришлось быть наедине. Мы успели перебросить только несколькими фразами. Батес уже знала, что я собираюсь в Оренбург. Она меня удивила и обрадовала своим неожиданным решением — тоже ехать учиться в город. Подробно договориться обо всем нам опять помешал проклятый Жуман. Он ходил за мной как тень, повторить встречу было невозможно.

Батес удалось только подбросить мне записку. Вот что было в ней: «Если ты не возьмешь меня с собой учиться, мы с тобой больше никогда не встретимся. Батес».

Теперь надо было все до конца объяснить дяде. Я так и сделал, показал даже записку Батес. И добавил: «Пойми, дядя, если она не поедет, не поеду и я».

Дядя уже знал мои привычки, мой строптивый характер и долго молчал в раздумье, прежде чем мне ответить.

— Для меня это не новость, мой милый, я не говорил с тобой о Батес, потому что не хотел тебя обижать,— начал он необычно серьезно.— Но сегодня ты сам затеял этот разговор, и я тоже буду откровенным. Один русский поэт писал, что в каждом возрасте можно любить. И я не сомневаюсь, что ты по-своему любишь эту девочку, почти ребенка. Если бы не новые времена, ваша любовь кончилась бы печально. Но, к счастью, теперь женщины свободны. У вас только одно настоящее препятствие — молоды вы очень. Ты говоришь, девочка хочет учиться, хочет ехать вместе с нами. Ну что ж, завернем по пути в аул ее отца. В одно мне трудно поверить — неужели родители согласятся ее отпустить. Я слышал, как они берегут ее, лелеют.

— Но ведь она сказала, что хочет ехать!— чуть не закричал я.

— Что ж! Она еще раз может сказать, все равно ей трудно будет уехать. Ты скажи, Буркут, разве ты знаешь хоть одну девушку из аулов нашей тургайской стороны, которая уехала бы в город учиться?

Я ничего не мог ответить. Это была правда. А дядя продолжал:

— Если бы еще она была сиротой. Тогда — другое дело. Но ведь у нее есть отец и мать. Люди богатые, уважаемые. Почему ты решил, что они доверят тебе свою любимую дочку.

— Так ведь не замуж они ее отдают, а на ученье.

Дядя только рукой махнул:

— Плохо ты еще жизнь знаешь. Для них, для роди-

телей, все равно — в жены ее тебе отдать или отпустить с тобой в город, в школу.

— Дядя!— взмолился я.— Прошу вас, объясните им, что это не так.

— Буркут, Буркут! Я-то им объясню, да они не поймут. Как ты только сам не можешь догадаться. Они же не слепые. Они видят, что ты засматриваешься на нее, что ты влюблен. И ты хочешь, чтобы они тебе поверили?! Ты только представь, как зашумят вокруг в аулах после вашего отъезда: вот, мол, поженили малолетних.

— Мы еще не уехали, дядя, а вы первый начали шуметь,— разозлился я. Меня уже нельзя было остановить.— Короче так: не поедет Батес, и я тоже не поеду!

Я вел себя совершенно непочтительно, несдержанно. Казалось бы, дядя должен был прекратить всякие попытки взять меня с собой в Оренбург. Но он по не совсем понятным мне причинам проявлял горячее участие в моей судьбе и во всем шел мне навстречу.

— Хорошо,— согласился он,— пусть будет по-твоему, милый. Мы заедем в аул Мамбета-хожи. А там посмотрим.

Отец велел запрячь пару крепких лошадей в тарантас с вместительным кузовом. До аула Мамбета-хожи нас должны были провожать Кайракбай с Текебаем, а до Оренбурга один Кайракбай. Лошадей отец подарил дяде. Кайракбаю предстояло возвращаться сначала кустанайским поездом, потом — случайной подводой.

У Мамбета нас встретили очень радушно. Батес, когда мы вошли, читала какую-то книгу. Неприметно для остальных она приветливо улыбнулась мне. И я тут же подумал: да, она поедет со мной.

После короткого отдыха дядя предложил Мамбету пройтись. Они ушли. Я понимал, что решается судьба Батес. Но мне недолго пришлось испытывать мое терпение, потому что очень скоро дядя послал за мной.

Неподалеку от аула на небольшом холмике сидел дядя. Мамбет уже поднялся. Нетрудно было догадаться, что беседа закончилась. Я не шел, а бежал им навстречу.

— С тебя полагается суюнши, подарок за добрую весть!

— Все, что хотите, отдам вам, дядя.

— Поздравляю, Батес поедет учиться...

Я ушам своим не верил, хотя был убежден, что так и будет.

— Поедет, говорю тебе. Что бы там ни толковали, Мамбет — человек просвещенный. Он быстро согласился с моими доводами. Они хотят сегодня закончить все сборы в дорогу, а завтра Мамбет с дочкой выедут вместе с нами.

Я был в восторге. Я даже шлепал себя по бокам от радости. А дядя делился со мной подробностями:

— Хочу, Буркут, чтобы ты все знал. Ты, конечно, помнишь, как мы на днях заезжали к Мамбету. Так вот, после нашего приезда Батес покоя отцу не давала. Хочу учиться, да и только. Они, должно быть, в домашнем кругу и согласились с ней. И только один человек еще ничего не знает — это старший брат Мамбета Коныр.

Коныр! Это имя говорило о многом. Вреднейший человек. Радость моя была омрачена. Я так и сказал об этом дяде.

— Погоди, племянник, горевать. Меня Мамбет попросил, чтобы я сам рассказал обо всем Коныру.

— Ой, несчастье. И ты думаешь, дядя, что он тебя послушает. Да он никого не слушает, кроме самого себя. Он упрям, как норовистая лошадь, и стоит на своем. Не жди от него добра!..

— А все-таки он же человек, поговорить с ним надо,— дядя верил в свои способности.

Тут я, вопреки своему собственному мнению об упрямстве Коныра, стал жалобно упрашивать дядю сделать все, чтобы отпустили Батес. Я проводил дядю до самого дома этого грозного старшего родича. Можно представить себе, как я ждал его возвращения.

— Ну, что он сказал, что?..

— Скупой на слова человек,— недовольно процедил дядя,— окончательного решения я от него так и не добился. «Подумаю, подумаю»,— вот и весь его ответ.

С огорчением я почувствовал, что грозный родич просто оттянул свой отказ.

На вечер дядя покинул аул. Мне не хотелось ехать в гости. Я ждал, чем же это все кончится. Со слов дяди я знал, что Мамбет снова будет советоваться со своими родственниками.

Утром я сразу заметил перемену: вчера еще приветливые домочадцы Мамбета стали относиться ко мне сдержанно, с холодком. Нигде не показывалась и Батес. Я безуспешно пытался ее разыскать. Оказалось, что она

находится в доме Коныра. А потом состоялся новый разговор Мамбета и дяди.

Мамбет был очень раздосадован или по крайней мере старался показать себя таким.

— Одному богу известно, как поведет себя этот старик,— жаловался Мамбет на Коныра.— Ведь вчера еще соглашался. С вечера пришла его старуха и сказала — пусть Батес почует у нас. Перед отъездом, стало быть. А утром, когда мы пришли за девочкой, ее уже не пускают. Взаперти держат нашу Батес. Мы хотели взять ее силой, но вдруг видим слезы в глазах у девочки. Должно быть, ее всю ночь уговаривали, запугивали. Она даже на наши вопросы не отвечала. А тут Коныр похаживает и в руках у него нож. Ведь зарезать может...

Дядя недоумевал, огорчался, жалел девочку.

— Я ничего не могу сделать,— признался Мамбет,— брата мне не перебороть. Хочешь, поговори с ним еще раз.

— Попробую, вдруг что-нибудь ответит!— И дядя зашагал к Коныру. Я поспешил вслед за ним.

— Милый мой, не ходи!— крикнул мне вдогонку Мамбет.— Знаешь, какой у него крутой нрав, беда может случиться.

Я грубо пошутил в ответ и не повернул обратно. Мамбет не стал больше предостерегать меня. Он стоял молча, чуть сгорбившись, провожая нас пристальным внимательным взглядом.

...Мрачно было в юрте Коныр-хожи, мрачнее, чем у Сасыка. Сам хозяин сидел неподалеку от красного угла, а между домашней кладью и кроватью, словно кролик в силках, съежилась грустная Батес. Рядом как бы стерегла ее толстая желтолицая байбише.

Дядя поздоровался с Коныром по всем правилам вежливости, я же молча присел у порога. Коныр напоминал быка, готового бодаться. Страшного, разозленного быка. Я встретился с глазами Батес. Они как-то странно блуждали по сторонам. Такие глаза бывают у обессилевшего жаворонка, которого змея заставила своей гипнотической силой опуститься на землю. Бедная Батес!

Трудно было дяде начать разговор. Но едва он произнес первое слово, как его властно перебил Коныр.

— Я прекрасно знаю, что ты хочешь мне сказать, уважаемый Жакыпбек. Ты недаром слывешь умным и здравомыслящим человеком. Так послушай мои окончатель-

ные слова. Одно дело, если бы девочки нашей Тургайской стороны учились, но наша девочка не училась. И совсем другое дело, если ни одной девочки нет в городе на учебе, а наша едет туда. Зачем же мы пойдем против народа, почему мы должны отпускать нашего ребенка? Не бывать этому! Знаешь, как говорил акын:

Мальчишка не растет, а лезет в спор,
Людьми не разрешенный до сих пор.

Нет, Жакыпбек, не надо зря терять уважения!

— Но ведь девочка сама хочет ехать,— вступился дядя за Батес.

— Ничего она вам не скажет, ничего она не хочет. Ума у нее еще не хватает. А поводья от девочки у нас в руках.

Я не смог сдержаться и хотел пристыдить Копыра. Но он так заорал на меня:

— Не мели вздор. Пока жив, убирайся отсюда.

Поигрывая ножом и пронзая меня глазами, он поднялся с места. «И богатырю нужна жизнь»,— вспомнил я старинные слова и выбежал из юрты.

Я шел к Мамбету ничего не соображая, и уж, конечно, не ожидал встретить на своем пути налогового агента Самалыка. Он, что называется, загородил мне дорогу.

— Не торопись, мальчик!— Он улыбнулся, и его улыбка показалась мне куда добрее и проще, чем тогда, в юрте Сасыка.— Я ведь все знаю. Ты не огорчайся. Жениться тебе рано. Да и ей. Посижай ка ты один учиться в Оренбург.

Я сразу проникся доверием к Самалыку:

— Ну хорошо, а вдруг они ее тут без меня выдадут замуж.

— Не беспокойся, Буркут! Не сделают они этого. Я буду пастухом у твоей девочки. Зорким пастухом. Если что — я житья Мамбету не дам налогами. Ты себе спокойно учись. Настанет срок, будет любовь,— станет она твоей женой.

Уверенно говорил Самалык. И с надеждой глядя ему в глаза, я понимал, что нахожу в нем опору. Правда, я тут же призадумался, почему он так хорошо относится ко мне. Впрочем, Самалык тут же разрешил мое недоумение:

— Мне ведь рассказывал о тебе Еркин. С той поры

я и потеплел к тебе душой. Помнишь, в ауле Сасыка я не обращал на тебя внимания. Так надо было, Буркут. Нет, тебе сейчас не надо оставаться в Тургайской степи. Что ты здесь найдешь для себя? Ты что, баем хочешь быть? Пока ты подрастешь, от налогов захиреют все баи. А ты, кто знает, будешь, может быть, хорошим советским работником.

Я понял, что Самалык повторял мысли Еркина.

— Пусть будет по твоему, ага!— благодарил я агепта. Он укрепил во мне веру в будущее.

Я пошел на риск и отправился с дядей в путь.

МОЙ СПАСИТЕЛЬ

От Кызбеля до самого Оренбурга тянется ровное широкое плато. Здесь расположены летние пастбища родов Малой орды Жагалбайлы и Жаппас. Около двухсот лет назад бии Малой орды во главе с ханом Абулхаиром приехали в Оренбург и дали клятву на верность России. Их привел сюда по степным просторам бай Жазы из рода Аргын. С тех давних пор этот путь стал называться большаком Жазы. Большаком Жазы мы и ехали теперь в Оренбург.

Медленно передвигались мы от аула к аулу. Разбросанные в степи редкими островками, они обычно находились в стороне от большака, и наш путь продолжался почти две недели.

Время было жаркое, сухое, все, что есть живого в степи, разбрелось поближе к озерам и речкам, к малым неприметным родникам.

Куда ни кинешь взгляд — видишь густой, как верблюжья шерсть, ковыль и желтеющие травы. Великий простор, плодородная земля! И эту плодородную землю бог лишил воды. Мой дядя не разделял ни моих восторгов, ни моей горечи.

— Да ты только посмотри: и трава здесь поганая — ковыль! Ничего здесь не будет без воды.

— Нельзя разве выкопать много-много колодцев и полить землю?— спросил я.

— Видимо, в этих краях, как ни копай, до воды не докопаешься. Русские очень ценят землю, умеют ее обрабатывать, умеют и воду находить. Там, за Уралом, в России не так-то много посевной земли и пастбищ. Там, знаешь, и телят пасут привязанными. Будь бы вода — не

допустили бы хорошие земледельцы, чтобы пустовали плодородные земли. Вот поэтому здесь так мало аулов и сел. Понял, милый?

...Между тем вдали стали появляться в легкой дымке зеленые извилистые полоски.

Я, как всегда, поинтересовался, что это такое?

— Ты видишь,— сказал дядя,— долину реки Жаика, Урала, как его называют еще. Здесь растут густые тугайные леса, а та сторона — крутая, обрывистая.

Зеленая полоса, казалось, была совсем близко, но мы ехали до нее целый день. Вот это река! Как ни дорог мне был родной Тургай и своей глубиной, и вкусом прозрачной воды, и берегами своими, и перистым степным ковылем, но во всем уступал Жаику. Жаик, Жаик! Он, кажется мне, полноводнее Сырдарьи. И разве можно сравнить уральскую воду с водой сырдарьинской, чистые светлые струи — с мутным желтым потоком! На берегах Сырдарьи — колючий тростник, он словно вонзается в тебя шипами, джида и тамариск. А здесь, в тугайных лесах, встречаются и стройные тополи и ветвистые нежные березы. Деревья здесь такие могучие, одетые такой густой листвой, что если взобраться на самую верхушку, как думал я по-мальчишески, то почувствуешь себя так, словно ты сидишь на мягкой спине упитанного коня. Какое счастье родиться и вырасти на берегу такой чудной реки.

Мы успели полакомиться и ягодами, алевшими на лужайках в сочной траве.

Поймой реки мы добрались наконец до окраины Оренбурга. Первый мост был разрушен. Его взорвали белые во время гражданской войны. Сейчас из воды торчали только редкие сваи. Другой мост — железнодорожный — чем-то напомнил мне силки, расставленные для беркута. Он тоже был разрушен, но теперь его восстановили, и на наших глазах по нему медленно прошел товарный поезд. За рекой он ускорил ход и быстро скрылся из виду.

В город мы въехали уже в сумерках. Я удивлялся всему: и реке, и берегу, и домам. Ведь до сих пор мне не приходилось видеть таких домов, огромных, многооконных, нарядных...

Долго блуждая по темнеющим улицам и переулкам, мы наконец остановились у дома, где жил дядя. Кто-то распахнул ворота, и не успел тарантас въехать в подворье, как мы услышали беготню, радостные возгласы, приветствия.

— Прошу не забывать и нашего гостя. Знакомьтесь, здоровайтесь. Мой племянник,— представил меня дядя.

Рослая женщина в городском платье первая протянула мне руку.

Это была Таслима, женгей, жена дяди Жакыпбека.

Я обратил внимание на маленькую девчушку с взъерошенными стриженными волосиками. Она возбужденно крутилась возле отца и успокоилась только тогда, когда он взял ее на руки и прижал к груди.

— Гуляжан, ты тоже поздоровайся с Буркутом.

Но девчушка, бросив на меня удивленный взгляд, тотчас спрятала свое лицо на груди Жакыпбека.

...Дядя занимал квартиру на верхнем этаже. Верхний этаж,— даже это было в новинку для меня. В одной из самых просторных комнат стол, накрытый скатертью, уже успели уставить закусками и вином. Вначале гостей было совсем немного, но потом они подходили — один за другим, и за столом становилось теснее и теснее. Мне все было здесь непривычно, все стесняло меня. Я пожаловался на головную боль и попросил разрешения где-нибудь отдохнуть. Таслима отвела меня в маленькую темную комнатку. Все, что было в ней,— это ветхий деревянный диван. Здесь мне и постелили постель. Долго я не мог уснуть. Вспоминался родной аул, дом, где я вырос, родные, близкие и среди них Батес. Но усталость взяла свое, и я не заметил, как уснул.

Утром дядя предложил мне прогуляться по городу. Я не хотел терять времени и попросил его проводить меня туда, где я буду учиться. Дядя согласился и рассказывал дорогой, что решил меня определить в опытно-показательную школу, как ее теперь называют. Она помещается в здании, где в середине прошлого века была открыта первая русско-киргизская школа. Там учился Ибрай Алтынсарин, ставший известным в наших степях мудрым стариком. В Малой и Средней орде знали эту школу, много подростков из аулов получили в ней образование. И дядя тоже учился здесь. Русско-киргизская школа закрылась в годы революции, а после провозглашения автономной республики открылась вновь, но приобрела совсем другое направление. Опытно-показательная школа создавалась прежде всего для обучения и воспитания беспризорных казахских детей. В последние годы их появилось очень много.

Здания школы были действительно великолепными.

Дело в том, что еще русско-киргизской школе по непонятной щедрости предоставили особняк и подворье, принадлежавшие когда-то одному из оренбургских генерал-губернаторов, екатерининскому вельможе Неплюеву. А теперь в этом особняке и его многочисленных пристройках разместилось около четырехсот пятидесяти учеников: они и жили здесь, в общежитии, и получали бесплатное питание в столовой.

Заведовал школой, рассказывал дядя, сравнительно молодой человек Коржау Кузды́баев:

— На него я полагаюсь, как на своего. Он сочувствует нам, поддерживает нас.

Должно быть, алашордынец! Так подумал я про себя, но, понятно, не сказал об этом дяде. Он, один из видней-ших представителей партии Алаш, не обрадовался бы моей догадке!

Итак, улицей Неплюева мы дошли до богатого особняка с мраморными львами у входа. Но дядя повел меня не в особняк, а в небольшой приземистый дом в глубине двора. Здесь и помещалась контора школы.

Каким-то узким долгим коридором, разрезающим дом, мы прошли в просторный кабинет заведующего.

Он походил на калмыка и скуластым лицом, и редень-кими усами, и смолисто-черной шевелюрой. Он был в франтоватом костюме ответственных работников тех лет: защитного цвета гимнастерке, туго перехваченной широким ремнем, штанах галифе, начищенных до блеска желтых тупоносых сапогах. И стол у него был покрыт красным сукном, как у большого начальника.

Заведующий поднялся, вышел из-за стола и произнес традиционное мусульманское приветствие, почтительно назвав дядю Жаке.

— Племянник мой, привез его учиться, способный мальчик,— представил меня дядя.— Знако́мься, Буркут, с товарищем Муздыбаевым. Зовут его Коржау, я тебе уже рассказывал.

Коржау потряс мою руку, справился, как принято по обычаю, о моем здоровье. Я не предполагал, что он так радушно встретит нас. С видом заговорщика он запер дверь на ключ, сел не за стол, а рядом с нами, подчеркивая свое расположение к дяде.

— Значит, Буркут. Буркут Жаутиков,— повторил Коржау.— Ни разу не случалось мне видеть его отца, но слышать — слышал.

И он тепло посмотрел на меня.

— Отцовский любимец и мой,— вкрадчиво заговорил дядя.— Брат тоже учился немного. И в мусульманской школе и в русской. Очень ему хочется, чтобы сын стал образованным. Но время было беспокойное, неустойчивое. Трудно было мальчику учиться. В его возрасте он бы мог знать уже больше. Особенно плохо у него с русским языком. Но, я думаю, он заинтересуется ученьем и быстро продвинется. Он у нас способный.

— Устроим его, это не трудно,— подбодрил меня Коржау.

— Я решил так,— продолжал дядя,— жить он будет у нас, а на занятия и дополнительные уроки ходить в школу.

— Воля ваша, как вы хотите,— поддакнул дяде заведующий и предложил нам посмотреть школу.

Мы начали с общежития, большого двухэтажного здания, построенного из красного кирпича. К моему удивлению, в прежние времена здесь жила неплюевская прислуга. В просторных комнатах стояли блестящие никелированные кровати, каких я не видывал в аулах даже у богатеев. И подушки и свежие покрывала отличались безупречной чистотой. Что мне особенно понравилось, так это тумбочки у каждой кровати. И на тумбочках карандаши, ручки, чернильницы. Никогда не встречал я таких ламп, как здесь. Они были укреплены под самым потолком и свешивались длинными стеклянными сосульками. Вот бы здесь жить, у этой тумбочки, под светом этой лампы, подумал я.

— В этих комнатах спят наши мальчики,— пояснял тем временем Коржау,— а внизу, на первом этаже, общежитие девочек. Пойдемте, посмотрим.

Дядя промолчал. Вероятно, он чувствовал себя неудобно за свою маленькую ложь. Еще в ауле он как-то сказал мне, что в Оренбургских школах нет казахских девушек. Я до сих пор не понял, зачем надо было ему врать. Ведь кто, как не он, сделал попытку увезти Батес в город по моей просьбе. И тут я, дяде назло, спросил Коржау, сколько же всего девочек учится здесь.

— Пока девяносто три, а нынешней осенью должны принять еще тридцать.

— И все казашки?

— Так ведь наша школа казахская. У нас только око-

ло двадцати мальчиков других национальностей, да и они хорошо знают казахский язык.

Дяде, вероятно, не очень хотелось продолжать эту беседу, и он поторопил нас в общежитие девушек.

Там было еще чище, еще красивее, чем у юношей. Я вспомнил Батес. Как бы радовалась она, если бы ее устроили здесь.

После осмотра общежития мы распрощались с Коржау Муздыбаевым.

На обратном пути дядя большей частью молчал, а говорил я. И говорил, зная, что дядю заденут за живое мои слова:

— Некоторые ругают Советскую власть, но ты только посмотри. Пусть многое еще не сделано, но разве не удивительно то, что мы сейчас видим.

Я поймал хмурый взгляд дяди, почувствовал его нежелание продолжать разговор, понял, что мои слова пришлись ему не по вкусу. Понял, но не подал вида. И спокойно:

— Царское правительство двести лет властвовало в нашей степи. Но разве оно так заботилось о казахских детях. Они были такими бедными, покойные цари, что и школ не могли строить.

Я замолчал, ожидая, что дядя скажет: «Правильно». Но он даже не поднял головы.

— А вот Советская власть существует немного, но как она думает о детях.

Дядя и на этот раз не поддержал меня.

Некоторое время мы шли в молчании.

— Дядя, а где работал прежде этот Коржау?

— Коржау? Он — учитель. А еще раньше, в восемнадцатом году, когда был сформирован полк Алаш, служил там офицером.

— И в войне участвовал?

— И зачем это только нужно знать тебе?— рассердился дядя, и я прекратил свои расспросы.

У Жакыпбека и Таслимы я пожил всего пять-шесть дней, а потом решил перейти в общежитие. Дядя не препятствовал. У меня для этого были веские причины. Когда я начал заниматься в опытно-показательной школе, очень скоро убедился, что отстал от своих сверстников. Чтобы догнать их, мне надо было и учиться и жить вместе с ними.

Мне было очень трудно первое время, особенно на

уроках русского языка. Я сидел за партой как на иголках, сгорал от стыда. Я так коверкал русские слова, что каждый мой ответ вызывал дружный смех товарищей. Тогда я обратился к Муздыбаеву, и он прикрепил меня к русскому учителю Антону Антоновичу для дополнительных занятий.

Антон Антонович был прекрасный педагог и чудесный человек. К тому времени ему исполнилось пятьдесят пять лет. Судьба его просто поразительна. Его, беспризорного сироту, где-то на базаре в городе Троицке покупает русский офицер Анцуферов. Бездетный, одинокий человек, он занялся воспитанием горемычного мальчугана и дал ему свое имя и фамилию.

Когда мальчик подрос, Анцуферов определил его в Харьковскую учительскую семинарию и, когда он в двадцать один год ее успешно окончил, помог устроиться учителем в Оренбургскую русско-киргизскую школу. «Ты должен послужить своему народу»,— говорил Антону Антоновичу его приемный отец.

С той поры он непрерывно учительствует в Оренбурге. Он хорошо изучил казахский язык. Ученики его просто обожали.

И я был по-сыновнему благодарен ему. С педагогическим умением, с добрыми чувствами закладывал он во мне семена, которые давали обильные всходы, как урожай на целине. Я делал быстрые успехи, и к началу нового года довольно хорошо говорил, читал и писал по-русски.

В то время в Оренбурге было немало учебных заведений. Я сперва легко запомнил три института, их сокращенно называли КИНО, ТИНО и БИНО. Полные их названия — Казахский институт народного образования, Татарский институт народного образования, Башкирский институт народного образования. Любители пошутить объединяли их вместе, говорили: «У нас в городе есть три НО» В каждом институте училось по триста-четыреста молодых людей, съехавшихся из Казахстана, Башкирии, Татарии.

В Оренбурге в те годы открылись еще четыре школы: советско-партийная школа, рабфак, военное училище и школа милиции. Среди учащихся этих школ было немало казахов.

Я встречал в городе среди учащихся много джигитов из нашей Тургайской степи. Особенно мне понравился

Нурбек Касымов. Он был всего на пять лет старше меня. Я так с ним подружился, что очень скоро он мне стал совсем родным. Его отец — бедняк Касым — жил неподалеку от нас. Во время восстания тысяча девятьсот шестнадцатого года Касым примкнул к сарбазам Амангельды и погиб от пули карателя. Нурбек был единственным сыном Касыма. Тяжело прошло его детство, но он с малых лет полюбил песню, полюбил домбру и вырос в общительного, веселого джигита. Высокий, стройный, с худощавым красивым лицом, деятельный и подвижный, он не расставался с музыкой и в милицейской школе. Горячее участие он принимал и в художественной самодеятельности. У него была любимая песня «Майра». Многие в Оренбурге его так и называли «Майра». Можно было не знать ни его фамилии, ни имени, но стоило произнести одно это слово, как все понимали, о ком идет речь.

Несмотря на то, что наши отцы враждовали друг с другом, находились в разных станах, мы подружились очень крепко и встречались чуть ли не каждый день.

Через Нурбека в школе милиции я познакомился еще с одним тургайским джигитом — Найзабеком Самаркановым. Ему уже было не так далеко до тридцати. Он носил густые черные усы, придававшие его скуластой смуглой физиономии строгое, порой даже злое выражение. Найзабек сам сражался в отряде Амангельды и навсегда сохранил чувство ненависти к баям, алашордынцам, к моему отцу.

Как-то он зашел к Нурбеку в комнату и застал там меня.

— Оказывается, и щенок степного волка приехал в город.— И обжег меня презрительным враждебным взглядом.

Это знакомство дорого обошлось мне.

Весною тысяча девятьсот двадцать четвертого года стало известно, что в опытно-показательной школе будет проведена чистка. Среди учащихся скрывалось немало байских детей, и среди преподавателей встречались люди с чуждыми взглядами. И в самом деле в школу нагрянула комиссия по чистке во главе со вторым секретарем обкома партии Абдоллой Асылбековым.

Я видел его раза два-три. Плотный, рябоватый, он казался мне строгим и решительным человеком. От дяди и его друзей я узнал, что Абдолла участвовал в Октябрь-

ской революции и гражданской войне, был одним из тех, кто устанавливал Советскую власть. Но больше всего говорили у дяди, как беспощаден Абдолла к буржуям, баям и, в особенности, к алашордынцам.

Комиссия очень быстро освободила от должности Коржау Муздыбаева, а на его место заведовать нашей школой назначила секретаря комсомольской организации Казахстана Ергали Алдонгарова. Мы только тогда узнали горькую правду: наш вежливый тихий Муздыбаев был самым жестоким офицером в полку Алаш. Он сам рубил шашкой пленных бойцов и командиров Красной Армии, попавших к нему в руки... Вместе с Коржау в школе преподавало еще несколько таких же алашордынцев. И всех их вывели на чистую воду.

Комиссия по чистке и среди учащихся обнаружила многих детей крупных баев и алашордынцев; большинство из них числилось в списках беспризорными. Меня Коржау тоже внес в этот список. И теперь, когда обнаружилась истина, когда секрет многих «безнадзорных сироток» был раскрыт, я не знал, куда деваться от страха.

Я пошел искать защиты у дяди. Но он меня не обрадовал:

— Тут я тебе ни в чем не смогу помочь. Этот Асылбеков беспощаден. Переубеждать его бесполезно. С казахскими обычаями он не считается. Я, говорит, принципиальный. Я — коммунист. Его с места не сдвинешь. Узнают, кто твой отец, не очень надейся, что оставят в школе.

— Что же мне делать, что?

— Терпи, верь в свое счастье!

Вот все, чем меня утешил дядя. Я вспомнил слышанные где-то слова: «Когда тебя захватило теченье, ищи дерево, чтобы за него держаться». Где же это мое дерево, где мое спасение? Ведь без него я могу захлебнуться. И вдруг я понял: Это Еркин Ержанов. Кажется, один он сможет меня выручить. Но как далек он сейчас от меня. Не дотянуться до него моими руками. И в этом виноват не Еркин, а я, Буркут.

И надо же было так случиться, что Еркин почти одновременно со мной приехал в Оренбург, сдавал экзамены и поступил в совпартшколу. Как-то мы встретились и начали сближаться, но об этом узнал дядя и стал меня предостерегать:

— Ты ему не верь. Он притворяется, что хорошо относится к тебе. Он ненавидит баев и прежде всего — твоего отца. Надеяться на него — это ждать, что звезда упадет тебе в ладонь. Лишь капкан он может тебе приготовить. Попадешь в него — он съест тебя со всеми потрохами.

Легковерный по своей юности и неопытности, я после этого разговора стал избегать Еркина, даже делал вид, что не замечаю его, когда встречал на улице.

Такое мое поведение огорчило Еркина. Однажды он сказал Нурбеку, что я зря сторонюсь его. Дескать, передай Буркуту: ничего плохого я ему не сделаю. Я сам советовал ему учиться. Зачем же теперь я буду под него подкапываться? Исключить из школы — легче легкого. Труднее бороться за человека.

Нурбек передал эти слова мне, я — дяде. Но дядя и на этот раз стоял на своем. Мол, если тебя кто-нибудь выгонит из школы, так это только Еркин.

Однако я волновался не зря. Комиссия еще не закончила своей работы, а мне уже шепнули:

— Знаешь, и на тебя, кажется, есть материал.

У меня дрогнуло сердце:

— Интересно, кто это сделал?

— Вот уж этого не знаю...

Неужели Еркин? Неужели дядя оказался прав? Неужели он только притворялся моим другом? А если он мне враг, что я должен сделать?

К счастью, мои опасения были напрасными. Да, заявление действительно есть. И в нем подробно написано о хозяйстве и делах моего отца. Есть и подпись под заявлением: Найзабек Самарканов.

Я опять побежал к дяде. Он не изменил своего мнения:

— Это все равно Еркин. Он только спрятался за спину Найзабека.

Комиссия продолжала свою работу. Она вызывала одного за другим всех сомнительных «беспризорных». Дошла очередь и до меня. Завтра я должен был предстать перед комиссией. Я волновался как никогда. Убежденный, что меня исключат, в какие-то мгновенья я слепо соглашался с дядей и, во всем виня Еркина, искал с ним встречи, а сам нащупывал в кармане нож. Я подкарауливал его неподалеку от общежития милицейской школы. И, действительно, он прошел мимо меня; окруженный друзьями. А я даже не окликнул его.

Тогда я отправился к Жаику, подошел к проруби и уже готов был броситься в воду. Но нет. Я не в силах был расстаться с жизнью. И вдруг словно кто-то шепнул мне: не отчаивайся, погоди. Позавчера комиссия оставила одного сына бая. А завтра, может быть, оставят тебя.

Так надежда осторожно взяла меня за руку и по речному льду привела к берегу. Возникла мысль пойти к Нурбеку. Ведь он же один из самых близких друзей Еркина. И не поговорить ли нам втроем. Я пришел к общежитию школы милиции, но был слишком поздний час, и меня просто не пустили. Что ж, подумал я, встретимся утром.

Ночь я провел не смыкая глаз. Взошло солнце, я вновь отправился в школу милиции. Но не дошел и повернул обратно. Будь что будет. Никого не стану упрашивать.

Словом, в назначенный мне срок я уже входил в комнату комиссии по чистке. Бог мой, рядом с Асылбековым сидел Еркин. Как у меня застучало сердце. От волнения я не поздоровался и застыл у порога. Асылбеков хмуро уставился на меня своими раскосыми калмыцкими глазами.

— Как его фамилия?— обратился он к членам комиссии.

— Жаутиков,— опередил других Еркин.

Асылбеков круто повернулся к нему:

— Значит, это тот самый мальчик, о котором ты мне говорил?

— Тот самый,— тихо сказал Еркин.

«Ишь, тихоня! Сделал свое дело»,— зло подумал я.

В калмыцких глазах Асылбекова я увидел вдруг живые добрые огоньки:

— Вот что я тебе скажу, милый мой. Ты сын такого плохого человека, что тебя можно выбросить из школы без всяких разговоров. Но Еркин Ержанов,— знаешь его, конечно,— спас твою душу. Иди, учись!

Я разрыдался. Безмерная радость и слезы помешали мне вслух поблагодарить Асылбекова и Еркина. Моего хорошего Еркина, в котором я, к стыду своему, сомневался. Я закрыл лицо ладонями и пулей вылетел в коридор. «Вот кто мой настоящий спаситель»,— думал я, давая волю слезам.

ОБИДА

На дальнем я вижу тебя берегу,
Ты в лодку скорей переделай серьгу,
На ней неприметно меня провези!
Мой ангел, разлукою мне не грози.

(Из народной песни.)

Я и сам не ожидал, что так успешно закончу учебный год.

Отличное настроение было и у дяди, правда, совсем по другому поводу. Во всяком случае, он очень настойчиво приглашал меня пожить вместе с ним в Крыму до начала осенних занятий.

Замечу между прочим: у дяди, по моим наблюдениям, водились большие деньги, и когда я однажды поинтересовался,— это, конечно, было невежливо с моей стороны,— откуда он их берет, он хитро улыбнулся:

— Тебе, Буркут, приходилось слышать, что такое гонорар?

Нет, не слышал я этого слова ни на занятиях по русскому языку, ни в беседах со знакомыми.

— Ты видел учебники, написанные мной? Видел, говоришь? Даже учился по ним. А я получаю за них деньги, вроде зарплаты. Вот это и есть гонорар — плата за печатный труд.

Дядя мне подробно объяснил, что гонорар назначается за каждый печатный лист, а печатный лист — это шестнадцать страниц обычной книги. Значит, чем больше книга, тем больше и гонорар. Я был поражен, когда дядя сказал мне, что за печатный лист ему выплачивают от пятидесяти до семидесяти рублей червонцами. И только за этот год у него, оказывается, издано тридцать печатных листов. Я быстро подсчитал в уме дядины доходы: получилась внушительная сумма. Ведь это были уже червонцы, выпущенные в двадцать третьем году, а не прежние бумажки, которые считались на тысячи и даже миллионы.

Я хорошо знал цену новым деньгам. Баран в Оренбурге стоил пять рублей, а корова — двадцать. Когда я уезжал из Кызбеля, отец сунул мне в карман сто рублей. Отлично помню, на восемьдесят три рубля я накупил целый ворох одежды: тут были и хромовые сапоги, и суконное пальто, брюки, камзол, кепка, не говоря уже о белье и рубашках...

После этого разговора с дядей я уже перестал удивляться богатству его домашней обстановки. Его жена Таслима, которую он называл Таней (а вслед за ним и я Таня-женгей), то и дело бегала в комиссионный магазин покупать разные дорогие вещи, распродававшиеся былыми богачами. Однажды Таня-женгей притащила из комиссионки енотовую шубу. Такая шуба стоила по крайней мере шестьдесят баранов.

Мне была вполне понятна и дядина щедрость, когда зашла речь о поездке в Крым. Кстати, дядя при множестве своих недостатков никогда не отличался скупостью. Он говорил: «Если у тебя есть конь — узнавай мир, пускай его рысью, чтобы больше объехать. Если у тебя есть сбережения, не жалей их для знакомства с людьми, пусть не переводятся у тебя гости. Деньги не станут милее от того, что они заперты в сундуке».

Но как ни заманчива была поездка в Крым, как ни уговаривал меня дядя, никакие курорты меня не прельщали. Зачем я поеду туда? Разве есть для меня земля дороже моих степей, разве есть люди дороже Батес?

Изредка приезжали в Оренбург знакомые из аулов. Я знал, что Батес здорова и живет в отцовском доме. Знал, что она уже давно носит обычную девичью одежду и много читает. Еще до меня дошли вести, что агент финотдела Самалык сдержал свое слово. Он не только обложил Сасыка налогами, но и посадил его в Тургайскую тюрьму. Рассказывали, Сасык насилу освободился весной. И теперь, как говорят в народе, ему не до кобылицы-трехлетки, голову бы сохранить! Сасык, занятый своими делами, и не подумает сейчас о том, чтобы отбивать девушку, за которую когда-то уплатил калым.

Зимой я написал Батес несколько писем, но от нее — ни звука! Может быть, они не попадали ей в руки? Кайракбай, приезжавший в декабре, говорил мне, что она считает себя моей невестой. Да и в ауле так думают. Тем больше меня волновало ее молчание.

Я должен был поехать в аул, что бы ни случилось, и после окончания занятий стал собираться в дорогу. Но тут пришло долгожданное письмо от Батес.

В вестибюле — да, да! В вестибюле — я очень полюбил в этот год употреблять иностранные слова, когда нужно и когда не нужно!— нашего общежития был установлен ящик для писем с ячейками, обозначавшимися буквами по алфавиту. Обычно в ячейке на букву «Ж»,— я ведь

Жаутиков,— для меня ничего не было. Только раз в месяц, по поручению отца, мне писал Текебай. Но какими скучными были эти письма, в них кратко сообщалось о здоровье и благополучии семьи и скота. Поэтому я неделями ленился заглядывать в ящик для писем. И вот почти случайно я задержался у ящика и вдруг увидел в своей ячейке конверт. Взял и сразу узнал почерк Батес, хотя обратного адреса не было. Но почему она послала письмо в школу: ведь я просил ее писать на квартиру дяде. Значит, она ему не особенно доверяла? Я вскрыл конверт и прочитал самый конец письма. Твоя Акбота, твой белый верблюжонок! Так называл Батес только я.

Я ведь уже давно потерял надежду получить письмо Батес. И теперь вместо того чтобы сразу прочитать его от строчки до строчки, растерянно и нежно прижимал к груди распечатанный конверт. Наверное, со стороны на меня было смешно смотреть. Я услышал возгласы: «Что с ним происходит?» Это недоумевали мои одноклассники. Я убежал в свою комнату, словно они покушались на письмо Акботы. Как хорошо, что в этот час все мои соседи по общежитию отсутствовали. Я был один. Наедине с письмом. Наедине с мыслями о Батес...

В коридоре слышался говор ребят. Как бы они не пришли сюда, подумал я. И, ревниво оберегая от них свои чувства, я стал читать эти странички из школьной тетради. Даже в обращении ко мне Батес была верной себе. Отец чаще всего называл меня Бокежан. Также называла меня и Батес. И там, в ауле, и здесь, в письме.

Вот оно, без всяких пропусков:

«Бокежан!

Письма, посланные тобой зимой, получила. Все семнадцать.

Почему я не отвечала на них? Судя по твоим письмам и рассказам Кайракбая, учеба у тебя идет успешно. И я не хотела тебя отвлекать от занятий. К тому же мне совсем не о чем было писать.

А теперь находится серьезный повод. Недавно твой отец получил письмо от дяди. Кайракбай мне передал, что нынешним летом дядя приглашает тебя поехать с ним в Крым. А ты, оказывается, не хочешь. Дядя решил, что ты отказался из-за меня, и просил твоего отца сделать все, чтобы ты не возвращался летом в аул. Он боится, что из-за меня ты бросишь учебу. А кроме того, опасается аульных сплетен.

Знаешь, Бокежан, я думаю, дядя твой прав. А за меня не бойся. Самалык Сагымбаев повторил мне слова, которые он сказал тебе при твоем отъезде. Другим я могу не верить, а ему верю. Для баев нашей стороны он сейчас царь и бог. До тебя, я знаю, дошли вести, что Сасык провел всю зиму в тюрьме. Не только потому, что уклонялся от налогов, а из-за калыма, за то, что стал сватом малолетней девочки. Он сильно напуган. Ты знаешь, прежде Сасык довольно часто бывал у нас, а теперь его конь больше не прокладывает к нам дороги.

Однажды Самалык при мне ругал моего отца: «Твоя девочка еще лежала в люльке, а Сасык уже заплатил за нее калым. Говорят, и вы вместе с ним ожидаете, когда она достигнет возраста хозяйки дома. Я ему сказал и тебе повторю: замуж за сына Сасыка вы ее не выдадите. Я сам буду наблюдать. А если уеду я,— все равно — Советская власть останется. Попробуйте только испортить жизнь девочки. Тогда ругайте сами себя». Отец сквозь землю готов был провалиться. Он пытался оправдаться, вспоминал прежние казахские обычаи. А под конец пообещал: как скажет закон, так и будет! Хотя мне и было стыдно слушать разговор старших обо мне, но я не уходила. Мне понравилась настойчивость Самалыка. Я теперь перестала бояться. У них ничего не выйдет.

А тебе к нам нынешним летом приезжать не надо. Твой дядя прав. Ты ведь сам пишешь, что еще одна зима,— и ученье твое в Оренбурге кончится. Будешь жив и здоров, совсем вернешься в аул. Но если ты сейчас и дядю и меня не послушаешь,— знай: уеду куда-нибудь, где ты не отыщешь меня. А даже если отыщешь — и разговаривать с тобой не буду...»

Дошел я до этих строк и чувствую: места себе не могу найти. Разве это письмо доверчивой, милой, невинной девушки? Так может писать, думал я, только зрелый, опытный, поживший человек. Откуда такая рассудочность? Почему она так дерзко разговаривает со мной? И зачем она сдабривает безрадостное для меня письмо нежным и горячим обращением «Бокежан»?..

Но перевернув тетрадный листок, я увидел, что он исписан и на обороте. Я пробежал окончание письма мельком, потом стал вчитываться пристальнее и тут ощутил то тепло, которого так не хватало вначале.

«Мое письмо может обидеть тебя, любимый Бокен!.. Но я не зря присоединила к твоему имени слово «жан». Казахи называют девушку тринадцати лет «хозяйкой дома». Мне исполнилось уже четырнадцать. Кто-нибудь и считает меня до сих пор ребенком. Но я-то знаю, что в четырнадцать лет человек уже думает о своем будущем. Если верить поэтам, то люди, видимо, начинают любить с детства. Чувство любви пробудилось у меня не в детстве, а вспыхнуло в Сарыкопе морозной снежной зимой... И с той поры оно разгорается, кажется, не по месяцам, не по дням, а по часам, по минутам. Это горячее чувство разгорается в глубине сердца... А если я тебя увижу? Что будет тогда?..

Я призвала на помощь рассудок. Мне кажется, что нам с тобой еще рано так гореть... Раньше влюбленные боялись, что они не смогут соединиться. У нас с тобой ведь нет такого препятствия!.. Тогда зачем нам торопиться?.. Вспомни любимую поговорку отца: «Терпенье — червонное золото. Терпеливый достигнет цели, нетерпеливый — опозорится...»

Не будь же и ты нетерпеливым, Бокежан!.. Я буду ждать тебя столько, сколько понадобится. И не надо тебе приезжать летом в аул. Ты закончишь свою школу в Оренбурге и на будущий год мы вместе поедем учиться дальше.

Твоя Акбота!»

Я долго думал над письмом Батес. Мне было очень обидно, но я не мог не признать, что она права. Я еще некоторое время колебался, а потом принял решение остаться в Оренбурге. Через некоторое время вместе со своими товарищами я уехал в пионерский лагерь и все лето работал вожатым.

Я продолжал тосковать по Батес и терпение мое истощалось. Но второй год учебы пролетел быстрее, чем первый. Я много занимался, а все свободное время отдавал книгам. Русской художественной литературе. Сколько я перечитал за эту зиму! Больше всего я увлекался Лермонтовым. Из всех его произведений самое большое впечатление произвел на меня роман «Герой нашего времени». Я несколько раз перечитал его и многие страницы запомнил наизусть. Сознаюсь, мне очень понравился Печорин. Порою он мне казался образцом. Я воображал себя Печориным, а Батес — Бэлой. Но отношения наши

были совсем другие. И, кроме того, я был уверен, что никогда не разлюблю Батес. Однако я не мог представить себе, как сложится в будущем наша судьба...

Наступила весна тысяча девятьсот двадцать пятого года. Стало известно, что к Казахской автономной республике присоединяются Семиречье и Сырдарьинская область, входившие до сих пор в Туркестанскую республику. Столица республики из Оренбурга переводилась в Ак-Мечеть.

Я заканчивал опытно-показательную школу. Одни мне советовали поступить на третий курс Оренбургского рабфака, а потом ехать куда-нибудь в институт. Но честно говоря, я не хотел оставаться в городе, который перестал быть столицей Казахстана. Дядя согласился со мной. Из Оренбурга и по его мнению надо было уезжать. Но когда я упомянул Ак-Мечеть, дядя стал возражать:

— Техникумы там, Буркут, есть, но зачем тебе техникум. У тебя шестиклассное образование, ты хорошо владеешь русским. Техникум тебя свяжет по рукам и ногам. Правда, Казахский институт народного образования переезжает в Ак-Мечеть. Но там дело обстоит неважно. Все занятия ведутся на казахском языке, а казахских учебников очень мало. Больших знаний ты там не приобретешь. Нет, ты пока оставь мысли об Ак-Мечети. Спрашиваешь, куда же тогда? Езжай, по-моему, в Ташкент! Там есть педагогический институт, Инпрос. Преподаватели как на подбор. Замечательные. Лекции — заслушаешься. Город — отличный. Вот где надо тебе учиться.

Уговорить меня, зажечь было нетрудно. Но вот вопрос: а примут ли меня туда? И я спросил об этом дядю. Он хитровато взглянул на меня:

— Конечно, не примут. Если не найдется уважаемый человек, чтобы порекомендовать тебя.— И, помолчав минуту, добавил: — Но мы найдем кого-нибудь. Ты Жунусбека Мауытбаева знаешь? Да, да. Того самого, который сдавал в нашем Тургае скот, присланный для голодающих из семипалатинских аулов.

Так вот, сам Жунусбек и руководит в Ташкенте этим институтом. Один из самых уважаемых деятелей Алаша. С моей запиской ты непременно будешь принят.

Сомнения мои рассеялись.

Короче говоря, кончил я опытно-показательную школу по всем предметам на «хорошо» и с запиской дяди поехал в родные края.

Вместе со мной возвращался и Мусапыр Лусырманов. В этом году он окончил Казахский педагогический институт. Я недолюбливал своего двоюродного братца, но ни у него, ни у меня не было других попутчиков. Кроме того, у Мусапыра было разрешение на бесплатное пользование в аулах конным транспортом — немаловажное для меня обстоятельство.

К нам вели две дороги: одна на поезде до Кустаная через Кинель и Челябинск, а потом степью, на лошадях, мимо озера Святого, Аулие-коль. Другая дорога — большак Жазы, которым я ехал с дядей. Я выбрал именно этот путь, чтобы погостить в ауле Батес. Ехать этим путем дольше, но, как я уже сказал, заманчивей.

На десятый день вдали смутно показались холмы Кызбеля, подернутые легкой дымкой миража. Кызбель напоминал большой корабль, колыхавшийся в волнах океана. Должно быть справедливо говорят, подумал я, что наш Тургай, наша степная низина когда-то была дном настоящего моря. Сейчас как бы воскрешался древний пейзаж.

И, как всегда бывает в степи жарким летом, нам казалось, что холмы по мере нашего приближения удаляются от нас. Так убегает лиса от выбившейся из сил уставшей борзой.

Цель была близка и далека.

Особенно измучился я. Дорога на этот раз показалась невыносимо длинной.

Наконец мы у цели.

Сквозь марево угадывались юрты аула, где меня ожидает Батес.

Но я не делился своими волнениями с Мусапыром. Он был ненадежным другом. Однажды я ему поверил свои секреты, а он их передал дяде. С той поры я остерегался Мусапыра, прятал от него свои тайны. Но как сказал Султанмахмут Торайгыров:

У человека есть ли тайна,
Что не прорвется из-под спуда?
У человека есть ли сила
Беречь ее всегда и всюду?

Я почти уверен, что Мусапыр догадывается, почему я выбрал большак Жазы. Но он не приставал ко мне с вопросами, помня, как обиделся я на него в Оренбурге.

Дорога тянулась, степь впереди была по-прежнему подернута маревом.

— Эх, проклятая, пустишь ли нас к себе или нет?— выругался я.

— Ты о чем это?— вздрогнул Мусапыр.

— О Кызбель. Сколько уже времени маячат холмы впереди, а мы никак не доедем.

— Почему ты так торопишься?— улыбнулся Мусапыр.

Я ничего не ответил. Мусапыр внимательно взглянул на меня, и его улыбка мгновенно исчезла. Он почувствовал, что я не хочу с ним разговаривать, и отвернулся от меня.

Мы снова замолчали.

Юрты аула Батес, расположенные у Базаукана, появились как всегда неожиданно.

Знакомые юрты, знакомый аул, знакомые ложбина, ручей, холмы.

В поэме «Мунлык-Зарлык» рассказывается о хане Шаншаре. Долго у него не было детей. И только его шестидесятая молодая жена забеременела. Подошло время родов. Хан никогда не слышал в своем доме младенческого крика. Он боялся, что у него сердце разорвется, когда он впервые услышит голос своего ребенка. Хан взял с собой сорок вазиров и выехал на охоту, чтобы дождаться там радостной вести из орды.

Я вспоминал эту поэму, и мне казалось, что мое сердце может так же разорваться, как сердце Шаншара. Я был нетерпелив в отличие от хана. Мне хотелось опередить добрую весть...

Мысли мои путались, нервы были напряжены. Я непрерывно погонял лошадей. Но почему же такая тишина встретила нас в ауле? Словно там не осталось ни одной живой души. Только злая сука Кикыма выскочила к нам с пронзительным лаем, но, узнав меня, замолчала и завиляла хвостом... Странно, что и на лай собаки никто не вышел.

Мы остановили лошадей между юртами Кикыма и Мамбета. Я не сходил с телеги. Глядя на меня, не трогался с места и Мусапыр. Так продолжалось, пока из юрты не появилась Калиса в легком платке, накинутом на голову:

— Апырау, что у вас здесь происходит?— воскликнул я, спрыгивая на землю.— Все ли здоровы?

— Здоровы, здоровы,— отвечала Калиса, несколько удивленно посматривая на меня. Должно быть, я очень изменился или был слишком взволнован.

— Но почему тогда так тихо? Где же люди?

— Все на месте, все здоровы!— улыбалась Калиса.

— Да... Но где же все-таки они?

— Ты поздоровайся сначала,— и Калиса протянула мне руку.— Значит, вернулся живым-здоровым?

— Слава богу!

— Хотела я тебя расцеловать по-старинке, а ты за эти два года так вырос, вот каким стал джигитом. Нет, Буркут, дай-ка я, как прежде, обниму тебя!

Да, я действительно вытянулся с тех пор, как уехал из аула. Калиса едва достигала моего плеча. А давно ли она была чуточку выше меня?

Калиса показала на свою юрту:

— Пойдемте.

Я немного недоумевал, но она сделала мне знак, как бы повторяя приглашение. Я пропустил Мусапыра вперед, а сам задержался с Калисой.

— Ты не беспокойся. Еркежан сейчас в дальней дороге,— быстро шептала мне Калиса,— к родственникам Каракыз поехала. Повезла целую арбу подарков.

— А кто еще поехал с Батес?

— Человек из нашего аула. Сеил. Да, кажется, еще кто-то.

— Батес ничего не оставляла для меня?

— Вот этот листок бумаги,— Калиса достала завязанное в уголок платка скомканное письмецо.

•

«Бокен!— читал я неровные торопливые строчки.— — Не знаю, так ли это или не так. Наверное, мать почувствовала, что ты приедешь. И тем сильнее ей захотелось уехать из аула. Но она давно собиралась повидать своих родственников. Это тоже правда. Она настояла, чтобы я сопровождала ее. Мне никак нельзя было отказаться. Родичи наши живут недалеко от Троицка. Письмо твое из Оренбурга получила. Я обещала тебя подождать,— не обижайся, никак не смогла. Если у тебя найдется время — подожди меня.

Твоя Акбота».

И все же я обиделся!

Это не скрылось от глаз Калисы, да я и не пытался

скрывать. Как ни старалась она меня утешить, ее слова не доходили до меня.

Вспыльчивый, как всегда, я решил немедленно уезжать.

— Но ты хоть сегодня побудешь?— с горечью спросила Калиса.— Ты что ж, кроме Еркежан, никого и знать не хочешь... А я-то собиралась ягненка зарезать... Я ведь знала, что ты сюда приедешь. Не забыл, как говорили у нас: «Если помнишь человека, оставь ему долю от старого обеда». Вот и я сберегла для тебя немного вялекого мяса, того, что еще зимой заготовляли. Отпробуй его, а уж потом отправляйся.

Калиса растрогала меня. Я вспомнил ее прежнюю доброту и не стал ей перечить. Мусапыр, рассеянно слушавший наш разговор, попил кумыса и пошел по аулу прогуляться.

Принялся за кумыс и я. Утолив жажду, почувствовал себя спокойнее. Обида и злость, бередившие мне душу, немного улеглись.

Я стал расспрашивать Калису о жизни в ауле Мамбета. Здесь находились сейчас только Жания, настоящая мать Батес и младшая жена Мамбета, Какен, сестра Батес, и один наемный джигит.

С некоторым удивлением я узнал, что Мамбет стал компаньоном моего отца по торговле: он берет товары из лавки в нашем ауле и развозит их по степи. Потому-то его и не оказалось дома.

И еще одну новость услышал я от Калисы. Семья Мамбета теперь разделилась: Каракыз, Батес и Сеил остались в прежнем доме, а сам Мамбет, Жания и Какен живут отдельно.

Это для меня было совсем непопятно. Но Калиса объяснила мне, что так теперь делают все тургайские баи, у которых по две жены. Ведь новый закон запрещает многожепство. Да и налоги очень выросли. И вот баи смекнули, что если скот и имущество поделить на две части, общий налог уменьшится.

Я поинтересовался, как же они все-таки разделились. И Калиса рассказала:

— В прошлом году, когда приехал разъездной суд, Молда-ага,— так Калиса называла Мамбета,— подал заявление. Он написал в нем, что закон запрещает иметь двух жен. Старшую жену он никогда не любил. К тому же, она стала сварливой и старой, не дает жизни его лю-

бимой младшей жене. Поэтому Молда-ага просит его развести с байбише.

— И неужели суд поверил этому?— перебил я Калису. Она усмехнулась в ответ.

— Соображай, Буркут! Ведь судья был одним из старых друзей Молда-ага. Он даже, кажется, помог ему составить заявление. Суд дал развод, разделил семью, поровну распределил скот. И теперь Молда-ага освободился от дополнительного налога.

— Скажи, юрты у них вместе или отдельно?

— А ты разве не заметил за большой юртой — серую, немного поменьше. Это и есть младший дом. Понятно?

— А!.. Значит, они действительно разделились?

— Боже мой, какой ты, однако, ребенок! А еще в городе два года учился,— Калису раздражала моя несообразительность.— Обыкновенная хитрость. Обманули Советскую власть. Для чужих глаз живут отдельно, а на деле — вместе.

— Так кто же теперь остался в большой юрте? Ты ж говоришь, что все разъехались.

— В большой юрте токал Жания и Какен. А в отау почует только джигит Кайназар.

Мне очень захотелось увидеть Жанию, и я спросил у Калисы, почему она не показалась.

— Ты должен помнить, Буркут, Жания устает от работы. Я, думаю, она вздремнула между двумя дойками. Ты же знаешь, Какен плохая помощница ей — вялая, ленивая. Перед самым твоим приходом токал подоила кобылиц. И наверно легла спать.

Я и прежде частенько жалел Жанию. Ведь она была родная мать Батес. И Жания отвечала мне душевным теплом, чувствуя, что ее дочка нравится мне. Я любил беседовать с ней. Постоянно обремененная хозяйственными хлопотами, обычно молчаливая, она в недолгих наших разговорах проявляла и ум и здравый смысл. Поэтому я и решил отыскать Жанию и поздороваться с ней, пока Калиса будет готовить обед.

Я сначала зашел в большую юрту, предполагая, что там отдыхает Жания. За опущенным с правой стороны занавесом послышался шорох и чей-то смешливый шепот. Я опустил глаза и увидел, что у нижнего края занавеса из-под одеяла торчат ноги. Нет, это была совсем не Жания. Бесенок вселился в меня, и я сорвал одеяло. Боже, под ним лежали Какен и Мусапыр. Когда он толь-

ко успел! Я растерялся. Мне было стыдно больше, чем им. И, поспешно набросив на них одеяло, я выскочил из юрты. Вот собаки!

Не знаю, много ли я бродил по аулу, раздумывая о жизни, но все мои невеселые мысли о Мусапыре улетучились, когда я увидел, что из отау выходит Жания. Два года прошло, а она была все такой же, даже носила все ту же старую одежду.

— А ведь я слышала, как ты приехал, Буркутжан,— поспешила она ко мне навстречу.— Ты уж прости меня, что сразу не приветствовала тебя. С каким, думаю, лицом я выйду к тебе, если нет дома Акботы.

Акбота, белый верблюжонок! Откуда только она узнала, я так наедине называл Батес.

— Ну, иди ко мне, иди. Не брезгуй моей одеждой. Дай я тебя обниму.

Какими теплыми показались мне ее ласковые, заботливые руки!

Долго бы я пробыл вместе с мамой моей Батес, но Калиса позвала нас к обеду.

Я видел слезы в глазах Жании, я прослезился сам, чувствуя ее материнскую тревогу, слушая ее прерывистую грустную речь:

— Поневоле уехала, поневоле. Ты это пойми. Уж так волновалась. Пока не скрылись арбы в степи, видела я: все оглядывалась в сторону аула. Тосковала она. Все время тосковала.

Тут Жания замолчала. К нам подходила Калиса...

Мусапыр не опоздал к обеду. Мы насытились и вяленым мясом и свежей ягнятиной, вдоволь попили вкусного кумыса Калисы.

Мы выехали из аула Мамбета верхом в сопровождении мальчугана, скакавшего на жеребенке-трехлетке. Мусапыру досталась резвая лошадь, а моя что-то спотыкалась. Я боялся в соревновании со своим двоюродным братцем отстать от него в скачках и, жалеючи коня, перевел его на шаг. Со мной вровень трусил на своей трехлетке мальчуган. Он оказался хитроватым и разговорчивым. И пока ускакавший далеко вперед Мусапыр поджидал нас у холма, малец смешил меня всякими забавными историями.

Когда мы поравнялись с Мусапыром, я стал было подшучивать над ним, припомнив сегодняшний случай в большой юрте. Но он, с виду такой спокойный и терпели-

вый, разозлился, вспыхнул и грубо оборвал мою шутку.

Тут мы начали с ним переругиваться. Слово за слово, слово за слово. Так могло бы продолжаться бесконечно, если бы он не задел Батес.

— Ты, может быть, думаешь, что Какен хуже нее?— насмешливо спросил он меня.

Это уже была отравленная стрела. Я, считавший Батес чище ангела, загорелся от боли и гнева.

— Повтори, что ты сказал!— я подъехал вплотную к Мусапыру.

— А ты разве не слышал?— И, подхлестнув лошадь, он рысью стал удаляться от меня.

— Что слышал, то и получи!— пришпорив коня, я перетянул его камчой по голове.

Я размахнулся еще, но Мусапыр сумел избежать второго удара: его лошадь была резвее моей. Я изловчился, как в джигитовке, и в одно мгновение оказался на крупе лошади Мусапыра, готовый начать потасовку. Но она так шарахнулась, что я скатился на траву. Я успел заметить струйку крови, стекавшую с виска к подбородку Мусапыра. Мрачный и злой, он прокричал мне:

— Что? Горит внутри. Так лизни соли. И знай: я и до Батес добрался раньше тебя!

Остальных слов я уже не мог разобрать. Мусапыр стремительно удалялся от меня, яростно нахлестывая лошадь.

От досады я выругался и пожалел, что мне его уже не догнать. Схватка наша могла окончиться плохо. Один из нас вряд ли остался бы в живых.

Так угрюмо раздумывая, я ступал по выгоревшей траве. В это время обескураженный нашей ссорой мальчуган поймал мою лошадь и подвел ее ко мне.

Мы продолжали путь вдвоем. Мусапыра уже не было видно за степными холмами.

САМАЯ КРАСИВАЯ

В ауле я застал большие перемены. За два года жизнь стала намного лучше. Еще в тысяча девятьсот двадцать третьем году был принят закон о едином сельскохозяйственном налоге. Беднота, полностью освобожденная от налога, свободно вздохнула, а баи должны были платить государству значительно больше, чем прежде.

Беднякам открыт был кредит в новой организации «Товарищество взаимопомощи» для покупки сельскохозяйственных машин. Их жизнь начинала налаживаться.

К тому же в аулах был организован «Союз косчи», «Союз бедноты». Баи теперь могли нанимать батраков только по договору с ним. Председателем союза в нашей волости стал батрак Сактаган Сагымбаев. Едва научившись на шестимесячных курсах в Тургае читать и писать, он так бойко и умело принялся за дело, что окружающие только руками разводили. Законы, говорили, он выучил наизусть, любой документ составлял не хуже какого-нибудь опытного писаря. Баи боялись его как огня. Он не только заставлял их обеспечивать батраков за их нынешнюю работу, но и принудил их выплатить сполна все свои прежние долги за пятнадцать лет. Батраки, жившие когда-то у нас, получили теперь от отца через «Союз косчи» больше десятка баранов, двух быков, верблюда и лошадь.

Но баи, зажатые в тиски, не сдавались, не бедствовали. Хитростью, ловкостью, а то и подкупом многие из них обходили новые законы. Они ездили в губернский город Кустанай с бурдюками, полными кумыса, и ягнятами. Они быстро научились делать щедрые подарки нужным людям в учреждениях и добивались своего. У Сасыка за неплатеж налога и скрытие скота давно надо было бы конфисковать имущество, а самого на несколько лет посадить в тюрьму. Но он отделался короткой отсидкой. Кто-то ему помог сохранить и стада.

Пришлось хитрить и моему отцу. Зная, что в кочевых аулах налог платится только с количества скота, он значительно уменьшил поголовье, но зато улучшил породу. У него остался один косяк лошадей вместо прежних двух. Но какие это были теперь лошади! В прошлом году он раздобыл через губернский земельный отдел жеребца-аргамака из государственных конюшен. Он стоил по государственной цене столько, сколько стоят пять жеребцов казахской породы. А если бы его покупать на конском базаре, то никаких бы денег не хватило! Да и красив же был этот аргамак! Высок — до холки трудно дотянуться; поджарый, как борзая, лишнего мяса у него на теле не было — одни мускулы; спина такая, что хоть стели постель и спи; на гибкой шее с тонкой гривой небольшая точеная голова с выпуклыми красивыми черными глазами, остроконечными ушами и раздувающимися

ноздрями. Особенно восхищали знатоков ноги — сильные, эластичные, стройные. Такие ноги во время бега едва касаются земли.

Я уже застал жеребят от этого аргамака. Им было по пять-шесть месяцев, но они выглядели как годовалые нашей местной степной породы.

Появился в нашем хозяйстве и огромный бык с белой отметиной на лбу. Его называли герефордом. Бык попался на редкость бодливый. Попробовали однажды дать ему погулять на свободе — он стал набрасываться не только на скотину, но и на людей. Ему тогда сшили намордник из толстой сыромятной кожи и привязывали его не обычным поводом, а цепью. Никто не решался подходить к нему близко, кроме Текебая. Все телята у нас пошли от этого быка. Говорили, что новая порода дает выход мяса и молока в два-три раза больше, чем местная.

Отец был себе на уме. Из боязни упустить удачу, он никому не одалживал на расплод ни аргамака, ни быка с белой отметиной на лбу.

Мой отец, не в пример другим тургайским баям, пренебрежительно отнесся к тонкорунным овцам и даже не пытался улучшить ими свои отары. Он утверждал, что такие овцы не приспособлены к сухим травам и к сильным морозам. «Погибнут они, не надо мне их»,— говорил он.

Не занимался отец и земледелием, считая, что хлебные посевы будут облагаться налогом. Зато он познакомился с кустанайскими кооператорами, открыл в ауле кооперативное отделение, называвшееся тогда многолавкой, и стал ею заведовать, а Мамбета привлек в качестве первого своего помощника. Торговля оказалась очень выгодным делом. Наша семья, испытывавшая в течение последних лет недостаток во многих необходимых вещах, теперь ни в чем, решительно ни в чем не нуждалась. Наша юрта была убрана не хуже юрты самого богатого бая.

За эти два года произошли изменения и в семье. Отделился от отца Текебай, ему поставили юрту младших — отау. Для меня это все было в новинку: Текебая женили без меня. Хозяйкой отау стала жена брата — женгей Быкия. Про таких, как она, и сложены стихи:

Ах, байская дочка!
Из тех ты красавиц,

Что дома вздохнули,
От дочки избавясь...

Малопривлекательной показалась мне моя женгей: низенькая, слишком полная для своих молодых лет, с рыжеватыми волосами и такими же бровями, с лунообразным лицом, которое не украшали крупные серые глаза. В люльке кричала дочка, очень напоминавшая мать. Быкия снова была беременной, я это заметил по ее животу. Что мне особенно претило,— это неряшливость женгей. Я представил себе, какой же она станет растрепой через несколько лет. Как она будет ругаться, если и теперь с ней нельзя пошутить, не услышав ее отборную аульную брань. Боже, сохрани меня от такой жены!

Изменился и сам Текебай. Когда два года назад я с ним расставался, он был, можно сказать, стройным джигитом, а теперь он округлился, отъелся, и у него наметилось этакое жирное брюшко.

В нашем тургайском краю до революции очень немногие пользовались бритвой. И обычно молодые люди уже в двадцать лет выглядели солидными чернобородыми мужчинами. Наш род, как помните, ведущий начало от калмыков, составлял некоторое исключение: и у деда и у отца были редкие куцые бородки. В них пошел и Текебай. Он, следуя обычаям, никогда не брился, и его прежний юношеский пушок сменился жесткими жидкими кустиками, придававшими лицу какой-то смешной и тоже неряшливый вид.

Текебай не принимал никакого участия в торговых делах отца и занимался только хозяйством.

Что я могу добавить к этому? Разве что несколько слов о юрте Текебая. В обстановке ее чувствовался достаток, благополучие. Богатые одеяла, перины, бархат. Белые наволочки на подушках, что редко встречалось в тургайских аулах. Белые пологи у входа. И много красивой посуды. И тем не менее в отау все было не так, как в доме старших. У отца с матерью — порядок, аккуратность, чистота; у брата с женгей — все разбросано, запущено, грязно: здесь сказались — лень и вздорный характер жены и безразличное отношение к быту самого Текебая.

Как же все-таки разбогатела наша семья?

Лавка стала главным источником доходов. И доходов далеко не чистых. Отец попросту обирал людей. Он отпускал товары в долг, а тем, кто в срок не рассчитывался,

начислял пеню. Долг после этого рос со дня на день. Эту возрастающую пеню в аулах прозвали сибирской язвой. Случалось, как мне говорили, за железную лопату отдавать целого барана, а за плитку кирпичного чая — яловую корову. Пеню отец должен был сдавать в казну, но он, я убедился в этом, присваивал себе значительную долю. Вот почему ему и удалось довольно быстро разбогатеть.

Я спросил с возмущением.

— Как же это так, отец?

Он даже усмехнулся:

— Все справедливо, мой мальчик. Разве баи не платят дополнительного налога? Его не сравнишь с этой сибирской язвой. Я ведь не заставляю бедняков брать товары в долг. Сами виноваты. Возьмут и в срок не платят.

Я пробовал возражать отцу, заступиться за бедняков, но он упорно считал себя правым, а если и винил, то Советскую власть.

— Тебе же придется отвечать, отец.

— Придет время, увидим, а пока зачем я буду выпускать счастье из своих рук.

...Так я жил в ауле больше месяца, и, как говорится, не только пил полными глотками из щедрой отцовской чаши, но и рот прополаскивал.

Время шло, а о возвращении Батес из Троицка ничего не было слышно. Больше ждать мне не позволяли сроки: надо было ехать устраиваться в Ташкенте. В эти дни председателем волостного исполкома стал Еркин Ержанов, закончивший свою учебу в Оренбурге. Я решил откровенно посоветоваться с ним. Хорошо, говорил я ему, если она согласится бежать со мной. Но как я могу освободить ее с помощью власти? Ведь по нынешним законам она еще несовершеннолетняя. Значит, мне ждать? А ждать я устал, не хочется.

Еркин мне отвечал:

— Пойми, Буркут, для тебя главное — учиться. Не отставай. Поезжай в Ташкент. И не бойся за свою девушку. Я тебе ручаюсь: ее никто не обидит, пока она несовершеннолетняя. А дальше вы сами устроите свою судьбу.

Я поверил Еркину, он не раз выручал меня из беды. И с этой верой отправился в Ташкент, решив попутно остановиться в Ак-Мечети.

Город менялся на глазах. Здесь недавно состоялся пятый съезд Советов Казахстана, и Ак-Мечеть, ставшую столицей, переименовали в Кзыл-Орду. Сюда уже переехали республиканские учреждения. Стала выходить газета «Язык аула». Редактором ее назначили председателя президиума Казахского центрального исполнительного комитета Ельтая Ерназарова. А дядя мой, Жакыпбек Даулетов, устроился у него литературным помощником. Обо всем об этом рассказал мне дядя.

— Разве Ерназаров журналист?— удивлялся я.

Дядя только рассмеялся:

— Не журналист, так будет им...

Мусапыр раньше меня приехал в Кзыл-Орду и работал в газете вместе с дядей. Он уже успел изобразить меня виновником нашей ссоры, и я услышал от дяди много сердитых слов. Я защищался, как мог, рассказал о причинах раздора и драки. Дядя сделал вид, что поверил, и стал уговаривать меня помириться.

— Дядя, прошу вас, не вмешивайтесь в наши отношения,— умолял я,— не надо нам сейчас встречаться. Ничего хорошего не выйдет. Будем жить как жили. Ведь между нами не стоят горы, чтобы один мог свалить их на другого. Пройдет время, злость стихнет, и уж тогда пожмем руки.

Дядя даже вздохнул. И посмотрел на меня так тепло, как, пожалуй, не смотрел раньше:

— Это ведь я пристрастил Мусапыра к ученью. Да и тебе помог, сам знаешь. Господь не дал мне сына: единственный мой ребенок растет для чужого дома. Вот я и надеюсь, что два моих племянника станут моей опорой, крыльями моими. А ссоры в молодости — дело обычное. Мусапыр легко пойдет на примирение. Легче тебя. Ты моложе Мусапыра, но натура у тебя жесткая. Подумай об этом, милый. Слова акына слышал?

Как верблюжата дружно
Свои проводят дни!
Двоюродные братья,
Живите, как они!

Об этом я и прошу. Ничего же вас не разделяет. Помирись, Буркут!

Помириться-то можно было. Но только в том случае, если Мусапыр налгал на себя и Батес. Но вдруг он говорил правду? Что тогда?

Пробовал дядя просвещать меня в области политики, но, каюсь, я тогда не во всем разобрался. Он что-то мне рассказывал о «левых» и «правых», утверждал, что «левые» непримиримы к баям, но, что, дескать, теперь среди казахстанских руководителей больше «правых», чем «левых». И «правые» совсем не опасны для баев. По мнению «правых» баи тоже придут к социализму.

— Нам, которых называют националистами,— продолжал дядя,— «правые» не мешают. Будь бы иначе, разве я пошел бы работать в редакцию!

Напоследок мне дядя сообщил самое важное. Оказалось, он встречался недавно с Жунусбеком Мауытбаевым — директором Ташкентского института и рассказал ему обо мне. Мауытбаев пообещал зачислить меня в студенты.

Дядин приятель сдержал свое слово и сделал все, чтобы облегчить мне поступление в институт. Я даже экзаменов не держал. Преподаватели по просьбе директора просто расписались в моем экзаменационном листке.

В Ташкенте к этому времени оставалось не много казахов, особенно из числа тех, что именовали себя националистами. Большинство из них вернулось в казахстанские города, некоторые выехали в Москву и Ленинград. Из видных деятелей националистов здесь продолжал работать только Мауытбаев, распространявший слух о том, что пишет книгу об Октябрьской революции.

С боязнью, с робостью начинал я занятия в Инпросе. Особенно меня пугало, что в институте не было моих ровесников. Среди взрослых людей, даже пожилых, как мне казалось, я выглядел совсем мальчуганом. Но очень скоро я понял, что не я отстал от них в знаниях, а они отстали от меня. Особенно по русскому языку и литературе.

Словом, учиться мне было не трудно.

Но сильнее, чем в нашей Тургайской степи, я тосковал по Батес. Только стихи помогали мне.

Хорошо поэту в этом подлунном мире. Он может вдохнуть душу в неживое, может и в одиночестве беседовать с людьми, может петь, как поет соловей, доставляя другим радость!

...Быстрее, смелее беги, перо, по белому полю бумаги. Пусть слова льются стремительно и певуче, как струи горного родника. Пусть конец одной написанной строки неожиданно и почти бездумно перекликается с концом









другой. Пусть строки стройными своими рядами становятся стихотворением. Пусть каждая твоя мысль будет светлой и красивой, пусть ты почувствуешь ее сладость, словно во рту у тебя сочный сладкий плод. Пусть музыка стиха ласкает твой слух и греет твое сердце. Пусть слова и мысли, образы и мелодии сливаются в поэму.

«Одни прыгают, чтобы согреться, другие — от избытка чувств»,— говорят казахи. Поэты прыгают от избытка чувств. Ах, как мне хочется тоже стать поэтом. Но если бы я стал настоящим поэтом, я бы писал стихи только о том, что чувствую сам и переживаю. Я уже довольно давно — года два-три назад пришел к этому выводу. И заполнил своими стихами несколько общих тетрадей. Мне, понятно, нравятся мои стихи; но когда я их читаю любителям поэзии, одни снисходительно говорят «неплохо», другие просто смеются. У меня голова идет кругом — кому же все-таки верить?

Все мои стихи посвящены Батес. Мне порою кажется, что моя любовь не меньше любви героев, о которых сложены древние сказанья. Пусть мне еще не приходилось, защищая любимую, бросаться в огонь и в воду. Понадобится,— я не сбегу ни от огня, ни от воды. Вот почему я тянусь к стихам.

Красивый свой сундук открой,
Не прячь душевные дары.
Домбра становится домброй,
Когда звучат лады домбры.

Эти строчки принадлежат Сакену. Повторяя их про себя, я и свою душу представляю сундуком, в котором заперты песни и мелодии. Как мне найти ключ, чтобы душа заговорила. Может быть, мне надо чаще встречаться с большими поэтами, уже открывшими свою душу людям.

Я был недоволен своими стихами, но продолжал упорно их сочинять, заполняя одну тетрадь за другой...

...Приближались зимние каникулы. Никаких вестей от Батес до сих пор не было. Я порою думал, уж не обиделась ли она на меня и за то, что не дождался, и за то, что ничего ей не сообщил. Иногда мне казалось, что с ней случилась какая-то беда. Временами я снова злился на нее. Но терпение мое было на исходе и сердце так щемило, что я наконец решился поехать в аул. И сказал об этом Мауытбаеву:

— Теперь, зимой?!— пожал он плечами.— Из Ташкента в Тургай и дальше в Сарыкопу?

— Да, да! Вы правильно говорите.

— Я потому и удивляюсь, что знаю эти края. Другое дело ехать туда летом. А зимой... Брр! В тихую погоду еще ничего, а вот когда буран разгуляется. И не на день, на два, а на месяц. Да и морозы такие ударят, что вороны на лету мерзнут. Что тогда будешь делать? Или до дома не доедешь, или из дома в Ташкент не сможешь попасть вовремя. Вот и отстанешь в учебе.

Я помотал головой: мол, нет, не отстану.

— Ну, а одежда, лошади? Где они тебя будут ожидать?

— В Кустанае!.. Оттуда зимою удобнее ехать, чем озерной стороной.

— Верно. Но ты помнишь, что и от Кустаная до Сарыкопа почти пятьсот верст? Значит, ты уже ездил. Ну, что ж, дорогой мой. Подумай еще раз. Я сейчас не о том думаю, что ты задержишься и отстанешь от учебы. Это в конце концов не так страшно. Представь, приезжаешь ты в Кустанай, а теплой одежды тебе не выслали. Или не будет аульных лошадей... Мало ли что может случиться зимой в дороге.

— Спасибо, агай, за заботу. Но я уже все обдумал и должен ехать.

Жунусбек посмотрел на меня в упор своими небольшими выпуклыми черными глазами.

— Ты не обидишься, Буркут, если я тебе задам один вопрос?

— Спрашивайте, агай. Я отвечу.

— Ты выбрал трудный путь. По этому пути может только любовь вести. Не правда ли?

— И как это вы догадались?

— Это не так уж сложно, Буркут. Понял по выражению твоего лица.

Я смутился, опустил глаза:

— Я читал вашу книгу, агай, «Душевный склад и выбор профессии». Вы, должно быть, никогда не ошибаетесь...

— Теперь мне все понятно!— Жунусбек поднялся со стула.— Только не забудь дать телеграмму в аул. Завтра можешь получить путевые бумаги. Для порядка. Но прошу тебя, не торопись. Спешка не приведет ни к чему

хорошему. Опоздаешь немного на учебу — не беда. Всегда успеешь наверстать!

...В Кустанай я приехал поездом и сразу отправился в дом наших земляков, у которых обычно останавливался. Меня уже ожидали Текебай с Кайракбаем. Я очень был доволен отцовским волчьим тулупом, новыми узорчатыми пимами и пышным лисьим малахаем. Но меня несколько огорчило, что отец не прислал, как в прошлые годы, тройки или пары лошадей, а ограничился одним темно-серым жеребцом.

— Что это он поскупился!

— Эх ты,— пробурчал Текебай.— Зачем тебе табун? У нашего аргамака такое крепкое сердце и сильные ноги, что он заменит десять лошадей. Дорога как будто хорошая. Не изменится погода, не начнется буран,— в пять дней домчим до аула...

Мы выехали серым зимним рассветом. Санки легко скользили по гладкой накатанной дороге, давно не видавшей поземок. Вот тут я и узнал, что значит аргамак. Шумно выдыхая пар, отбрасывая копытами острую снежную пыль, стремительно несся он вперед. Завиднелась впереди подвода,— наш аргамак ее легко обгонял. Он, казалось, не знал устали! Дух захватывало от его быстрого бега.

Я прислушивался к скрипу полозьев, любовался летящим жеребцом и чувствовал себя как никогда хорошо. Сама скорость мне доставляла радость. Каждая верста нашего пути приближала меня к Батес.

Ничто не омрачало моего настроения. Я благодушно относился и к ленивому безразличию Текебая и к всяческим малопристойным россказням Кайракбая о женщинах. Всю дорогу он пытался забавлять нас. Но заметив, что эти истории мало трогают меня, Кайракбай начал рассуждать о любви и красоте. Вначале я слушал его рассеянно, а потом не выдержал и перебил:

— Я скажу тебе, Кайракбай, для каждого самая красивая та, которую он любит.

Моих слов он, должно быть, не понял, хотя и сделал вид, что согласился. И тут же добавил:

— Объясни мне, Буркут, что же, в конце концов, значит — любить?

— Преданным быть до конца. Душою и телом...

Кайракбай снова недоверчиво поддакнул и тут же возразил:

— Так ты думаешь, что для тебя никого не существует, кроме дочери Мамбета. А может быть, и другая девушка найдется.

— Где же ты видел такую?

— Видел! Я о ней сейчас и говорю. Разных я встречал красавиц. И у русских, и у наших казахов, и у татар, и среди узбеков. Но такой стройной, такой красивой еще не доводилось любоваться. Ты вот наизусть знаешь стихи Абая. Помнишь?— и Кайракбай произнес:

Белый лоб — серебро, чей тонок чекан,
Он глазами лучистыми осиян.
Тонко вычерчен двух бровей полукруг,
Облик юной луны красавице дан.[1]

Это словно о ней писал Абай. Она ведь, поверь, на луну похожа!

Даже ленивого Текебая разволновали эти слова:

— Он правду говорит...

— Ох и расхваливаешь ты ее. Кто же, все-таки, она?

Кайракбай только и дожидался этого вопроса.

— Кто она, спрашиваешь? Семь поколений подряд их семью сопровождало довольство и счастье. Да и сейчас ее семья — одна из самых состоятельных. Брат этой девушки — Саудабай Майлыбаев в губернской кооперации. Он-то и помог твоему отцу с многолавкой. Отец твой много хороших вещей достал. Но ваш дом бедно выглядит по сравнению с домом Майлыбая. А свою сестру Шаи он нарядил в лучшие шелка. Он понимает, что в народе говорят не зря:

Красят девушку платья и в лентах коса,
Для джигита скакун быстроногий краса!

Таких щеголих, как она, поискать надо. Чего только у нее нет — и платьев, и дорогих бус, и меховых шубок.

— Я верю тебе,— перебил я Кайракбая.— Только зачем ты все это мне рассказываешь?

— Значит, есть причина...

Я еще больше удивился:

— Не таи. Говори все до конца!

— Что хотел сказать, то и сказал. Повторяю тебе: известные люди, богатые. Ты теперь немного представля-

[1] Перевод М. Тарловского.

ешь и девушку и брата... Об остальном после потолкуем.

Мне стало неприятно.

— О чем только нам с тобой толковать?

— Ты погоди, не горячись. Сначала посмотри на девушку, побывай у них в доме. Вот тогда и продолжим беседу.

Я махнул рукой и сделал вид, что согласился. Потому что уже устал от намеков Кайракбая.

...Темно-серый аргамак действительно оказался неутомимым. Он мчался без устали; только снег взвивался из-под копыт. Вот это конь!— восторгался я.

...Три раза мы останавливались для ночлега. И на четвертый день пути в полдень приехали в аул Майлыбая. За нами осталось уже триста восемьдесят верст. Даже зимой было приятно смотреть на этот аул, раскинувшийся на берегу озера Аксуат. Многооконные деревянные дома с покатыми крышами выстроились здесь в два ряда, образуя широкую улицу, как в русском селе. Сходство довершали и дворы, огороженные заборами. В один из таких дворов и въехали мы. Встречал нас высокий тучный человек в волчьей шубе и лисьем малахае с верхом из темно-синего бархата. Судя по заиндевелым бороде и усам, по раскрасневшемуся лицу, он уже давно работал во дворе по хозяйству. Это и был Майлыбай. Он поздоровался с Текебаем и Кайракбаем, как с давнишними знакомыми. А меня спросил, протягивая руку:

— Значит, ты и есть сын Абуталипа. В Ташкенте учился? Живи долго, дорогой мой, рад тебя видеть... Ну что ж... Привязывайте своего аргамака к коновязи. Прошу заходить в дом...

Джигит проводил нас в просторную, богато и уютно обставленную гостиную. Мы сбросили свою дорожную одежду и удобно расположились на коврах и одеялах. Сквозь приоткрытую дверь из соседней комнаты слышался легкий перезвон монист и приглушенные голоса.

— Девушка!— взволнованно прошептал Кайракбай.

Я почувствовал нежный запах духов... И, что скрывать, мне вдруг захотелось увидеть красавицу Шаи, которую так расхваливал Кайракбай.

В гостиную она пока не входила. Но вот разостлали скатерть-дастархан, поставили на поднос светлый, пышущий жаром самовар, называвшийся почему-то болыскей,— должно быть, испорченное слово «польский»,— сливки, сладости, баурсаки. И только когда Майлыбай

занял свое почетное место, из соседней комнаты вышла девушка, чуть звеня монистами. Нет, Кайракбай нисколько не преувеличивал. Красота и стройность Шаи сразу бросались в глаза. А уж о наряде и говорить нечего: тонкий и пестрый шелк платья, ленты, дорогие бусы.

На расстоянье в день пути,
Сквозь тысячи преград
Услышишь запах милых кос,
Гвоздики аромат.

И вдали и вблизи может опьянить такое благоухание!

...Верная казахским обычаям, она вошла, опустив глаза, вошла почти неслышно, села у самовара и стала разливать чай в синие с позолотой чашки. Я приметил, что ее белые узкие пальцы были похожи на молодые побеги камыша.

Девушка вела себя несколько смущенно. Когда я глядел в сторону, то чувствовал взгляд ее светлых лучистых глаз. Но она немедленно опускала глаза, стоило только мне посмотреть прямо на нее. Мы словно подстерегали друг друга. И все-таки наступило мгновение, когда наши глаза встретились в упор, как зверьки, заманивающие друг друга. Мгновенье это затянулось. И мы отвели глаза только в ту секунду, когда Майлыбай легким покашливанием словно дал знать, что так вести себя не надо.

Не знаю, что подумала девушка. Но я в ее взгляде ясно прочел: «Если ты пришел как жених, то невеста готова».

Я правильно угадал мысли Шаи.

...Давно закончилось чаепитие, наступило время ложиться спать. Ловкий Кайракбай тихонечко заглянул в полуприкрытую дверь соседней комнаты и весело прошептал мне:

— Ну, слава богу. Девушка в комнате одна. Вас разделяет только полог.

Хорошо сказал один старый акын:

История проста. Короче говоря,
Он не заметил, как забрезжила заря.

Так и я в эту ночь в комнате за белым пологом неожиданно увидел, что наступает рассвет.

Майлыбай всячески уговаривал меня задержаться в

их доме еще на сутки. Вряд ли это было обычное гостеприимство. Скорее всего Майлыбай глядел на меня как на своего будущего зятя. Но мне не хотелось здесь больше оставаться, хотя мои спутники готовы были гостить хоть неделю. Я поблагодарил Майлыбая и объяснил ему, что мне надо и побывать дома и поспеть в институт к началу занятий.

...Снова заскрипели полозья по снегу.

И только мы выехали из аула, как снова Кайракбай завел разговор о красавице:

— Ну, джигит, будем считать, что дело сделано. Ты на меня так не гляди. Неужели не понимаешь? Сватовство состоялось! Или ты сомневаешься в этом? Зачем же иначе мы ночевали в доме Майлыбая? Я тебе еще вчера об этом хотел сказать. Но и теперь не поздно. Твой отец уже обо всем договорился. Сваты решили: прежде чем объявлять о помолвке, надо познакомить джигита и девушку. Они были уверены, вы понравитесь друг другу. Вот вы и познакомились. И очень хорошо познакомились.

Плутоватое лицо Кайракбая расплылось в усмешке:

— Значит, я правильно говорю, что дело сделано!

— Ничего не сделано!— грубо ответил я Кайракбаю.

Тут оба моих спутника закричали.

— Неправда! Почему ты так говоришь?

— Я не из тех, что женятся на первой попавшейся в пути. Что мне ее красота? Хотите вы или не хотите, а я вам еще раз повторю строчки Абая:

Не увлекайся внешней красотой,
Не поддавайся страстности слепой,
Не увлекайся женщиной красивой...[1]

А эта красавица из тех... На ней может жениться только неразборчивый джигит.

— Какая же девушка для тебя красива?— съехидничал Текебай.

Но я ему ответил просто:

— Самая красивая — любимая.

— Кто же она? Кто?

— Потерпи, в свое время узнаешь...

---

[1] Перевод А. Гатова.

СЧАСТЛИВАЯ НОЧЬ

Ты вправду любишь? Это мне не спится?
Так докажи тогда, а не молчи!
С ладоней ты вскорми меня, как птицу,
Летать меня, как птицу, научи...

Из песни.

Когда спутникам моим стало ясно, что Шаи меня больше не влечет, настроение у них испортилось. Переменилась и погода.

— Ты опрокинул чашу с пищей, а ее тебе от души вручили,— обидчиво бурчал Текебай.— Саудабай одарял наш дом. Он сыпал добро, как овес в ясли. Попробуй, заставь его теперь расщедриться! И еще пойми другое. Он ведь думал, что будет нашим сватом. Потому и закрывал глаза на то, что наш отец обкрадывает лавку.

— Обкрадывает? Сказал уж,— откликнулся Кайракбай.— Он не то что обкрадывает, а объедает и выпивает ее, не переводя дыханья.

— Разозлится на нас Саудабай,— продолжал мой брат, не обращая внимания на Кайракбая,— и может заставить отца отдать все, что мы брали в многолавке. Так и волос на голове не хватит, чтобы расплатиться.

— Ну пусть съест нас,— я уже начинал злиться.

— Эх ты... А как жить будешь тогда? Кто тебе деньги пришлет в город? Я уж не говорю об остальном. И про аргамака придется забыть.

— Ничего, проживу и без аргамака. Это ведь ты разъезжаешь на нем.

И мы молча отвернулись друг от друга, как будто нам больше не о чем было разговаривать.

Как безоблачно, тихо было вчера. А теперь погода портилась на глазах. Еще утром, в ауле, Текебай пробовал отложить наш отъезд и стращал тем, что ненастье может застигнуть нас в пути, вдалеке от селенья. Где, мол, тогда мы укроемся от бурана? И не лучше ли подождать день-два. Но я стоял на своем, и со мною не стали спорить.

Скоро пошел снег и разыгрался ветер. Порывы его становились все сильнее. Змеилась и шипела поземка. А потом все скрылось в жестоком белом буране. Только порою темнел круп перешедшего на мелкую рысь аргамака. Мороз на ветру обжигал щеки, как раскаленным железом. Я глубже запахнул отцовский волчий тулуп.

И Текебай спрятал лицо в высоком воротнике своей поярковой шубы. Голос его звучал глухо, словно издалека. И вдруг я отчетливо расслышал:

— Ничего не поделаешь, придется вернуться обратно!— с этими словами он выхватил вожжи из рук Кайракбая и стал заворачивать аргамака. Но тут вожжи перехватил я.

— Нет, не будет этого!

Текебай упорствовал, стал вырывать у меня вожжи, я сопротивлялся, кричал. Но не сдавался и Текебай.

— Что же, Буркут, ты хочешь заблудиться и погибнуть в степи?

Я ему отвечал, что если мы должны сбиться с дороги, продолжая наш путь вперед, то можем заблудиться и возвращаясь в аул Майлыбая. И спросил заодно, далеко ли мы отъехали.

Текебай медлил с ответом, словно подсчитывал в уме. И потом сказал не очень уверенно:

— Самое меньшее — верст сорок-пятьдесят. Не так ли, Кайракбай?

— Может быть, и так. Ехали-то мы быстро. До сих пор дорога была хорошая.

— Но все-таки аул Майлыбая ближе, чем первое селение впереди,— упрямствовал Текебей.— Чтобы найти крышу, нам надо проехать еще верст семьдесят. Конь хорошо знает дорогу, которую только что прошел и не собьется в сторону. А дальше ехать опасно. Заблудимся. И как направлять коня, когда снег слепит глаза. Возвращаться надо.

— Вперед ехать!— кричал я.

— Не упрямствуй, Буркут!

И снова началась схватка за вожжи между мной и Текебаем. Вот тут я понял, что победить Текебая не в силах. В упрямстве он не уступит мне, а в борьбе меня одолеет. Он ведь недаром считался одним из настоящих аульных борцов. Кайракбай не участвовал в нашем споре. Вероятно, он про себя решил не вмешиваться в схватку между братьями.

Я отпустил вожжи, махнул рукой, выругал и Текебая и аргамака, вылез из саней и зашагал вперед. Брат, должно быть, подумал, что это зрящая угроза, шутка. Он и не попытался вначале меня остановить. Скоро мы уже не видели друг друга в буране. Я, однако, не шутил и не пугал Текебая. Я действительно решил отправиться пеш-

ком. Много позже, вспоминая этот случай, я сам подумал, что это было дуростью или сумасшествием. Куда бы я мог добраться в такую метель! Но позади был аул, аул Майлыбая, впереди — Батес: молодость и любовь сбивают порой человека с пути.

Скоро сквозь шум ветра я услышал знакомый перестук копыт. Они меня догоняли. Все-таки на своем настоял я.

— Ну садись! — миролюбиво пригласил меня в сани Кайракбай.

Текебай молчал. Мы больше не спорили и не разговаривали. Так бывает после сильной драки. Драки с пролитой кровью. Аргамак по-прежнему бежал довольно резво. И, кажется, он правильно нащупывал дорогу, потому что временами за санками поблескивали старые следы полозьев.

Жеребец, окутанный паром, екал селезенкой, но не сбавлял хода. Наоборот! Он ускорял бег, словно, как и мы, стремился до сумерек попасть в аул. Время от времени он фыркал и сбивал об оглоблю сосульки с морды.

Ему трудно было взбегать на слоистые бугры, наметанные бураном поперек дороги. Но зато когда он спускался с бугра, полозья едва касались земли и санки летели с бешеной быстротой. Я вспомнил куплет казахской песни, которую когда-то слышал или читал:

Узнаешь аргамака на бегу.
Пускай устал он, вязнет пусть в снегу.
Но с горки, думая, что бросил кладь,
Он будет пуще прежнего скакать!

Он точно такой же, наш аргамак! Лети, темно-серый! Вперед!

Между тем степь в буранной мгле становилась темнее и темнее. Солнце было уже на закате. А скоро стало и совсем черным-черно. Ничего нельзя было увидеть вокруг, хоть глаз выколи! Текебай после долгого молчания и ссоры наконец подал голос.

— Как в могиле! — в голосе его слышался испуг.— Пока было светло, лошадь еще нащупывала дорогу, а сейчас только бог знает, куда она нас вынесет. Ой, нехороший час! В это время стаями рыскают голодные волки. Наступила пора волчьих свадеб. Звери могут на расстоянии кочевки учуять наш запах. Они не испугаются

наших одиноких санок. Сколько раз приходилось слышать, как волки сжирали путников, заблудившихся в буран.

У меня дрогнуло сердце от этих слов Текебая, а он, словно желая напугать меня еще сильнее, продолжал:

— В наших санях есть две дубины. Кайракбай держит вожжи, а мы с тобой, Буркут, вооружимся дубинками. Но если нас окружат волки, палками с ними все равно не справиться. И ягненок перед смертью замахивается копытами. Что ж поделаешь? Бери дубинку, не выпускай ее из рук...

И Текебай сунул мне в руки суковатую палку.

Темень, буран. Хорошо еще, что наш темно-серый бежит так же бойко, как прежде. Мы тешимся слабой надеждой ,что он еще не сбился с пути. Хоть бы не попался нетронутый снежный наст. На таком пути трудно будет лошади сохранить рысь.

А буран усилился, и если пристально вглядеться в темную крутоверть — тебе будет казаться, что вокруг шипят миллионы змей-горынычей и зелеными огнями сверкают тысячи волчьих глаз. Страшно, очень страшно! Но я ни на минуту не раскаивался, что поехал. И вспоминая, как обычно, прочитанные романы, я представлял себе влюбленных, на чьем пути возникали препятствия в тысячу раз более трудные, чем у меня.

Едем, едем. И невозможно узнать, сколько мы проехали, не сбились ли мы с пути. Пусть Текебай уповал на господа, но в эти часы единственной нашей надеждой был темно-серый аргамак. Но он и впрямь не слабее самого аллаха. Своей упрямой рысцой сквозь буран и бездорожье он домчал нас прямо к отарам близ аула Мамбета. Сквозь ветер мы услышали лай собак, почуявших чужих, а в этом лае я сразу различил громкий заливистый визг черной суки Кикыма.

Нет, темно-серый аргамак не подвел нас. Я уже раскаивался в том, что так недавно ругал его...

Тем временем Кайракбай придержал аргамака.

— Это какой аул?

— Аул Мамбета.

— Как ты только узнал?— радостно воскликнул Текебай.

— Так лает только черная сука Кикыма.

— Узнал, значит!— добавил Текебай.— Да и как не узнать, если он не раз встречал эту суку.

— Тогда заворачивай темно-серого!— неожиданно решил Текебай.

— Куда? Ведь буран, ночь.

— Заворачивай в свой аул. Теперь аргамак найдет его с закрытыми глазами.

— А чем, спрашивается, плох этот аул. И мы продрогли и лошадь устала. Ведь за нами никто не гонится, да и мы не торопимся.

— Довольно разговаривать, заворачивай!— рассердился Текебай.

Кайракбай даже оробел и уже собрался ехать дальше, но я перехватил у него вожжи, и лошадь стала.

— Нет, Текебай, ты злой, очень злой человек. Зачем нам бежать отсюда? Не жалеешь меня, пожалел бы хоть лошадь, собака! Нашего хорошего темно-серого, который нас благополучно довез в непогоду из такой дали. И не трогай вожжи. Иначе я тебя изобью! Изобью до крови.

— Пропади оно пропадом, опять скандалят!— раздражился Кайракбай. – Нет, не зря говорится:

Дети того, кого проклял аллах,
Ссорятся даже в пустынных снегах.

Вот так и вы. И в степи ругаетесь и возле аула. Что только случилось с вами?

Я принял на свой счет слова Кайракбая и велел ему подъехать к дому Мамбета:

— А если не хочешь, я здесь выйду. И поезжайте, куда хотите!

Текебай подчинился, и мы очень скоро остановили сани во дворе Мамбета. Черная сука, заливисто лая, провожала нас до самых ворот. И только когда я выбрался из саней и, распахнув волчью шубу, стал отряхивать снег, она узнала меня и, ласкаясь, пыталась положить мне на плечи лапы. Хорошая примета!

Ставни на окнах деревянного дома Мамбета были закрыты, и только сквозь щели тускло светился огонек лампы, зажженный, как я подумал, в неурочное время.

Перед самым домом Мамбета пристроен небольшой загон для скота. Я хотел открыть дверь загона, но она была, по-видимому, на крючке: верный признак, что сам хозяин отсутствовал. Я только порадовался в душе этой догадке, но одновременно забеспокоился: а вдруг тут черная старуха, верная, как черный замок.

Кайракбай постучал в дверь.

— Кто это?— послышался женский голос, и я сразу узнал Жанию.

Дверь скоро распахнулась, и перед нами появилась Жания, а пока мы с ней здоровались, в глубине комнаты показалась Какен. Показалась и тут же исчезла.

— Батес!.. Проснись!.. Буркут приехал!..— слышали мы ее взволнованный голос.

И я немедленно ринулся за ней, не дожидаясь Кайракбая и Текебая. Батес спросонья села на тахту и никак не могла понять, в чем дело. Какен растормошила ее:

— Да проснись же ты, наконец. Видишь — Буркут здесь.

Тут она узнала меня и, широко открыв глаза, бросилась мне на шею.

Какой она была тоненькой, маленькой! Мне она приходилась как раз до плеча.

Я еще не сбросил своей заиндевевшей шубы. И только здесь, в доме, я почувствовал, что изрядно промерз за дорогу. Меня уже знобило, я дрожал. Но тепло Батес словно растапливало холод, и легонькое ее платьице показалось мне жарче волчьей шубы.

А когда она коснулась моих щек своими, я сам стал таять как лед, к которому приложили раскаленное железо. Капли пота выступили на моем теле.

Долго бы мы стояли так, если бы вдруг не появилась Калиса.

— Хватит вам, довольно!

Я разнял руки, но Батес не отпускала меня.

— Крепко же ты соскучилась, Еркежан, по брату!— пристыдила ее Калиса.— Здесь же посторонние люди, где твоя совесть?

Тут Батес, наконец, очнулась и смутилась, увидев Кайракбая с Текебаем. Она тихонько прошла к своей постели и задернула полог.

Я взглянул на стенные часы — время приближалось к пяти. Скоро должен забрезжить рассвет.

Калиса, расспросив нас, как положено, о нашем бытье и здоровье домашних, сказала:

— Когда разлаялась черная сука, я сразу догадалась, что это вы едете. Мы уже слышали о ваших сборах. Но никак не предполагали, что это будет именно сегодня. Вон какой буран разыгрался. Да и Молда-ага с женеше еще не вернулись...

Кайракбай коротко рассказал, как мы доехали.

— Вы у нас, понятно, остаетесь почевать?— спросила Калиса.

— Куда ж нам сейчас ехать? И мы продрогли и лошадь устала...

Эти мои слова не понравились Текебаю. Однако он промолчал.

— Тогда давайте отдыхать, а утром поедете. Хорошо?— спросила Калиса.

— Хорошо,— согласился Кайракбай.— Вели приготовить постели. Только мне стели в своем доме.

— А почему не здесь?

— Там мне удобнее.

Текебай снова промолчал. Мы вышли во двор, выпрягли лошадь. Буран начинал стихать. Тучи разомкнулись, и полная луна плыла в их проеме.

На пороге появилась Калиса в стеганом халате. Она сообщила, что постель готова.

— Я тоже лягу не здесь, а в вашем доме,— подал голос Текебай.

— Как хотите,— многозначительно ответила Калиса.— У нас, так у нас. Лампа горит. Вот и идите на огонек. А я провожу Буркута.

— Слушай, твоя сука не покусает нас?— пошутил Кайракбай.

— С каких это пор ты стал бояться собак. Постарел, что ли?— не осталась в долгу Калиса.

Текебай и Кайракбай отправились к Кикыму, а я еще продолжал стоять у дома Мамбета, возле загона для жеребят. Калиса усмехнулась приглашая меня в комнаты:

— Тогда в любви джигиту повезет,
Когда женге встречает у ворот...

— Удачное ты выбрал время, Буркут. Я тебя понимаю. Ты хочешь сейчас зайти за порог и посмотреть на младшую сестру моего мужа. Ах, не я ли ее берегла, как ангела, как мед... А ты и обычаев не желаешь придерживаться?

— Я тебя готов отблагодарить, Калиса. Что ты выберешь, то и твое.

— Ты приехал неожиданно. Я ведь и не знаю, что ты захватил с собою в дорогу.

— Вот золотые часы, Калиса. Бери!

— И это ты считаешь ценой младшей сестры моего мужа?

— Хочешь в придачу золотое кольцо?

— Ты знаешь, Буркут, что у казахов священные числа три и девять. Дополни пока до трех. А потом посмотрим...

— Даю еще шелковый платок!

— Ну и хорошо! Достаточно!— И, принимая подарки, Калиса добавила: — Ты меня, Буркут, не ругай, что я тебя обобрала. Это ведь не я сочинила песню:

Шапки нет и опустел карман,
Нечем подпоясать и чапан.
Это я одаривал женгей
Из аула девушки своей.

— Ничего я не пожалею, Калиса, ради встречи с Батес,— отвечал я.— Я и себя бы не пожалел. Но с кем тогда останется Батес?

Калиса попрощалась со мной и пошла к себе в дом. Лампа в первой комнате уже не горела. Свет был только во второй комнате. Я подумал, где же мать Батес, Жания? Полог был спущен, в углу мне уже постелили постель. Я присел в раздумье. Скрипнула дверь, в комнату вошла Жания.

— На людях я даже не могла поцеловать тебя, милый мой,— и она протянула ко мне руки.— Пусть цветет твое счастье, ласточка!

Ласточка, карлыгаш! Я так и не понял, почему она произнесла именно эти слова. Может быть, она уже считала меня будущим мужем своей дочери.

— Раздевайся, ложись, светик мой! Лампа тебе нужна? Или потушить ее?

Она вышла, а я продолжал сидеть, как сидел. Я не помню, приходили мне тогда на память или нет слова казахской песни:

Долгой ночью парепьку не спится,
Если рядом девушка томится...

Кажется, я в эти минуты думал о другом. Меня удивила Батес во время встречи. То она бросилась ко мне на шею, пренебрегая тем, что в комнате были посторонние люди, то уж слишком засмущалась и быстро скрылась за пологом.

Разные мысли одолевали меня: и хорошие и плохие.

Может быть, она и в самом деле стеснялась других и поэтому не произнесла тех теплых слов, которых я ждал. А вдруг Батес хуже, чем я думаю. Вдруг прав Мусапыр, когда он говорил: «Тебе разве не приходило в голову, что твоя Батес не отстает от ветреной Какен». И если Мусапыр не лгал, то Батес смущалась не других: ей было совестно смотреть мне в глаза. Не потому ли она и забилась за полог?

Я потушил, наконец, свет, снял костюм и пошел туда, где лежали сестры.

В темноте мою руку тронула холодная ладонь:

— Туда иди, туда...

Это, конечно, была Какен. Она потянула меня в сторону и резким движением отпустила мою руку. И я сразу почувствовал Батес под тонким шелковым одеялом. И в это же мгновенье она прижалась ко мне своей горячей грудью, прикоснулась к моей щеке своей горячей щекой. Но мне мало было этого. Мои губы впились в ее полуоткрытые губы. И ощущая острый жаркий язычок Батес, я целовал ее, целовал.

Мы забыли обо всем, мы чувствовали только друг друга. И, наверное, долго продолжалось бы это забытье, если бы Какен резко не ущипнула меня.

Я оторвался от губ Батес:

— Что случилось?..

— Разреши мне полежать на твоей постели, Буркут,— попросила Какен.

— Так для этого надо щипаться?

— Ты тоже не вытерпел бы, ущипнул!

И Какен ушла на место, приготовленное для меня.

— Бедная! — шепнула мне Батес.— Она только так и понимает любовь...

— А по-твоему как должно быть?

И мы начали тот долгий тайный разговор, который трудно передать обычными словами.

— Я твоя,— говорила Батес,— нет тебя — нет для меня и жизни. С тобой все мое счастье.

— Я тебе могу сказать то же самое. Заветная мечта у нас одна. И пусть эта ночь будет началом нашего счастливого путешествия.

— Я согласна, Буркут...

— Сбрось, Батес, свое одеяло.

— И тогда ты найдешь счастье?

— Не совсем так. Но если у нас одни думы, зачем же разделять тела?

Она совсем тихо стала шептать:

— Недолго осталось ждать, недолго...

И слова ее, мне казалось, складываются в песню о весне...

— Мы же с тобой выросли в степи, у которой нет ни конца, ни края. Не торопись отдаться любви зимой. Разве завтра не придет яркая весна? Не расцветут ли тюльпаны в степи? Не будут ли покачиваться ковыльные султаны, похожие на белые перья филинов? Не запоют ли соловьи в тугайных рощах? Не послышится ли в озерах перекличка лебедей? Не засвистит ли табунщик в степи?.. Вот и мы соединимся тогда, и свидетелями нашей любви будут темное небо и смеющиеся звезды, березовый лесок и степная трава... Никто не узнает в этой юрте из ночных небес, что мы воедино слили наши души и наши тела...

— Почему ты, Батес, так говоришь? Какое нам дело до других?

— Буркут, Бокежан! Воровства не может быть в настоящей любви. Любовь рождается в тайне, а потом о ней должны узнать все.

— Значит, по-твоему, надо идти в загс?

— Ты меня плохо понял. Свидетельство загса — это бумага. Но никакие бумаги, никакие мусульманские обряды не могут разъединить любящие сердца...

— Но о чем ты тогда говоришь, Батес?

— Мы с тобой рождены в Тургае. И пусть родная Тургайская степь будет свидетелем нашей любви.

Я так до конца и не мог понять Батес. Она упорно говорила о Тургае, а я пытался сорвать одеяло, в которое она была укутана.

— Бокежан!— сопротивлялась Батес.— Нельзя применять силу!.. Ты знай, что и я не такая уж слабая и сумею защитить свою честь.

Пока мы так спорили, за полог вбежала Какен.

— Плохой прием ты оказываешь джигиту, Батес! А с каким нетерпением его ждала. Ты что, опять хочешь быть мальчиком? Брось это ненужное сопротивление. Покорись судьбе!.. Колебаться дальше не надо. Какому джигиту может понравиться эта нерешительность?

И, выпалив эту раздраженную скороговорку, Какен удалилась восвояси.

Притихшие, мы молча лежали рядом. Тут кто-то открыл наружные ставни, и в комнату проник утренний свет.

— Запомни мои слова, Бокен!— нарушила молчание Батес.— Весной, во время твоих каникул, проводят Какен в аул ее жениха. Приезжай на свадьбу. И все будет так, как я сказала.

Но я тем не менее обиделся. Мне не хотелось заниматься философией. Я повернулся спиной к Батес. А она обняла меня, прижалась ко мне и тихонько спела одну из любимых в нашем краю песенок:

За усами юноша бережно глядит,
Густоусым, храбрым вырастет джигит.
Если ты и вправду, милый, полюбил,
Ты б меня на крыльях полетать пустил.

Я и раньше слышал эту мелодию и эти слова, но только теперь мне открылся их смысл. Я обнял Батес и крепко поцеловал ее. Внезапно послышался голос Текебая. Я скорее переметнулся на свое место, разбудил уснувшую Какен и стал одеваться.

— Э, да ты уже встал!— удивился Текебай.— Сейчас едем — жеребца я запряг. Чай пить будем дома. Отец, думаю, давно нас поджидает.

Мы выехали. Погруженный в сладкие мечты, я мало представлял себе встречу с отцом. Я просто не думал об этом.

Когда мы подъехали к нашему аулу, отец возился со скотом. Он издали сдержанно приветствовал нас, но работу не бросил. Меня это обидело — столько времени мы не виделись, а он даже доброго слова не произнес. Я тоже промолчал и прошел в дом. Вместе со мной вышел Кайракбай. Текебай остался во дворе.

«Сейчас насплетничает»,— подумал я. И не ошибся.

Когда отец пришел к завтраку — лицо его было хмурым. На меня он вовсе не смотрел. Изредка бросал какие-то отрывистые фразы, остальное время молчал. Притихли и домашние. В нашей семье был неписаный закон, когда отец не в духе, никто не смеет ни пошутить, ни улыбнуться, ни громко говорить. Даже мать, которая считает, что отец во всем подчиняется ей, боится чем-нибудь рассердить его, вызвать его гнев.

Молча поели, молча стали расходиться. После бессонной ночи меня клонило ко сну. Разморенный теплом и

едой я только и мечтал о мягкой постели. Отец, как каменный идол, сидел на своем месте и не уходил. Я хотел было подняться, чтобы отдохнуть в маленькой мазанке, прозванной отау Текеля. Но отец меня остановил.

— Не торопись, дорогой мальчик, у меня к тебе серьезный разговор.

Отец не говорил, а скорее мычал, как бык, собравшийся бодаться...

«Начинается»,— подумал я, проклиная в душе своего словоохотливого братца, всегда готового выслужиться перед отцом.

— Ну, что ж, сын мой, судя по всему, ты вернулся с невестой. Поздравляю тебя. Когда же назначили свадьбу?

— Придет время — будет и свадьба,— ответил я, подозревая в словах отца иронический смысл.

— А по-моему, это время уже наступило,— продолжал зло насмехаться отец.

Я обиделся:

— Зачем нужен этот разговор? И как не стыдно караулить молодых у их постели?

— А почему бы и не покараулить?— повысил голос отец.

— Не кричи, прошу тебя, не надо! Это крик не от силы, а от слабости...

Отец пристально посмотрел на меня и, не вступая в спор, спокойно начал рассказывать:

— Довелось мне слышать, что бий Избасты из рода кипчаков участвовал в разборе одной тяжбы вместе с бием Токсаном из рода керей. Это была их первая встреча. Избасты выглядел могучим рослым человеком, а Токсан, что значит девяносто, казался мальчиком. Избасты поглядел на своего соперника и пошутил:

— Про тебя говорят, что ты Токсан — великан, а ты, вижу я, всего-навсего маленький соловей Томаша...

— Ну и что ж,— отвечал Токсан,— в гнезде у соловья из девяти яиц только из одного выходит птенец, из восьми яиц тарантула только из одного получается паучок. Буду Томаша — принесу соловья, буду тарантулом — принесу и паука...

И отец добавил:

— Вот так и я на тебя надеялся, что ты, ведущий свой род от калмыков, будешь и соловьем и тарантулом. Но теперь я убедился, что напрасны мои надежды. Да и на что надеяться. Правильно написал Акан:

На утлой лодке мчимся без весла;
Безбрежные раскинулись просторы.
Но грянет буря и сгустится мгла,—
Пойдем ко дну, лишенные опоры.

Вот и у нас сейчас такие же грустные дела...

— А кто такой Акан, отец?— нарочно спросил я.

— Разве ты не понял? Ахмет Байтурсунов...

— Ему в самый раз писать такие стихи. Но если он не хочет утонуть, пусть сидит и помалкивает...

— Эти стихи, сын, написаны еще при царе.

— Догадываюсь. Для тех лет они подходят. Но почему же в Советское время твой Акан ведет себя так плохо. Ведь сейчас народу дана наконец свобода.

— Свобода!— повторил отец и взглянул на меня исподлобья.— Что же он такое сделал, что ты его осуждаешь?

— Значит, ты не слыхал о его речах, направленных против Советской власти? Власть ему многое простила. И то, что он был алашордынцем и воевал против революции. Его не только простили, но дали ему работу и даже приняли в партию. А он? Он ответил черной неблагодарностью и открыто бранит советский строй.

— Ладно, оставим это, поговорим о наших семейных делах!— пошел на попятную отец, видя свое поражение.

— Подожди. Не я начал разговор о Байтурсунове. Его пора упрятать в тюрьму. А ведь его только исключили из партии.

— Прекратим этот разговор!— настаивал отец.

— Хорошо, оставим Байтурсунова, поговорим о тебе. Ты ведь, отец, сам выступал против народа, против Советской власти! Тебя надо было бы жестоко наказать!

В глазах отца сверкнули упрямство и гнев:

— Меня оставили в живых. Значит, тебе надо постараться, чтобы меня расстреляли.

— А зачем мне это нужно? Но почему ты не прислушиваешься к тому, что давно накипело у меня в душе. Я же тебе еще в прошлом году говорил: «Отец, брось эту торговлю. Ведь подавишься народным добром. Тебя никто не тронет, если ты будешь честным человеком. Но ты не послушался. Ты снова завяз по самый пояс в грязи. И меня хочешь швырнуть в эту грязь. Иначе зачем же тебе сводить меня с дочерью Майлыбая. Я уже не сосунок, отец. Вряд ли ты уцелеешь, даже если пожертвуешь мной. Неужели ты не чувствуешь, что тебе и так

несдобровать! У Советской власти крепка опора в народе. Народ победил баев, биев, белых, победил иноземных врагов. Ты же хорошо это знаешь. И все-таки идешь к своей гибели, как бабочка стремится на огонь. И вдобавок читаешь мне стихи Байтурсунова. Ты что? Решил ими убедить меня? Да зачем мне нужны эти стихи? Не Советская власть, а ты сам с Байтурсуновым плывешь на жалкой лодке без весел!..

Разгоряченный, я стал ходить по комнате, а отец нахмурился в оцепенении. И только после долгого молчания он тихо заговорил:

— Верные слова, мой сын. Нам революция показалась нестрашной, как раздетому вода. Мы решили бороться и вовремя не свернули с дороги. Теперь многое изменилось. Власть действительно стала сильной. Наступило время подумать о том, как бы сохранить жизнь. Мое желание породниться с Майлыбаем — это только забота о сохранении жизни. Надо же думать о существовании. Не подружись я с сыном Майлыбая Саудабаем, я бы не приобрел и того богатства, которое у меня сейчас есть. А без богатства как проживешь, как сохранишь жизнь? Сасыка давно бы уже осудили, но его охраняет богатство. Пусть Советская власть справедлива, но в учреждениях, которые следят за выполнением законов, еще находятся люди, готовые за деньги обойти любой закон.

Я пытался доказать отцу, что это остатки прошлого и скоро их не будет, но он стоял на своем:

— Пока они еще живут, им хочется пить-есть. Они успеют поднажиться. И не перебивай меня, мальчик. Мы не в красноречии состязаемся. Сядь и выслушай меня до конца. Я ведь, начиная торговлю, думал, что наступят трудные дни и деньги пригодятся. Ты развеял мои надежды. Я по-другому и думать не могу. Разрыв с Майлыбаем отзовется не только на мне. Его и Мамбет почувствует. Если ты не женишься на сестре Саудабая, Мамбет заберет из наших рук магазин. Вот тогда и попробуй уплатить долги. Сосчитать их — не хватит и волос на голове. И у меня останется только один путь — тюрьма...

— Но почему, отец, ты не подумал об этом раньше?

— Да, только тюрьма,— не отвечая мне, повторил отец.— Спастись уже не удастся. Ты, наверное, слышал, что родной племянник Сасыка Азимбай Кадырбаев стал председателем Верховного суда Казахстана. Уж он-то спуску не даст. Ты упрекаешь меня, что я был алаш-

ордынцем. А этот Азимбай? Он же принадлежал к верхушке Алаш-Орды. Почему же он стал ответственным работником?

— Это до поры до времени. И его нору зальют водой.

— А пока он многих успеет погубить.

— Так что ты от меня хочешь, отец? Что мне надо делать по-твоему?

— Горько, что ты вышел из послушания, сын. Пойми, мой дорогой! Если бы ты женился на дочери Майлыбая, все тучи, сгустившиеся надо мной, прошли бы мимо. Я все-таки твой отец. Подумай обо мне, о нашем доме. Не сейчас, хоть позднее, но подумай.

Должен сознаться, что мне было в эти минуты жаль отца:

— Ну, хорошо. Я подумаю, но разве от этого что-нибудь изменится. Чтобы тебе было хорошо, недостаточно одной моей женитьбы на дочке Майлыбая. Тебе, отец, нужна другая власть... А тут — ни ты, ни я ничего не сделаем...

— Ты подумай только о том, что я тебе говорил,— кратко ответил отец.

На другой день я уже выезжал с обозом, направлявшимся за грузом через Тургай и Иргиз в Челкар. Отец меня не задерживал и только повторил на прощанье:

— Помни мои вчерашние слова, сын!

Снова пошли месяцы ученья. Когда я приехал в аул на летние каникулы, отец очень приветливо встретил меня, видно, полагая, что я одумался. Где-то он купил рыжего иноходца, быстрого, как птица.

— Ты следуешь новым обычаям, сын. Так вот, у одного русского казака я выторговал новое седло, стремена и уздечку. Для тебя, Буркут!

Он оседлал коня. И скакун и снаряжение были великолепны.

— Тебе исполнилось восемнадцать,— продолжал отец,— наступила пора покрасоваться, погарцевать. Ни в чем тебе не будет отказа. Есть у тебя друзья-джигиты, с которыми ты хочешь поездить? Я и для них найду и коней и седла! Скачи, куда хочешь! Гости, сколько тебе нужно!

Отец не хотел повторять ошибок прошлой зимы. Прямо он мне не навязывал своего мнения и сам ни слова не говорил о дочери Майлыбая. Но я быстро догадался, что он не оставил своего замысла и осуществляет его че-

рез Кайракбая. Кайракбай постоянно напоминал мне о красоте этой девушки, говорил, что она скромно сидит дома и, наверное, влюблена в меня. Не теряют надежды и ее родители. Они думают о предстоящей свадьбе, приготовили для молодоженов белую юрту и богатое приданое. Если я женюсь на ней, у меня будет скота, как у настоящего бая.

Что касается Батес, то Кайракбай высказался о ней очень осторожно. Тем не менее, отдаленными лукавыми намеками он стремился посеять сомнения в моей душе. Он, конечно, слышал о зимнем происшествии и не зря задавал мне вопросы:

— А в самом ли деле было так? Смотри, Буркут, как бы она не оказалась в «таком» интересном положении!

Я молчал, а Кайракбай не унимался:

— Знаешь, Мусапыр тут приезжал и всякие слова говорил. Надо бы проверить. Вдруг это действительно так?

Я снова молчал, а про себя думал: ты должна остаться честной! Ты молодец, Батес. Ну, а если опозорилась, пеняй на себя, на меня не обижайся...

Подвернулся и случай все проверить. Как мне и говорила Батес, настал день свадьбы ее старшей сестры Какен. Вместе с другими джигитами отправился на праздник и я. Мамбет в знак того, что стал сватом бая, куда более состоятельного чем он сам, не пожалел затрат на пышный и веселый свадебный той. Когда мы подъехали, то увидели не только в долине, где расположился аул, но и на склонах взгорья пеших и конных, повозки и стреноженных коней.

Мы остановились в доме Кикыма. В свадебном шуме и сутолоке мне долго не удавалось поговорить с Калисой. И когда наконец выдался удобный миг, она торопливо застрекотала:

— Знаю, все знаю от Батес. Говорить долго нельзя — много глаз и много ушей. В эту ночь, незадолго до рассвета, постараюсь устроить вам свидание в овраге Тобылги.

— Как ты сумеешь?..

— Не сумею, так перестану быть Калисой... Однако я еще буду выбирать подарки...

— Ойбой, Калиса. Я же тебе говорил: бери все, что хочешь, кроме меня самого...

...И вот я спустился в овраг, в густые заросли таволги, как мне указала Калиса. Уже на востоке ярко за-

сверкала Венера. Приближался рассвет. Но аул еще гудел, мелькали огоньки, продолжалась беготня между юртами. Пиршество, которое началось вчера, было в самом разгаре. Прошло около часа. Почему Батес опаздывает? Терпение мое иссякло. И в это время в кустарниках послышался какой-то шорох. Я отпрянул, как олень от тигра. Но тут же увидел силуэты двух людей, накрывшихся одним чапаном. Батес, милая Батес!— угадал я. Чапан упал, и я увидел Калису и моего верблюжонка, мою Акботу.

Я обнял ее. И не знаю, что было дальше. Скрылась Калиса. Мы были одни, совсем одни. Мы долго были одни.

— Уже светает, Бокежан!— И Батес устало и нежно гладила мой лоб. Я открыл глаза и увидел улетающего в еще неясное небо жаворонка. Утренней своей песней он, казалось, говорил нам: «Уходите, нельзя находиться здесь в такой час». Батес сделала движение, чтобы подняться, но я еще крепче прижал ее к своей груди.

— Моя Акбота! - я целовал ее жарче и жарче.— Кто теперь в состоянии разлучить нас, если мы теперь вместе на всю жизнь!

— Никому это неизвестно,— с неожиданной грустью произнесла Батес.— Разве нет судьбы, которая может принести любые напасти.

— Нет, мы сильнее самой судьбы...

Не знаю, долго ли еще мы проговорили бы, но тут к нам подошла Калиса.

— И сейчас ты недоволен, Буркут?— грубовато пошутила она.

— Ты еще спрашиваешь меня об этом? Доволен. И не раз, не тысячу раз, не миллион, а столько, сколько звезд мерцало сегодня до рассвета!

Но хитрой Калисе было сейчас не до моих чувств:

— Пока мы никому не попались на глаза, надо быстрее расходиться. Ты, Еркежан,— она назвала Батес семейным мальчишеским прозвищем,— иди первой и укройся чапаном. Мы будем наблюдать за тобой вон с того крутого обрыва. Потом уйду я. А уж после меня — ты, Буркут!

Батес накинула на плечи шелковый чапан Калисы и стала подыматься по откосу. Но мне было так жалко с ней расставаться, что я догнал ее и схватил за вышитый

край белого платья. Батес чуть не упала. Калиса рассердилась на меня:

— Что ты только делаешь! Убери руки! Нельзя хвататься за подол, когда женщина уходит.

Я отпустил Батес, но она, напуганная Калисой, побежала, как бежит от незнакомого хищника детеныш дикой козы.

— Зачем ты так?— рассердился я на Калису.— Видишь, неподалеку люди. Бедная девочка так спешит, что может обратить на себя их внимание. А так бы они и глазом не повели. Ну, идет себе и идет. Эх, и крикнуть даже нельзя...

— Ойбой, ойбой,— запричитала, заволновалась Калиса.

Мы с ней тихо лежали, раздумывая, чем же все это кончится. Вот Батес уже выбралась из оврага, где заросли высокой таволги были особенно густыми. Какой-то человек выскочил из кустов и закричал ей вслед. Батес побежала еще быстрее, а тот стал ее догонять. Невыносимо наблюдать все это, когда самому никак нельзя было выдавать свое присутствие. Так волки ловят зайца. Мне привелось однажды видеть это. Косого гонят, как в западню, туда, где в кустах притаился матерый волк. Заяц попадает, можно сказать, прямо в волчью пасть. И вдруг этот преследователь показался мне одним из таких волков. Я отчетливо представил, что он готов вот сейчас загрызть Батес. Отчаяние овладело мной, и я стремительно бросился ей на помощь.

Калиса попыталась меня задержать, да где уж ей! Не помню, бегал ли я когда-нибудь так быстро! И в ту минуту, когда преследователь уже настиг Батес, я сам догнал его, стиснул плечи, швырнул на землю и поволок, как волокут козленка во время игры в кокпар. И только тут я его узнал. Это был Жуман.

— Ах так!— я выругался и бил его по ушам и затылку.

— Ты что, с ума сошел?— хватал он меня за руки.

— Нет, это ты сумасшедший. Зачем ты погнался за девушкой?

— Буркут! Буркут! Я всегда считал тебя умным джигитом,— заискивал передо мной Жуман.— У меня и в мыслях не было ничего плохого. Вижу, бежит девушка. Куда бежит, зачем? Я и решил ее догнать.

Тут к нам присоединилась и Калиса. Она запыхалась,

тяжело дышала, и все же стремилась изобразить на своем лице улыбку:

— Нечего сказать, хорошо встретились! Но, как говорится, если джигиты не поссорятся, то и друзьями не будут. Значит, вы уже успели и поссориться и помириться.

— Оставь свою болтовню, Калиса!— сказал я и добавил, обращаясь уже к Жуману:— Проваливай лучше скорей, пока цел.

Упрашивать его больше не пришлось. Он и так был достаточно напуган мною и попятился в заросли таволги.

— Ладно, ладно!— бросила ему вдогонку Калиса.— Только смотри, чтобы у тебя язык не чесался. А все остальное устроится. Уж я постараюсь.

Я остался вдвоем с Калисой.

— Говорила я тебе, мой джигит,— сокрушалась она,— будь осторожней с Жуманом. Его подкупишь, он и за родной сестрой начнет следить. Эх, подарил бы ты ему в прошлом году того жеребенка, он бы относился к тебе по-другому. Да и сейчас еще не поздно заставить его замолчать.

Калиса была озабочена тем, как бы замести следы этого происшествия, а мне и слушать ее не хотелось. Несмотря ни на что, эта ночь была самой счастливой в моей короткой жизни. Вкус меда, испитого мной, до сих пор оставался у меня во рту.

— Нет, Калиса, ты мне больше ничего не говори! Мы с тобой посоветуемся как-нибудь после. А сейчас я думаю о своей радости.

— Молчу, молчу. И пока ты мне не скажешь, рот мой будет закрыт. Не буду тебе мешать думать о Батес.

— Да, Калиса, этой ночью я узнал, что такое счастье!

НЕОЖИДАННОЕ НЕСЧАСТЬЕ

Я был счастлив. Чистая, как ангел, Батес любила меня и стала моей до конца. Мне казалось неудобным самому говорить с отцом о сватовстве, и за меня это сделал верный мне человек.

Отца не обрадовала моя просьба. К чему теперь сватовство, с издевкой спрашивал он. И у меня и у отца девушки все равно не хватит сил препятствовать им быть вместе. Но сейчас не то время, чтобы привести их к мулле и устроить бракосочетание, как велит обряд. Сейчас

время Советов. Пришли в загс — и все в порядке. Ну, а если он приведет ее в дом — устрою свадьбу, не отказываюсь. Чего еще он от меня хочет?

Вот так, передали мне, говорил отец. Я слишком хорошо его знал и понял: он непримирим, он против Батес, он еще надеется повоевать со мной.

Я решил ничего не скрывать. Я отбросил прочь свои прежние сомнения, свою застенчивость и стал так часто ездить в аул Мамбета, что от поездки до поездки не успевали остывать копыта коня. Каракыз и сам Мамбет неприветливо встречали меня. Но я не обращал на них внимания. Они пока были не в состоянии омрачить мою радость. Батес любила меня, Батес была мне верна.

Однако она не во всем соглашалась со мной. Она требовала, чтобы я выполнил ее условие. Одно условие, но очень строгое:

— Мы же договорились с тобой, Бокен, что учиться поедем вместе. Но пока мы здесь, ты ко мне приезжай только днем. А ночью не показывайся и близко к нашему аулу. Я тебе отвечу почему. Какие там нравы у городских девушек, я не знаю. Я живу в степи. И по аульным обычаям нельзя на глазах матери встречаться ночью помолвленным. Это ведь настоящий позор.

— Акбота, что ты защищаешь?! Так ведь считали прежде, в старом ауле.

— А я, по-твоему, разве не родилась в старом ауле? Разве мне незнакомы прежние обычаи? Словом, пока мы не уехали отсюда, я себя буду вести так, как считается приличным. Впереди у нас долгая жизнь, найдется время для любых встреч.

Не соглашаться с Батес — значило бы обидеть ее. А я не хотел причинять ей обиды. Мне было бы трудно вернуть тогда ее нынешнюю доброту, ее желание ехать со мной. Но и согласиться с ней я сразу не мог. Я ведь ни разу не обнял ее после встречи в овраге, в зарослях таволги. Та счастливая ночь казалась мне сном. Я изнемогал от страсти. Как давно я был наедине со своей любимой невестой!

Грустный, измученный, я решил однажды посоветоваться с Калисой.

Предусмотрительная, хитрая Калиса, знающая хорошо, что делается в доме, нашла выход.

— В будущую пятницу,— затараторила она,— Мамбет и Каракыз уедут гостить к родственникам в дальний

аул. Ты приезжай сюда ночью, когда все уже лягут спать. Коня стреножь подальше, в овраге, а сам подойди пешком. Моя черная собака узнает твои шаги. Я выйду на ее лай и впущу в дом Молда-аги.

— А вдруг Батес разозлится. Скажет: зачем пришел без моего разрешения.

— Ты положись на меня, Буркут. Я и с ней договорюсь.

Я еще раз подивился хитрости Калисы и, обрадованный, спросил, чем же мне оплатить ее услуги.

— Пусть не терзается твое сердце,— заулыбалась она.— Это ты нетерпелив, а я могу подождать. Вот уедете вместе, тогда и меня одаришь...

— Одарю, Калиса! Требуй с меня, что хочешь...

— Не бойся, я тебя не разорю. Помнишь, ты мне дал пятьсот рублей. Они заполнили одну мою ладонь. Теперь дай на другую ладонь — и достаточно. Мне достаточно. Понял?

Калиса напирала на слово «мне». Я уже подумал, что на этом кончатся мои взятки. Но тут было что-то не так.

— Значит, тебе достаточно. А кому еще нужно?— спросил я напрямик.

— Кому? И ты до сих пор не догадываешься? Жумапу!— Тон Калисы был серьезный.— Ты не считай, дорогой мой Буркут, пустяком тот случай. Он обиделся, разозлился. Говорят, убегающему волку и куцая собачка помешать может. Правда, ты не убегающий волк. Но ведь и тебе приходится робко прокрадываться в наш аул. Выберет он удобный случай и схватит тебя за руки. Опять пойдут разговоры, опять у тебя душа болеть будет. Слышал пословицу,— надоедает попрошайка, отрежь ему язык! Язык Жумана — твой враг. Лучше всего переманить его на свою сторону. Откупись! И он станет нашим.

Невольно я грубо выругал Жумана. Уж очень досадил он мне.

— А я-то считала тебя разумным джигитом!— рассердилась Калиса.— Смотри, не безумствуй! Споткнуться, когда делаешь доброе дело,— полбеды. Когда же споткнешься на плохом, можешь получить тяжелую рану. В кости проникнет боль. И не скоро пройдет. Впрочем, тебе виднее. Знаешь сам, как поступать. Я тебе только совет дружеский дала...

...До следующей пятницы было еще далеко. Я решил что-нибудь придумать, чтобы время прошло незаметно и чтобы я находился вблизи аула Батес. И выход нашелся. Отец уже не раз предлагал мне и Кайракбаю отправиться на охоту с ястребом. Он хотел отвлечь меня от грустных мыслей. Я не увлекался стрельбой и равнодушно относился к предложению отца. Но теперь воспользоваться им было как нельзя кстати. Кайракбай был в восторге от моей затеи. Радовался и отец. Он ничего не пожалел для меня: ни нарядной одежды, ни рыжего иноходца.

— Городской костюм будешь носить в городе, а здесь одевайся как богатый аульный джигит,— сказал отец и начал меня снаряжать.

Я надел сшитый здешним мастером вельветовый камзол, а поверх него — казахский чекмень из белой и легкой верблюжьей пряжи с подкладкой из полосатого шелка. Воротник и полы чекменя были оторочены мехом выдры. Искусный сапожник стачал для меня сапоги на высоких каблуках с изогнутыми носками. И еще достались мне в наследство от одного из дедов штаны тонкой кожи, удобные для седла. Отцовская неношеная шапка из шкурок, снятых с ног баранов, и рубашка шелкового полотна завершали охотничий наряд джигита.

Ну, а мой рыжий иноходец? Отец сам занялся его подготовкой.

— Вот смотри, Буркут, как в старину украшали лошадей батыры.

С этими словами он выстриг иноходцу челку и на ее месте укрепил пышный султан из перьев филина. Он вплел в хвост девичьи мониста и завил его конец. Плоское калмыцкое седло он смягчил пуховой подушкой, чтобы джигиту было удобнее. А чтобы седло не давило спину коня, положил на потник попону. Приладил подхвостник, чтобы седло не сползало к шее, и нагрудник, чтобы седло не соскальзывало с крупа.

— Должно быть, ты будешь в байге участвовать. Мало тогда одной подпруги. С ней обойдешься только при тихой езде.

И отец прикрепил седло двойной подпругой.

Я смотрел на него и удивился. Все это казалось настоящим священнодействием. Можно было подумать, что отец не лошадь готовит к охоте, а колдует.

Рыжий мой иноходец действительно напоминал теперь коня батыра. И на седле его и на сбруе поблескивало серебро.

— Все это снаряжение,— рассказывал мне отец,— заказала покойная бабушка, когда еще была невестой, для твоего деда Жаутика. Сорок овец заплатила она, помнится, мастеру. Очень любила она Жаутика. Когда дед умер, она спрятала седло и сбрую в сундук и никому не позволяла пользоваться ими. В беспокойные времена она побоялась хранить дома дорогие ее сердцу вещи и отдала их на хранение одному бедняку. Совсем недавно, в твое отсутствие, бедняк — он теперь в артели «Искра»— принес нам домой и седло и сбрую. Ты, Буркут, знаешь, как бабушка любила тебя. Но я впервые тебе говорю, что незадолго до своей смерти она просила все это снаряжение передать тебе, когда ты станешь джигитом.

Рассказ отца меня так растрогал, что я заплакал. И потом, вытирая слезы, спросил:

— И чем же ты отблагодарил, отец, бедняка из «Искры».

Он нехорошо усмехнулся:

— Бязи на подштанники с рубашкой ему дал и фунт чая в обертке. С него довольно...

Много злого захотелось мне высказать отцу, но слова застряли в горле: я был и обижен и благодарен отцу за богатый подарок.

Воображаю, какой пышный был вид у меня. Я стал, как картинка. Вот бы показаться перед Батес в таком наряде. Теперь мне в седле не хватало только ястреба. Но и ястреб нашелся. Словом, как поется в народной песне:

Я птицу ловчую
Держать в руке учусь.
Джигит без ястреба,
Как песенка без чувств.

Ястреб — небольшая, легкая птица. Ястреба можно носить на руке, не уставая. В старину богатые казахи прикрепляли к луке седла два кольца — одно для тяжелого беркута, другое — для легкого ястреба. В народной песне, где говорится об охоте, есть такие строки:

Зовут и степь и горы —
Охотиться пора!
Есть ястребу опора —
Кольцо из серебра.

Эти песенки были сочинены как будто про меня.

К луке дедовского седла, еще по приказу бабушки, мастер прикрепил два серебряных кольца. Одно предназначалось для беркута, другое — для ястреба. Кольца легко снимались и надевались. Первое кольцо отец спрятал до зимы: летом с беркутом охотятся редко. Второе кольцо осталось на луке. Оно и теперь светилось прозрачным камнем, вделанным в металл, так же, как много лет назад, когда и дед и бабушка были совсем молодыми.

Нравилась мне и наша ловчая птица. Можно сказать, всем ястребам ястреб. Перья на его крыльях и хвосте еще не успели отрасти после весенней линьки и отливали красивыми голубовато-сизыми оттенками. Но это не мешало ему стремительно сшибать утку и гуся. Он был хорошо натренирован и мог брать на лету двух-трех уток разом. Только дрофы с трудом давались ему. На земле с ними ястреб не справлялся. Хитрые птицы умели ослеплять хищника своим пометом. Поэтому дроф надо было вначале спугнуть и заставить взлететь. На лету ястреб мог вцепиться и в эту птицу, и с тяжелой ношей камнем падал на траву. Если охотник не поспешал к ястребу на помощь, хищной птице приходилось туго: на выручку дрофе прилетала чуть ли не вся стая. Дрофы набрасывались на ястреба и избивали его крыльями. Только очень опытный хищник знал, как тут можно обороняться: он норовил спрятаться под широкое крыло пойманной им дрофы. И уж тут не ястребу, а дрофе надо было отбиваться: ей доставались все удары своих спасителей, предназначенные хищнику.

...Я представлял себе все эти забавные картинки, когда мы с Кайракбаем выехали на охоту, а точнее сказать — к аулу Мамбета. Я прежде всего помнил наш договор с Калисой и стремился к Батес. Но мне хотелось и поохотиться, хотя бы для того, чтобы покрасоваться перед невестой в своем пышном наряде, похвастать убитой дичью. Если бы она увидела, как с моего седла свешиваются утки, гуси, дрофы!

И мы, действительно, начали с Кайракбаем по пути в аул охотиться на дроф.

Но тут меня поджидала негаданная беда.

Мы приметили дрофиное стадо, и Кайракбай послал меня вперед — спугнуть птиц. Но я не напугал птиц, а птица, спрятавшаяся в густом ковыле, напугала и меня

и лошадь. Дрофа, отбившаяся от своих и не замеченная нами, оказалась чуть ли не под копытами моего коня. Она шумно захлопала крыльями и побежала, спасаясь. Перепуганный конь встал на дыбы. Я в одно мгновение вывалился из седла. Разгоряченный иноходец упал на ковыль и, взбрыкивая ногами, катался по земле. Что сталось с дорогим седлом, с чудесной сбруей! Пока подъехал Кайракбай на своем вороном, мой конь продолжал беситься и вдруг помчался на полном скаку. Догнать его было невозможно. Кайракбай растерялся. Он выпустил из рук ястреба, и тот с клекотом взмыл в небо, не обращая внимания на дроф. Наше волнение подействовало на него. А дрофы? Они словно злорадствовали над нами, и, собравшись в стаю, исчезли вдали.

У Кайракбая был растерянный грустный вид. Да и у меня, должно быть, тоже.

— Что ж мы теперь будем делать?— спросил он меня.

Дорога, выбранная нами, вела в аул Мамбета. Я предложил сперва Кайракбаю подождать меня с лошадьми в яру, а я тем временем никем не замеченный побываю в ауле.

Но потом я передумал и попросил у Кайракбая его вороного.

— Ты, Кайракбай, возьми себе еще лошадь где-нибудь поблизости и с моим разбитым седлом и сбруей возвращайся домой. Отец очень огорчится и разгневается. Мне сейчас не хочется ему на глаза попадаться. Я задержусь, пожалуй. Поживу в каком-нибудь ауле.

Кайракбай согласился со мной. В стороне от дороги мы нашли небольшой аул, там нам дали лошадь, и Кайракбай отправился к отцу, а я продолжал путь.

В назначенный срок я встретил Калису там, где мы условились.

До чего же быстро передаются вести по степному узункулаку. В ауле Мамбета знали во всех подробностях, как я упал с рыжего иноходца. Хорошо известно было там и о моих столкновениях с Жуманом. И если еще несколько дней назад Мамбет и Каракыз опасались, что я могу похитить Батес и даже колебались — уезжать ли им в гости, то после случая с конем успокоились. Они решили, что теперь я не скоро появлюсь в их ауле.

— Очень опечалена твоя Акбота, волновалась за тебя, не сильно ли ушибся,— вполголоса рассказывала Ка-

лиса.— После того, что случилось в прошлый раз, она не хотела пускать тебя в свой дом, боялась огласки. А теперь говорит: «Бокен верит мне, а я — ему. Пусть, если хочет, приходит. Но скрытно, чтобы люди не догадались». Беспокойное и робкое сердце у твоей Батес. Ну, давай укроемся одним чапаном и пойдем быстрее. Токал сказала, что дверь запирать не будет. Родная мать понимает дочку. Бедная, она так рада, что хоть Батес нашла равного себе, полюбила. Она душу за тебя отдаст, понимаешь? И больше всего ей хочется, чтобы вы уехали отсюда, уехали вдвоем, держа друг друга за руки.

Я спросил у Калисы, знают ли в семье Батес о нашей клятве.

— Думаю, нет, не знают,— отвечала она.— Иначе я заметила бы по мрачному лицу Молда-аги. А он ничего, веселый!..

Калиса замолчала и пошла быстрее.

— Торопись, торопись! Нельзя терять времени.

Дверь дома Мамбета была открытой. Я скользнул в темень и сразу же очутился рядом со своей невестой...

...Я не увидел начала рассвета, я скорее услышал, что он близок: где-то на краю аула задвигались, замычали коровы, прокукарекал петух.

— Тебе пора, Бокежан. Иди, пока совсем не рассвело,— нежно шепнула Батес.

— Значит, нам осталось ждать одну неделю? Как мы договорились. Так, Акбота?

Она тихо произнесла одно слово:

— Да.

— И ты придешь, когда я тебя позову? Придешь в волостное управление?

— Мы же дали друг другу руки, Бокен. Не веришь,— вот тебе моя рука.

Крепко целуя Батес, я пожал ее теплую руку.

Уже занималась заря, когда я возвращался к яру, где оставил вороного. Аул был пустынным, только коровы выходили на пастбище. Я огляпулся вокруг. Кажется, никто за мной не следил.

Я совсем было успокоился. Но, приближаясь к яру, вздрогнул: в зарослях таволги чернел незнакомый силуэт: вороной и не вороной, конь и не конь. Я подошел вплотную и не поверил своим глазам. Боже мой, что случилось! Что произошло в эту ночь!..

Мой недруг выстриг вороному и хвост и гриву. Конь перестал походить на коня. Он был голеньким, жалким. Я взглянул на седло — негодяй повернул его задом наперед.

Отрезать у коня хвост, повернуть седло — значит, покрыть джигита позором, жестоко оскорбить его.

У меня закружилась голова. Я не мог сообразить сразу, что предпринять. Может быть, Еркин поможет? Ну, конечно, он. Кто кроме него! И решение созрело.

Я не мог ехать открыто. Я пробирался по оврагам, скрывался в незнакомых аулах и наконец добрался до волостной конторы. Вот здесь, думал я, мы и встретимся с Батес. Другого выхода я не видел.

На мое счастье, Еркин был в конторе. Он поддержал меня и здесь:

— Только тебе, Буркут, ехать за Батес не надо. Даже с милиционером. Ты знаешь аульные нравы. Нехорошо, когда поднимается шум. Давай лучше я пошлю за ней нашего друга Нурбека. Он скажет, что ее вызывают в волость, а зачем — и сам не знает. На Нурбека можно положиться...

Долго я ждал Батес. Но Нурбек вернулся один. Я сразу понял по его лицу: случилось что-то недоброе.

— Батес отказалась идти. Сначала я говорил с нею при всех. Мамбет ее не задерживал. Мол, вот девочка. Везите ее в контору. Но Батес сказала, что там ей делать нечего. Потом я беседовал с нею наедине. Говорил о тебе, Буркут. Напомнил ей, что она дала слово. Она от всего отказывается. Твердит, что и знать тебя не хочет.

— Ничего не понимаю!— воскликнул Еркин.— Здесь что-то не так. Что же нам делать?

— Я сам поеду, поеду один. Без милиционера. Не могу верить этим словам, пока сам не услышу.

— Поеду и я,— сказал Еркин, не пожелавший оставить меня в беде.

...В аул Мамбета мы отправились втроем — Еркин, Нурбек и я. Пара лошадей нас быстро примчала туда.

Когда мы вошли в юрту, вся семья была в сборе. Нас радушно приветствовали. Только мрачная Батес даже не взглянула в нашу сторону. Что с ней? Ведь совсем недавно она была другой — ласковой, нежной, верной.

— Я угадываю причину вашего приезда,— приветливо обратился к нам Мамбет.— Говорят, люди теперь свобод-

ны и каждый волен любить кого хочет. Если дети любят друг друга, зачем мешать им? Батес перед вами, она уже почти взрослая. Она вам все скажет сама. Я знаю, дочь рождена жить в чужом доме. Если скажет, что любит, я ее благословлю. Она, должно быть, обиделась, что приходила милиция. И заупрямилась... Пусть выйдут посторонние люди, чтобы она не смущалась.

В юрте остались Мамбет, Батес, Еркин и я.

— Акбота!— приблизился я к ней.

— Не подходи ко мне!— Ее глаза сердито сверкнули.— Не подходи.

— Что с тобой, Акбота? Я не узнаю тебя! Что ты делаешь?

— Мы чужие люди. Я знать тебя не хочу. Все прошло, как пена на озере.

Что-то тяжелое, горячее вливалось мне в уши. Я уже не мог больше владеть собой. Я чувствовал на своем плече руку Нурбека, но все равно не сдержал слез:

— Что ты только сказала, Батес?

Презрительно она взглянула на меня.

— Я все сказала. Возвращайся сейчас же обратно по своим следам.

Удивленный и огорченный Еркин заговорил мягко, осторожно:

— Опырмай, милая моя. Я не хочу вмешиваться в ваши личные дела. Вы же сами договорились обо всем. Я только боялся, что вам будет плохо, что тебя не пустят. И тогда закон будет на твоей стороне. Но ты говоришь теперь по-иному. Мы ведь не собираемся тебя увозить насильно.

— Правильно, агай. Не надо вмешиваться в наши дела. Вы же не вмешивались и прежде. Я сама отвечаю за свои поступки. Свободен Буркут, свободна и я. Нити порваны. Пусть каждый из нас делает то, что он хочет...

— Ты же была моей невестой, Акбота!— выкрикнул я в отчаянии.

— Мне больше нечего сказать,— и Батес выбежала из юрты.

Я ничего не понимал. Я не знал, как буду жить дальше. Я задавал вопросы Еркину, но и он ничего не сумел объяснить.

Можно было только догадываться, что существуют еще неизвестные нам глубокие причины. Дело было сов-

сем не в том, что остригли коня и тем самым меня опозорили. Что-то более серьезное и страшное разъединяло нас.

Сейчас нам надо было возвращаться по своим следам, как сказала Батес.

Мы вышли из юрты. Смеркалось. Мы сели в повозку, и лошади с каждым шагом все дальше и дальше погружались в темноту. Ночь поглощала нас.

Ночь неожиданного несчастья, самая грустная моя ночь.

БЛУЖДАНИЯ

(Из тетради Батес)

И заблудившийся найдет
надежные пути,
Но если ты влюблен —
тебе покоя не найти...

Фирдоуси

БЕТ АШАР

«Бет ашар!» Так издавна называют казахи песню, которую поют, когда с лица только что приехавшей в аул невесты снимают покрывало. Мне самой пришлось видеть этот старинный обряд, слышать эту песню.

Чаще всего, по обычаю, невест встречали летом на джайляу. Радовался весь аул в ожидании приезда молодых. Празднество особенно привлекало детей. Еще за день — за два до приезда невесты ребятишки не могли заснуть — боялись пропустить веселье. В своем детском нетерпении они часами напряженно смотрели в ту сторону, откуда, как им говорили, должна появиться невеста.

По обычаю, жених первым выезжает из аула невесты и скачет к себе, чтобы сообщить добрую новость. И тогда навстречу невесте устремляется пешая и конная молодежь. В аулах нашего Кызбеля, расположенных среди холмов, приближающихся всадников можно было приметить только совсем вблизи. Поэтому джигиты и девушки, торопясь увидеть невесту, мчались до урочища Алтыкырдын асты — Подножье шести хребтов. Там и происходила встреча невесты. Привыкшая сызмальства к верховой езде, я тоже, бывало, неслась в этой веселой кавалькаде.

При встрече невеста покидала седло и низким поклоном приветствовала своих будущих друзей, восторженно смотревших на нее. И если аул был далеко, то невесту сажали на коня, а если близко — брали под руки и шли пешком. Перед самым аулом два джигита или две невестки разворачивали заранее приготовленные шкуры и пологом натягивали их впереди невесты, а на ее лицо набрасывали легкое покрывало...

У первой юрты аула к невесте подходила одна из близких ей девушек, сестер жениха, и снимала покрыва-

ло. В эти мгновения молодежь хором затягивала поздравительную песню «Бет ашар»—«Открытие лица». Вот отсюда и поговорка возникла: «С лица невесты сбросив покрывало, подругой близкой ты невесте стала».

Встречать молодую, видеть этот странный обряд, слышать и самой петь песню «Бет ашар»— все это казалось мне заманчивым и милым. И я мечтала стать одной из таких невест...

Но теперь, когда приближалось мое совершеннолетие, этот обычай потерял для меня всякий интерес, ушел в далекое прошлое. Хотя отец с матерью по-прежнему считали меня ребенком, да и сама себе порой я казалась маленькой, мне вдруг стало ясно: времена, когда так встречали невесту, навсегда миновали. И еще одна мысль завладела мной. Что из того, что дома видят во мне девочку, ведь покрывало с моего лица уже снято, уже пропета мне песня «Бет ашар». Кто сбросил покрывало с моего лица? Конечно, он — Буркут! Кто пропел мне песню «Бет ашар»? Тоже он!.. И разве теперь есть для меня кто-нибудь ближе Буркута?..

Буркут, ставший мне таким близким, вскоре после проводов Какен, в одну из наших встреч неторопливо, словно испытывая мое терпение, говорил:

— Акбота! Слышала ли ты когда-нибудь русское слово «драма»?

— Нет. А что оно может означать?

— Если я объясню прямо, пожалуй, ты не сразу поймешь. Попробую показать тебе на примерах. Ну, вот мы с тобой. Мы же полюбили друг друга с детства?

— Полюбили... Ну и что?..

— Ведь нам мешали, нам не давали встречаться. Нам не позволяли стать такими близкими? Правда, Акбота?

— Это так, но я еще не понимаю тебя...

— Вспомни, Акбота, трудные наши времена, вспомни, как мы ломали преграды, и наконец вот теперь вместе...

— Пусть так всегда будет, Буркут.

— Так вот, все, о чем мы сейчас вспоминаем, это и есть драма.

— Тогда это хорошее слово, Буркут...

— Хорошее-то хорошее, но у этого слова есть близнец. Оно может быть даже им самим. Плохое, горькое слово.

— Не называй его, не надо...

— Слушай, Акбота! Знать надо все. Когда влюблен-

ные не смогут одолеть преград, они разлучаются, и конец становится печальным — это будет уже трагедия.

— Ты словно говоришь о Козы-Корпеш и Баян?

— Ты почти угадала, Акбота...

— Не надо говорить об этом! Это грустное слово, я боюсь его.

— Подожди, не бойся. Я тебя сейчас познакомлю с одним веселым словом. Представь себе, что те, кто строил козни влюбленным, сами оказались в дураках, и над ними все потешаются. Это называют комедией.

— Вот это хорошее слово...

— А знаешь ли ты, что такое театр?

— Слышать — слышала, но никогда не смотрела.

— И трагедию и комедию — все это можно увидеть в театре. Все это показывают там, чтобы развлекать народ.

— Трудно мне это понять, увидеть надо.

Буркут продолжал удивлять и озадачивать меня.

— У русских есть много интересных обычаев. Хочешь, я тебе расскажу об одном?

— Конечно, хочу.

— Тогда внимательней слушай. Некоторые образованные люди ежедневно делают записи о событиях, которые с ними случаются. Такие тетрадки называются дневниками. И вот, когда таких дневников накапливается много, их зовут еще мемуарами, воспоминаниями...

— И в самом деле хороший обычай.

— Он начинает проникать и к нам, казахам. Тетрадки с такими записями называют кунделик.

— И у тебя есть кунделик?

— Есть.

— И он у тебя с собой?

Буркут улыбнулся так, что я догадалась — его дневник при нем.

— А ты мне покажешь? Можно?..

— Почему же нельзя,— и Буркут вытащил из внутреннего кармана камзола большую свернутую тетрадь в тонкой кожаной обложке...

В тот же день я начала ее читать. Как это было увлекательно! Но записи были сделаны так плотно, такими маленькими буквами, что мне оставалось прочитать еще очень много, а Буркуту уже надо было уезжать. И я попросила оставить мне тетрадь.

— Ладно, возьми. Но имей в виду — это только первая тетрадка.

— А где же вторая?

Вместо ответа Буркут из-за голенища сапога вытащил тетрадь, точно такую же, как и та, что была у меня.

С уважением я потрогала ее красивый кожаный переплет:

— И где ты их только достаешь?

— Мне их переплели в Оренбурге. Там я и вел первый дневник. А вторую тетрадку начал заполнять прошлым летом в ауле...

Перелистывая вторую тетрадь, я заметила, что она исписана только наполовину.

— Значит, ты еще ведешь записи?— спросила я.— О чем же они?

Буркут хитро взглянул на меня:

— События в самом разгаре. Я просто не успеваю записывать...

— Ты, пожалуйста, говори яснее!

— Когда прочитаешь — сама поймешь. А пока скажу так: в первой тетради описывается только моя жизнь, вторая тетрадь посвящена тебе и мне...

— Неужели, Буркут?

— Зачем же я тебя буду обманывать?

— Тогда я хочу прочитать обе тетрадки.

— Я ведь и показываю их тебе, чтобы ты прочитала. Может быть, одним страничкам ты будешь радоваться, за другие — ругать меня. Я не буду тебе перечить. Но давай договоримся с самого начала: обижаться на меня ты можешь, но для ссоры дороги нет. Идет?

— Идет!

— Тогда давай по рукам!

Мы пожали друг другу руки. Вскоре Буркут уехал, а тетрадки остались у меня.

До его возвращения я несколько раз перечитала дневники. И после раздумий мне стало ясно, что я раньше так мало знала Буркута. Я так хорошо представила его детство. И не переставала удивляться его умению глубоко разбираться в жизни в молодые годы. Я восхищалась его правдивостью перед самим собой.

— Все прочитала?— спросил Буркут, вернувшись в аул.

— Ни одного слова не пропустила! Несколько раз подряд!..

— А часто на меня обижалась?

— Нет!

— Даже когда читала ту страничку, где я описываю ночь в доме Майлыбая?

— Я стала, Буркут, после этой странички только больше верить в тебя!

Он доверчиво и тепло взглянул на меня:

— Значит, я не ошибся. Я ведь знал, что ты так и скажешь, моя Акбота!..

Теперь уже задавала вопросы я.

— Ведь твои тетради заканчиваются описанием твоего приезда на свадьбу Какен. И до каких же пор ты будешь продолжать свои записи?

— До тех пор, пока мы не выйдем обнявшись из здания загса! Ведь я теперь веду дневник для тебя.

Как я была благодарна Буркуту и за эти слова и за его тетрадки. Не помню уже, что я ему говорила, возвращая дневники. Зато каждое слово Буркута ясно сохранилось у меня в памяти.

— Ты выполнишь мою просьбу, Акбота?— сказал он, пристально глядя мне в глаза.

— Ты только скажи мне — какую?

— Что если я и тебя попрошу вести такой дневник?

— А сумею ли я?

— Разве ты не моя Батес, которую я так хорошо знаю? Конечно, сумеешь! Будешь писать даже лучше меня!..

— Почему ты так говоришь?

— Видишь ли, ты впечатлительнее меня. А дневник и есть запись впечатлений. У тебя и описания будут получаться глубже и ярче.

— А вдруг у меня ничего не выйдет?

— Выйдет. Верь мне, Батес.

И хотя вслух я и не дала Буркуту согласия, но в душе твердо решила выполнить его просьбу. Пусть за свою такую короткую жизнь я видела меньше, чем Буркут, меньше его испытала горького и трудного, но мир моих чувств, моих дум — он такой же большой и сложный. Иногда мне казалось, что мы похожи на один чекмень, только он верх, а я подкладка. Буркут хорошо описал себя самого, верно и интересно. Многое он рассказал и обо мне, но разве он мог заметить все сокровенное? Почему же не попытаться мне раскрыть свои секреты и отдать их на суд людям? Как говорит Буркут на первой странице своей тетради: «Кто знает, придет время и эти записи кому-нибудь пригодятся».

С такой мыслью, начиная с сегодняшнего дня, я тоже стала делать записи в этой большой тетради. Подражая Буркуту, я написала предисловие, дав ему название «Бет ашар»...

ЕРКЕЖАН

Я думаю, нет на свете такого человека, который бы с детских лет, с того самого дня, когда он впервые стал задумываться над окружающим, мыслить, не ощущал бы, пусть смутно, неосознанно, природу своего пола. Это ощущение знакомо не только людям, но и животным. Как рано просыпается у животных инстинкт, хорошо знаем мы, жители скотоводческих аулов, проводящих дни среди отар и табунов. Позднее, уже читая школьные учебники естествознания, я поняла, что не только животные, но и весь живой мир, даже растения, считающиеся неодушевленными, оказывается, очень тонко ощущают природу пола!..

Я говорю об этом потому, что детство мое сложилось не так уж просто. Даже когда во мне проснулась девочка с ее врожденной стыдливостью, я в душевной простоте продолжала считать себя мальчишкой, да и многие близкие так называли меня. У меня тогда и имя было мальчишеское — Еркежан... Но природа брала свое. Меня тянуло к шитью и куклам даже в те дни, когда вместе с мальчишками, не отделяя себя от них, я играла в асык — бараньи бабки. Уже пришла пора называть меня маленькой хозяйкой очага, а я в семье занимала положение мальчика.

В том, что так произошло, я нисколько не была виновата. Тут сказались жестокие обычаи казахского аула. И рассказы старших и первые мои наблюдения помогли мне понять, что казахи пренебрежительно относятся к девочкам, которые в будущем не могут быть помощниками и опорой родителей. Девочка с детских лет обречена на продажу. Ее стоимость — калым. Кто больше за нее заплатит — тому она и будет принадлежать. Поэтому с одинаковым презрением на нее смотрят и те, кто продает, и те, кто покупает. Кому какое дело до ее души, ее характера? Она равноценна скоту или имуществу, и хозяин волен обходиться с ней так, как ему заблагорассудится.

Грустный пример всегда перед моими глазами — судьба родной матери — Жании. С той поры, как я себя пом-

ню, мой отец — Мамбет был с нею жесток и несправедлив. И если бы она хоть в чем-нибудь провинилась! Она была чиста перед мужем, перед семьей. Рабыня хозяина дома, она работала так, что у нее в руках все горело. И ничего не получала взамен. В доме ее окружало изобилие и богатство, но сама она не носила красивой одежды, не садилась есть со всеми вместе. Платьем своим она не отличалась от жены бедняка, а питалась объедками, оставшимися после нас. Помню, ей было немногим больше двадцати пяти лет, но я не видела и не слышала, чтобы она участвовала в праздниках или гуляниях в нашем или соседнем ауле!..

В жизни ей не привелось увидеть ничего светлого. Она мне мало о чем рассказывала, но от других людей я узнала, каким тяжелым был ее путь. Дочь бедняка, она попала в семью моего отца, потому что его старшая жена — байбише — не могла рожать. Отец заплатил за нее калым, чтобы в доме были наследники. Отец, важный Мамбет-хожа даже не поехал сам за новой своей четырнадцатилетней невестой, а поручил привезти ее байбише Каракыз. Она сразу очутилась в жестоких руках отца и старшей его жены. Жизнь ее в нашем доме сложилась по пословице: если сядет — бей палкой по голове, а встанет — по ногам. Работа и пинки — день и ночь, день и ночь.

Безропотно переносила она унижения. Никто не слышал, чтобы она повышала голос. Она никому не жаловалась на свою судьбу. Даже тайком не позволяла себе плохо отзываться о муже или, как говорили в ауле, бросать сор ему в глаза.

В памяти у меня один тяжелый рассказ.

— Твоя мама,— шептала мне одна старушка,— родила первого ребенка, когда ей было пятнадцать лет. Это был мальчик. Бесплодная байбише в страхе, что муж окончательно отвернется от нее, пошла на преступление. Она подкупила одного юродивого, жившего неподалеку от нашего аула. И он, будто бы нечаянно, уронил мальчика в котел с кипящим курдюком.

...У меня было несколько старших братьев и сестер, но братья обычно умирали младенцами. Девятнадцати лет мать родила Какен, двадцати лет — меня. Я была грудным ребенком, когда меня отобрала к себе байбише, и долго я считала ее своей родной матерью.

Но как же все-таки произошло, что меня называли

Еркежаном и почему я с детской доверчивостью считала себя мальчиком?

— Бедный ты мой ребенок,— отвечала мне одна добрая старушка,— разве ты не знаешь аульных обычаев? Ведь девочка рождается для чужого дома. Станет она взрослой — ее отдадут за скот. И все. И нет дочери в доме. Поэтому и малейькой они не хотят считать ее своей. Если у человека несколько дочерей и нет сына, то на твой вопрос «есть ли у тебя ребенок?», он решительно ответит: «нет!» А если у него несколько дочерей и только один сын, то на этот же вопрос он ответит: «один-единственный!»

— Так-то оно так,— грустно проговорила я,— но тогда какой же смысл в том, что девочку называют мальчиком?

— Обманывают себя, хоть на время хотят потешиться...

Вот откуда и начинается история моего мальчишества. Байбише меня приучила носить мальчишескую одежду с малых лет. Мне внушали, что я единственный сын. Костюмы мне шили самые нарядные, но никогда не давали носить украшений из золота, серебра и драгоценных камней, обычных в богатых семьях. Избалованных аульных мальчишек можно было узнать издалека по чубу на лбу и хохолку волос на макушке. Ну, а меня не только летом, но и в зимние месяцы выбривали наголо. Вероятно, я понимала не совсем искреннее отношение ко мне, какой-то обман. Меня баловали, мною и играли. Поэтому я росла и капризной и чересчур чувствительной. Маленькая заноза мне казалась острой стрелой; слегка оцарапают меня — я начинаю реветь так, будто меня режут ножом; стригут мне ногти — я кричу, словно мне рубят пальцы; ну, а бритье головы всегда представлялось мне самою страшной пыткой, и если бы не сильные руки байбише Каракыз, прижимавшие мою голову к своей груди, я бы никогда не позволила прикоснуться бритве к моему лбу. Но все равно, я так била ногами и вертелась, что даже самый опытный парикмахер не мог обойтись без многочисленных порезов.

Каракыз по-своему внимательно следила за мной. Она близко не подпускала ко мне девочек-сверстниц и всякий раз напоминала мне: «Не подходи к ним, Еркежан, наберешься от них разного вздора».

А ведь у мальчиков и девочек свои привязанности,

свои слова. Мальчишки в старом ауле, особенно баловни-мальчишки, привыкали к самой грубой ругани, и это не считалось зазорным. Но девочки, по обычаю, не должны были произносить не только ругательных, но и просто невежливых, непочтительных слов. Редкостным исключением была байбише Каракыз. Лишенная чувства стыдливости, она совершенно спокойно произносила на людях самые отборные ругательства и к тому же делала это с какой-то особой мужской лихостью.

То ли она хотела передать мне эту свою привычку, то ли ей, настойчиво продолжающей свою игру, казалось важным подчеркнуть мой мальчишеский характер. Так или иначе, но едва я стала говорить, как меня стали приучать сквернословить на каждом шагу. Мне было невдомек, что это стыдно, и я послушно ругала каждого, на кого мне показывали пальцем. Байбише Каракыз с особенным удовольствием натравливала меня на мою родную мать — Жанию. И зачем я так оскорбительно ругала ее? В чем она была виновата передо мной? У нее была чистая совесть и горькая жизнь. Как я ни ругала ее, она обычно даже не подавала вида, что грубые мои слова причиняют ей боль. Или она настолько свыклась со сквернословием, что даже не принимала близко к сердцу слова ребенка, рожденного ею.

Байбише Каракыз не останавливалась на этом. Она приучила меня замахиваться на мать кулаками. Это была игра в драку. Жестокая игра, потому что и отец и Каракыз частенько били мать. Отец был по-своему образованным человеком, но к матери он относился безжалостно и грубо...

А жизнь шла своим чередом. И, понятно, меня нельзя было отгородить от моих сверстников, говоривших мне прямо в лицо о том, что я совсем не мальчик, и о том, кто моя настоящая мать. Детские насмешки первое время доводили меня до слез. Я думала, меня обманывают, зло подшучивают надо мной. Но мало-помалу сознание мое начинало проясняться. Я стала замечать, что действительно похожа на Жанию и лицом и походкой. Особенно лицом. Как шутили в ауле, я будто бы выпала у нее изо рта. И у Жании и у меня были одинаковые черные родинки на правой щеке возле глаза. И когда я окончательно убедилась в том, что Жания моя мама, я стала ей помогать, заступалась за нее, не позволяла ее бить ни отцу, ни Каракыз.

Когда мне исполнилось семь лет, мама моя родила мальчика. Назвали его Сеилом. С этих пор отец не только перестал бить мать, но и не ругал ее больше. Смягчилась байбише Каракыз. Порой, по старой привычке, она покрикивала на токал, но рукам воли не давала.

С этими событиями совпал конец моего мальчишества. Ох, как мне мешала последнее время эта выдуманная взрослыми игра. Я стала чуждаться и своих сверстниц и не присоединялась к играющим в бабки мальчишкам...

Все чаще и чаще стала я задумываться о школе.

В нашем ауле осенью девятьсот восемнадцатого года открылась казахская школа. Отец мой был одним из тех, кто больше всех заботился о ней. Во время восстания тысяча девятьсот шестнадцатого — тысяча девятьсот семнадцатого годов он был в рядах врагов Амангельды, но как только в нашем краю установилась Советская власть, он вернулся в аул и занялся школьными делами. Первое время он даже давал уроки, но уже на следующий год занялся дома хозяйством. Один из самых грамотных людей аула, он выписывал журналы — «Красный Казахстан», «Равенство женщин», «Звезда», газету «Трудовой казах» и некоторые другие. Все свое свободное время он проводил за чтением.

Старшей моей сестре Какен отец не позволил переступить порог школы, а меня он сам привел туда за руку. И его очень радовало, что я с первых дней начала хорошо учиться.

Позднее он говорил мне:

— Если дело и дальше пойдет так, ты у меня высоко подымешься. Я сначала тебя пошлю учиться в Тургай, а после и в Оренбург!

Во всех классах я шла впереди сверстников. Заведующий школой Балкаш хвалил меня и прочил мне хорошее будущее:

— Только бы ее никто не сглазил, только бы здоровой была. Закончит она на будущий год четвертый класс и я ее сам отвезу в опытно-показательную школу. За два года она, как на байге, доскачет до института.

Может быть, все и вышло бы, как расписывал Балкаш, но на моем пути неожиданно стала преграда. И преградой этой оказался Буркут.

Однажды байбише Каракыз сказала:

— В наши края вернулись с берегов Сырдарьи доб-

рые наши родичи. Надо их навестить, повезти им подарки...

К родственникам должна была ехать и я.

Но в то время я уже потеряла вкус к путешествиям и бывала в гостях без всякой охоты. Едва я заикнулась о своем нежелании ехать, как байбише резко меня оборвала. Спорить с ней было бесполезно, и скоро мы тронулись в путь. Дорогой Каракыз подробно рассказала мне о каждом из этих наших родственников.

— Когда они откочевали отсюда на Сырдарью, сын их Буркут был еще маленьким. Но и тогда он был первый в ауле озорник. Интересно, по-прежнему ли он такой или немного остепенился? Ведь он на три года старше нашей Батес. Беда, если он остался таким, как раньше...— тут в глазах Каракыз появилась тревога и она замолчала на несколько минут.— Бывало приедешь прежде к ним в гости или они приедут к нам, так нет никакого покоя от Буркута, всем надоест своими шалостями.

— Твоя правда,— присоединился Кикым,— много я повидал озорных ребят, но такого сорванца не встречал ни разу...

И добрых слов он не поймет,
Его и палка не проймет.

— Эта пословица словно для него сочинена. Слишком избаловали его родители,— продолжал Кикым,— ты будь осторожна, Бокаш-жан, ему ничего не стоит выкинуть какую-нибудь шалость...

И чем дальше слушала я эти речи, тем сильнее хотелось мне увидеть этого озорника. Я ведь и сама никогда не была тихоней.

Но при встрече Буркут оказался совсем не таким, каким рисовало его мое воображение. Или Каракыз была права, что он уже образумился, или на него наговаривали, преувеличивая обычные мальчишеские шалости. Словом, ничего грубого, ничего особенно озорного в нем не было. Ко мне он отнесся очень хорошо. Тут было и уважение к гостье и, быть может, чувство жалости к девочке, чья жизнь сложилась не как у всех. Мы весело проводили время. Буркуту было около четырнадцати лет, но он, крупный и рослый, выглядел значительно старше. Мне понравился его характер — простодушный и от-

кровенный, понравилась бьющая ключом жизнерадостность.

Четыре-пять дней, проведенные в его доме, сблизили нас. Мы подружились, как дети, родившиеся от одной матери. С утра и до вечера мы были вместе. Порою я пробовала его рассердить, посмеивалась над ним, подзадоривала его, но мальчика не задевали мои выходки, и он неизменно отвечал мне добродушным смехом, безропотно выполнял все мои капризы.

Наша дружба оказалась такой горячей, что после первой встречи врозь нам было уже скучно. Особенно Буркуту. Придумывая любые поводы, он так часто заглядывал в наш аул, что от приезда до приезда пыль не успевала затягивать след копыт его лошади. Он ласково называл меня Бота и Акбота: Верблюжонком и Белым Верблюжонком. Я же переделала его имя в Бокежан. Но еще больше нравилось мне называть его Ак Бокеном: Белым сайгаком.

Лето уже сменилось осенью, аулы окочевали на свои зимовки — кыстау, и дороги между ними стали длиннее и труднее. Осенью Буркут поступил в тот же четвертый класс, в котором училась я. Поселился он на правах родственника в нашем доме.

Школа была далеко от дома, и нам приходилось вместе ездить в школу. Наша дружба становилась крепче с каждым днем. Хорошо было мчаться зимой на санях, запряженных верблюдом. Иногда с нами вместе ехали наши сверстники, иногда мы совсем одни летели заснеженной степью. Какой это был веселый путь! То мы угодим в сугроб, то забрасываем друг друга снежками, то смеемся, подставив ветру раскрасневшиеся лица. И ни разу еще Буркут не намекнул мне, что я девочка, а он — юноша, ни разу не перешагнул границу детской дружбы.

Однажды мы возвращались после занятий домой. Наступили тихие сумерки. Сани скользили по сверкающей дороге, петлявшей среди опушенных снегом камышей. Побагровевшее в тумане низкое-низкое солнце светило тускло, как потухающий костер. В такие дни в степных краях обычно дуют бураны-поземки, когда сухой снег серой волчицей скользит, крадется по затвердевшему обледенелому насту. Но в этот день ветра не было. По особенному безмолвной казалась дорога между школой и аулом. Она пролегала среди густых камышей. Снег, иней, навалившийся на неподвижные камыши, придавал им

сходство с тонкими березками. Сгибаясь под тяжестью, они клонили головы вниз. Оттого, что в последнюю неделю не было буранов, снежно-ледяная синеватая лента дороги блестела, как смазанный жиром сыромятный ремень.

Мы с Буркутом шутили, как обычно. Зачинщицей шалостей была, как всегда, я.

Буркут не боялся холода. И в трескучие морозы не кутался, как другие ребята. Он не застегивал воротника хорьковой шубы, надетой поверх вельветового камзола, распахивал и сам камзол. На ногах у него были сапоги с легкими войлочными чулками, брюки он тоже носил легкие. И никогда не завязывал тесемки малахая, напоминающего издали голову вислоухой овцы. Меховые варежки, сшитые матерью, он лихо затыкал за пояс. Шубу туго-натуго перепоясывал широким, украшенным серебром ремнем. Этот ремень, отцовский подарок, он не бросал даже тогда, когда снимал шубу, а перетягивал им в талии свой камзол. Так он и ходил, так и ездил в санках с открытой нараспашку грудью. Или кровь у него была горячей, чем у других, или кожа толще. Когда жестокий мороз обжигал тело словно раскаленным железом, кожа Буркута только покрывалась пупырышками, как у ощипанной и опаленной на огне птицы. На морозе краснеют ребячьи лица, но смуглый цвет лица Буркута и в январский холод оставался неизменным.

Буркут, против обыкновения, сегодня больше молчал. Когда время от времени на него находило такое уныние и у меня не хватало слов рассеять его, я начинала тормошить, щекотать его, и скоро его настроение менялось. Как бы легкомысленно ни вела я себя, Буркут никогда на меня не обижался...

Сегодня тоже я снова что-то рассказывала, стараясь рассмешить молчаливого, задумчивого Буркута. Но слова мои никак не действовали на него. Я попробовала было пощекотать его, но он безразлично произнес: «Оставь меня, Батес!» И снова угрюмо замолчал. Я вот, например, совершенно не переношу щекотки, и если чувствую, что кто-нибудь хочет меня пощекотать, то у меня душа уходит в пятки еще до прикосновения руки, а уж если меня коснутся рукой, то пусть это будет ребенок — победит и он, а я не нахожу себе и места, куда бы спрятаться; ну, а Буркута, сколько его ни щекочи, он останется

спокойным, ни один мускул не дрогнет на его лице!.. Так было и на этот раз.

Я не оставляла мысли расшевелить расстроенного Буркута и во что бы то ни стало хотела обратить его внимание на себя. Но вот наши санки вплотную приблизились к сугробу. Я схватила горсть снега, скомкала и быстро сунула ему под рубашку. Это было так неожиданно, что раздраженный Буркут вздрогнул и рванулся ко мне. Я спрыгнула на дорогу и побежала. Он погнался за мной.

Медленно вез наши санки верблюд, равнодушно и с некоторым презрением поглядывая на нас.

Я бежала от Буркута, скользя и падая. С разгона влетела на высокий сугроб, подпираемый камышом, растущим по краям дороги. Я лепила один снежок за другим и забрасывала ими Буркута. Буркут, защищая ладонями лицо, изловчился и на крутом скользком гребне сугроба поймал меня, приподнял, как маленького ребенка, и крепко прижал к себе. Его щека коснулась моей щеки, его губы влились в мои губы!.. На мгновенье я потеряла рассудок. Я не знала, что происходит со мной!

И вдруг меня отрезвил чей-то неприятный, но знакомый голос: «Да они целуются!» Так может себя почувствовать сонный человек, когда на него льют ледяную воду. Огляпулась — рядом стоял мой родственник, сплетник Жуман!.. Я вырвалась из крепких рук Буркута и побежала вперед!..

Я бы, наверно, могла заблудиться и замерзнуть, если бы скоро не услышала голос Буркута: «Батес!» Но я продолжала бежать. Он догнал меня. Будь бы я сильнее, возможно, я не подчинилась бы ему. Плачущую в три ручья, не отвечающую на его бессвязные слова, он понес меня на руках к санкам. Я уже не пыталась убежать. Но всю дорогу, пока мы не приехали в аул и не вошли в дом, я не произнесла ни одного слова. У меня не было ни желания, ни сил говорить. Я была и рассержена, и горела от стыда, и эта беготня по морозу не прошла даром. Жар у меня вскоре усилился, и я пылала, как в огне.

Не помню, как доехали, как я добрела до дверей. Хорошо, что уже наступил вечер и вокруг никого не было. Только Буркут еще раз окликнул меня, в голосе его слышались испуг и жалость. Он даже взял меня под руку и хотел помочь войти в компату.

— Отпусти!..— сказала я, вырываясь,— иди в дом к

моему дяде. Ради бога, не вздумай заходить в наш дом!..

В доме была одна Каракыз, она читала вечернюю молитву — намаз.

С трудом добралась я до низкой деревянной кровати, застланной одеялами, и упала, уткнув лицо в подушку... Я чувствовала, что жар усиливался. Мне казалось, мое тело размякло, как свинец на огне.

Капли проливного дождя собираются в овраге и текут ручьями. Так и я, долго копя слезы, уже была не в силах сдержать их. Наверное, я перестала владеть собой, и байбише Каракыз услышала, еще не кончив намаза, мой громкий плач. Спустя некоторое время она подошла ко мне и спросила: «Что с тобой, Еркежан?» Я не отвечала и не переставала плакать. Каракыз потрогала мою голову, нащупала пульс:

— Боже... Ты ведь заболела!.. Что случилось с тобой, моя милая?!

Я только сильнее прижалась лицом к подушке.

Каракыз была не по-женски сильной. Она легко поднимала груз, доступный не каждому джигиту. Поняв, что ее уговоры на меня не действуют, она, не обращая внимания на мое сопротивление, обняла меня, легко подняла с постели и села на пол, прижимая меня к своей груди. Кто-то вошел в переднюю.

— Ты, Жанаш?— спросила Каракыз.

— Да!— Я узнала голос матери.

— Батес заболела. Жаркая, как огонь! Жаль, нет дома отца, он бы прочитал молитву! Позови-ка бабушку Пушык, пусть заговорит!— испуганно бормотала Каракыз.

Вскоре подошла и бабушка Пушык. «Надо было заговорить, когда входили в дом!»— с сожалением вздохнула она. Она прикоснулась к моей пылающей голове.

Бабушка Пушык лечила по-своему.

— Надо опрыскать, чтобы испуг прошел,— сказала она и велела накалить на огне кочергу.

Мать так и сделала. Потом она держала раскаленное докрасна железо над моей головой, а бабушка Пушык лила на него воду. Вода шипела, клубился пар, на меня падали горячие капли. Было жутковато и неприятно. Хотелось спрятаться на широкой груди байбише.

Опрыскивание горячей водой мало помогло мне. Испуг-то, может быть, и прошел, но жар не отпускал меня. Соседи, прослышав о моей болезни, приходили навестить

меня; Каракыз не очень вежливо обходилась с ними,— зачем, дескать, нарушаете покой, да к тому же в ночное время.

Задыхаясь от жара, я встретила рассвет, не сомкнув глаз. Сидевшая около меня Каракыз похрапывала, но мать, лежавшая на полу у двери,— стоило мне пошевелиться,— приподымала голову с подушки. Бедная, она и тогда не смела приближаться ко мне и только робко подавала голос...

Утром я задремала... Проснувшись, увидела в дверях Калису. Судя по солнцу, приближался полдень. Калиса, соблюдая родовые правила, остановилась у порога.

— Как чувствуешь себя, Еркежан?— назвала она меня моим мальчишеским именем.

Я не хотела отвечать ей. Я понимала, что хитрая Калиса прекрасно знает, отчего я заболела. Что же мне отвечать ей? Я чувствовала себя очень слабой, хотя жар, сжигавший меня ночью, теперь утих. От тяжелых дум сильно кружилась голова... Облизнув высохшие губы, я почувствовала, что они потрескались, как поверхность высохшей земли, где еще недавно стояла лужа дождевой воды... Мне не хотелось говорить, и я с досадой смотрела в лицо Калисы.

— Слышали, знаем,— сочувственно заговорила Калиса,— не было у вас осторожности, бедные дети!.. Да и где тут может быть осторожность!— сказала она сама себе.— Откуда эти бедняжки, только что вылупившиеся, могут догадаться, какие мухи налетят и сядут на них!..

Калиса отвернула лицо и концом платка вытерла глаза.

— А где Бокен?— вырвалось у меня помимо воли.

— Уехал домой.

— Домой?!

— Да, домой!.. Если не заткнуть глотку этому Жумапу, он может опозорить вас, растрезвонит на весь мир. Буркут и уехал, чтобы привезти ему что-нибудь из отцовского дома.

— И тогда он не будет нам вредить?

— Кто его знает. Пасть у него широкая. К тому же ненасытная. Он может измотать, как прожорливая собака, которой все мало.

Я вспомнила наглого Жумапа, и опять стало тяжело у меня на душе.

А хитрая Калиса между тем продолжала:

— Говорили, милая моя: слово, проскочившее между тридцатью зубами, может обежать тридцать родов... Что бы ты теперь ни делала — сплетню Жумана будут повторять люди. К тому же вы еще не взрослые, чтобы ответить: пусть говорят что угодно. Теперь время Советов. Кому какое дело, если вы соединитесь по своей воле. Но у вас еще нет своего голоса, нужно подождать. А в старое время, как только распространился бы этот слух, родственники твоего будущего мужа пришли бы сюда с дубинками и, наигрывая на кобызе у твоего дома, оповорили бы тебя. И отец ничего не смог бы поделать. Сейчас они не сделают этого — время не то! Но, несмотря на это, наверное, этот скверный Жуман не будет таиться. Он очернит вас исподтишка...

— Зачем ты рассказываешь мне об этом?

— Так просто, к слову пришлось,— отвечала Калиса,— а, впрочем, ты не бойся. В советское время никто никого не может съесть. Нам лишь остается молить бога, чтобы в этом деле твой отец и отец Буркута договорились между собой!

Сочувствие Калисы, ее советы пришлись мне по сердцу. Калиса умела войти в доверие, зажечь надежду. Я хорошо запомнила, как она говорила мне на прощанье:

— Прошло то время, когда ты была Еркежаном и подделывалась под мальчика. Теперь ты уже не мальчик, а девушка... Тебе уже тринадцать лет.

Я промолчала в ответ. Да и что я могла сказать, если эти слова Калисы были правдой.

ЗРЕЛОСТЬ

Через неделю я чувствовала себя уже значительно лучше. Болезнь отступала. Жар уже не мучил меня. Я поднялась с постели, но за эти несколько дней я похудела, как человек, перенесший тиф. И так ослабела, что ходила пошатываясь. Однажды я взглянула на себя в зеркало: как пожелтела, скулы выдались, щеки ввалились, белки глаз стали синеватыми, побелели, потрескались губы; шея стала тонкой, как тростинка,— и кажется, прикоснись кто-нибудь к ней и она сломается...

Может быть, я пролежала бы еще в постели, но старшие в нашем доме начали хмуриться. Вездесущая Калиса рассказала мне, что слух, пущенный Жуманом, дошел до отца, байбише Каракыз и матери. Все, понятно, пред-

ставлялось преувеличенно. Дошло в наш аул и известие о жеребенке, которого Буркут собирался подарить Жуману, чтобы тот молчал. Во всех подробностях рассказывали и о том, как Буркут после ссоры с отцом пырнул ножом этого жеребенка.

Жуман теперь разозлился еще больше. Вместе со своей женой-сплетницей Бике стал наговаривать на нас такое, что нам и не снилось. Дурная молва докатилась и до родителей Буркута. Оттуда посылали даже джигита разузнать, что происходит в нашем доме. Нелегко было слышать моим отцу и матери эти невеселые разговоры. Отец и Каракыз мне ничего не говорили, но по выражению их лиц я видела,— они укоряли меня — как же, мол, так случилось, что о тебе, еще совсем юной, пошла такая недобрая слава. Понятно, мне было стыдно, но что я могла поделать? Позднее из книг я узнала, что девушки в моем положении кончали жизнь самоубийством. К счастью, мысль об этом и не приходила мне в голову, и я молча терпела, жалеючи мать и отца.

В эти невеселые дни, когда я бледной тенью ходила по дому, отец куда-то уехал и, воспользовавшись его отсутствием, в нашем доме стали собираться аульные женщины. По обрывочным фразам я поняла, что они хотят меня, ходившую раньше в мальчишеской одежде, нарядить теперь как девушку и в честь этого устроить гуляние жен родственников. Моя родная мать Жания шумно воспротивилась этой затее. Я еще накануне чувствовала, что в нашем доме вспыхнула ссора, и мать до сих пор никак не могла договориться с Каракыз. Ссора эта продолжалась и сейчас.

— Ну, токал, поднимайся, кипяти чай!.. Ставь казан!— сказала матери байбише Каракыз.

— Ты что, хочешь устроить бастандык мужу, пожелать ему счастливого пути?— спросила моя мать недовольным голосом.

— Перестань болтать!— почти приказала байбише.

Но мать давно уже перестала бояться Каракыз и в последнее время ни в чем не уступала ей. Если Каракыз говорила белое, то мать — черное. Отец теперь не брал сторону байбише. Порою он грозно посматривал и на нее и на токал: «Я вижу вы не уживаетесь под одной крышей. Пусть любая из вас подохнет, другая тихой останется!»— и в сердцах выходил из дома. Каракыз, пони-

мавшая, что ее слова теряют силу, не давала, как раньше, волю своему грубому языку.

— Что случилось, почему вы так торопитесь?— спрашивала мать.— Или испугались сплетников, болтающих, что взбредет на ум. Зачем насильно облачать в женское платье девочку, которая белее молока и чище воды...

— Не надо волноваться, Жания!— тихо и терпеливо возразила Салике, жена старшего брата моего отца,— разве не говорят: в тринадцать — хозяйка очага? Батес стала почти взрослой... К чему теперь ей мальчишеская одежда? Не с пустыми же руками вы остались — у вас есть, не дай бог сглазить, настоящий мальчик. Сеилжан скоро станет джигитом. Так не будем нарушать обычаев наших дедов и прадедов.

— Правильные слова!— с одобрением восклицали женщины.

И мать моя, почитавшая Салике, пошла на примирение.

— Но во что же мы оденем Батес? Мы ведь до сих пор не шили для нее нарядов. Может быть, отдадим ей старые платья Какен?..

— Не буду носить обноски!— воскликнула я и вышла.

Женщины без долгих споров согласились на том, что Батес, дочке состоятельного человека, действительно неудобно донашивать старые платья сестры, и надо сшить ей одежду по заказу, чтобы соблюсти обычай.

Байбише Каракыз велела открыть сундуки, где хранились отрезы разной материи, и позвала меня к себе.

— Иди сюда, милая. Скажи сама, что тебе здесь больше нравится. И пусть тетушка Калиса сама раскроит и сошьет тебе платья..

Признаться, в те дни мне было не до обнов, и я не бросилась благодарить Каракыз, а молча стояла у дверей.

Байбише неодобрительно покачала головой:

— Ты, Калиса, возьми отрезы, которые ей могут приглянуться... Вон из того ситца выкрой два платья и еще одно из сатина... и два камзола сошьешь из шелкового полотна, один без рукавов, другой с рукавами... Забирай все это домой и шей!

— Ну что, будешь выбирать?— спросила Калиса.

Что я ей могла ответить? Мне все было безразлично.

— Тогда давай сниму с тебя мерку,— и Калиса начала расправлять ситцы. В комнату вошла моя мать.

Калиса, накинув материю мне на плечи, принялась за свое дело.

— Надо, чтоб подол опускался до самых пят!— настаивала Каракыз.

— Зачем так низко?— мать быстро взглянула на меня,— достаточно, если будет немного ниже колена.

«Ну кого же из вас я буду слушать?»— всем своим недоуменным видом показывала Калиса, посматривая то на байбише, то на мать.

— Делай то, что говорю я!— упорствовала мать.

— Пусть будет по-твоему!— наконец согласилась Каракыз.

Конечно, в городах встречаются замечательные портнихи, но в нашем ауле, в наших краях никто лучше Калисы не мог шить. Из дальних мест к ней приезжали заказчики. И если у бая дочка на выданье, без Калисы нельзя было обойтись. Очень редко, гордая и неуживчивая, принимала она приглашение обшить кого-нибудь на дому...

...Выкроенные и сшитые искусными руками Калисы платья хорошо сидели на мне. Но еще долго мне было стыдно показаться в этой одежде на глаза людям!.. Я порою готова была провалиться сквозь землю и днем старалась не выходить из дома:

В один из вечеров я бродила по двору. На земле лежало несколько верблюдов, я подошла к ним и, скрываясь за их горбами, вдруг увидела, что к нашему дому со стороны аула направляются два человека. Вначале я приняла их за гостей, находившихся в ту пору у нас и, постеснявшись, ничем не выдала себя. Они присели совсем недалеко от меня. Но это были не гости. Я узнала по голосам моего отца и Жумана. Вслушавшись, я поняла, что речь идет обо мне.

— Я вызвал тебя, чтобы передать салем от свата Сасыка,— говорил Жуман,— сват думает так: против течения жизни не пойдешь, а если наступят хорошие времена, когда и к нам на руку сядет ворона, клянусь, что не упущу нареченную невесту своего сына. Пусть даже Советская власть победит окончательно, я не пожалею всего своего скота, чтобы честь не пострадала, а не хватит скота — и головой пожертвую.

— Что же все-таки предлагает твой дядя Сасык?

— Он считает, что Буркута надо отправить в Оренбург учиться. Повезти юношу должен Жакыпбек... Бур-

кут, говорят, очень доволен. Но он приедет к вам просить, чтобы вы отпустили с ним и Батес. Дядя пообещал ему заехать к вам.

Отцу, видимо, не все было понятно, и он попросил Жумана рассказать подробнее.

— Жакыпбек пообещал Буркуту устроить его жизнь. Но Жакыпбек не хочет ссориться и с нашим Сасыком. Теперь все зависит от вас. Вы поняли? Вам самим надо постараться удержать Батес дома. Пусть Буркут едет один в Оренбург. Но дядя Сасык просит вас не восстанавливать против себя упрямого юношу. Однако он надеется, что вы сумеете уговорить дочь отказаться от поездки с Буркутом. Лучше всего будет, если вину на себя возьмет Батес.

— Да как же она возьмет вину на себя?— возмутился отец.— Она же еще девочка. Но и мне ее уговорить нелегко. Кто, скажи, может это сделать?

Собеседники на некоторое время умолкли. Первым нарушил молчание Жуман.

— Я придумаю выход, Маке. Всем известно, какой крутой характер у Кубы-еке. Вот и надо, чтобы он взял вину на себя. Он сделает так, как мы хотим. И с удовольствием сделает. Вы же его знаете лучше меня. Жакыпбек и Буркут непременно сюда заедут по пути в Оренбург. Об этом мы будем знать заранее. В день их приезда Куба-еке возьмет к себе в дом Батес и будет держать ее взаперти. Пускай Жакыпбек прикинется, что хочет ее увезти. Да и ты сделаешь вид, что не препятствуешь этому. А Куба-еке будет упрямо стоять на своем, угрожая вдобавок ножом. С ним не справится никто, он останется самим собою, ничего от него не убавится. И милиция ничего не сделает — ведь Батес еще не взрослая.

— Да, кажется, выход найден,— произнес отец,— об остальном надо посоветоваться с Куба-еке.

Они поднялись и, не заходя в дом, отправились в сторону аула.

Я не сразу испытала тяжелое чувство, невольно подслушав этот разговор. Вначале он мне показался просто забавным. Весь горький смысл этого заговора я поняла, когда отец и Жуман исчезли в темноте. Я знала о том, что Буркут едет учиться и незаметно для других попросила его взять меня с собой. Буркут с радостью согласился. Разве могла прийти в наши бедные головы мысль о

том, что перед нами встанут такие преграды. И разрушить эти преграды не так-то легко. А всего труднее справиться с Куба-еке...

Куба-еке — старший брат отца. Это удивительно упрямый человек. Особенно ненавидел он женщин. К нему осмеливались входить только аульные старухи и пользующиеся уважением байбише. А если в доме, где он гостил, ненароком появлялась какая-нибудь молодая женщина, он сразу же уходил, невзирая на угощение, приготовленное для него. Преданный до фанатизма мусульманской вере, он считал святой каждую букву шариата и не подвергал сомнению слова пророка Мухаммеда, что «Девочка, достигнув девяти лет, становится совершеннолетней». Именно поэтому он не разрешал приближаться к себе и девятилетним девочкам. Его ненависть к женщинам была настолько безграничной, что он даже свою единственную дочь ни разу не приласкал, ни разу не понюхал по обычаю ее лобик. Тринадцатилетней он отдал ее замуж, никогда не ездил к ней сам и ей не разрешал приезжать в отчий дом.

За свою изуверскую нелюбовь к девочкам он был однажды жестоко избит. Лет пятнадцать-двадцать тому назад Куба-еке откочевал к родственникам своей жены в местность Ара-карачай и стал там муллой. Возвращаясь как-то вечером домой верхом, он встретил нескольких маленьких девочек, собиравших ягоды в овраге на окраине леса. Недолго думая, Куба-еке сотворил молитву и камчою стал их избивать. Девочки, плача от боли и страха, узнали в этом жестоком человеке нового аульного муллу.

— Зачем ты бьешь нас, Куба-еке?— кричали они.

— Япырай, этим бесенятам известно даже мое имя!— воскликнул Куба-еке и еще ожесточеннее стал хлестать девочек.

Поблизости оказались косари. Они сбежались на крик детей.

— Ты что это делаешь?

— Весь овраг, весь лес переполнены чертями!— отвечал Куба-еке.— Разве не видят ваши глаза?..

— Где эти черти?— недоумевали косари.

— А вот!— и, взмахнув камчой, он снова ринулся на детей.

Тогда косари стащили Куба-еке с лошади и со словами — вот тебе черти!— избили его самого.

После расправы с детьми Куба-еке не мог оставаться

в Ара-карачае. Да и родственники отреклись от него. Куба-еке вернулся в родной аул. В последние годы его единственным занятием было свершение обряда обрезания.

Правда, в отсталом невежественном ауле некоторые считали Куба-еке ученым, но я, приглядевшись к нему, убедилась, что он был темным человеком да и корана не знал толком. Хотя он и мог с грехом пополам читать, но подписаться был не в состоянии. Как я уже говорила, религиозен он был беспредельно: все свое свободное время, а у него его было вдоволь, проводил на коврике для молитв — жайнамазе. Он не выпускал из рук четок, постоянно бормотал: «Субхан алла!»—«Слава тебе господи!», ни с кем не вел дружеских бесед и всегда сохранял недоступный, хмурый вид. Да и внешность его не располагала к себе: темное лицо, низко опущенные брови, опухшие веки больших черных глаз, маленький вздернутый нос, свисающие усы, расчесанная клиньями борода. Ко всему этому собеседников давил его мрачный тяжелый взгляд, взгляд быка, собравшегося бодаться. Однажды, когда я была еще маленькой и носила мальчишескую одежду, я подошла к Куба-еке. Он крикнул: «Прочь от меня, бесенок!» С той поры я боялась приближаться к нему... Его жена Сакпан была мягкая, добрая женщина, любящая детей. Но из страха перед мужем она только тогда зазывала меня к себе, когда Куба-еке не было дома. При нем же Сакпан словно не замечала меня. Так он давил своей угрюмой властью. Не могу до сих пор понять отчего, но мой отец тоже юлил куропаткой перед братом. Жестокого советчика избрал себе отец! Он никогда не перечил старшему брату.

В это недоброе время, когда я мучительно думала о своем будущем, в наш аул приехали Буркут и Жакыпбек. Я встретилась с Буркутом с глазу на глаз и раскрыла ему хитрые замыслы отца и Жумана, стремившихся не допустить моего отъезда в Оренбург.

— Да, мало у нас защитников,— с грустью говорил Буркут,— может быть, еще дядя поддержит...

Позднее Буркут передал мне, что отец в беседе с Жакыпбеком уклонился от прямого ответа и сказал, что все зависит от старшего брата.

Случилось так, что Жакыпбека, остановившегося в нашем доме, вместе с Буркутом позвал погостить один из баев соседнего аула. Стоило только им уехать, как в наш

дом, опираясь на палку, пришел мрачный Куба-еке и прямо с порога начал кричать:

— Это верно, что ты надумал отпустить Батес учиться?

— Был такой разговор!— отвечал отец, отодвигаясь от Куба-еке: старший брат не раз бывало пробовал на нем крепость своей палки.

— Ты скажи мне, кто затеял это дело?— продолжал наступать Куба-еке.

— Да вот Жакыпбек сказал, что теперь девочкам можно учиться... и хотел взять ее с собой...

— Зачем он ее повезет?.. У Батес есть отец и мать! Они достаточно богаты, чтобы ей жилось хорошо. Вот тебе «сказал», вот тебе «Жакыпбек»!— и Куба-еке с размаху стукнул отца палкой по плечу. Он замахнулся еще раз, но тут один старик, до сих пор безучастно слушавший этот спор, решительно схватил его за руку.

— Пусти!— вырывался Куба-еке.— Сейчас он у меня получит! Все это беззаконие придумал ты сам!.. Жакыпбек, Жакыпбек!.. При чем тут Жакыпбек... Ведь он твою дочь собирается увезти неведомо куда... Кому ты доверяешь дочь?.. Будь она совершеннолетней, и то надо было поразмыслить... Неужели ты такой сильный, что тебе не страшно нарушить обычаи и отпустить Батес. Попробуй, попробуй.

В это время в дом вошла жена Куба-еке Сакпан.

— А, жена!— Куба-еке принял решение.— Отведи Батес в наш дом.

Послушная Сакпан устремилась было ко мне, но я спряталась за спину Каракыз.

— Отдай девочку Сакпан!— рявкнул Куба-еке.

— Иди, миленькая, иди!— прошептала Каракыз.— Иначе нам всем попадет...

Деваться было некуда, меня увели... Насмерть перепуганная, дрожащая, я хотела заплакать, но слез не было, я хотела кричать, но мне что-то сдавливало горло и я не могла подать голоса... Сакпан вытащила меня из дома, как голодная волчица выхватывает ягненка из пасущейся отары. Она так быстро поволокла меня за собой, что мои ноги, как говорится, не успевали касаться земли...

В ту ночь Сакпан положила меня спать рядом с собой. Опасаясь ли, что меня могут выкрасть, или здесь было так принято, но на ночь Сакпан крепко закрутила

дверь изнутри веревкой. Для пущей безопасности она зажгла фонарь и прикрепила к месту в головах деревянной кровати. Сквозь полудрему я видела, как на жайнамазе истово молился Куба-еке.

Всю эту тревожную ночь я не могла сомкнуть глаз. То и дело слышался лай аульных собак. Может быть, они дрались между собой, может быть, схватились с прокравшимся в отару волком. Долго не стихали визг и рычанье. Всполошились овцы, замычали коровы, раздался рев верблюда. Проснулся Куба-еке, обеспокоенно закряхтел, но, не решившись выйти из дому, с постели покрикивал на бродившую по двору скотину.

Только на рассвете я с трудом заснула. Проснулась я от того, что кто-то склонился надо мной. Я вздрогнула, открыла глаза и увидела Сакпан.

— Люди идут, вставай, Батес!

— Кто идет?

— Жакыпбек...

Меня охватило волнение.

Вошел Куба-еке, еще более неприветливый и хмурый, чем всегда, сел на свой молитвенный коврик и, опустив глаза, начал перебирать четки. И вдруг в комнате появились Буркут и Жакыпбек. От волнения я не понимала, о чем говорили между собой Жакыпбек и Куба-еке. И только когда в разговор вступил Буркут, до меня дошел крик Куба-еке. Он грозил ножом и готов был пустить его в дело. Буркуту ничего не оставалось, как покинуть дом. Куба-еке с видом победителя говорил Жакыпбеку:

— Не будем теперь тратить попусту слова. Когда Батес станет совсем взрослой и разберется, где правая, где левая рука,— в ее воле выбирать себе путь. А сейчас она в наших руках.

Жакыпбек попрощался с Куба-еке и вышел.

Спустя несколько часов Буркут и он покинули наш аул. Мне разрешили возвратиться домой.

Я застала дома Сактагана. Он уже прощался с отцом и говорил ему уважительно и очень твердо:

— Это все Мамеке! Если не послушаешься меня, пеняй не себя. Имей в виду, я тебя могу измотать и дополнительным налогом.

— Мы же договорились теперь!— отец пробовал добродушно усмехнуться, но сквозь его усмешку отчетливо проступал страх.

Я узнала от матери подробности этого разговора —

он имел прямое отношение к моей судьбе. В лице Сактагана я получила надежного защитника. Инспектор фин-отдела и представитель аульной бедноты разгадал планы отца, Куба-еке и свата Сасыка, расставивших силки и не пустивших меня на учебу. Сактаган решительно настаивал, чтобы я считалась невестой Буркута и обещал помочь нам пожениться ко времени моего совершеннолетия. Отец, как рассказала мне мать, сдался. Его не то чтобы убедил, а скорее напугал Сактаган.

Да, этот воинственный фининспектор, гроза аульных баев, умел держать свое слово. Навещая нас, он зорко следил — не вступает ли отец в сговор с Сасыком. И когда он однажды узнал, что в нашем доме Сасыку было оказано гостеприимство, обрушился на отца и что называется вымотал ему душу.

Скоро я поняла — Сактаган заботился не только обо мне, хотя ему и в самом деле хотелось помочь бесправной девочке; он стремился любыми путями подтачивать силу баев. Сасыку пришлось туго. Фининспектор так взял его за горло, что он, не сумев уплатить дополнительного налога, угодил чуть ли не на целую зиму в Тургайскую тюрьму, и часть его скота была конфискована.

Мне не давали продолжать учение и в аульной школе. Чего только не изобретала байбише Каракыз! Чтобы я ничем не походила на школьницу и скорее почувствовала себя взрослой девушкой на выданье, она усиленно занялась моими нарядами и прической. Велела удлинить мои платья до пят и сделать подолы с оборками. По ее настоянию мои камзолы были украшены драгоценными каменьями и серебряным шитьем. Появилась вышивка и на меховой шапочке, украшенной и без того пучком перьев филина. Бритва давно уже не прикасалась к моим волосам, они стали длинными и пышными, их можно было уже заплетать в две косы. Сперва я вплетала в косы яркие шелковые ленты, но байбише Каракыз находила их слишком дешевыми и заменила тяжелыми цепочками старинных монет, звеневших при каждом шаге. Мне прокололи мочки ушей и подвесили массивные серебряные серьги, напоминавшие маленькие стремена. И, наконец, для того, чтобы я выглядела более рослой, мне сшили остроносые саноги на каблучках вершковой высоты.

Вот так из еркекшора, из девочки, притворяющейся мальчуганом, я за короткий срок превратилась в настоя-

щую взрослую девушку. Куда уж мне в этом моем обличье было идти в школу и садиться за парту. Мне стыдно было показаться в таком наряде в школе. Но в письме Буркуту я ни слова не сказала о своих сомнениях, мне не хотелось тревожить его, не хотелось разочаровывать.

На меня теперь обращали внимание окрестные джигиты. Многие пытались сблизиться со мной. Есть такая пословица:

Каждый выпить кумыса рад,
Каждый девушке дарит взгляд...

У казахов есть обычай «уговаривание девушки». Старшие женщины, чаще всего жены старших братьев — женгей — становятся посредниками между девушками и джигитами. И если молодые друг другу понравятся — женгей получает щедрые подарки.

Моей женгей, понятно, стала Калиса. К ней все чаще и чаще обращались с просьбами познакомить, сблизить со мной. Но Калиса, верная моя Калиса, только с усмешкой передавала мне эти разговоры.

Обиженная на свою судьбу, Калиса горячо любила меня и была со мной совершенно откровенной.

— Нет джигита, который не посулил бы мне подарка. Бедняги! Они только и мечтают, что о тебе. Ты, подрастающий лебедь, так заманчива для них! Как им хочется добраться до тебя. И я скажу прямо: мне ничего не стоит сбить тебя с пути, вскружить тебе голову. Что скрывать! Многие девушки, сами не замечая того, попадали под мое влияние. Не было случая, чтобы я зря набрасывала аркан. Но с тобой я хитрить не буду. Я обещала Буркуту хранить тебя и сдержу свое слово. А джигитов, пристающих ко мне с просьбами, я буду водить вокруг пальца и принимать от них подарки.

Калиса и в самом деле лихо надувала джигитов, особенно тех хвастунов, которые любят молотить пшеницу языком. Но среди них были и такие, что распускали слухи о своих победах, о своей близости со мной. И, как всегда бывает в ауле, эти слухи доходили и до ушей моих домашних. Когда Каракыз или мать спрашивали Калису об этих разговорах, она неизменно отвечала: «Пусть болтают. Лишь бы был здоров Буркут, лишь бы он приехал скорее. Вы тогда сами увидите, где белое, а где черное... И если окажется черное, вы не только Батес, а и мне плюньте в лицо...»

В ауле стали поговаривать, что летом Буркут приедет из Оренбурга в родные края и, вероятно, попытается меня выкрасть. Незадолго до его приезда отец и Каракыз собрались навестить родителей байбише. Они и меня решили взять с собой. Но тогда Буркут не застанет меня в ауле, а я так соскучилась по нему. Я обратилась за советом к Калисе.

— Езжай с отцом,— отвечала она.— С любимым ты должна быть гордой! Правильно говорили наши деды, что даже мозг дешевого скота не имеет вкуса. Надо измучить джигита разлуками и только потом сблизиться с ним. Вот тогда ты будешь желанной. Чем больше он будет томиться, тем сильнее полюбит тебя. Пусть накопляется его страсть, Батес! Оставь ему коротенькую записку, скажи, что ты очень жалеешь, и отправляйся в путь...

— Он своевольный и даже жестокий... Он может так обидеться...

— Ну и что ж, переживет как-нибудь... Обида не болезнь. Пускай обижается, пускай уедет... Если он и вправду любит, вернется.

И веря Калисе и не доверяя ей, я поехала с отцом и Каракыз. И только зимой я поняла, насколько права была моя женгей. В нашем доме, в ауле стало известно, что к нам снова едет Буркут.

Калиса потребовала у меня награду за радостную весть — сушпши:

— Моя правда! Помнишь, я тебе говорила: если любит, значит вернется. Он едет только ради тебя. Но слушай мой совет — будь стойкой, не сдавайся ему. Пускай он сгорает от страсти. Рассказывают, известный батыр Балуан-шолак влюбился в девушку. И эта девушка, по совету такой же, как я, женгей, изо дня в день, из месяца в месяц, говорила ему: приходи завтра, приходи позднее. Тогда Балуан-шолак посвятил ей стихи:

Ты осенью мне говорила: «Зимой
Я буду твоею, а ты будешь — мой»,
Зимой ты сказала: «Весны подожди».
Обделся я. Ты сказала: «Уйди!»
Весна наступила. Я слышу опять —
«До лета нам надо с тобой подождать».
Сказала ты летом, в сияющий май:
«Надежды на осень, джигит, не теряй!»

Вот и ты так обещай Буркуту. Ему надо запастись терпением...

— А если у меня самой не хватит терпенья!

— И у Буркута ему конец придет. Сейчас зима, а ты пообещай ему лето. За остальное не беспокойся — я все вам устрою.

Буркут и в этот раз благополучно отправился обратно. А когда летом он приехал на свадьбу моей сестры Какен, самым удивительным было то, что Калиса сумела нам устроить свидание.

Ведь в дни свадьбы все на виду. Шумят жители аула. Праздничные игры продолжаются с утра и до вечера, не прекращаясь и ночью. Попробуй тут куда-нибудь скрыться. И, кроме того, ты хорошо знаешь: если здесь находится Буркут, за тобой следят внимательные глаза и соперников-джигитов и аульных сплетников.

И тут меня успокоила Калиса.

— Ложись-ка спать,— сказала она, когда наступили сумерки.— Надеюсь, господь не отнимет у меня хитрости, которой он сам меня одарил. Когда все в ауле утихомирятся, я тебя незаметно выведу из дому.

— Но как это тебе удастся?

— Подожди, узнаешь в свое время. А если байбише спросит, почему рано легла, пожалуйся на головную боль.

Я так и поступила.

В нашем доме и после сумерек не было покоя.

Следуя давним обычаям, в эту ночь старшие женщины должны были привести невесту, нашу Какен, к жениху и оставить ее с ним наедине. Когда жених удостоверится в ее невинности, он обязан раздать подарки для молодежи из аула невесты. Подарки, из которых каждый имеет свой смысл, свое назначение: чтобы не умерла старуха, чтобы не рычали собаки ,чтобы не шатался шест юрты... И подарки тому, кто держал за руку невесту, кто гладил ей волосы, кто стелил постель... Спору нет, хороший обычай... Но только в том случае, если моя бедная сестра действительно девушка.

А я-то догадываюсь, что наша Какен настолько легкомысленна, что уже давно потеряла невинность и опасаюсь, что жених может вернуть невесту обратно в семью. Высказав свои сомнения Калисе, я вижу, что она смеется: ничего, не такая уж важная птица этот жених, ему она в любом виде подойдет.

И еще на свадьбе должен был соблюдаться невесть откуда появившийся обычай похищения невесты из дому.

Даже если родители увидят эту кражу, они должны притвориться, что ничего не знают. Вероятно, не желая мешать похитителям, мой отец ушел на ночь из дому...

Потушили лампу, наступила тишина.

Каракыз, слышавшая в сумерках наше перешептывание, положила меня рядом с собой, хотя я обычно спала отдельно. Мало того, с другой стороны она постелила постель брату Сеилю. Словом, как мне подумалось, я попала в прочную западню. Сумеет ли теперь найти выход хитроумная Калиса.

Если бы старшие женщины не должны были похитить Какен, наверное, и дверь была бы привязана изнутри по приказу байбише.

Но вот уже была выкрадена и невеста, и я увидела в открытую дверь, как луна, проплывающая в пестрых облаках, посылала нам свои лучи.

И в эту самую минуту байбише сказала матери:

— Жанаш, привяжи за ними дверь!

— Да что там может случиться, какие враги нам помешают?— словно отмахнулась мать и не тронулась с места. Милая, чувствовала ли она, что я решилась сегодня встретиться с Буркутом?

Разве не говорят, что сон и пища — наши враги? Когда наступает их пора, они не спрашивают у нас разрешения...

Я все думала — придет или не придет Калиса и не заметила, как задремала. Неожиданно я проснулась от какого-то толчка у меня в ногах, чья-то холодная ладонь крепко сжимала под одеялом мою горячую ступню, будто предупреждая: молчи! А стоило мне приподнять голову с подушки, как кто-то осторожно тронул мою руку, словно давая понять: тише, сейчас идем! Я прислушалась: Каракыз похрапывала во сне, крепко спал Сеиль, мерно дышала мать.

Калиса — это была она — бесшумно подняла меня на руки и крадучись, как кошка поймавшая мышь, вынесла из дому.

Уже пала роса и, должно быть, опускался туман, потому что вся степь была в сероватой мгле. Калиса опустила меня на землю и за руку повела за собой. Очень скоро из поля нашего зрения исчезли очертания построек и сливающиеся с землей темные силуэты верблюдов и коров. Мы шли далеко в сторону от аула.

— Теперь можно и отдохнуть,— сказала Калиса.

— Где мы находимся?

— Это берег оврага Тобылги.— Она меня посадила рядом, обняла и затянула вполголоса:

Идут недаром тучи к тебе, Баян-аул.
Потерпим мы немного, чтоб мир вокруг уснул.
Желанье двух влюбленных услышит наш аллах.
Он спрячет ясный месяц в плывущих облаках.

— В песне правда!— прошептала я, дрожа от холода и волнения.

— Теперь нечего бояться, девочка.— И Калиса, накинув на мои плечи свой чапан, прижала меня к груди.

— Анатай-ай, матушка моя родная, не забыть никогда мне твоей доброты.

— Все в твоей воле, Батес! Признаться, я старалась не только ради тебя и Буркута, но и для самой себя. Понимаешь? Ты спросишь — почему? Так вот, слушай. Я ведь не знала, что такое любовь жениха. И сама не любила никого и пошла за того, кто заплатил калым. Я не слышала слов любви, я даже не верила, что они существуют. Моей мечтой было увидеть настоящих влюбленных. И, кажется, мечта моя сбылась, Батес. И ты и Буркут любите друг друга по-настоящему...

— Верь мне, анатай-ай, это правда,— тихо произнесла я.

— Еркежан!— так меня и теперь называла Калиса, когда она волновалась,— если я тебя о чем-то спрошу, ты не обидишься ли?

— Не обижусь, нет...

— Что бы я тебя ни спросила?

— Что бы ты ни спросила.

— Дай мне руку тогда. И слушай. В старину говорили: дети вырастают в родительском доме, но об их поступках не знают родители. Твоя жизнь у меня на виду. Я убеждена, что ты как ангел — белее молока, прозрачней воды. И если это так — иди к Буркуту, иди! Но вдруг я ошибаюсь, избави тебя бог! Тогда ты убьешь и меня, и себя, и Буркута.

— Апажан-ай, сестра моя старшая, какую клятву тебе дать?— И я заплакала от обиды.— Чем мне поклясться?

— Только именем Буркута, если он разрешает.

— Пусть будет так!..

И я пошла навстречу своему счастью.

Я не представляла теперь свою дальнейшую жизнь без Буркута и твердо решила ехать с ним в Оренбург. Калиса одобрила наш план уехать летом вместе на учебу.

— На свете не бывает так, чтобы девушка стала камнем для очага родительского дома,— говорила она.— Ты создана для чужой семьи... И правильно, что ты говоришь о школе. Уехать тебе без повода, просто так, труднее. Представь, что отец и мать согласились бы поневоле... Но если и бывает девушка, за которую не уплатили калым, то разве найдется жених, не раздающий подарки молодежи из аула невесты? Да и Абуталип, отец Буркута, разве пойдет на это? Своим упрямством он похож на саксаул, его не перегнуть в обратную сторону. Умрет, но не согласится на свадьбу! И здесь, в ауле, говорят — без свадьбы не отдадим. Значит, старшие заморочат голову и Буркуту и тебе! Зачем вам нужен жесткий намордник? Скажи, что едешь учиться,— и все. Отец с матерью еще попытаются помешать. Не хватит своих сил — они обратятся к Куба-еке. Но ты уж не маленькая. Не соглашайся! Сейчас много девушек едет из аулов учиться. Ни родители, ни Куба-еке теперь не имеют прежней силы.

И я и Буркут договорились с Калисой, что она нам поможет. Незаметно от родителей я стала собираться в долгий путь. В эти же дни распространилась весть, что Буркута оскорбили — остригли лошадь, на которой он приезжал в наш аул. Напуганная, я пришла к Калисе, но она уже знала об этом и не подавала никаких признаков волнения. Выслушав мой торопливый и сбивчивый рассказ, она принялась меня успокаивать:

— И чего ты только беспокоишься? Все будет хорошо. Теперь тебе еще легче уехать из дому...

Я не совсем поняла Калису и попросила ее подробнее объяснить, в чем дело.

— Знаешь поговорку — кто борется открыто, у того и язык остер. Теперь Буркут никого не пожалеет. Он, говорят, поехал не домой, а в волостной совет. Он в дружбе с нашим волостным Еркином. Буркут ему расскажет правду, попросит в помощь милицию и возьмет тебя. Ты только не вздумай сопротивляться. Теперь, когда ты прошла через бет ашар, тебе нельзя, нехорошо оставаться в ауле.

Когда Калиса убедилась, что я приняла решение, она расцеловала меня в щеки.

— Ты уже готова, Батес?

— Готова!

— Тогда у меня к тебе есть одна просьба!

— Слушаю тебя, женге.

— Если все будет благополучно, Буркут приедет самое позднее послезавтра, а скорее всего завтра. И лучше, если меня в это время не будет дома.

— Я тебя не понимаю, женге...

— Ты ведь знаешь казахские обычаи. В день твоего отъезда в доме подымется плач. И дорожа своей честью и жалеючи тебя, родители еще раз попробуют удержать тебя дома. Они-то хорошо знают, что у тебя нет секретов от меня, что я твоя старшая душевная подруга. И, возможно, они попросят меня быть с тобой. И я должна буду послушаться. Ничего хорошего из этого не получится.

— Значит, тебе надо куда-то уйти? Не правда ли, Калиса?

Я проснулась на следующий день, когда полуденное солнце заглядывало сквозь решетки купола юрты... Всю ночь я спала глубоким безмятежным сном, и головная боль, так мучавшая меня до этого, прошла. Я почувствовала себя по-настоящему отдохнувшей. Я была одна в юрте и, потягиваясь, нежилась в постели. Только собралась я вставать, как вошел братишка Сеил. Я так люблю, так люблю его... И оттого, что он мой единокровный брат, и оттого, что он удивительно похож на меня, и оттого, что он единственный мальчик в нашей семье... Ему уже исполнилось восемь лет, и на будущий год он должен идти в школу. Крупный, как и все в нашем роду, он быстро рос, особенно в последнее время, но мне он по-прежнему казался ребенком, только что покинувшим колыбель. Я очень любила его целовать и прижимать к груди. И он не чаял души во мне, не капризничал со мной. Сеил тоже льнул ко мне, часто он засыпал в моей постели. С того дня, как он начал говорить, он звал меня Бота — Верблюжонок, а Буркут, научившись у него, придумал мне имя Акбота — Белый верблюжонок. И не было для меня слов теплее Бота Сеиля и Акбота Буркута. Буркут знал, как я привязана к братишке. Когда мы в нашу последнюю встречу советовались об отъезде, я сказала Буркуту:

— Ничего мне не жаль, легко я расстанусь с нашим

аулом. Вот только Сеил... Мне трудно будет без него. Я представляю себе, как он ухватится за меня в час прощанья...

— Ты разве едешь умирать?— рассмеялся Буркут.— Оставь свою нерешительность... Брат твой скоро пойдет в школу. И пусть пока учится в своем ауле. А потом, когда у нас все устроится, мы и сами будем учиться и Сеила возьмем к себе. Хорошо, Акбота?

Я согласилась с Буркутом, а у самой навертывались на глаза слезы.

Пусть я знала, что расстаюсь не навеки, но все равно — жалость и нежность томили мою душу.

Все эти дни я вздыхала на людях и плакала украдкой. И когда в юрту вошел Сеил, я радостно вскрикнула:

— Светик мой!

Он бросился в теплые мои руки. Я приласкала братишку, прижала к своей груди, и тут заметила в его руке какой-то предмет. Посмотрела,— это оказался пакет, прочитала адрес — мне...

Мальчик сказал, что письмо ему дал почтальон.

Я вскрыла пакет и обнаружила в нем небольшую, довольно толстую книжку в картонной обложке. На переплете была надпись: «Альбом Буркута». Альбом? Это куда наклеивают фотографии? Так оно и есть! Я быстро листала страницу за страницей, и странные фотокарточки мелькали перед моими глазами. Они были приклеены и пронумерованы. И я начала разглядывать их по порядку уже более внимательно.

Фото первое. Буркут и русский юноша идут под руки с девушками. Одна из них русская, другая — казашка. Девушки одеты в легкие, узкие и открытые платья.

Фото второе повторяет первое фото. Хорошо видно, что все четверо улыбаются.

Фото третье. Фруктовый сад. Под одним деревом, словно играя в прятки, спрятался Буркут с русской девушкой, а из густого кустарника выглядывает девушка-казашка, судя по всему, следящая за ними.

Фото четвертое. На берегу озера или реки компания молодежи готовится купаться. И среди них легко найти тех же четверых, в том числе и Буркута.

Фото пятое. Снова этот же берег. Девушки в купальных костюмах, юноши — в трусах. Эта одежда по нашим аульным обычаям неприлична. Буркут и русская девуш-

ка нежно смотрят друг на друга. А та, казашка, стоит в стороне, грустная и надутая. Похоже, что ревнует.

Фото шестое. Молодежь купается. Плывут рядом Буркут и русская девушка. Они улыбаются, им очень приятно плыть вместе.

Фото седьмое. Снимок сделан на берегу после купания. Юноши и девушки лежат на песке. Стыдно смотреть на них! Русская девушка, запрокинув голову, лежит между Буркутом и русским парнем. Улыбка у нее такая, будто она хочет сказать: «Я готова пойти куда угодно с каждым из вас...»

Фото восьмое. Праздник в каком-то доме. За столом, уставленным блюдами и бутылками, много юношей и девушек. Среди них своим нарядным платьем выделяется та бесстыдница. Она опять сидит между Буркутом и русским парнем. Буркут и он смотрят друг на друга вызывающе. Можно легко догадаться, что они соперники. Но, очевидно, девушка предпочитает Буркута: именно на него смотрит она с улыбкой.

Фото девятое. Непонятно почему, но с ней на этот раз целуется русский парень. Буркут с раздражением посматривает на них...

Фото десятое. Та самая молодая русская. У нее вздулся живот,— она беременна...

Фото одиннадцатое. Одноэтажное длинное здание. У входа — садик и цветник. Над дверью четкая надпись по-арабски и по-русски: «Родильный дом»...

Фото двенадцатое. Перед дверью родильного дома Буркут с ребенком на руках. Ребенок завернут в белые пеленки. Рядом — все та же женщина и русский парень, отрастивший теперь усы...

Фото тринадцатое. Очевидно, ребенку только что исполнилось сорок дней. Он кудрявенький, веселый. Лежит на подушке. Буркут забавляет его, как бы привлекает к себе. А русский усатый парень сидит в сторонке.

Фото четырнадцатое. Буркут в майке нежно глядит в лицо упитанному мальчику. Мальчик на этот раз в распашонке и заметно окреп.

Больше фотографий не было. В конце красивым почерком написано: «Буркут нашел свое счастье!»

...Скажите мне, скажите! Разве эти карточки — не рассказ о жизни Буркута? Все ведь очень ясно.

Мне припомнились сплетни о Буркуте, которые ходили в нашем ауле.

Рассказывали, как джигит по имени Сакыпжан, ездил в село Дмитровку, остановился там у своего знакомого парня и видел у него молодого казаха, который попросился ночевать. Выяснилось, что это Буркут, сын Абеу, ехавший из города на каникулы. Он сказал, что проголодался. Ему предложили свинину, и Буркут сказал, что ему все равно, и что если подвернется случай — он станет крещеным...

Еще говорили, что джигит Адильбек поехал в город и зашел к Буркуту, чтобы справиться о его здоровье. Буркут спал на кровати с рыжеволосой русской девушкой. На шее у Буркута Адильбек заметил нательный крест. На столе стояла бутылка водки и свиные шкварки. Хозяйка-татарка сообщила Адильбеку, что Буркут женился на этой девушке, отрекся от веры и вчера был в церкви.

Сплетничали еще, что у Буркута есть ребенок от этой жены. Когда они поехали в аул, отец Буркута их не принял.

Рассказывали, будто Буркут ездил в командировку в какой-то аул. Там он украл дочь бая и увез ее с собой в город. Он заставлял ее есть свинину и пить водку. Девушка отказывалась, а он, пьяный, избивал ее до синяков. Наконец он отрезал ей косы, отобрал одежду и отправил обратно в аул.

Говорили также, что он собирается взять меня к себе в дом младшей женой — токал.

Всякие ходили россказни, много вздорного передавали о Буркуте, но я никогда этому не верила. Сплетни входили в одно мое ухо и выходили в другое. В дни наших встреч я ни разу не сказала Буркуту о том, что мне нашептывали в ауле. Мне не хотелось его огорчать. Я все больше и больше убеждалась, какой он честный, хороший. Он стал теперь разумнее. Он не мог быть таким плохим, как о нем говорили. Калиса мне тоже сказала однажды:

— Пусть болтают. Ты ведь прекрасно знаешь, что это ложь.

И вот теперь я держала в руках этот фотоальбом. Я вспомнила сплетни. Они снова вошли в мои уши и застряли там. Я бы рада была и сейчас им не верить, но уже не могла. Я разозлилась на Буркута, расстроилась, залилась слезами.

— Что с тобой, Бота?— испугался Сеил и стал меня утешать.

Я обняла братишку, и мы навзрыд плакали вдвоем.

Неизвестно, долго ли так мы просидели, но из этого горького оцепенения меня вывел громкий голос Кайпазара:

— К нам едут непрошеные гости. Правду говорю, едут. И на телеге, и двое верховых. Быстро приближаются... Вот-вот будут здесь...

— Неужели Буркут?— внезапно мелькнула мысль. Но я уже успела и обидеться и разгневаться... Волнение сразу улетучилось, как жар раскаленного докрасна железа, когда его опускают в холодную воду. В это время в юрту вошла заплаканная Каракыз.

— Вставай-ка, милая моя, побыстрее! Одевайся!

Я торопливо одевалась, а байбише продолжала:

— Скачут какие-то всадники. Я думаю, это люди власти. Просто так они не приедут. Ох, Еркежан, беспокойное сейчас время. Как бы они не везли с собою беду. Боюсь, боюсь за тебя. Мы бы встретили их с почетом, как гостей, но вдруг они угрожают тебе... Не убивай, милая, несчастного отца, пожалей мать, пожалей меня. Не уезжай вместе с ними, будь благоразумной, светик. Не весели врагов, не печаль друзей. Особенно отца пожалей... А мы сами выдадим тебя замуж за того, кого ты сама назовешь...

Я оделась под причитания Каракыз и решительно сказала:

— Не плачь, не бойся, я никуда не поеду!

И байбише повторила мои слова входящему в юрту испуганному отцу:

— Не бойся! Наша Батес никуда не поедет!

— Знаешь, дитя мое,— прослезился отец,— сегодня все в твоей воле: ты можешь нас убить, можешь подарить нам жизнь!

За юртой раздался перезвон колес тарантаса и перестук лошадиных копыт. К нам вошли Буркут, Еркин и милиционер из волости. Должно быть, гнев затуманил мое сознание: я до сих пор не могу вспомнить, о чем говорили приезжие со мной и отцом. Хорошо знаю только одно. Я решительно сказала: пока вы здесь, я не вернусь в юрту. И, не владея собой, выбежала прочь, сама не знаю, как очутилась у Куба-еке. Кроме хозяина, там сидели Сакпан и Жуман. Вероятно, хитрый Жуман все уже

успел разузнать и рассказал, зачем приехал Буркут в наш аул.

— А мы тут думаем: неужели ты можешь уехать, забыв о святой вере отцов и дедов?.. Как это хорошо, что ты с нами!— Сакпан совсем расстроилась.— Значит, ты не забыла... И вера не обижена, и мы довольны.

Куба-еке, бормоча: «Слава создателю»,— удовлетворенно погладил бороду. Двинув бровями, он приказал Жуману:

— Разузнай быстренько, что там происходит. И предупреди их — в нашем доме их не ждут. Они переступят порог только через мой труп...

Жуман возвратился очень скоро.

Когда подвода уехала от юрты и не стало слышно конского топота и стука колес, я без сил упала на постель. Кто-то задернул полог над моей кроватью.

Не знаю, сколько прошло времени. Мои мысли были только о Буркуте. Все наши встречи — одна за другой — проходили в моей памяти так, как проходит степной дорогой большой караван. Но вот мне показалось, что наступил час, когда вдруг исчезла дорога. Узкая тропка уперлась в отвесные скалы, а за ними — пропасть. Стоит шевельнуться — и свалишься. Повернуть обратно тоже нельзя. Что же делать? «Не надо такой жизни»,— зрело в моей душе. Как жить теперь? Здесь нет скалы, чтобы броситься с ее кручи, нет глубокой воды, чтобы утопиться, нет смертельного яда, не найдется и дерева, на котором можно было бы повеситься. Оставался нож — им так просто перерезать себе горло, да еще купол юрты — он вполне заменит дерево.

Чем больше я думала об этом, тем неизбежней казался печальный исход. Юрта-отау отца представлялась мне самой подходящей для этой цели. Она чаще всего пустует — отец вечно где-нибудь в пути, и дверь в отау обычно завязана только снаружи.

Огорченный и озабоченный чем-то, отец в то утро, молчаливый и хмурый, отправился верхом по своим делам. Днем я вошла в отау и увидела, что все помогает мне: вчера, в ветреную погоду, веревку от купола юрты — шанрака привязывали к полу, и теперь она, будто ожидая меня, покачивалась с готовой петлею. Был здесь и высокий стол: стоит только стать на него, накинуть петлю на шею, потом оттолкнуть стол — и конец!

Но днем могут войти люди. И я решила подождать темноты.

В эту ночь мне улыбнулась горькая моя удача: домашние легли спать в большой юрте, а едва прикрытая отау отца оставалась пустой. Скоро послышалось похрапывание. Одна я не смыкала глаз. Ветер, поднявшийся еще в сумерках, разгулялся к ночи, и кошма юрты вздрагивала и колыхалась. Ночь будто говорила мне: мало тебе темноты, так вот еще!.. Вскоре хлынул дождь, и вся степь зашумела. Мне, решившей умереть, сама природа пришла на помощь.

Я приподнялась и села на постели, вслушалась в храп домашних. В глубоком сне был и Сеил, устроившийся, как обычно, рядом со мною. Мне вдруг захотелось приласкать Сеила, понюхать его лобик. Но, чтобы не разбудить его, я не стала прощаться с братишкой... В темноте я споткнулась не то о ведро, не то о кумган, но за шумом непогоды этого никто не услышал, никто не проснулся...

Босая, с непокрытой головой, в одной рубашке, я вышла из юрты в проливной дождь, шлепая по жидкой грязи. Мне было так холодно, так хотелось скорее умереть, что я побежала в отау. Завязанная двойным узлом веревка на двери никак не поддавалась. Тугой узел, скользкий и набрякший от дождя, не слушался моих пальцев. Стараясь изо всех сил открыть дверь, я даже ободрала кожу. И когда я поняла, что руками ничего не удастся сделать, я припала ртом к запутанному узлу и вгрызлась в веревку зубами.

— Ой, что это ты здесь делаешь?

Я испуганно отпрянула от отау и хотела бежать, но Калиса узнала меня:

— Еркежан!

Я и не заметила, как бросилась к своей женге и опустила голову на ее грудь.

— Светик ты мой, что ты задумала?

Но я ничего не могла сказать в ответ. Я только дрожала от страха и холода. Калиса прижала меня к себе и накрыла широким чапаном.

Она принесла меня к себе домой, бесшумно открыла дверь и уложила на кровать. Затем закутала меня чем-то теплым, присела рядом и нежно обняла. Понемногу я начала приходить в себя.

— А где Киши-ага, где дядя Кикым?

— Он остался у свекра.

— А ты когда приехала?

— Только что. Я так и думала, что меня ожидает дурная весть: у меня в предчувствии беды дергалось веко. А под утро, когда я ночевала у старшей сестры, мне приснился дивный сон: будто мы с тобой пошли по воду к каменному колодцу... Ты заглянула в колодец и неожиданно упала туда. Когда же я с трудом опустила ведро, ты ухватилась за него, подняла голову над водой... Я же, сгибаясь под тяжестью, чувствую, что вытащить тебя не в силах... Я так громко звала на помощь, что проснулась от своего крика и разбудила всех спавших рядом... Рассказала старшей сестре и про тебя, и про этот сон. И подумала, что с тобой плохо. Тогда и решила, не медля, выезжать, не задерживаться на празднике. Вначале мы хотели на обратном пути побывать у моих родителей. Я и сестре говорила об этом. Но как только тронулись в дорогу, почувствовала, что сердце мое не на месте. Не дай бог, думаю, что-нибудь случилось с Батес. Я и говорю Кикыму — а может быть, нам ехать прямо, не сворачивая? Но Кикым твердо держится обычаев — мы же их известили вчера. Стыдно будет не заехать к людям, ожидающим нас... Тогда бери племянников, отвечала я, и поезжай один. А про меня скажешь, что снова треплет лихорадка. Калиса, мол, и в доме старшей сестры поэтому не осталась.

Я понемногу приходила в себя: дрожь прошла, сердце успокоилось. Я поведала Калисе о своем горе, но она не удивилась.

— Э-э, милая моя, это все какой-то клеветник нарочно подстроил. Ты уж поверь мне.

— Как бы клеветник ни старался, но и Буркут виноват... Разве он сможет от всего отказаться?

— А я тебе говорю: ничего плохого с Буркутом не произошло.

Кто-то подошел, зашумел у дверей, и мы притихли, притаились.

— Калиса, а, Калиса!— Я узнала голос моей матери Жании. Калиса откликнулась.

— Когда ты приехала?

— Только что.

— Случилось самое плохое, Калиса! Нет Батес!— И мать заплакала.

Но тут я не удержалась и подала голос:

— Я здесь!

— Что я слышу, Калиса?— тихо произнесла мать.— Это наяву или во сне?

— Наяву, наяву. Здесь наша Батес, здесь Еркежан!.. Иди сюда!..

И я почувствовала теплые руки матери.

— Слава тебе, аллах!— говорила она, прижимая меня к груди.— Теперь я больше не буду плакать, жеребенок мой... Тысяча и одна благодарность богу!..

— Давно ли ты стала считать своим ребенка байбише?— пошутила Калиса.

— Будь она проклята!— отвечала мать.— Бесплодная она и есть бесплодная. Это ведь байбише разбудила меня, увидев, что Батес нет. Ей лень самой встать, даже не пошевелилась. А когда я все осмотрела кругом и вернулась в юрту — она уже похрапывала. Я, понятно, не стала ее будить и снова ушла искать Батес. Неожиданно я увидела возле твоего дома верблюда. Значит, думаю, Калиса уже дома... Вот я и зашла к тебе.

— Я говорю в шутку,— сказала Калиса,— родившая — значит, родная, а не родившая — чужая тебе... Ты за нашу Батес готова отдать душу, не то, что эта Каракыз... Любовь ее — одно притворство, ложь... Случись с нашей девочкой несчастье — она нисколько ее не пожалеет...

Мать тяжело вздохнула в ответ...

— А теперь мы от тебя ничего не скроем,— и Калиса рассказала матери обо всем, что случилось со мною. Маленький Сеил, оказывается, уже успел ей кое-что сообщить. Байбише была очень рада, что эти сплетни и альбом разлучили меня с Буркутом. Она обыскала весь дом, чтобы посмотреть снимки, но я спрятала его в такое место, о котором не знает ни одна душа.

Мать присоединилась к мнению Калисы, что все это дело рук какого-то злого сплетника. И они вдвоем посоветовали мне: если еще Буркут не уехал, то надо разыскать его и прямо спросить, что это за картинки? Ну, а как быть в том случае, если Буркут уже покинул аул?

— Батес должна его догнать,— настаивала Калиса.

— А не стыдно ли девушке догонять джигита?— усомнилась мать.

— Что же тут зазорного!— сказала Калиса.— Если они и в самом деле любят друг друга, пусть девушка ищет своего джигита!.. Или джигит ищет девушку!.. Особенно, если они хорошая пара!

— А как ты думаешь, Буркут уехал, не оглядываясь назад?

— Я скажу так: он настоящий джигит, у него твердый характер. Но как бы там ни было, от него в ближайшее время будут вести... А может быть, он и сам приедет.

Такие предположения строили и мать и Калиса. Но что они могли придумать? Как могли отомстить злому сплетнику, который попытался зажечь огонь вражды между двумя любящими, чтобы разлучить их...

«Но кто же этот подлый человек?»— задавала я себе один и тот же вопрос и не находила ответа.

В эту ночь я крепко уснула. Кто-то осторожно разбудил меня. Потолок юрты плотно затянут кошмой. В сумеречном свете я едва узнала Калису.

— Поздно уже?

— Солнце приближается к полудню. Я нарочно не открывала кошму, чтобы ты выспалась как следует. И сейчас не будила бы, но люди едут... Должно быть, волостной — Еркин!.. Ни у кого нет такой лошади и телеги. А мчатся быстро и прямо к нашему дому.

— Женеше, что если ты задернешь полог?— попросила я, чувствуя, как возвращается ко мне вчерашнее волнение.

— Значит, ты хочешь спрятаться. Зачем?

— Ну а если мне показаться ему?

— Вот уж не знаю,— заколебалась Калиса.— Впрочем, пусть будет по-твоему, я задерну полог. Только ты одевайся и будь наготове. Надо сначала убедиться, Еркин ли это? А потом уж решать — показываться или нет. Слышишь, телега приближается... Пойду сниму кошму и встречу приезжих...

Калиса сдернула кошму, и яркие солнечные лучи отвесно упали сквозь решетчатые перегородки. От волнения я не находила себе места. Еркин один или вместе с ним и Буркут?— думала я.— Зачем они приехали?..

Телега уже подкатила к юрте.

— Уа, Калиса-женгей, здорова ли ты?— узнала я громкий и сильный голос Еркина. У аульных женщин принято отвечать на мужские приветствия вполголоса, шепотом. Калиса, видимо, придерживалась этого обычая, потому что я не услышала, как она поздоровалась.

— Ты только сейчас открыла кошму?— безобидно подтрунивал Еркин.

— Хотелось подольше поспать...— отвечала Калиса,— я только на рассвете вернулась из поездки...

— Мы слышали, что ты отправилась в путь. И очень огорчились... Особенно Буркут.

У меня учащенно забилось сердце. Я прислушалась: а вдруг и он здесь!

— Давайте об остальном поговорим дома,— предложила Калиса. Судя по шагам, гостей было двое или трое.

Кто же остальные?.. Может быть, среди них Буркут?— с надеждой я выглянула из-за занавески. Но его здесь не было!.. Неужели уехал? От этой мысли у меня так закружилась голова, что я едва добралась до кровати.

— Кто там за пологом вздыхает,— пошутил Еркин, удобно устроившись на торе — почетном месте,— уж не Кикым ли лежит за ним?

— А что ему до самого обеда лежать за пологом?— в тон Еркину отвечала Калиса.— Разве он недавно женился?

— Так кто же там?

— Так просто, дети!..

— Ну, Калиса! Мы очень торопимся... У тебя есть кумыс? Отведаем его и поедем.

— А зачем так торопиться?

— Есть одно срочное дело, надо побывать в аулах. Я бы к тебе и не заехал, если бы не одно обстоятельство.

— Наступит ли для вас день, когда вы перестанете торопиться?— обиделась Калиса.— Ведь не произошло ничего такого, что надо так погонять лошадь?.. Не в обиду будь сказано, найдутся и другие средства прижать баев пуще прежнего. Все равно, они от вас никуда не денутся. Прижмете их на часок позднее. Вот этот самый часок и побудете у меня. Ты, Еркин, так давно не был в этом доме. У меня припасено немного вяленого мяса, сладкого, как изюм. Я это мясо приберегла на тот случай, если ты приедешь нежданно-негаданно. Пот не просохнет на ваших лошадях, а оно уже сварится. Вот только не обижайтесь,— за вкус кумыса не ручаюсь. Я ведь была в отъезде. И это кумыс из другого дома. Там его делают не по-моему. Я лучше приготовлю темно-красный чай. Ароматный, крепкий. Он будет переливаться красками, как мех драгоценной лисы!

— Кто спорит, ты угостишь хорошим обедом,— отвечал Еркин.— Чай в этом доме не уступит мясу у другого хозяина. Но правда и то, что дело у меня срочное. При-

дется, наверное, повременить с угощением... Как-нибудь, до следующего приезда...

— Не бывать этому. Я велю джигитам распрягать твоих лошадей — и все. Ты же не будешь со мной драться. Говорите, что хотите, а пока не отведаете угощения, сбереженного для почетных гостей, я никуда вас не отпущу.

— Черт возьми, трудно с тобой получается,— вздохнул Еркин.

— Нам ничего не остается делать, как послушаться,— первым сдался один из спутников Еркина,— у жепге характер твердый. Ой, как плохо будет, если мы, отказавшись от пищи, отведаем ее палки. Давайте лучше останемся.

— Только ненадолго, ненадолго!— отвечал Еркин.

— Сказала же я — на какой-нибудь час. Может быть, управлюсь и быстрее.

— Ну, джигиты, торопитесь, распрягайте лошадей и, как они немного просохнут, пустите попастись!..

— Слышала ты или нет,— приглушенным голосом сказал Еркин,— младшая сестра твоего мужа испортила все дело! Она плюнула в лицо джигиту, которого, как говорила, любила с детства. Она сделала так, что он, наверно, никогда не вернется к ней.

— А где он?

— Уехал...

Да, я была зла на Буркута, я поверила фотоальбому и все-таки я любила его. Значит, он уехал и ничего уже нельзя поправить. Я уткнулась в подушку и опять расплакалась. Мои всхлипывания услышали и Калиса и Еркин.

— Просто... один... больной ребенок,— сбивчиво, но с деланным равнодушием отвечала Калиса.— Так куда же уехал Буркут?

— Как куда?.. Учиться!! И что ты только задаешь такие вопросы. Есть у русских пословица: «Насильно мил не будешь». Что он сделает, если любимая девушка сама разорвала с ним... Здесь милиция не поможет... Он потерял надежду. Не верит ей. А ждать ему дольше — нельзя!

— Уехал и ничего не сказал?

— Он оставил мне письмецо. Просил передать, если мне случится быть в этом ауле. Письмецо для своей девушки. Но о чем там говорится, не знаю. Ради этого

письмеца я и свернул с прямой дороги и вот теперь сижу у тебя.

— Еркежан!— радостно позвала меня Калиса.

— Ау!— откликнулась я...

— Иди скорее сюда, не бойся никого!

Когда я вышла из своего укрытия, Еркин пристально и зло посмотрел на меня: «Вот кто, оказывается, этот больной ребенок...»

— Ты ей и передай письмо,— показала на меня Калиса.

Человек может лишиться рассудка, когда сбывается несбыточное. По этой ли, по другой ли причине, но я без всякого смущения решительно подошла к Еркину. Он вытащил письмо из-за пазухи и протянул мне. А я, словно опасаясь, что он раздумает, выхватила конверт из его рук. Такое мое поведение, вероятно, показалось Калисе неприличным. И она, сердито взглянув на меня, незаметно от Еркина в знак удивления и осуждения провела указательным пальцем по левой щеке.

Я хотела уйти в свое укрытие, за полог, чтобы прочитать письмо.

— Ты хочешь спрятаться от меня и Еркина? За кого же ты нас принимаешь? В письме-то не будет неприличной ругани. А все остальное, что бы он там ни написал, ты можешь прочитать нам вслух!

С этими словами Калиса раздвинула полог, я остановилась в растерянности, в юрте не было места, куда бы я еще могла спрятаться.

— Читай же!— потребовала Калиса.

— Сделай так, милая,— мягко присоединился к ней Еркин,— сначала про себя быстренько просмотри, и когда убедишься, что его можно слушать без стыда, читай вслух!

Я вскрыла конверт и пробежала исписанный с двух сторон листок бумаги. Мне стало ясно, что в письме Буркута не было ничего такого, что надо бы прятать от людей, а особенно от дружелюбных Калисы и Еркина. Но у меня не хватило сил прочесть письмо. Я расплакалась бы в самом начале — слезы уже вот-вот готовы были пролиться. Я собрала все остатки своих силенок и, возвращая письмо Еркину, едва-едва смогла вымолвить:

— Агатай, прочитайте вы сами!..

Слова письма, прочитанного вслух Еркином, были приблизительно такими:

«Батес!

Летней порой, когда расцвели все цветы моей жизни, я с наслаждением плыл тихим и прозрачным океаном, который называется любовью. Не было ветра, не шумел ливень с громом и молнией, и вдруг неведомо откуда поднявшаяся жестокая волна захлестнула меня с головой, и я задохнулся. Как говорит Казекен, для меня наступил день, когда я был оглушен, словно рыба, которую стукнула льдина. Но знай: совесть моя чиста перед тобой, нет на ней ни единого пятнышка. Я удивляюсь, как ты только могла так больно ударить меня. «Нет ветра — не колышется и трава»,— говорят казахи. Вероятно, у тебя для этого был какой-то повод. И нам надо было об этом поговорить, понять друг друга. Ты хлопнула дверью, ты ушла сама. Мне не стоило бы уезжать, надо было бы вернуться обратно, прийти к тебе... Но стыд, вспыхнувший во мне, не позволил так сделать. Лучше бы ты меня убила, если у тебя есть на то основания... И почему ты ничего не высказала открыто. Пусть ты разочаровалась во мне, разве об этом нельзя сказать?.. Возможно ли принуждение в любви? И кому нужна такая любовь, в которой стороны не равны?.. Я думал тогда: я ни в чем не виноват перед ней, почему же я должен становиться на колени? Охваченный гневом, я и сам не заметил, как сел на телегу и уехал. Вот я нахожусь вдалеке от тебя. Я до сих пор не могу отыскать причин разрыва и не нахожу оправдания твоему поведению. Что мне остается делать? Должен ли я вернуться к тебе? А если вернусь, вдруг ты не захочешь разговаривать со мной. Это будет для меня двойной смертью. Кому из нас нужна такая жизнь?

Подумав обо всем, я и решил уехать в город продолжать ученье. Я считаю себя человеком, выдержавшим все испытания, предложенные тобой. Ты тоже мне казалась такой, но в решительный час ты отказалась от своей клятвы. Любовь обязывает каждого из двух, и ты должна сдержать клятву, которую пыталась нарушить. Я не в силах дать тебе совет, что нужно сделать для этого. Ты сама хорошенько подумай и посоветуйся с друзьями, с теми, кто по-настоящему болеет за тебя душой!.. Особенно должна помочь Калиса!.. Меня удивляет, что во время моего последнего приезда ее не оказалось дома!.. Если кто-нибудь и разжег огонь вражды между нами, то уверен, только не она! Однако меня

беспокоит, что Калиса отправилась в гости именно в это тревожное для нас время!..»

— Знала бы я, что такое может случиться!— и Калиса расплакалась.

— Погоди, женгей, дай дочитать,— с укоризной покачал головой Еркин и продолжал чтение:

«...Калису ты знаешь сама, Батес! И еще кому я глубоко верю — это Еркину Ержанову! Захочешь посоветоваться с ним, думаю, он не пожалеет своего опыта, своего сердца.

Всей чистой душою твой Бокен».

Эти два слова — «твой Бокен», казалось, возвращали мне счастье, уходившее, как я думала, навсегда... Мертвая, я снова ожила, потухшая, снова загорелась. Рассеялись тучи, нависшие над небом моей жизни, взошло солнце и, как говорил Буркут, все мои цветы снова расцвели, как в сияющее лето...

Калиса разделяла мою радость. Она женским своим чутьем сообразила, что Еркин больше чем кто-нибудь может помочь, поэтому и обратилась к нему:

— Дорогой мой! Они страдают попусту. Их раздоры напоминают прыщи на обветренном лице. Они проходят после первого заговора баксы. Стоит Буркуту и Батес встретиться лицом к лицу и они сразу поймут друг друга. Что же можно сделать для этой встречи?

— И я немало думал над этим, женгей. Но каждый любит того, кого хочет...В любовь никто не должен вмешиваться.

— Это правда,— отвечала Калиса,— разве кто-нибудь в силах связать сердца двух людей. Но ведь многие сердца стремятся соединиться и не могут... И расходятся в разные стороны вопреки своему желанию... Разве это не те самые влюбленные, которых обычно называют несчастными. И есть люди, помешавшие им слиться. И есть люди, которые могут помочь их единению. Верно я говорю?

— Верно, женгей!— Еркин даже засмеялся от удовольствия,— вы иной раз говорите красноречиво, как акын...

Калисе почудилась насмешка в словах Еркина:

— Мы не собираемся здесь состязаться в красноречии, мой дорогой. Я думаю о другом. Надо узнать, кто разлучил наших двух молодых, ведь они по-настоящему любят друг друга...— И тут Калиса рассказала про альбом со снимками.

— Вот какое дело!— задумался Еркин.

Калиса предложила вызвать Буркута в аул, но Еркин не согласился.

— Что же все-таки делать?

Калиса внимательно смотрела на Ержанова, а он в свою очередь на меня:

— По-моему, после всего случившегося девушке не надо оставаться в ауле. Ей надо ехать учиться.

Вот этот совет и мне понравился. Только я не знала куда. В Оренбург вслед за Буркутом нельзя. Выход нашел тот же Еркин:

— Тебе надо ехать вначале в Красную юрту. Там сейчас и волостные учреждения.

— Красная юрта? А что это такое?

— Ты встречала Красный караван Алибия Джангильдина? Он проезжал в прошлом году по этим местам...

— Видела... Караван был несколько дней и в нашем ауле... Он и голодающим помогал зерном и мясом, и детей-сирот устраивал учиться, и батраков избавлял от байской кабалы. Помню, в караване была даже лавка с товарами — их продавали нуждающимся... И артисты выступали и докладчики... Рассказывали о Советской власти, разъясняли ее постановления...

— Так вот, Калиса, Красная юрта, о которой мы сейчас говорим, служит той же цели, что и Красный караван,— объяснил Еркин.— Есть, конечно, и разница. Сейчас никто не голодает, поэтому в юрте нет и продовольствия. В аулах появились товары, и юрта не ведет торговли. А все остальное как в Красном караване. Руководитель юрты — женщина, Асия Бектасова.

— Женщина?!— недоверчиво и восхищенно воскликнули мы в один голос с Калисой.

— Да, женщина!— подтвердил Еркин.— Из казахских женщин, знавших вчера только свою поденщину в хозяйстве, сейчас выходят и те, кто принимает участие в государственной работе. Асия, правда, не из аула — она дочь казалинского рабочего. В детстве она немного училась русской грамоте. Нелегкая у нее была жизнь, но выросла она красивой и стройной девушкой. Один бай польстился на ее красоту и уже хотел сделать своей младшей женой — токал. Так бы оно и случилось, но в это время произошла революция. У девушки на многое открылись глаза. Она примкнула к красным и помогала устанавливать Советскую власть на родной земле. А ког-

да Советская власть победила, она поехала в Ташкент и поступила на годичные курсы. Там ей помогли изучить новые советские законы, и она работала следователем, а потом и судьей. Недавно стала членом коллегии Верховного суда Казахстана. Оттуда ее и послали руководить Красными юртами...

Калиса и я ушам своим не верили... Так поразило нас то, что простые казахские женщины становятся государственными деятелями.

А Еркин между тем продолжал:

— Красная юрта уже работает. И смело борется за освобождение женщин. В Красную юрту сыплются жалобы от девушек, проданных за калым, от женщин, насильно выданных замуж за нелюбимых, от младших жен — токал. В Красную юрту вызываются отцы и мужья, и жалобщицы получают свободу.

— И хозяева отпускают девушек и молодух?— недоверчиво спросила Калиса.

— Дай им волю, конечно, не отпустят. Но они не сильнее закона. Начинают упорствовать, тогда женщинам на помощь высылают милицию.

— Да разве на всех высылают милиционеров?

— Милиции хватает. В Сарыкопе теперь штаб милиции. Начальник — Найзабек Самаркапов. У него около сорока милиционеров. Неужели этого мало?

Калиса решила, что сорок милиционеров — вполне надежная защита для всех окрестных женщин.

— Однако мы отвлеклись от разговора,— сказал Еркин,— пора вернуться к главному,— как мы поможем Батес уехать на учебу?..

— Эх, если бы отпустили отец с матерью,— тяжело вздохнула Калиса.

— Было б это только в их власти, понятно, не отпустили бы,— рассуждал Еркин.— Но теперь, если у девушки хватит ума, по-моему, ей нет нужды отпрашиваться у отца и матери. Надо откровенно все сказать. Нехорошо получилось, что пошла молва о ее встречах с Буркутом. И теперь, когда этой молвы ничем не заглушить, зачем ей отсиживаться дома?

— Конечно, веселого в этом мало!— Мне показалось, что даже Калиса хочет меня уколоть.— Нельзя Батес оставаться дома — она будет для всех бельмом на глазу. Уж куда лучше ей уехать... И еще я хочу сказать: если

мы начали открывать секреты, то давайте обо всем договоримся сразу.

И Калиса рассказала Еркину о том, что произошло со мной прошлой ночью.

— Теперь, когда есть письмо Буркута, можно не умирать!— И Еркин взмахнул конвертом, который он так и не выпускал из рук.

— По-моему, правильно!— согласилась Калиса.

— Так вот,— посоветовал Еркин.— Поезжай учиться. Ученье раскроет твои глаза, поможет правильно жить, а в любви тебе все подскажет сердце. Ну как? Решилась?

— Я думаю, она решилась,— опередила меня Калиса.

— Тогда нужно написать заявление в Красную юрту,— настаивал Еркин.

— Вот мы сейчас говорили о милиции,— заметила Калиса,— и не зря говорили. Отец и Каракыз, особенно Каракыз, тебя легко не отпустят. Будут не только скандалы и ругань. Дело может дойти и до драки. Ты выдержишь все это?

— Выдержу,— ответила я.

— Не дрогнешь, не откажешься от своего слова?— переспросила Калиса.

— Не дрогну, не откажусь!

— Ну, тогда пиши заявление, милая,— и Еркин поднялся.

— А ты разве не поможешь ей писать?— остановила его Калиса.

— А что помогать? Пусть пишет так, как может...

И Еркин вышел, забыв о предложенном угощенье, о вяленом мясе и крепком чае, переливающемся всеми красками, как мех лисицы.

Калиса все еще продолжала сомневаться в моей твердости, но я убедила ее, что решение принято.

— Что ж, тогда я тебе пожелаю счастливого пути!..

По казахскому обычаю я должна была ответить Калисе: «Да будет так!» Но я не произнесла этих слов. Да и зачем произносить их вслух. Пусть я решилась уехать из родного аула, но кто может сказать — будет ли удачным мой путь?

Преодолевая сомнения, гнездившиеся в душе, я принялась писать заявление. Скромный листик бумаги! Он должен был повести меня в неизвестность!

Понимая, что происходит со мной, прослезившаяся Калиса вышла из юрты.

Старинные слова: «Счастье улетает оттуда, где гнездится раздор»,— и на этот раз оказались правильными. Мрачно стало в нашем доме. Байбише Каракыз, и раньше отличавшаяся суровым, неуживчивым нравом, шипела змеей на всех домочадцев. Она придиралась без причин и ссорилась с кем попало. Моя мать, расставшаяся в последние годы с робостью и нередко повышавшая голос, снова стала молчаливой. И когда байбише зло покрикивала на нее и даже задевала тяжелой своей рукой, мать оставалась равнодушной, словно глухонемая, так мои беды расстроили ее. И, должно быть, она уже слышала от Калисы, что я решила уехать. Как бы там ни было, но она сникла, ослабела. Случалось, мы оставались наедине, и тогда ее глаза не просыхали от слез. Отец, весною обычно находившийся дома, теперь закрывал глаза на то, что происходит в семье, и постоянно искал повод куда-нибудь уехать. Чаще всего он ссылался на необходимость проведать брата Коныр-кожу, который попал в заключение, обвиненный в каких-то темных религиозных делах. Отец, наверное, узнал, как я задумала повеситься в отау; не остались, вероятно, для него тайной и другие мои секреты и мое решение ехать учиться. На следующий день, после того как Еркин увез мое заявление, отец заехал домой и, даже не переночевав, отправился в путь снова. Обычно перед дорогой он меня ласкал, нюхал мой лоб, но на этот раз он даже не взглянул на свою дочь.

В прежние дни, когда у нас не было разлада, в нашем доме не переводились гости — и свои аульчане и из других дальних аулов. А теперь их словно ветром сдуло, и даже соседи обходили наш дом, будто зараженный оспой.

В прежние дни все у нас дома находили какие-то дела, перебрасывались шутками и раньше полуночи обычно не ложились спать. А теперь стало тихо, невесело и уже в сумерки каждый из нас заваливался в постель. Правильно говорят — у джута семь братьев. Может быть, у страха глаза велики, но я очень хорошо помню, что никогда в нашем ауле так не выли собаки, так не беспокоился скот, как в эти дни. От тревожного сна, от тяжелых дум все мои близкие ходили вялыми, сонными, раздражительными. И мой родной дом, который мне казался

раньше сказочным и милым, как золотая колыбель, теперь походил на могилу, откуда я торопилась как можно скорее уйти.

И однажды в сумерки, когда мы, без ужина и не зажигая лампы, легли в свои постели, аульные собаки подняли особенно неистовый лай. «Что они так разлаялись»,—подумала я и напряженно прислушалась. Сквозь лай услышала топот коней, мчащихся в нашу сторону. Сердце мое дрогнуло: неужели за мной.

Каракыз тоже прислушивалась к конскому топоту. Когда всадники приблизились к аулу, она приподнялась и испуганно произнесла:

— Алла, кто бы это мог быть?!

Встревожилась и мать, лежавшая как всегда у порога. Не сказав ни слова, она прошла в тот угол юрты, где на решетке — кереге висел фонарь «летучая мышь», и зажгла его. Нам всем хорошо было слышно, как перед нашей юртой в кольце заливающихся лаем собак, остановилась группа всадников. Они спешились и негромко переговаривались друг с другом. В предчувствии тревожных известий Каракыз крепко прижала меня к своей груди. Ее жесткие руки с такой силой обхватили меня, что все мои косточки, казалось, захрустели и все перевернулось внутри. У меня перехватило дыхание от таких объятий.

— Ой, Каракыз, так умереть можно!— взмолилась я.

В освещенную юрту разом вошло человек десять. Среди них я узнала начальника штаба районной милиции Найзабека Самарканова, младшего милиционера Нурбека Касымова и председателя волостного союза бедноты Сактагана Сагымбаева; остальные мне были незнакомы.

— Байбише, одевайте ребенка!— почти приказал Найзабек Каракыз.

— Какого ребенка?— Каракыз даже не пошевелилась.

— Девушку, которую ты сейчас обнимаешь.

— Зачем я это буду делать?

— Она поедет вместе с нами в Красную юрту.

— Да я и знать не знаю, что такое ваша Красная юрта!

— Там женщины-казашки получают свободу!— с гордостью объяснил Сактаган.

— Какое дело моему ребенку до всего этого?

— Ее вызывают учиться,— отвечал милиционер Нурбек.

— Ойбой, как будто может быть закон, заставляющий учиться,— упорствовала Каракыз.

— Оставьте разговоры,— сурово проговорил Найзабек,— мы приехали по поручению своего большого учреждения. И кроме того, у нас есть заявление твоей дочери. Там ясно сказано, что она хочет учиться.

— Разве ты что-нибудь писала, Боташ?— спросила у меня байбише.

Я ничего не сказала в ответ.

— Молчание не означает «нет»,— произнес Найзабек.— Да и как она может отрицать? Заявление, написанное ею собственноручно, в моем кармане.

— Пусть будет так!— отвечала Каракыз.— Пусть написано, а я все равно не отпущу.

— Это почему же?

— Она моя!.. Отца нет дома. Приедет он завтра или послезавтра, сам отвезет ее, куда она захочет. Я не могу доверить своего ребенка людям, проклятым небом... Рыскают по степи, налетают на аулы...

В юрту вошли соседи, начали было шуметь, поддерживая байбише.

— Замолчите!— крикнул Сактаган,— вы что же, хотите победить власть? Да разве у вас хватит силы идти против закона? И что вы только всполошились? Не на смерть отправляется она, ей никто не желает плохого. Батес повезут в Красную юрту, и зачем вам сопротивляться?

— Как же не сопротивляться?— подал свой голос маленький Киши-ага.

— Не вмешивайся!— И дородная Калиса схватила своего бедного коротышку за плечи и выволокла вон.

— Все равно не отдам!— сжимала меня в своих руках Каракыз.

— Не отдашь?— Тогда Нурбек настойчиво потянул меня к себе.— Пусти, говорю!

Но не так-то легко было разомкнуть крепкие руки байбише. Я даже вскрикнула от боли. И тут на выручку мне пришла мама. Она выругала Каракыз и цепко схватила ее за локти. Но грузная байбише не поддавалась, как врытый в землю камень. Раздосадованная мать бросилась к сундучку для продовольствия — кебеже и взяла острый длинный нож:

— Я сейчас разрежу твои руки.

Угроза подействовала. Каракыз выпустила меня и я, едва сделав первый шаг, упала. Нурбек помог мне подняться. А байбише, скорее всего притворяясь, тяжело дыша, рухнула на постель и закатила глаза, как потерявшая сознание. Какие-то аульные старушки стали растирать ей голову.

— Упрямство не приносит пользы,— Калиса решительно подошла ко мне, расталкивая глазеющих.— Пора одевать нашу Батес.

Она знала, где я сложила одежду, приготовленную на дорогу, и помогла мне одеться, как ребенку. Я изнемогала от волнения и не прекословила ей.

— Ну вот, все готово,— Калиса взглянула на меня.

— Значит, время ехать!— обратился Найзабек ко мне и своим спутникам.

Все направились к выходу. И я, опираясь на Нурбека, тоже покинула родную юрту.

— Тебе, Батес, придется ехать верхом, лошадь для тебя оседлана, а тарантаса мы никак не могли найти,— словно извинялся Найзабек.

Калиса собралась заголосить на прощанье, как положено по обычаю, но ее оборвала мать.

— Молчи, пожалуйста, не вздумай завыть, а то еще накличешь беду на девочку! Она ведь едет в желанную дорогу. А тебе, светик, счастливого пути.— И, целуя меня в лоб, она добавила:— Захочет Калиса, мы тебя проводим вместе, а нет — я выйду одна...

— Н-н-нет, я... я... никуда не пойду!— сквозь слезы пробормотала Калиса.

— Почему же?

— Я так надеялась увидеть на лице Батес счастье...— быстро, с придыханием заговорила Калиса.— И вот надежда исчезает, туман вокруг, черный туман...

Калиса совсем задыхалась... Кто-то ее поддерживал за руки, кто-то успокаивал... Надо было уезжать.

Не помню, как я села на лошадь. Смутно расслышала я возглас: «Ну, поехали!» Кажется, один из моих спутников взял в руки повод, кажется, еще кто-то полуобнял меня, чтобы я прочнее сидела в седле.

Есть у нас обычай... Когда человеку не по себе, когда он теряет сознание,— его лицо обрызгивают водой. И заболевшему сразу становится лучше. Я ехала в полузабытьи и свалилась бы с седла, если бы меня не поддер-

живали. И тут родная степь, природа пожалели меня Прохладные капли мимолетного дождя обрызгали мое лицо, и я очень скоро почувствовала себя освеженной, отдохнувшей, пробужденной после глубокого сна. Ко мне возвратились силы, и я отвела руку поддерживающего меня спутника. Я прочно почувствовала себя в седле и сама взяла повод.

Но спутник мой не уступал.

— Отпусти!— настойчиво повторяла я, дергая повод.

— Да отпусти же ты,— молвил всадник слева.

— А что если она сбежит?

— Пусть бежит, если хочет,— мы ведь не насильно везем ее. Что мы будем держать за повод ее лошадь? Сама подала заявление, пусть сама и едет. А если отказывается от своих слов, может возвращаться домой хоть сейчас!

Я подобрала поводья, прямо уселась в седле и спросила у своих спутников:

— Почему вы не дали мне камчу?

— Да, получилось неудобно,— и тот, кто недавно поддерживал меня, протянул свою камчу. Глаза мои уже привыкли к темноте, и я узнала Нурбека. По левую сторону ехал Найзабек.

— А кто же впереди?— произнесла я вслух.

— Это я — Сактаган,— отвечал мне наш волостной.

Лошадь послушно шла по утрамбованной легким дождем дороге. И я стала замечать необыкновенную красоту этой ночи в Тургайской степи. Южная сторона неба была чистой, звездной. Ее оттеняли тонкие перистые облака, словно украшенные по краям полупрозрачной кисеей. А север был в черных тучах. Там время от времени взмахами алой камчи вспыхивали быстрые молнии. В просме туч, к западу, плыл белый лунный полукруг, отточенный и яркий... Чудных степных запахов была полна ночь. Кажется, травы и цветы отдавали весь свой аромат свежему воздуху. И глубоко вдохнув этот настой, не хотелось выдыхать его обратно.

Четыре всадника, степь без конца и края, ночь...

Будто желая схватить нас и унести, сверху стремительно налетает сова и с такой же быстротой уносится в сторону.

Будто желая сказать: кто вы такие, кто вы такие? совсем близко над нами пролетают утки-песчаники.

Будто желая подать сигнал, что и в безлюдной степи

есть жизнь, где-то рядом просвистят птицы-табунщики.

Порою, когда мы проезжаем низиной, где бьют родники или сохранилась старица безвестной речушки, прямо над головой жалобно покрикивают чибисы. Они, наверное, опасаются, что мы раздавим их птенцов, и кружат над нами до тех пор, пока их гнездовья не останутся далеко позади.

Иногда доносится далекое конское ржанье, собачий лай, а то послышится и волчий вой — верный признак того, что поблизости аулов нет.

Но нет вокруг никаких примет, чтобы определить — где же мы сейчас находимся.

Мы долго ехали молча...

— Скучно что-то, мой друг!— обратился Найзабек к Нурбеку.— Может, «Майру» споешь, поднимешь настроение?

— Спеть-то можно... Но кто-нибудь услышит и подумает: что за чудак горланит темной ночью в степи?

— Спой! В этом краю тебя никто не услышит. Тут и аулов нет. А если и повстречаются путники,— они сразу узнают тебя по «Майре».

— Не упрямься, дорогой!— поддержал Найзабека Сактаган.

— Ну хорошо. Только пусть и Батес подтягивает!— согласился Нурбек.

— Это уж ее воля!

— Тогда начнем?— И Нурбек пришпорил лошадь, приближаясь ко мне...

— Пойте вы сами!

Я совсем не хотела петь с Нурбеком и мне даже не понравилось, что он ехал рядом со мной. А он продолжал, не замечая этого:

— Я знаю, Батес, твой голос. Помнишь, прошлым летом, когда молодежь качалась на качелях, ты заливалась всю ночь напролет. Ты чудесно пела. Не будем молчать, поднимем настроение!

— Поднимай, если хочешь, сам!— резко ответила я.

— Не приставай к девушке! Понимать должен. Пой один!— вступился за меня Сактаган.

Майра — мое имя, отец мой — Вали...
Я петь начинаю — услышат вдали.
Мой голос над степью звенит и звенит,
Когда ж мою песню подхватит джигит?

Майра я, Майра
С берегов Иртыша.
Айра, райра!
Ликует душа.
Поет на просторе степей,
Эй!..

Нурбек выводил песни тонким красивым голосом. Самозабвенно распевая, он ускакал вперед. А я неприметно для других неожиданно расплакалась. Почему? Сейчас расскажу.

Прошлой зимой Нурбек по каким-то своим делам приезжал к нам в аул. Через день он хотел уже возвращаться, но его песни так заворожили всех земляков, в особенности «Майра», что его наперебой приглашали в гости, и он задержался на неделю. Нурбека так хвалили за исполнение песен, что и я, не желая отстать от других, тоже хотела его послушать. Но, увы, мне тогда не посчастливилось...

И виной всему была байбише Каракыз. Удивительный человек! До сих пор я ее не могу понять до конца... Может быть, она себя вела так потому, что кичилась своим родовитым происхождением или ролью старшей жены известного кожи; может быть, и потому, что ей казалось неприличным легкомыслие в почтенном возрасте; но скорее всего она была тяжела на подъем по своему характеру. Так или иначе, но я не видела, чтобы у нее поднималось настроение от песен. Наоборот, в своем присутствии она никому не позволяла играть на домбре и петь. А если ей и доводилось попасть туда, где играли и пели, она после недолгой беседы обычно уходила домой. Еще в те дни, когда я была Еркежаном, меня увлекала домбра. Однако Каракыз ругала меня: не смей зазывать в дом шайтана, не показывай мне больше такую погремушку. Наконец она разломала домбру на части и швырнула в огонь. А я бы, наверное, могла стать хорошей домбристкой и певицей. Я легко усваивала мелодии, и у меня был довольно сильный голос. Но байбише Каракыз, ставшая мне мачехой при живой матери, решительно воспротивилась этому: «Ты потомок святого! Во всем твоем роду не было таких нечестивцев. Они уважали дух умерших предков и не оскверняли уста, произносящие молитвы. Песни — это слова шайтана. Говорят, когда наступит конец света, злые духи загонят грешников

в ад и заставят их распевать песни. Ты брось эти забавы!»

Так стращала меня Каракыз. И я лишь совсем недавно, нарушая запрет байбише, на качелях и девичьих полянках присоединялась к девушкам и джигитам и пела вместе со всеми.

Но, продолжая меня оберегать и от молодых джигитов и от песен, она не пускала меня в гости, если там пел Нурбек и куда меня вместе с Калисой так настойчиво приглашали. Аульные джигиты приходили к Каракыз на поклон, уговаривали ее оказать гостеприимство Нурбеку, но она оставалась непреклонной и только кричала:

— Не морочьте мне голову!

Вот так и случилось... Зимой, когда Нурбек неделю гостил в нашем ауле, я не услышала ни одной его песни. А теперь в моих ушах звенит протяжный напев «Майры». Песня и в самом деле была чудесной. Но почему же я все-таки расплакалась?

Байбише Каракыз! Не только плохое, но и много хорошего связано с ней в моей жизни. Она меня охраняла в ауле, как чибис своего птенца. Она была у моей колыбели и в день моего рождения и, должно быть, первой после родной матери поцеловала меня в лоб. До сегодняшней ночи она была рядом со мной. Пусть у нее тяжелый характер, пусть она несправедливо строга, но разве много худого видела я от нее? Она ведь растила меня, не выпуская из своих ладоней. А как же я отблагодарила ее, что я ей сказала сегодня?

Да, я плакала, думая о Каракыз и о своей родной матери. Когда Каракыз крепко держала меня в своих руках, испугавшись милиционеров, мать набросилась на нее с ножом. Значит, Каракыз меня пожалела, а мать — нет? И я вспомнила сказки, рассказанные мне Каракыз.

Первая сказка Каракыз

У одного кочевника-скотовода потерялся верблюжонок. Другой скотовод нашел его и подпустил сосунка к своей верблюдице. Настоящий владелец узнал об этом и стал требовать верблюжонка обратно. «Нет, я не отдам. Это детеныш моей верблюдицы»,— сказал ему человек, присвоивший сосунка. Тогда оба отправились к бию, чтобы он их рассудил.

— Приведите верблюдиц,— сказал бий,— и на их гла-

зах сделайте верблюжонку метку раскаленным железом.

Когда верблюжонка начали метить и он поднял рев, настоящая мать кинулась к нему, а другая верблюдица стояла, выпучив глаза.

— Вот теперь нам все ясно,— сказал бий.

Вторая сказка Каракыз

У одних родителей потерялся ребенок. Его нашли бездетные муж и жена и стали воспитывать как своего. Настоящие отец с матерью отыскали ребенка, но усыновившие отказывались отдать.

Обе стороны пришли на суд к бию.

Тогда бий поднял меч и сказал спорящим матерям:

— Сейчас я его разделю пополам.

Мачеха согласилась на такой дележ, а родная мать сказала:

— Лучше пусть он будет у чужих, но живой...

...Так я вспоминала сказки байбише, а потом с волнением представила единственного братишку Сеила. Он, не расставшийся со мной с колыбели, и в эту ночь был рядом со мной. Когда я с милиционерами выходила из юрты, Сеил в одной рубашонке неподвижно сидел на постели. Ни дать ни взять суслик, застывший перед своей норкой и вот-вот готовый юркнуть в нее. Почему он не заплакал, когда меня уводили из дому? Почему он не бросился ко мне? Может быть, потом, напуганный случившимся, он убежал в степь? Что он поделывает сейчас?

На меня нахлынули мысли о моем отце. Нет, не может он думать так, как говорят казахи: дочь — это враг. Ведь он меня любит по-своему. А я своим уходом укорачиваю срок его жизни, толкаю в могилу...

Тут я не выдержала и расплакалась навзрыд... Умолкла песня Нурбека.

— Что же это такое, Батес?— отрывисто проговорил Найзабек. А я рыдала пуще прежнего.

— Ну что случилось с тобой?— продолжал он меня уговаривать.— Перестань ты наконец плакать. Разве тебя увозят насильно? Разве не ты сама решилась на это путешествие? Ведь это дорога счастья. Тебя ждет впереди двойное добро: ты будешь учиться и соединишь свою жизнь с любимым человеком. Вместо того чтобы лить слезы, ты лучше порадуйся тому, что Советская власть тебе, казахской девушке, открыла путь и к любимому и

к ученью. Ведь девушку еще недавно продавали за скот... Да и теперь...

— Дом вспоминает, домашних,— вздохнул Сактаган.— Что же удивительного в том, что она, не выезжавшая раньше одна, сейчас оробела и почувствовала себя одинокой!..

— Пустое ты говоришь, Саке,— раздраженно ответил Нурбек,— ее поддержать надо, а не расстраивать. У нее и без тебя тяжело на душе!

И, уже обращаясь ко мне, добавил:

— Оставь свои слезы, Батес. Ты отправилась в хороший путь, зачем следовать плохим обычаям?

— А что в этом плохого?— возразил Найзабек.— Не только девушки, но и джигиты порой проливают слезы, расставаясь с родным аулом.

— Ты прав!— откликнулся Нурбек.— Я сам наревелся, выезжая первый раз в Оренбург. Но это дело прошлое. А теперь нам надо подбодрить Батес. С песней у нас ничего не вышло. Попробуем другой способ. Вспоминаю, когда Батес называли Еркежаном и она носила одежду мальчика, ей часто приходилось участвовать в скачках. Рассказывали мне, в одной байге она обогнала всех и первой прискакала к столбу — каракши. Давайте и мы устроим небольшую байгу!

— Только бы не спотыкались лошади в темноте,— согласился Сактаган.

— Сакан, значит, уже готов!— отозвался Найзабек.— Дадим свободу коням. Поскачем немного! Кони и родились и выросли здесь. Что им ямы и выбоины! Лишь бы в норы не попали!

— Начнем!— И Нурбек первым поскакал вперед.

Я уже почувствовала, что подо мною — выезженный резвый конь. По нетерпеливому ржанью в нем угадывался настоящий скакун. В темноте он мне казался белым.

И когда мимо промчался Нурбек, звонко крикнув — начнем!— мой скакун навострил уши и стал беспокойно прислушиваться к топоту. Неожиданно, словно его укусила собака, он отпрянул в сторону и, закусив удила, понесся вперед. Сактаган с Найзабеком тоже вступили в байгу. То ли они придержали своих коней, то ли мой скакун был легче и горячей, но я сразу оставила их далеко за собой. Обогнала я и Нурбека.

Наверное, я соскучилась по верховой езде, по байге, да и настроение у меня было отчаянное. Сперва, сжимая

коленями бока лошади и слегка придерживая поводья, я не давала ей полной воли. Но потом мне захотелось испытать настоящую быстроту скакуна, я слегка хлестнула камчой по крупу. Скакун полетел птицей. Встречный ветер свистел в лицо, резал до боли глаза. Я так увлеклась, что, гикнув, еще раз ударила камчой.

— Лети, мой хороший, лети!..

Оглянувшись на полном скаку, я едва разглядела темнеющие вдалеке силуэты моих спутников.

А скакун, вероятно, не первый раз участвующий в байге, все ускорял и ускорял бег. Он уже не подчинялся моей воле. Да и руки мои были слишком слабы. Я не могла придерживать коня, закусившего удила, не могла остановить его галопа. Обычно в таких случаях всадник стремится потянуть повод в одну сторону, заворачивает коня по кривой и тогда переводит его на шаг. Я так и сделала. Но получилось, что конь с ровной степной дороги стал подыматься на какой-то холм или сопку...

И в эти же секунды я услышала крик одного из моих спутников, скакавших мне наперерез:

— Упустили. Ушла. Теперь уж не догоним!

«Неужели они решили, что я сбежала?— подумалось мне.— А что они мне сделают, если я и вправду сбегу? Но куда я тогда поеду? Домой?.. Нет, так нельзя!..»

И я, пригнувшись к луке седла, с трудом перевела своего скакуна на рысь, а потом на шаг и спокойно подъехала к своим спутникам.

— А мы-то волновались, решили, что ты раздумала,— торопливо проговорил Нурбек.

— Брось, не произноси эти ненужные слова,— Найзабек даже рассердился на Нурбека.— Батес не сумасшедшая! Зачем она будет сворачивать со счастливой дороги, которую сама выбрала... Думаешь, она ребенок?

Они продолжали меня подбадривать, успокаивать... Вероятно с этой целью они и затеяли беседу о судьбах казахских женщин. Разговор начал Найзабек, и я долго не принимала в нем участия.

— Раньше девушку увозил только жених, уплативший за нее калым. Не правда ли, Сактаган?

— Верно!

— Даже в том случае, если отец с матерью, не отдав ее добровольно, начнут кривить душой?..

— И это верно!

— Но слышал ли ты когда-нибудь, чтобы в нашем

краю девушка сама поехала разыскивать своего жениха?

— По-твоему, такого еще не случалось не только в нашем краю, но и во всей казахской степи?

— Правильно, Сактаган!

— Мы видели своими глазами, как бедняком и наемными работниками командуют байские жены.

— Ты говоришь правду, Сактаган! Ну и что же?

— А дальше ты сам мне отвечай: встречал ли ты хоть одну жену бая, которая вышла бы замуж без продажи за калым?

— Как я мог встретить то, чего не бывает у нас в народе.

— Разве не говорят казахи: не родившийся от тебя не будет и сыном тебе, не купленная тобой, не станет рабыней в доме?

— Слышал я эти слова, Сактаган.

— Тогда отвечай мне: и жена бедняка и жена бая, купленные за калым,— женщины-рабыни? Так я говорю?

— Правильно ты говоришь, тут спорить нечего...

— Не знаю, когда появился у нас, казахов, обычай калыма. Он, наверно, испокон веков переходил в наследство от отцов к детям... И только теперь, после установления Советов, появился закон, запрещающий его! Но разве калым уничтожен?

— Остался. Только иногда теперь уплачивают за жену не калым-мал, не скот, а просто деньги!

— Ну вот видишь... Подумай, что же надо сделать, чтобы и этот вид калыма уничтожить.

Вместо Найзабека на этот вопрос рьяно ответил Нурбек:

— Надо судить всех подряд!

— Нет, так делать нельзя!— оборвал его Найзабек.

— Почему же?

— А потому, дорогой, что в ауле не найдется человека, который не уплачивал бы калыма.

— Ну, а как же тогда?— недоумевал Нурбек.

— По-моему, калым будет существовать до тех пор, пока у девушек затуманено сознание. Девушки сами должны выступить против калыма, и тогда ему конец.

Сактаган согласился с Найзабеком.

— Но что же все-таки надо сделать, чтобы они скорее стали сознательными?

— Учить их надо, учить...

— Это хорошо, но сколько же времени надо ждать?

— Ты и здесь прав, Сактаган. Годы нужны. Недаром казахи говорят — болезнь входит пудами, выходит золотниками. Невежество впиталось в народ, изгнать его сразу нельзя. Радостно, что наступило доброе время! Потому и едет с нами Батес. Это ведь начало ее новой дороги.

Сактаган растрогался и пожелал мне счастливого пути.

— И я желаю ей того же,— вздохнул Найзабек,— только надо помнить: есть начало пути и есть вершина. И дороги бывают неодинаковыми. Встречаются и проселки с поворотами, буграми, впадинами. Есть и гладкие стальные пути для поездов. Они всегда ведут к цели. Но дороги жизни порой не похожи на них. Трудно заранее предвидеть, куда они тебя поведут, где ты остановишься. Тут надо бороться и знать, за что борешься.

Слова Найзабека мне так понравились, что я воскликнула:

— Какой ты умный человек, ага!

— А тебе известно, девушка, слово комплимент?— чуть насмешливо спросил меня Найзабек. Но я не знала такого слова, и он мне объяснил:

— Это когда хвалят в глаза. И не всегда заслуженно. Но я все равно тебя благодарю. Спасибо, милая! Ты хочешь знать, почему я думаю о тебе? Я служу Советской власти, я должен заботиться о людях, видеть их дела. Мне довелось в годы, когда я гонялся за басмачами, побывать в горах Памира. На их вершинах вечный снег и ледники.

...Тут я вспомнила о Памире, на уроке географии нам говорил учитель...

— Не перебивай меня, Батес. Так вот, в горах Памира старожилы рассказывали о ягнятниках-бородачах. Эти горные орлы кладут яйца прямо в снег, обдуваемый морозным ветром. Мол, выдержат они непогоду — хорошо! Не выдержат — пусть погибают. Но еще необычнее учат ягнятники-бородачи летать своих оперившихся птенцов. Они их заставляют лететь к вершинам. И если орлята падают от усталости, то, дав им немного отдохнуть, родители снова загоняют их на крутизну. Так орлы закаляют своих птенцов.

— Япырай, удивительно!— восклицали мы наперебой.

— Зачем я это говорю?— Найзабек внимательно взглянул на меня.— Ведь ты только ступила на свой жизненный путь, впереди много перевалов и подъемов.

Они не легче, чем на Памире. Если ты не закалишься на морозе и жаре, не научишься взлетать к вершинам, как орленок, трудно тебе будет достигнуть цели.

— Ну что ты так стращаешь девочку!— вмешался Сактаган.

— Ты сильно испугалась, Батес?— шутливо спросил Нурбек.

Но я совсем не испугалась. Я была благодарна Найзабеку.

— Агатай-ага,— с уважением я обратилась к нему,— я прежде иначе думала о вас. Я вас считала хозяином ружья и жестоким человеком. Удивляюсь, как вы храните в себе так много душевных и правдивых слов.

— Милая моя, ты сейчас повторила то, что о нас говорят наши враги, классовые враги,— с горечью молвил Сактаган.— Что они знают обо мне, например? Что я взыскиваю налоги и строг с баями. А о моем человеческом сердце им ничего неизвестно.

— Не жди похвалы от своих врагов, они всегда будут ругать,— отозвался Найзабек.

И Сактаган согласился с ним. А почему не участвовавший в разговоре Нурбек попросил Найзабека в двух словах посоветовать мне самое важное.

— Будь крепкой, Батес! И тогда Советская власть никому не даст тебя в обиду...

Я дала самой себе слово всегда помнить эти добрые слова.

КРАСНАЯ ЮРТА

Сколько раз мне приходилось слышать, что волостная канцелярия находится совсем близко от нашего аула, но съездить туда мне так и не удавалось. Сейчас впервые я направлялась туда.

...Этот ночной путь показался мне бесконечно длинным. Мы выехали из аула перед закатом. А сейчас приближался рассвет: кочевавшие всю ночь редкие тучи стали заволакивать небо, исчезли звезды, усилился, зашелестел в травах ветер, на смену густой темени приходили серые и мглистые краски.

Должно быть, далеко мы отъехали от аула. Хорошо мчались наши отдохнувшие скакуны. Время от времени мы неслись, как на байге. Цель приближалась с каждой минутой. Сколько верст осталось позади!

Мы поднялись на небольшое взгорье.

Окидывая взглядом сереющую степь, я никак не могла обнаружить хотя бы одной приметы, говорящей о близости аула. Где же та таинственная канцелярия, которая должна бы уже показаться? Не заблудились ли мы?..

Мне хотелось спросить об этом моих спутников, но я молчала: их уставшие лица были бледными, серыми, как этот серый степной рассвет . Зевота одолевала то одного, то другого. Я не хотела тревожить вопросами утомленных полусонных людей. Да, признаться, я и сама была измучена своими думами и тем, что последние ночи плохо спала. Усталость брала свое, слипались глаза, я начинала дремать и вот-вот могла свалиться с коня, трясущего рысцой, но вовремя встряхивалась и сгоняла сон.

Наконец в низине, на другой стороне взгорья, которым мы проезжали, открылась непонятная картина.

Сквозь туманный серый рассвет там и сям вспыхивали огоньки и темнело что-то рядом, похожее на сгустившиеся тучки. Костры? Нет, совсем не костры. Вглядевшись еще пристальнее, я заметила, что огоньков больше, чем мне показалось вначале. Я уже решилась задать вопрос спутникам. Но Найзабек словно разгадал мои мысли и опередил меня:

— Вот мы и приехали к Красной юрте. Видишь, на ней красное знамя. И на других юртах — красные флажки.

— Красная юрта! Красная юрта!— повторяла я с облегчением и надеждой.

— Да, Красная юрта. Здесь и волостные канцелярии... Только немного ниже...

...По старинным степным обычаям к аулу надо подъезжать неторопливо. Может быть, этой традиции следовал Найзабек, но всего вероятнее — он просто хотел дать отдых разгоряченным лошадям.

— Давайте поедем тише!— Он придержал своего коня, и мы перешли с рыси на шаг.

Найзабек снова стал просвещать меня.

— Милая Батес!— не спеша и покровительственно говорил он.— Не надо ничему удивляться. Пожалуйста, не думай, что канцелярия это город с улицами и высокими домами. Наша жизнь, правда, улучшается. Но казахские аулы, кочевавшие веками, еще не стали оседлыми, особенно здесь, в Тургайской степи. Если кочуют аулы, значит кочуют и учреждения. Канцелярии тоже выез-

жают у нас на джайляу. Но в Сарыкопе, около артели «Ушкун», весною уже начали строить большие дома. Заложен фундамент дома для всех волостных учреждений. Будет там и больница и ветеринарная лечебница, баня, клуб, библиотека.

Найзабек знал все цифры на память, помнил, что в ветеринарной лечебнице будет шесть комнат, что больница строится на пятьдесят человек, что клубный зал сразу сможет вместить сто слушателей, а в бане одновременно смогут мыться сорок мужчин и женщин.

И всякий раз, когда Найзабек называл цифру, я ахала от удивления. Ведь ничего подобного я до сих пор не видела в аулах. Найзабек, радуясь, что все это производит на меня такое большое впечатление, рисовал еще более увлекательные картины.

— Подожди, милая! Еще не то будет. «Ушкун»— это первый очаг культуры в Тургайской степи. Государство помогает желающим строить для себя кирпичные и деревянные дома, такие, как в городе. Государство дает деньги, ссуду. Слышала такое слово? Только в нынешнем году артель получила около восьмидесяти тысяч рублей.

Понятно, я ничего не слышала о ссудах, а деньги эти казались мне огромными.

Тем временем мы приблизились к Красным юртам. Редким свойством обладают земли нашего Кызбеля. Вот уж, кажется, совсем близка цель. Но до нее еще ехать да ехать... Так случилось и на этот раз. Всему виною холмы. Красные флажки то скрывались среди них, то вновь маячили перед глазами, то вдруг опять исчезали уже надолго.

— Где, агай, конец и начало холмам нашего Кызбеля?— спросила я у Найзабека.

— Вот кто знаток!— указал Найзабек на Сактагана.

— Это верно, приходилось мне ходить с землемерами, я здесь все впадины и холмы запомнил. С востока на запад возвышенность Кызбеля тянется на восемьдесят три километра и семьсот шестьдесят два метра.

Нурбек рассмеялся:

— Ну и Сака, ну и Сака!.. Ни одного метра не забыл. А ведь и в самом деле, у Сактагана немыслимая память. Он не забудет ничего, что однажды слышал или видел. Я уже не раз убеждался в этом. Вот спросите у него, какая ширина Кызбеля.

— Я отвечу. Только Нурбек, наверное, снова будет

смеяться. Он ведь легкомысленный у нас. Так вот, запоминайте: сорок один километр и сто девяносто метров.

И Нурбек действительно рассмеялся:

— Значит, длина всего в два раза больше ширины?

— Ты прав, Нурбек...

— Прав-то я прав, но почему в таком случае этот Кызбель — девичий пояс, а не талия женщины?

Я сразу догадалась, почему так лукаво улыбается Нурбек. Дело в том, что он посмеивался над Сактаганом. Жена его была необыкновенной толстушкой, и поэтому сборщик налогов принимал на свой счет шутки Нурбека.

— Что-то я не понимаю тебя,— пробормотал он.

— Ты подумай сам,— хитро улыбнулся Нурбек,— разве можно найти женщину, чей рост был бы всего в два раза больше ее талии?

— Однако ты большой насмешник,— вмешался в разговор Найзабек, защищая своего товарища.— Но знайте, что народ никогда не дает бессмысленных названий урочищам, речкам, озерам... И разве неправда, что Кызбель, подернутый маревом в летнюю пору, напоминает издали путнику тело отдыхающей девушки?

И Нурбек, уже без всякой насмешки, кивнул головой и продолжал:

— Я побывал во многих краях, видел горы и долины, холмы и степи. Но, должно быть, потому, что я здесь родился и вырос, я не встречал уголка, который бы так притягивал мое сердце. Как она согревает, родная земля!

Я вытерла рукавом набежавшие слезы.

Мы спускались с вершины холма к низине и видели алые знамена, водруженные на войлочных юртах. Юрты, в нарушение аульных правил, были расположены не кругом, а вытянулись улицами, как принято в городах.

Неясные серые краски рассвета смешались яркой степной зарей. Облака на восточном краю неба вспыхнули красным пламенем. И флаги на юртах, колеблемые легким утренним ветерком, казались частями большого знамени утренней зари. Знамя это подымалось все выше и выше над Красной юртой, над всей степью. Прекрасная заря занималась над землею Тургая...

...Аулов, подобных раскинувшемуся перед нами, мне еще ни разу не приходилось видеть. Обычно в казахском ауле, будь он богатый или бедный, прежде всего видишь скот. Он отдыхает или пасется, отары встречаются и в

самом ауле и вокруг него. А здесь, кроме нескольких лошадей, привязанных поодаль, не было никаких признаков хозяйства.

— Не кажется ли тебе странным, Батес-жан, что в окрестностях аула совсем нет скота?— угадал Найзабек мои мысли и с улыбкой взглянул мне в лицо.

— Удивляюсь и не могу понять,— не таясь, ответила я.

— Наши насмешники прозвали его «бумажным аулом». Здесь у каждой юрты выпасаются только бумаги...

— Но чем же кормятся тогда жители...

— Ездят к соседям, да и соседи из других аулов им привозят. Словом, без пищи не сидят...

— Даже собаки не встретили нас лаем,— посетовала я.

Но эти мои слова не понравились Найзабеку.

— Нашла о чем жалеть!.. Мало тебе собак, готовых тебя искусать...

Несколько минут мы ехали молча. И только когда поравнялись с первой юртой, Найзабек снова обратился ко мне:

— С приездом, милая Батес. Еркин поручил мне, чтобы я отвел тебя к нему в семью. Вчера он был в дороге. Не знаю, вернулся или нет. Но сказал, что жену предупредит. Звать ее Баршагуль. Добрая гостеприимная женщина. Грамотная. Газеты читает. Детей у нее двое... Тебе будет там хорошо. А вы, Сактаган и Нурбек, езжайте в свои юрты. Я один провожу Батес.

Верх большой серой юрты, к которой мы подъехали, был еще закрыт кошмой. Едва мы придержали поводья, как нам навстречу вышла невысокая женщина с приятным лицом. На плечи ее был наброшен просторный чапан из шелкового полотна, а голова обмотана камчатной шалью с кисточками.

— Здорова ли ты, Баршагуль,— приветствовал ее Найзабек и указал на меня,— а вот это и есть твоя сестренка Батес.

Баршагуль придержала стремя, помогая мне слезть с моего скакуна, и поцеловала меня в щеку, как свою родственницу.

— А Еркин приехал?— спросил Найзабек.

— Нет еще.

— Ну, тогда я пойду. Дети, наверное, еще не проснулись. Да и нашей Батес надо выспаться.

В правилах казахских женщин не вступать в долгие разговоры с мужчинами, кроме своего мужа. Придерживаясь обычая, Баршагуль не ответила Найзабеку и обратилась прямо ко мне:

— Идем, милая.

В юрте было сумрачно, свет едва проникал сквозь кошмы и войлок. Но я быстро свыклась с темнотой и разглядела незнакомое жилье. Направо, за приспущенной занавеской, слышалось легкое посапывание — там спали дети. На левой стороне стояла прибранная железная кровать. На низкую деревянную скамью в углу юрты были пагромождены чемоданы, несколько небогатых одеял и подушки. Почетное место — торь — было устлано кошмой, покрытой сверху простеньким ковриком. За белой чиевой перегородкой у входа хранились посуда и пища. На решетках — кереге — висело немного одежды. Очевидно, это было все имущество семьи Еркина.

— Ну, Батесжан,— сказала Баршагуль,— время совсем раннее. Отдохни, пока все не проснутся. Я постелю тебе вот на той свободной кровати и спущу занавес.

Я зашла за полог, разделась, легла, закрыла глаза, напрасно пытаясь погрузиться в сон... Передо мною мелькали обрывочные картины событий последних дней, я испуганно вздрагивала и открывала глаза, всматриваясь в полумрак. Как тихо было в этом «бумажном ауле». Ни лай собак, ни мычанье коров, ни блеянье овец не доносилось до меня. Чутко прислушиваясь к тишине, я различала только легкое детское дыханье. Я полудремала с открытыми глазами и внезапно услышала чьи-то осторожные шаги. В юрту вошел мужчина, и ему навстречу сразу же поднялась дремавшая, как и я, Баршагуль. Они стали негромко переговариваться.

— Значит, Батес приехала?

— Приехала!

— Ну, как она себя чувствует?

— Откуда я знаю как? Правда, вид у нее болезненный, бледный... Или она продрогла ночью, или огорчена...

От шепота родителей проснулись дети, которым, впрочем, было уже пора вставать.

— Аке! Аке!— защебетали они, завидя отца, и тоненькие их голоса, из которых один был, кажется, мальчишеским, слились в один веселый ручеек. Я слышала, как приласкал своих ребятишек отец. Это был, конечно,

он, Еркин. Потом кто-то зашумел за юртой, и я разобрала слова Еркина:

— Долго, однако, вы спали...

— Батес приехала на заре,— объяснила Баршагуль,— я хотела, чтобы она отдохнула и дети выспались... Да и я сегодня проснулась до рассвета...

— Тогда пора одеваться. Готовь завтрак...

Стала и я одеваться, неловко шурша платьем и стесняясь людей, которых знала еще очень мало.

Когда я вышла из-за занавески, Еркина в комнате уже не было. Баршагуль удивилась, что я не хотела подольше отдохнуть. Но еще больше удивились и даже оробели, обнаружив мое присутствие, ребятишки Еркина. Их было двое — девочка лет трех, очень похожая на мать, и четырехлетний толстенький мальчуган, напоминавший Еркина. Малыши спрятали в подоле материнского платья свои головы.

— Я не хотела тебя беспокоить, ты была очень утомлена. Поэтому я и не стала разговаривать с тобой,— начала Баршагуль.— Я ведь знаю, куда ты едешь. Буркут уже покинул наш дом. Бедный юноша с тревогой оглядывался назад. Ты нашла себе достойного джигита, дай бог тебе удачи. Агасы (так уважительно, дядей, назвала своего мужа Баршагуль) сказал, что отправит тебя вслед за ним. Как мы боялись, что ты вдруг изменишь свое решение, не приедешь. Ты правильно сделала, Батес! Если бы еще в ауле ничего не знали... Но раз пошла худая слава, ждать больше нечего! Надо ехать, не задерживаясь...

Может быть, Еркин был занят или он нарочно задерживался, чтобы оставить нас вдвоем... Но чай был давно готов, и Баршагуль уже приглашала меня отведать угощенья:

— Мы можем и без него начать...

Баршагуль оказалась откровенной душевной женщиной, учтивой и располагающей к себе. Мы разговорились, присев у белой скатерти — дастархан, которой было прикрыто приготовленное кушанье. Баршагуль рассказала о себе. Бедняжка, она была нареченной невестой одного бая. Он хотел взять ее младшей женой — токал и уже уплатил калым. Во время восстания Амангельды бай пошел против народного вождя и погиб от пули. Тогда его младший брат, такой же бай, решил воспользоваться своим правом — калым-то был уплачен!— и запетушился

вокруг Баршагуль. Но это был уже счастливый год, год установления Советской власти в Тургае. Баршагуль к тому времени познакомилась с Еркином и бежала с ним. Училась она примерно столько же, сколько я, но повидала куда больше! И она с волнением рассказывала мне, как освобождается казахская женщина.

Еркин вернулся в юрту не один. С ним пришла молодая красивая женщина, отдетая по-городскому. Когда я из вежливости поднялась с места, он по обычаю как старший родственник коснулся губами моего лба. «Меня в этом доме встречают совсем как родную»,— с теплой благодарностью подумала я.

— А вот ваша старшая сестра. Зовут ее Асия Бектасова,— знакомил меня Еркин с женщиной,— она и есть хозяйка Красной юрты.

— Здравствуй, сестренка Батес, здравствуй!— Асия протянула мне руку. Мы тебя по твоему заявлению вызвали. Всем нам хочется, чтобы ты пошла по хорошему пути.

Еще один человек зашел к утреннему чаю. Я сразу узнала его, учителя моего детства Балкаша Жидебаева. Он был вместе с молодой женщиной, своей женой. Балкаш любил меня, свою первую ученицу и приветствовал так, как в школьные годы:

— А, Батесжан, здорова ли ты?

И не позволил мне подняться, потому что казахи у дастархана, по его словам, не должны здороваться за руку.

Балкаша усадили на торь — почетное место, а Жаныл, его жена, пристроилась ближе к двери, у нижнего края дастархана. Балкаш, попивая чай торопливыми глотками, взял со скатерти мягкий баурсак, пожевал его и начал разговор:

— Бывает и так, что под старость иная кляча становится иноходцем. Многие из нас мало учились в молодости. И теперь приходится догонять упущенное. Два года назад я поступил в учительский институт в Ташкенте. Сейчас учусь уже на третьем курсе. За летние каникулы решил заработать, да и принести пользу своим землякам: около месяца здесь обучал неграмотных. Наступает время возвращаться в институт... Но, прослышав о твоем приезде и желании учиться, я нарочно задержался и решил взять тебя с собой. Ты была моей любимой учени-

цей, и я пообещал товарищам, Асии Бектасовой и Еркину Ержанову, во всем тебе помочь...

— Ах, как было бы хорошо поехать тебе с Балкашем,— с надеждой сказала Асия,— тебе ведь еще не знакомы дальние дороги. И вот находится попутчик. Он не случайный, не первый попавшийся человек, а учитель. Учил вас, болел за ребят душой. Балкаш нам пообещал не только довезти тебя до города. Он сам поможет тебе устроиться учиться и найдет комнату, где ты будешь жить. Правда?

— Правда,— отвечал Балкаш,— Батес моя любимая ученица, если я ей не помогу, то кому же мне помогать?.. Только хорошо бы нам выехать поскорее, не запаздывая...

Балкаш выразительно посмотрел на Еркина.

— Лошади-то у нас есть,— покачал головой Еркин,— да вот беда: Кустанай далеко, и верхом доехать туда трудновато. Особенно когда нет подходящего ночлега. А проклятую телегу разве здесь найдешь... Выход один — дождаться, когда из Сарыкопа привезут остов моей повозки. Он у меня недавно сломался, и мастер обещал быстро починить. Вот когда его доставят, можно будет отправляться в путь.

Слушая разговор Еркина, Балкаша и Асии, я подумала про себя: «Однако, они все решают без меня, даже не спрашивают меня ни о чем. А что если заупрямиться и сказать — никуда я не поеду. Что они мне сделают?..»

...После чая Асия повела меня по поселку.

В солнечном свете «бумажный аул» выглядел не так праздничпо. Я насчитала двенадцать юрт. Они располагались так, что составляли как бы два аула, один поменьше, другой побольше. Флаги были только на ближних юртах. Большое знамя алело на самой праздничной юрте. И вход у нее был украшен широкими полосами красной материи с написанными на них лозунгами. К ней и направлялись мы с Асией.

— Да, можно сказать, здесь два аула,— объяснила мне она.— В одном ауле, что побольше, волостные канцелярии, другой аул — аул нашей Красной юрты.

— И сколько же юрт у вас в ауле?

— У нас — шесть. Большая белая кибитка со знаменем — это и есть Красная юрта. В ней до обеда занимаются девушки. Они обучаются грамоте. Их уже без малого сорок человек. А после обеда там начинается суд. Вон

в той юрте из белой кошмы живут наши ученицы, а направо — юрта судебных работников. Видишь еще одну кибитку, темную такую... Это кухня. А коричневая юрта, что стоит на отлете,— к ней-то и подступов нет,— это временная тюрьма...

Тюрьма! Одно это слово меня напугало.

— Да, Батес, тюрьма!— Лицо Асии стало суровым, голос жестким.— Что делать с преступниками, которые не подчиняются закону? Вот их и приговаривает суд к заключению в тюрьму. Как наказывает наш суд — ты можешь посмотреть. Сегодня, правда, суд не заседает, а вот завтра после обеда будут разбирать несколько гражданских и уголовных дел...

Для меня, девушки из глухого аула, все это было непонятно, и Асия терпеливо объясняла мне разницу между гражданскими и уголовными делами:

— Вот задолжают деньги, например,— это гражданское дело, а уж если насилие, драка, убийство,— это уголовное...

...Мы подошли совсем близко к Красной юрте. Асия прислушалась и остановилась.

— Погоди, там сейчас, наверное, никого нет, что-то не слышно женских голосов. Должно быть, они в общежитии повторяют уроки. Сходим туда.

Девушки расположились вокруг длинного деревянного стола, поставленного в центре юрты. Одни читали, другие писали.

Когда мы вошли, они встали, приветствуя Асию.

— Садитесь!— сказала она им.

Они шумно уселись, но не стали заниматься своими книжками и тетрадками. Они так уставились на меня, что мне стало неловко. Мне казалось, что они догадываются обо всех моих злоключениях и думают про себя: «Вот она какая Батес, о которой идет молва в аулах». Но Асия просто и тепло сказала:

— Для одних эта девушка будет старшей сестрой, для других — младшей.

И назвала мое имя.

Наверное, я была права в своих догадках, потому что девушки стали разглядывать меня с еще большим любопытством. Асии, видимо, не понравились их пристальные бесцеремонные взгляды и, словно оберегая меня от ненужных расспросов, она коротко рассказала о том, что привело меня в Красную юрту.

— А ты садись, милая, знакомься со своими сверстницами.

Но я продолжала стоять, обиженная их недружелюбным вниманием. А может, я и не совсем права? Кто они, эти сорок девушек, как в казахской сказке? Странное впечатление оставляли они на первый взгляд.

Мне, воспитанной в строгих аульных правилах, не по душе были слишком легкие платья девушек. Разве решится его надеть в ауле молодая казашка? Ведь она стремится так туго перевязать тело, чтобы оно выглядело плоским, словно доска. Девушка, стараясь соблюдать приличие, делает свои груди неприметными. Она снимает свой безрукавный нагрудный камзол только когда ложится спать. Как можно выставлять напоказ грудь! Но эти девушки, нисколько не стесняясь, носят легкие облегающие тело платья. Может быть, это новый обычай? Я никогда еще не видела ничего подобного! Какой там обычай! Это мне показалось просто бесстыдством!

Очень удивило меня еще и другое. Многие девушки были уже далеко не молоды. Говорят, в роду Жагалбайлы-Жаннасы, что под Оренбургом, дочерей выдают замуж только после тридцати лет. И еще говорят, что по этой причине девушки и без мужей обзаводятся младенцами. Нет ли и здесь таких?..

Асия как будто приметила неприязненные взгляды, которыми мы обменивались.

— Ну, вы занимайтесь своими уроками,— сказала она девушкам,— а мы еще походим по аулу. Пусть Батес узнает, как мы живем, что делаем. Она впервые отправилась из дому в дальний путь. И кто знает, может быть, скоро она сама будет работать в одной из таких Красных юрт...

Но мы на этот раз недолго гуляли по «бумажному аулу».

— Апай! А что если мы пойдем домой?— попросила я.

Асия удивилась.

— Прошлой ночью я не сомкнула глаз,— объяснила я,— да и накануне ночь была очень беспокойной. Недавно мне и спать не хотелось, но сейчас я вдруг почувствовала сильную усталость.

— Ну, хорошо, пусть будет так! Я провожу тебя.

Она продолжала меня просвещать рассказами о борьбе в аулах, о новых женщинах... Но слова Асии пролетали мимо моих ушей. Я думала о другом. Я казалась

самой себе дрофой, которая жила в широкой степи. И вот теперь ветер судьбы погнал дрофу из родных мест и посадил на озеро, называемое Красной юртой. Но кто видел, кто слышал, чтобы дрофа садилась на озеро? Приживется ли она там? Или ее, не умеющую плавать, поглотят волны?

...Незаметно подошли мы к юрте Баршагуль.

— Отдохнуть, поспать? Ну конечно можно!— радушно сказала хозяйка.— Верх юрты я закрою кошмой, а войлок у основания подверну. Пусть продувает легкий ветерок. И полог опустим. Я сделаю так, чтобы мышка не пробежала, чтоб муха не прожужжала. Скота в ауле, как ты знаешь, нет. Нет и собак... Дети будут играть в другой юрте. Разъезжающих верхом шумных бездельников у нас тоже нет...

Баршагуль постелила мне. Я разделась и легла. На душе у меня было так, как на весеннем небе моих родных мест. Это удивительно изменчивое небо: на чистую голубизну неожиданно набегают тучи и так же быстро расходятся. Тучки никогда не покоятся на месте. Они — в непрерывном движении. Иной раз они сеют мелкий моросящий дождик, иной раз прольются стремительным ливнем, иной раз пройдут грозно и низко, но не уронят ни капли. Мои мысли и непрочные сновидения менялись так же быстро, как это весеннее небо. То я чувствовала себя совсем разбитой, то погружалась в дрему, то тут же просыпалась от безотчетного страха. Я снова видела обрывки каких-то путанных снов, я снова была во власти нелепых, неясных и тревожных мыслей. Но все чаще и чаще меня обдавало незнакомым прежде душевным теплом, которое исходило от новых моих друзей и наставников. Милые милиционеры Найзабек и Нурбек, сборщик налогов Сактаган, старый мой знакомый Еркин и его жена Баршагуль, хозяйка Красной юрты Асия... Что-то общее, светлое было в их облике, в их заботах обо мне...

Так менялись мои мысли, так прошло довольно много времени, пока меня не вывел из полусна далекий голос Еркина, окликнувшего жену. Потом я услышала обрывки разговора:

— Батес еще не встала?

— Не знаю, я не заходила в юрту.

— А как обед?

— Уже приготовлен. Я потушила огонь и плотно прикрыла казан, чтобы мясо не остыло.

— Тогда, пожалуй, время будить Батес.

— Пойду посмотрю. Но если спит, будить не буду. Пусть выспится как следует.

— Успеет еще выспаться. Дело идет к вечеру. А много будет спать днем,— разболится голова. Она ведь только утренний чай пила. Надо накормить девушку, она наверняка проголодалась. Ты ее все-таки разбуди.

Баршагуль еще не успела заглянуть ко мне за полог, как я уже начала одеваться.

— Оказывается, ты сама встаешь,— услышав шорох платья, обрадовалась Баршагуль.— А Еркин сказал, чтобы я тебя будила.

К обеду в юрте собралось много гостей. Среди них я узнала Асию, Найзабека, Нурбека, Сактагана. Я не смела и здороваться в полный голос, не то что протягивать руку. Как всякая казахская девушка из далекого аула, я только шевелила губами в ответ на приветствия.

— Иди сюда, моя милая!— И Асия усадила меня рядом.— Вот это и есть наша Батес.

Снова почувствовав на себе пронзительные любопытные взгляды, как у тех девушек Красной юрты, я опустила глаза и с горечью подумала: «Да что вы, съесть, что ли, хотите меня?»

Незнакомый джигит внес в юрту деревянное блюдо, закрытое белой скатертью — дастарханом, остановился справа от порога перед Еркином. Он снял скатерть, расстелил ее и поставил блюдо с дымящимся мясом.

— Уважаемые гости,— шутливо гримасничая, начал Еркин,— вы хорошо знаете, что в нашем ауле нет баранов. Я хочу вам напомнить слова, сказанные краснобаем Асаубаем из рода Канжигалы:

Ягненок есть — для угощенья режь!
Ягненка хватит десяти гостям.
Зарежь, угостишь и сам поешь...
А не зарежешь — сдохнет он и сам.

У нас получилось не так! Приехала в наш дом Батес, и мы тоже решили ее угостить по обычаю. Но, увы, никак не смогли найти ягненка... Совестно, что поделаешь? Пришлось купить эту годовалую козу и зарезать ее для нашей гостьи...

— Ничего, Еркин,— сказал кто-то из незнакомых мне,— она еще очень молода, для нее вполне подходит и это угощенье.

Я искоса взглянула на блюдо. Козлятина была жирной. Варила ее Баршагуль, не разрезая на части. Мясо не разварилось и было что называется в самую пору. И соус, приготовленный женгей, выглядел очень аппетитным. В него был накрошен горный лук, острым ароматом напоминающий чеснок, и дикая морковь, растущая в наших песках. Наверное, в соус положили и дикорастущего картофеля. Наш лук, морковь и картофель необыкновенно крупные. Луковицы бывают с бабку барана, клубень картофеля — величиной с утиное яйцо, а морковь такая, что ее не обхватишь и ладонью. Мы любили печь в горячей золе и морковь и картофель. А если морковь вскипятить в молоке, то получится сладкий напиток, похожий на каймак. Но что может быть вкуснее молодого мяса, особенно ягненка, если оно залито соусом, в который накрошены все эти горные и степные лакомства...

Но в этот раз даже самые заманчивые запахи оставили меня равнодушной к угощению. Я нехотя взяла и с трудом съела небольшой ломтик мяса. И хотя меня потчевали очень усердно, я почти не прикасалась к пище и не участвовала в беседе.

Обед продолжался недолго. Гости разошлись еще до захода солнца, а я, сославшись на головную боль, снова легла отдыхать.

Когда начало темнеть, к нам со стороны Красной юрты донеслись девичьи песни, смех, шум, юношеские голоса. В «бумажном ауле» молодежь играла веселее, чем в обычном. Я сразу догадалась, что девушки и юноши качались на качелях. Это была моя самая любимая игра и в те годы, когда я считалась мальчиком Еркежаном и когда я стала девушкой. Правда, байбише не очень-то нравилось мое увлечение играми, но она всегда разрешала мне качаться на качелях. Да разве могут быть, думала я тогда, молодые люди, которым не пришлась бы по душе эта веселая игра?

Теперь все стало иначе... Я была настолько усталой, измотанной, что у меня не возникло желания развлечься; песни, смех и шум, доносившиеся со стороны Красной юрты, только раздражали меня, и я старалась не обращать на них внимания. Меня позвали покачаться на качелях, но я сказалась больной и не пошла. Вскоре я заснула.

...Меня разбудили крики и плач детей. И хотя юрта

была, как и прежде, закрыта кошмой, но сквозь распахнутую дверь проникали солнечные лучи: уже наступил полдень. От крепкого сна и тяжелых дум у меня кружилась голова. Шумели ребятишки Баршагуль. Они играли и подрались. Младшая,— я еще вчера приметила, что она любит задираться,— укусила старшего за руку и довела его до слез. Испугавшись, что брат может ее отколотить в отместку, она заревела, будто ее уже побили. Вот так же и я играла с Какен, и так же, как эта маленькая шустрая девочка, отколотив старшую сестру до слез, начинала плакать сама! Прекрасная пора шалостей и забав, ты уже не вернешься! И только дочурка Баршагуль повторяет мой не бог весть какой хитрый прием!

На детский плач прибежала мать, хлопотавшая неподалеку от юрты по хозяйству. Она даже рассердилась:

— Ах боже мой, эти дети так и не дали выспаться Батес!

— А я уже сама проснулась, апай!— успокоила я Баршагуль,— сейчас встану и умоюсь.

— Очень хорошо, милая моя!.. Сейчас приходила Асия. Приглашает тебя к чаю.

Баршагуль проводила меня к Асии. Чтобы мне угодить, хозяйка Красной юрты пригласила женщин и девушек. Их собралось около десяти человек. И, как тогда, все принялись меня разглядывать с прежним любопытством.

На дастархане уже румянились ватрушки со свежим творогом, залитые топленым сливочным маслом. Одно из самых любимых моих кушаний. Я чувствовала себя сегодня значительно лучше — меня не клонило ко сну, прошла головная боль, исчезла ломота в теле после верховой езды. Понемногу я свыклась с новой обстановкой. Впервые за два дня я по-настоящему захотела есть.

Но увы! Меня опять обидели эти удивленные женские взгляды, и внезапная икота помешала мне съесть ватрушку, на которую с такой жадностью смотрели мои глаза. Я вдыхала вкусные запахи, но никак не могла поесть толком. Меня уговаривали — ешь, ешь! Меня поили чаем. И огорченная Асия наконец сказала:

— Бедная ты моя девочка! Как же ты будешь дальше жить? Ведь если будет так продолжаться, можно умереть с голоду! Ну, возьми еще одну ватрушку!

После чая она меня пригласила побывать в Красной юрте — посмотреть, как учатся девушки.

— Я не принуждаю, твоя воля,— сказала Асия.

Но я охотно согласилась.

Это были те самые девушки, которых я видела вчера. Учительницей на этот раз оказалась сама Асия. Перед началом урока,— может быть, здесь завели такой обычай, а может быть, Асия сделала это для меня, девушки хором спели гимн «Интернационал». Хоровое исполнение я слышала впервые. К Асии дружно присоединились все сорок девушек. Потом они, как песню, пропели стихи:

С батраком бедняк
Дружною семьей
Жирных баев, мулл
Вон гони камчой!

Девушки посматривали на меня с улыбками... И мне казалось — они хотели сказать: «А ведь ты тоже одна из дочерей такого бая...»

Сначала был урок политграмоты. Мне, понятно, еще не приходилось присутствовать на таких уроках и, признаться, не очень понравилось, с какой неприязнью, даже ненавистью, говорила Асия о баях и как выгораживала бедноту.

На следующих двух уроках — географии и естествознания — я слушала ответы учениц и убедилась, что знания девушек намного уступают моим. После третьего урока Асия посоветовала мне пойти в юрту отдохнуть:

— Сразу после обеда мы проведем судебное заседание. Тебе будет полезно побывать там. Сейчас ты слышала уроки книжные, а на суде получишь уроки жизни.

Возле Красной юрты собралось немало народу. Особенно любопытные, проковыряв в кошме окошечко, смотрели через него одним глазом. Другие выглядывали из-под кереге.

— Что вам тут надо? Людей не видали, что ли?— сердито закричал какой-то джигит, выйдя к толпе.

Пришел секретарь суда Сальмен. В руках у него картонная папка с целой кипой бумаг. За ним явился несуразно высокий человек, похожий на жирафа. Цветом лица он походил на негра. Вид у него был довольно грозный.

Асия познакомила меня с ним:

— Этот товарищ — секретарь волостного комитета союза «Косши» (бедняков), народный заседатель, а зовут его Бузаубак,— сказала она.

Потом вошла женщина лет сорока в красном платке.

Она оказалась тоже народным заседателем и заведующей волостным женотделом Кукшан.

Я вспомнила, как дед мой в разговоре с другими стариками говорил бывало: «Времена пошли нехорошие — песок слежался в камень, рабы стали вождями, коровы подорожали, бабы сделались судьями!» Мне показалось, что слова эти были сказаны прямо по адресу Бузаубака и Кукшан.

Бузаубак занял место по правую сторону Асии, Кукшан — по левую. Асия позвонила в колокольчик. Все замолкли. Лицо Асии было серьезно, и говорила она кратко и точно.

Милиционеры, которые считались у нас в ауле самым высоким начальством, здесь были тише воды ниже травы. Один из них стоял у дверей с винтовкой в руках, а другой вводил и выводил людей по приказанию Асии. В юрте собралось очень много людей. Были тут и обвиняемые и свидетели по разным делам, были и совсем посторонние.

Из того, что говорилось на суде, я поняла не все.

Когда мне приходилось читать в журнале «Асль-тендиги» о том, что двоеженство преследуется законом, я только смеялась. А вот теперь собственными глазами увидела, что действительно такой закон существует и нарушителей его судят. К нам, бывало, приезжал Кушукбай Ишбаев, мужчина лет пятидесяти, пузатый, смуглый, корявый... Теперь узнаю, что он сосватал себе вторую жену. Милиционер живо приволок толстяка — Кушукбая, за ним смущенно шла его молодая жена, очень приятного вида, лет шестнадцати-семнадцати. Асия начала допрос:

— По собственному желанию вышла за него?

— Дд-а...— запинаясь, дрожащим от волнения голосом отвечала молодуха. Непонятно — просто ли она путалась в своем ответе, или же боялась суда.

Какой-то седобородый старикашка в рваной одежде с напряженным вниманием прислушивался к словам молодухи.

В начале судебного заседания можно было подумать, что девушка сама согласилась выйти замуж за Кушукбая, а не отец ее приневолил.

Но чем дальше, тем больше все запутывалось. Ответчики нагло лгали. Это было ясно не только суду, но и мне. Все ответы были сбивчивы. Отец девушки сказал,

что сам отдал дочь жениху. В то же время Кушукбай заявил, что свою невесту он украл, так как отец не хотел отдавать ее, причем украл, по его словам, «опираясь на Советскую власть».

Такими же противоречивыми были показания свидетелей. Сама же молодуха на все вопросы отвечала только одним словом: «да». С перепугу она не понимала, о чем идет речь на суде и что от нее хотят. И когда народный заседатель Бузаубак спросил ее: «Правда ли, что твой отец выдал тебя замуж насильно?»,— она тоже подтвердила это.

Во время перерыва Асия оставила молодуху у себя и порасспросила ее обо всем. И молодуха в конце концов чистосердечно призналась, что Кушукбай насильно женился на ней.

Суд постановил развести ее с Кушукбаем.

Приступили к рассмотрению второго дела. В прошлом году мулла Кудайжар бросил свою жену и подал в суд заявление, в котором писал, что отрекается от жены. На судебном следствии он ссылался на коран и говорил, что по указанию пророка он решил жить без жены. Суд развел супругов, но половину имущества муллы присудил жене.

В действительности вся эта история сложилась так: у муллы умер брат, молодой двадцатилетний человек. После него осталась вдова. Мулла решил жениться на своей снохе, но та отказалась. В дело вмешались аксакалы и принудили ее согласиться.

Это была первая причина отречения муллы от старшей жены. А вторая заключалась в желании муллы избежать лишних налогов.

После раздела старшая жена родила сына от того же муллы. Сам же мулла ужасно ревновал свою вторую жену. Если она осмеливалась заговорить с кем-нибудь, дело кончалось побоями. Во время одной из драк мулла плетью выбил жене глаз.

Пострадавшая жена муллы решила подать жалобу в нарсуд.

Мулле было лет шестьдесят, но он выглядел бодро, это был чернобородый мужчина, краснощекий и толстый, как боров. Теперь он вторично предстал перед судом.

— Если ты бросил старшую жену, то откуда взялся ребенок?— строго спрашивала Асия.

— Я... я не знаю...— неуверенно бормотал мулла. Он

лгал, сбивался, путался, чувствуя, что попал в глупое положение, и краснел.

Я думала про себя: «Такой почтенный с виду человек, а врет!»

Суд постановил: муллу послать на принудительные работы, часть его скота передать в пользу государства, а часть имущества отдать жене.

Третье дело. Некий Шокпыт еще одиннадцатилетним мальчиком нанялся к Кодыбаю пасти баранов. И пас он этих баранов до тридцати пяти лет. Затем женился на дочери одного бедняка, которому, как полагается по обычаю, выплатил калым. После смерти Кодыбая Шокпыт батрачил у его сына Сасыкбая. У Шокпыта и его жены Домалак было три дочери и два сына. Двадцать лет они прожили вместе. Потом жена Шокпыта умерла. Двух старших дочерей он выдал замуж. Осталась у него только восьмилетняя Балбота и десятилетний сынишка Кенжегара. Старший же сын Шулгау также батрачил у Сасыкбая.

Знакомый коммунист увез Кенжегару в город учиться. Балбота к четырнадцати годам превратилась в красивую девушку.

У Сасыкбая было три жены. Одна из них — жена умершего брата. Не довольствуясь этим, он пожелал еще раз жениться на молоденькой.

И вот всемогущий Сасыкбай принудил несовершеннолетнюю Балботу спать с ним. О сопротивлении не могло быть и речи, и Балбота стала четвертой женой Сасыкбая.

Очень скоро Сасыкбай пресытился и потерял вкус к Балботе. Жилось ей трудно. Все притесняли ее. Спустя год брат ее Кенжегара окончил школу и приехал в волость на должность секретаря комитета комсомола.

Желая вызволить сестру из кабалы, а также взыскать за долголетний труд отца, Кенжегара подал заявление в парсуд.

Сасыкбай набрал свидетелей. Отборные все, один другого толще!

Старый Шокпыт не посмел вымолвить слова на суде против Сасыкбая. Это естественно. Ведь пятьдесят лет он был рабом, и ему трудно было идти против своего господина, тем более в такой обстановке, которая казалась ему диковинной.

Кенжегара выступил вперед. Он говорил ясно, отчетливо, но в голосе его слышалось негодование.

— Отец мой пятьдесят лет был рабом, мать была рабыней и умерла, не выпеся тяжелого труда. Брату Шулгау сейчас двадцать восемь лет. С малолетства он батрачит у Сасыкбая, не получая ни гроша за свой честный труд. Сам я пяти лет пас баранов и ягнят у того же Сасыкбая. Посмотрите на мою сестру Балботу! Вы видите, в каком она состоянии. Богатство Сасыкбай нажил нашим трудом. Ведь за всю жизнь мы не получили от него ни одной копейки! Мы кормились жалкими подачками, годными разве только для собак!

Затем выступила Балбота и сказала:

— Баи любят призывать и бога, и пророка, и кого угодно. Посмотрите на меня — Сасыкбаю жалко было купить мне хоть какое-нибудь платье! Он способен лишь бесчеловечно избивать меня. Никогда с моего тела не сходят синяки! Я и сейчас вся в синяках, посмотрите! — с этими словами Балбота указала на багровые пятна, сквозившие из-под лохмотьев одежды.

Суд вынес решение отдать половину скота и имущества Сасыкбая Шокпыту...

Рассказывают, что в старину один человек, увидев необычайно крупного верблюжонка, воскликнул: «Какие же у него тогда родители?» И я подумала, если эта Красная юрта вершит такие дела, то какой же размах у больших учреждений в далеких городах?

Но как ни интересно было здесь, в «бумажном ауле» у Красной юрты, мне все равно хотелось скорее отсюда уехать. Правильно говорится: у страха глаза велики! Мне все время казалось: кто бы ни посмотрел мне в лицо, он думал, что я бесстыдница и безбожница, сбежавшая из родного аула от отца с матерью.

Скоро мне представился и случай уехать. На исходе третьего дня к Красной юрте подъехал тарантас. Тот самый, который обещал починить Еркин в коммуне. Асия пригласила меня на ночлег, а утром по холодку мы должны были отправиться в дорогу. Спутниками моими оказались учитель Балкаш и его жена Жаныл.

Перед тем как мне уйти к Асии, Еркин выпроводил из юрты Баршагуль, наказал ей быть где-нибудь поблизости и никого к нам не пускать.

— Итак, ты едешь, милая Батес! Не передумала?

— Нет конечно!

— Первое мое желание сказать по старинному обычаю: пусть будет счастливым твой путь.

Я поблагодарила Еркина.

— Слушай второе мое слово. По обычаям нашего народа старший брат и сестра должны почитать друг друга. Это ничего, что между нами нет прямых родственных связей. Но случилось так, что мы теперь, как родные. Прошу считать меня одним из твоих самых близких и честных родичей.

— Я согласна, я очень рада, агай!

— Тогда у меня, милая сестра, есть и родственный разговор...

— Слушаю, агай...

— Я к тебе очень привязался, у меня душа болит за тебя, Батес! Я тебе сейчас все попытаюсь объяснить... Буркут по классу мой враг. Мы враждуем всю жизнь с его отцом Абуталипом. Пусть Буркут наперекор Абуталипу пошел своею дорогой, но сын есть сын. И как бы отец с сыном ни спорили, ни расходились, они не пожелают друг другу смерти...

Я вспомнила своего отца и тяжело вздохнула.

— Вот видишь!..— Еркин сразу догадался обо всем.— Ты с нежностью вспомнила своего отца. Не правда ли?

Я отвернулась и заплакала.

— Не плачь, милая! Крепись! У нас так мало времени. Выслушай меня, Батес!

Слова Еркина успокаивающе подействовали на меня, и я вытерла рукавом слезы.

— Наш разговор об отце и сыне, Батес!— продолжал Еркин.— Короче говоря, о Буркуте и Абуталипе. Абеу — враг трудящихся, классовый враг, как мы говорим... И наша власть, Советская власть, будет с такими врагами бороться до конца, отберет у них все средства, с помощью которых они эксплуатировали тружеников. И если они захотят в поте лица своего трудиться, мы дадим эту возможность. А начнут упрямиться, будут выступать против нас — накажем... Трудно тебе все это сразу понять, Батес!— Еркин помолчал.— Классовая борьба — нелегкое дело. Разобраться в ней не просто. Надо долго учиться у жизни. Я не собираюсь тебе давать урок политграмоты, это только так, мимоходом. Как, по-твоему, я смотрю на Буркута, если отца его считаю врагом?

— Говорят, дружески смотрите, благосклонно.

— Правильно говорят! Он своей дорогой идет, а не отцовской. Он мне нравится, нравишься мне и ты — ведь Буркут любит тебя. Я радуюсь, что ты стремишься стать

самостоятельной, независимой. Я знаю, ты предана Буркуту, любишь его... Какие-то неизвестные недобрые люди разжигают между вами вражду, отталкивают друг от друга. Теперь вы снова пытаетесь связать разорванную нитку. Я желаю вам от души, чтобы она больше не разрывалась.

— Спасибо, агай!— отвечала я Еркину.— Но правду сказать, не так легко связать эти концы. Пока я не узнаю, кто сделал альбом, пока я не поверю, что Буркут не виноват — я не хочу связывать нитку. Я ведь и отправилась в этот путь отчасти для того, чтобы узнать всю правду о фотокарточках. Хотя бы он не был ни в чем виноват! Тогда найдется и выход. Ну, а если он действительно такой, то мне ничего не нужно — ни ученья, ни жизни...

— Ты только не торопись, не теряйся. И уверься сама во всем. Тогда и перестанешь сомневаться. И дай мне руку, милая. Я чувствую, все будет хорошо!

Еркин тепло и сильно пожал мою руку.

— Вместе с вами завтра поедут и Найзабек с Нурбеком,— сказал он.

Я удивилась: зачем?

Он объяснил мне, что в эти дни в степи стало тревожно, что баи бесятся, как самцы-верблюды. Если их не держать в страхе, они будут нападать и лягаться, а при случае не остановятся и перед тем, чтобы загрызть. Кустанай далеко отсюда. По пути встречаются и совсем безлюдные степи и низины, и холмы, и березовые леса. Родственники твоего жениха, или какие-нибудь другие враги, чего доброго, будут поджидать вас в засаде, чтобы неожиданно напасть. На этой дороге, поверь мне, нельзя обойтись без вооруженных людей...

— Не дай бог случиться такому,— голос у меня задрожал,— но вы скажите, агай: сумеют ли нас защитить два милиционера?

— Знаешь ты казахскую поговорку, что дуло одного ружья вмещает сто человек? Дойдет дело до перестрелки, Найзабек с целой сотней справится! Он однажды в горах Памира один встретился с вооруженными басмачами. И что же?! Принял бой, не сдался, многих уложил наповал. В опасные минуты сердце у него становится каменным, а ружье не знает промаха. Он охотник и, говорят, попадает в глаз дикой козы.

...Вот о чем говорил наедине со мною Еркин. Уже на-

двигались вечерние сумерки и женгей Баршагуль пошла меня проводить к Асии.

Хозяйка Красной юрты была дома в этот час.

— Я никого сегодня не приглашала, Батесжан. Мы побеседуем с тобою вдвоем,— сказала она.

Баршагуль выпила чашку горячего чаю и ушла. Мы с Асией легли рядом на постель в глубине юрты.

— Поговорим, посоветуемся, пока не захочется спать. Ты, Батес, не подумай, что кто-нибудь нас может услышать. Мы ведь рядом с Красной юртой, а ее охраняет милиционер. Он и к нам никого не подпустит.

Советы Асии продолжали напутствия Еркина. Она мне рассказывала о городе, об ученье, о трудностях, которые меня ожидают. Ее слова были искренними, но я слушала рассеянно. Как говорится у нас, левым ухом. Мне припомнилось мудрое изречение: «Когда у ребенка прорезались зубы, жеванка для него уже не пища». Человек не может жить чужим умом. Сама жизнь лучше посоветует, что мне надо делать...

Так, слушая Асию, я думала о своем. Я была в полудреме. Вдруг недалеко от юрты раздались возбужденные голоса.

— Эй, кто это? Остановись!— зычно басил мужчина. Мы замерли. Очевидно, кричал милиционер, охранявший Красную юрту. Он повторил свой возглас. Его, наверное, не послушались.

— Стой! Буду стрелять.

Я представила, как милиционер взял ружье и начал прицеливаться.

— На, стреляй!— разрезал тишину женский голос.

— Я тебе сказал — не подходи! А ты идешь. Стой, говорят тебе!

— Здесь мой ребенок, что ты мне грозишь...

— Мама!— узнала я и стремительно встала с постели.

— Твоя мать?— удивилась Асия и тоже привстала.

— Родная мама... Жания!— Сталкиваясь с какими-то столиками и ведрами в темной юрте, спотыкаясь и падая, с непокрытой головой, в одной рубашке, босиком, я стремительно выбежала во двор.

Я сразу увидела две чернеющие невдалеке от юрты Асии фигуры и подбежала к ним. Милиционер говорил: «Не пущу!», а мама, моя мама, отводя дуло ружья, направленное на нее, рвалась вперед. Я решительно оттолкнула руку милиционера и с криком: «Мама!»— бро-

силась к ней на грудь. Бедная мама крепко прижала меня к себе и запричитала во весь голос.

Пусть меня воспитала не родная мать, а байбише Каракыз, пусть я когда-то чуждалась своей матери — токал, пусть я редко приближалась к ней в годы моего детства! Но не было для меня сейчас ничего теплее и крепче материнских объятий. Я слышала скорбные слова несчастных бедняков, но что могло сравниться с рыданиями моей Жании. Ее причитанья звучали над самым моим ухом, сильные, острые, разрывающие сердце. Это был не просто вопль. Я слышала в плаче матери складное звучание горькой песни. Я и не подозревала до сих пор, какая у нее глубокая нежная душа, как она может чувствовать и горевать!

Казалось, вся наша широкая степь тревожно внимает песнепричитаниям моей матери. В ближних и дальних юртах услышали этот плач. Люди выходили и взволнованно перешептывались. И я не знала, да и не хотела знать, кто собрался вокруг нас. И от холодного воздуха ночной степи, и оттого, что я почувствовала, как люблю свою маму, тело мое дрожало так, что я не могла вымолвить ни слова. Слезы матери струились по моим щекам. Бедная, родная моя мама!..

Кто-то с трудом разнял нас, кто-то успокаивал. Вероятно, желая увести нас от посторонних глаз и ушей, Асия пригласила мою маму в юрту.

Еркин, он тоже оказался здесь, напомнил, что на рассвете я уезжаю:

— А пока,— продолжал он,— пусть она немного вздремнет.

— Вздремнет!— проговорил кто-то насмешливо и зло.— Поедет она теперь после такой встречи с матерью!..

В юрту вошли трое — Асия, моя мама и я.

А за порогом юрты все еще стоял шум, и чей-то резкий голос уговаривал расходиться по домам.

Вскоре наступила тишина. Асия зажгла лампу. Мать несколько успокоилась после обычных расспросов о здоровье и жизни. Женщины познакомились. И только тогда Асия сказала маме, что я отправляюсь в большой путь.

— Я совсем не собираюсь мешать дочке, милая. Вы же не хотите ей плохого. Я понимаю, вы люди государственные, не то, что мы! Но и мы, темные, знаем, что эта новая власть помогает женщинам. Я приехала не для то-

го, чтобы возвратить дочку в родной аул. Мне просто хочется поглядеть на нее и успокоить себя. Ведь я ее родила и мне ее жалко! Но задерживать девочку не буду, отправляйте ее, как решили.

— Рассвета еще ждать долго.— Асия взглянула на часы-браслетку.— Как вы хотите: посидим или приляжем?

— Приляжем лучше. Только разреши мне лечь рядом с моей Бопаш, как ее называл, бывало, отец.

Мы вдвоем легли на мою постель и так тесно прижались друг к другу, словно слились в одно тело. Никогда мы так не сливались с тех уже далеких дней, когда мать носила меня в своем чреве. Как незабываемо хорошо чувствовать себя в руках родной мамы.

Проснулись мы от шороха.

— Асия!— послышался тихий голос.

— Ау!— откликнулась она.

— Это я, Еркин. Уже рассветает...

— Они, наверное, еще спят.

— Пора бы их разбудить. И лошади и спутники готовы.

— Да мы уже проснулись,— сказала мать.

— Пора собираться,— торопил Еркин.— День, должно быть, будет жаркий. Солнце закатилось при ясном небе. Выезжать надо пораньше. Пока прохладно — можно уехать далеко. А то лошади сразу начнут обливаться потом.

Еркин, обращаясь к моей матери, вспомнил прошлую ночь:

— Ночной плач — к дальней дороге, женгей. Нам самим было грустно. У нас ведь тоже были отцы и матери, у нас тоже есть свои дети. Каждый плачет от своего горя, как говорят в народе. Но у тебя сорвались с языка слова, которые расслабляют душу. Не надо так поступать сегодня.

— Избави боже!— отвечала мать.— Я не буду накликать на своего ребенка беду. Я уже отгоревалась и не заплачу сегодня.

— Спасибо вам, женгей!

И Еркин вышел, словно желая дать нам возможность пошептаться наедине. Вслед за ним покинула юрту и Асия.

Мы остались вдвоем с матерью, и вновь не могли оторваться друг от друга. Она, наверное, испытывала те же

страдания, когда в муках рождала меня. Я чувствовала дрожь в теле, биенье материнского сердца.

Мы долго-долго были бы рядом, если бы снова в юрту не вошел — на этот раз решительно и шумно — Еркин. Его голос разделил нас, как нож отделяет пуповину...

...Я стала собираться в путь!

Баршагуль заботливо приготовила чай. Но до чая ли мне было! Я уже торопилась сесть в телегу, потому что у меня не было сил. Я взглянула на маму. Она притихла, как туча перед проливным дождем. Кровь отхлынула от ее лица, и оно стало бледным, желтоватым...

...Утром, едва рассвело, перед юртой уже стояли две пары запряженных лошадей. В одной телеге должны были ехать Балкаш с женой и я. Меня вели под руки Баршагуль и Асия. За мною шла мама в сопровожденьи двух женщин... Я обняла ее на прощанье и беззвучно заплакала. Мама не дрогнула, не зарыдала. Она стояла неподвижно, словно окаменевшая, и у нее хватило последних сил тихо произнести только обычные краткие слова:

— Счастливого пути, светик мой!

Она коснулась губами моей щеки и не тронулась с места. Уже садясь в телегу, я увидела, как ее лицо подернулось рябью. Так дрожит молоко, готовое вот-вот закипеть. И мне показалось, этот жар может пролиться и на меня.

И вот мы тронулись! Дернулись, натянулись вожжи. Застоявшиеся кони рванулись вперед!

— Доброго пути!— в один голос выдохнули провожающие. Слезы застилали мне глаза. Фигуры остающихся расплывались, словно в тумане. Лошади бежали быстро, и я никого не видела отчетливо. Я только угадывала сквозь туман скорбный облик матери.

— Прощай, бедная моя мама!

Губы мои пошевелились, чтобы произнести эти слова. Их я вымолвила только сердцем.

ВОЛКИ В СТЕПИ

Я покинула Красную юрту почти в беспамятстве. Сказалось все сразу: и душевная боль во время прощанья с мамой, и тревожные бессонные ночи, и даже то, что я осунулась, похудела, стала, кажется, похожей на скелет.

Телега подпрыгивала на выбоинах степной дороги, узкой, как тропинка. Временами я забывалась, дремала

и наконец совсем лишилась чувств. Я сидела между Жаныл и Балкашем. Качнувшись, чуть не свалилась с телеги.

— Ты уже не можешь, Батес, сидеть одна, придвигайся ближе ко мне, я тебя поддержу,— сказал Балкаш и обнял меня.

Помню только, как я послушно прислонилась к нему и сразу же заснула.

...Я открыла глаза оттого, что кто-то меня тряс и звал по имени. Солнце уже приближалось к полудню. Телеги наши стояли. Мои спутники прогуливались рядом. На телеге оставались только мы вдвоем: я полулежала в руках Балкаша.

— Ты спишь слишком крепко,— сказал мне Найзабек.— Мы уже далеко отъехали от аула. Сколько с той поры прошло времени! Сходи с телеги, разгони сон. Видишь, мы приехали в урочище Каска-булак, умойся холодной водой, и сон как рукой снимет.

— Довольно тебе обнимать девушку!— Жаныл не очень одобрительно посмотрела на мужа, который все еще поддерживал меня. — Никак ты не можешь оторваться от своей любимицы.

Мне послышалась в ее словах ревность, и это так удивило меня, что сон мигом рассеялся.

Я осмотрелась вокруг. Место для отдыха было выбрано в затишье, в устье степного оврага. Из каменистой ложбинки редкими струями вытекал родничок. Вода стекала в неглубокую песчаную впадину, равную, примерно, основанию юрты. Вода была удивительно прозрачной и пузырчатой. Точь в точь, как в роднике и водоеме Кайнар в окрестностях нашего Бузаукопа.

Помню, байбише Каракыз сердилась на нас, малышей. «Смотрите, вас еще захлестнет вода»,— бурчала она, когда я вместе со своими сверстниками купалась в Кайнаре.

Так живо встали передо мной эти картины аульного детства, что я побежала к песчаному бережку и стала сбрасывать с себя верхнюю одежду.

— Ой, Батес, ты серьезно решила купаться?— услышала я чуть насмешливый голос Нурбека. И, сразу смутившись, я быстро оделась.

— Я догадался, Батес вспомнила свое детство. Как она любила купаться в Кайнаре на жайляу,— сказал Балкаш.— Я часто видел ее там маленькой.

— Ты, оказывается, знаешь ее с самого детства.— В этих словах Жаныл было столько злости, что Балкаш запнулся и замолчал. Снова она почувствовала ревность. То же самое, вероятно, пришло на ум и балагуру Нурбеку. С легкой улыбкой он поддразнил Жаныл:

— Ты разве не знала, женгей, что на глазах нашего учителя росла такая красавица?

— Довольно!— прервал разговор, не любивший и не понимавший насмешек, Найзабек.

Нурбек, уважая Найзабека и как начальника и как старшего по возрасту, не стал ему перечить и прекратил шутки.

...В низинах у родников обычно поднималась высокая трава. Так было и у нашего Кайнара, так было и вокруг Каска-Булака. Найзабек с восхищением смотрел на густую яркую зелень.

— Ну, товарищи! Здесь мы выпряжем лошадей, пусть они просохнут от пота, отдохнут и попасутся... Кажется, и мы сами проголодались. У нас припасено кое-что в дорогу. Есть и небольшой бурдюк кумыса. Поедим, попьем, вот и подкрепимся.

— Вчера Еркин подстрелил жирного гуся и утку. Баршагуль приготовила их, начинив горным луком — жуа и картофелем. Она сказала, что это для Батес! В кринку она налила вареных сливок и советовала их есть скорее, чтобы не прокисли. Сегодня будем есть или завтра?— спросил Балкаш.

— Да не облизывайся ты!— зло посмотрела Жаныл на своего мужа.

Тут у меня уже не оставалось сомнений, что она ревнует Балкаша ко мне. Балкаш был старше жены лет на двенадцать-тринадцать и женился совсем недавно. Всезнающая Калиса как-то рассказывала мне, что он всегда был робок с женщинами. Никто никогда не слышал о нем никаких сплетен. Многие даже сомневались — здоров ли он? Может быть, из-за своей робости он и женился поздно. Коренастая, полная, с плоским лицом и к тому же курносая, Жаныл не отличалась красотой. Да и Балкаш тоже не был красавцем. Джигиты-балагуры, вроде Нурбека, часто подшучивали над ними: «Тетушка достойна дяди! Эх, и соединил же их аллах».

...Мы умывались прозрачной, как слеза, водой, черпая ладонями холодные струи. Потом уселись на широкой

зеленой полянке. Вчера было душно и жарко, а нынче пасмурный день, и нежный ветерок овевал нас.

Нурбек оказался джигитом, способным не только на острые шутки, но и на быструю работу. Он мгновенно расстелил на траве дастархан и принялся выкладывать пищу, весело приговаривая:

— Среди всех нас моложе меня только Батес. Но она — гостья. Правда, и Жаныл-женгей еще очень молода. Однако я решил ее не беспокоить. Перед ней большой путь! Вот с кем мне придется поработать...

И он указал на нашего кучера Жолдыбая.

— А пищи у нас вдоволь. Смотри-ка! Жена Найзабека и Баршагуль наварили нам столько, что хватит до самого Кустаная. А уж если и этого окажется мало, то в большой чемодан мать положила для Батес вяленого мяса и бурдюк с топленым маслом.

Нурбек всех обвел лукавым взглядом:

— Так с чего же мы будем начинать? Может быть, с ягненка. Этот жирный ягненок был зарезан в честь Батес, но угостить ее в ауле не пришлось. Сейчас тепло. Молодое мясо может испортиться, давайте его съедим. А что, если мы его разогреем? Ведро-то у нас есть.

— Мясо ягненка и холодное вкусное!— не выдержал Балкаш. Недаром про него говорили, что он падок на мясную пищу, еще когда он учил детей в нашей школе, помнится, я слышала разговор о том, как Балкаша не могли накормить целым аулом. Однажды в нашем доме зарезали кобылицу, и я своими глазами видела, как этот прожорливый учитель съел целиком тельше — пашину с предпаховым жиром толщиной в четыре пальца. И уж если сейчас он пытался нас убедить, что молодой барашек в холодном виде еще вкуснее — значит, ему очень хотелось отведать мяса ягненка.

Угощение, извлеченное из чемодана и мешков расторопным Нурбеком, было на редкость жирное. Не только в аппетитной филейной части, но даже в мясе берцовой кости, обычно самом постном, слоями переливался жир. Вся тушка ягненка была приготовлена для дороги, вся тушка целиком, кроме, может быть, требухи. Даже курдюк, не снятый с крестца и необычно большой для ягненка, не забыла сохранить в качестве особого лакомства жена Найзабека.

— Молодцом моя байбише,— радовался милиционер, довольный заботами жены,— когда резали ягненка, я и не

приметил, что он такой жирный. Подсаживайся, Балкаш, действуй. Без тебя мы теперь вряд ли справимся. Я ведь слышал, что ты знаменитый мешкей — обжора!

Найзабек еще раз оглядел дастархан и мясо, уже разделенное на куски, и снова подзадорил учителя:

— Мы теперь за одним столом. Давай кушай.

— Думаешь, буду смотреть,— с достоинством ответил Балкаш, не меняя своего обычного сдержанного выражения лица.— С этими кусочками я разделаюсь в два счета. Чем ты меня еще угостишь?

— Кроме кумыса у меня ничего нет,— с деланным испугом произнес Найзабек.

— Кумыс ты пей сам. Чашки две я еще выпью. А вот на мясо я рассчитываю серьезно.

Когда Балкаш принялся уписывать огромные куски с застывшим жиром, мы не могли оторвать от него глаз.

— Надо сперва с этим салом управиться,— сердито сказал он и стал отправлять в рот ломоть за ломтем курдюк, уже разрезанный Нурбеком. Он покончил с ним молниеносно.

— Теперь подошла очередь и филе,— объявил он и не позволил разрезать на куски филейное сало. Он взял филейное сало, как берут большой белый калач и, откусывая с края кусок за куском, так же быстро уничтожил и его.

— Ну что вы на меня смотрите? Не видели что ли человека, который умеет есть? Так вот, остальное сало тоже мое, а уж постное мясо ешьте вы сами, иначе останетесь голодными...

Балкаш ловко стал снимать сало с мозговых костей и позвонков и уплетал его с завидной легкостью.

И только когда жирных кусков на дастархане совсем не осталось, он кротко обратился к Найзабеку:

— Ты теперь не обижаешься на меня?

— Если ты насытился, не обижаюсь.

— Как же, насытился!— усмехнулся Балкаш.— И это ты спрашиваешь у меня, у Балкаша, который съедает без остатка тушу целого валуха? Как же он может до конца насытиться ягненочком. Я даже не чувствую тяжести в желудке.

— О аллах! Никто не может, Балкаш, потягаться с тобою.

Мы подкрепились и хотели продолжать путь.

— Агай, если вы разрешите, я сяду возле вас,— попросила я Найзабека.

— А разве тебе плохо там?

— Я очень прошу, разрешите...

— Хорошо, но почему бы тебе не ехать, беседуя с Жаныл-женгей?

— По-моему, Батес, прежде всего сторонится Жаныл,— не выдержал Нурбек.— Я люблю говорить прямо, пусть это иногда бывает и стыдно. Жаныл приревновала Балкаша к Батес.

Эти слова услышали и Балкаш с женой. Учитель призвал на помощь аллаха, а Жаныл нахмурилась и отвернулась, всем своим видом давая понять, что это правда. Как было бы хорошо, если бы учитель откровенно объяснил все своей глупой жене, подумала я, но, понятно, промолчала. Вероятно, такие же мысли пришли и Найзабеку, однако он тоже не раскрыл рта, поглядывая то на Жаныл, то на Балкаша: мол, как же вам не стыдно. И только Нурбек высказал все до конца:

— О аллах! Да что она, больна, что ли, твоя жена? У Батес есть свой молодой джигит! Неужели она увлечется тобой — низколобным бычком?

— Хватит, Нурбек, болтать!— запетушился оскорбленный Балкаш, надвигаясь на милиционера...

А тот разгорячился еще больше:

— Выходит, ум твоей жены под стать ее фигуре и виду!

— Перестань, Нурбек!— вмешался Найзабек.

— Ой, с ума можно сойти,— уже примирительно сказал Нурбек.

Однако не так легко было остановить разъяренного Балкаша. И если бы не Найзабек, кто мог поручиться, чем бы окончилась ссора... Я села на телегу милиционеров рядом с Найзабеком, а Нурбек устроился впереди ящиков и взял вожжи.

Так мы и выехали.

Знакомые холмы, взгорья и впадины Кызбеля!..

Я почувствовала себя бодро. В этот нежаркий облачный день приятно веял легкий ласковый ветерок...

Найзабек, видимо, неразговорчивый от природы, думал о чем-то своем и дремал...

Ну, а Нурбек? Он слишком часто с улыбкой оглядывался на меня. Ему хотелось заговорить, хотелось на-

чать обычные свои шутки, но было заметно, что он стеснялся.

Нурбек мелодично, тихо, почти про себя, насвистывал разные мелодии или вполголоса напевал степные песни. Какой он веселый, жизнерадостный джигит!

...Под вечер, на второй нашей остановке, когда мы дали передохнуть лошадям, зашел разговор о предстоящем ночлеге.

— Есть одно предложение, товарищи,— сказал Балкаш,— по пути находится дом Буркута.

У меня сердце дрогнуло, когда он сказал это.

А Балкаш между тем продолжал с невозмутимым спокойствием:

— Как говорится, в правдивом слове нет стыда. Мы все хорошо знаем, что Батесжан едет отыскивать своего Буркута. Молодые люди не поняли друг друга и пока разошлись. Мы же должны считаться с некоторыми казахскими обычаями. Вот Батес едет без разрешения отца и матери...

— Говори точнее, товарищ учитель, без разрешения отца,— перебил Балкаша Нурбек...

— Я не понял твоих слов...

— Не притворяйся, учитель, разве мать не приехала в аул Красной юрты и не проводила ее?

— Э-э, родная мать,— протянул Балкаш.— А мать, воспитавшая ее, байбише Каракыз, и не думала отпускать...

— Слушай, оставим пока матерей,— вмешался Найзабек,— говори, Балкаш, толком, что ты хотел предложить.

— Будет хорошо, если Батес получит благословение отца и матери Буркута,— сказал наконец Балкаш.

— С этими обычаями можно было бы и покончить!— И Нурбек сердито отвернулся.

— Зачем я должен покончить?— разошелся Балкаш.— Тебе и мне все равно! Но если Буркут с Батес встретятся и Батес скажет ему, что получила благословение его отца и матери, представляешь, как он будет доволен? Да и что ты знаешь, что умеешь?.. Вот разве держать винтовку!..

— Не заканчивай так, Балкаш!— Найзабек принял его слова о винтовке и на свой счет.— Владеть оружием — это еще не значит лишиться ума.

— Эх, и непутевый у вас разговор!— заметил молчавший до сих пор кучер Жолдыбай.

Но Балкаш продолжал свое. Правда, к Найзабеку он относился с большим почтением и боялся его обидеть.

— Ты слишком близко принял к сердцу мою шутку. Я думал только о Нурбеке. А он из тех, кто может болтать о чем угодно...

— Ну хорошо, хорошо, поедем в аул Абуталипа,— согласился Найзабек.

— А ты уверен, что нас встретят приветливо?

— Уверен!.. А если нет, то убедим!..

— Может быть, лучше, если это решит сама Батес?

Балкаш стал уговаривать и меня.

— Ах, делайте, что вам хочется,— отвечала я,— мне, право, все равно — одобрят меня или не одобрят. Лишь бы не винили.

Балкаш истолковал эти мои слова как согласие заехать к родителям Буркута:

— Может быть, Абеу-агай и не будет доволен, человек он жестокий. Зато Асылтас-женгей безмерно обрадуется, когда она увидит Батес в своем доме, прижмет ее к груди, как задушевную подругу своего сына Буркута.

— Заезжать так заезжать!— решили мои спутники и свернули к аулу.

Когда солнце склонилось к закату, позади нас послышался крик. Нурбек оглянулся, остановил бежавших рысью лошадей.

— Балкаш машет шапкой, видите!

Вторая телега поравнялась с нами. Балкаш показал на светлевшие вдали юрты.

— Вот это и есть аул Абуталипа. Я поеду первым — сообщить о нашем приезде. Хозяева ведь не ждут нас. А вы не торопитесь, езжайте медленно и как раз будете в срок.

Мы согласились.

Балкаш помчался вперед, а наша телега медленно следовала за ним. Солнце уже закатилось, на востоке сгущались сумерки, а на западе догорали последние лучи вечерней зари. Из аула выехал верховой и галопом поскакал в сторону от нас.

— Так это же отец Буркута, Абеу,— воскликнул Нурбек, отличавшийся острым зрением.

— Абеу?— удивился Найзабек.— Как только ты его разглядел?

— Я же все-таки моложе вас,— с легкой насмешкой ответил Нурбек,— ведь с моими глазами ничего не случалось, чтобы я не мог узнать... Да и у кого, кроме Абеу, есть такой темно-серый конь... Аллах ведает, но, кажется, хозяин сбежал от своих гостей.

Когда мы вплотную подъехали к большой белой юрте на западной стороне аула, оттуда послышался визгливый лающий голос, резавший уши. Кричала женщина. Не слезая с телеги, мы замерли, вслушиваясь в этот крик.

— Балкаш!— визжала она.— Враг ты мне или нет?.. Если враг, скажи прямо, что ты хочешь взять!.. А если человек, уходи отсюда и не вздумай показывать мне эту суку — каншык!

Мне стало все ясно. Это разошлась в гневе мать Буркута — Асылтас. Кровь бросилась мне в голову.

Балкаш призывал к терпению, уговаривая Асылтас.

— Какое там терпение!— еще сильнее завизжала женщина.— Разве не из-за этой кобылицы задрались два жеребца? Разве она не тот самый пестрый жеребенок, который поднял на ноги два аула? Ты уберешь, Балкаш, отсюда эту хитрую девку или не уберешь? Смотри, я сначала пырну ножом ее, а потом и себя.

— Она что, в своем уме эта женщина?— приподнялся Нурбек.— Может, я выбью из нее дурь?

Он уже было направился в юрту, но Найзабек осадил его резким движением. В это самое мгновение оттуда выскочили один за другим — кучер Жолдыбай, Жаныл и Балкаш. С опаской оглядываясь назад, они бежали к своей телеге.

— Что же все-таки случилось?— спросил Найзабек.

— А пропади она пропадом!— махнул рукой Балкаш, поспешно усаживаясь в телегу и поторапливая своих спутников.— Уедем, пока целы, от этой ведьмы.

И мы повернули обратно. Телега Балкаша и на этот раз громыхала впереди. Уже на довольно далеком расстоянии от аула мы остановились, и Балкаш рассказал о случившемся:

— Ойпырмай! Я видел много вздорных женщин, Найзабек, но такой еще не встречал. Она сама не ведает того, что творит! Я и раньше догадывался, что аллах лишил ее разума. Но теперь знаю — она и впрямь бесноватая. Если бы вы чуть-чуть задержались, она бы нас исцара-

пала и искусала. Когда Асылтас услышала, что и вы подъехали, она испугалась, сдержала себя и не дала рукам воли.

— Но что же она хочет?— недоумевал Найзабек.

— Она хочет так много, что всего и не перескажешь. А порой и сама не знает, чего хочет. В горе она, в большом горе!

— Что же там произошло?

— Абеу вчера неожиданно вызвали в Кустанай. Дома опасаются, что его посадят...

— Погоди, Балкаш... Так это не Абеу умчался из аула на темно-сером коне?

— Нет, Текебай, его сын. Думаю, он сбежал от нас. Мы — в юрту, он — из юрты. Даже на приветствие не ответил... И тут же мы услышали конский топот.

— Понятно,— протянул Найзабек.— А ведь Абеу действительно могут посадить. Недавно расследовалось дело о расхищении товаров в многолавке. Я сам отправил из волости кучу материалов. Кажется, он из таких, что могут проглотить верблюда вместе с шерстью и кобылицу с поклажей. Много он проглотил народного добра. Пора бы ему изрыгнуть обратно.

Слова Найзабека кольнули меня в самое сердце. В торговых делах этой многолавки — ее у нас называли «кандукен»— принимал участие и мой отец. Жирные куски, наверное, тоже не прошли мимо его рта. И крючок, на который попался Абеу, может подцепить и моего отца. От раздумий меня отвлек Найзабек:

— Все ясно, нечего нам здесь прохлаждаться, поехали дальше!

— Какой же дорогой мы поедем?— спросил Балкаш.

— Напрямик!..

— Ойбой, ехать безлюдной степью — можно с голоду умереть. Не лучше ли нам выбрать кружной путь. Нам будут встречаться аулы, где можно и переночевать и всласть поесть.

— Мы тебя вдоволь накормим, Балкаш, и тем, что припасено у нас в дорогу!

— Где там припасено?— Нурбек плутовато взглянул на Найзабека,— до Кустаная еще осталось пять-шесть ночевок.— Но ведь вы сами видели, сколько может съесть Балеке. Припасенного мяса хватит ему на один раз. Самое малое — Балкашу нужен на день ягненок и притом жирный...

Но Найзабек и шутки не принял:

— Поехали напрямик! Это у Балкаша есть время петлять ради угощенья, а у нас времени нет. И торговаться не нужно!

— Где же мы остановимся на ночлег?

— Впереди. Я скажу где...

— Ах, какие чудесные ягнята... И они нам не достались. Наверное, они сейчас блеют от радости, что ушли из-под ножа,— не унимался Нурбек, уже погоняя лошадей.

Смеркалось. И чтобы поднять несколько омраченное настроение, Нурбек во весь голос затянул свою любимую «Майру»:

Майра мое имя, отец Вали.
Я петь начинаю — услышат вдали...

Веселая была, должно быть, его Майра!.. Если судить по песне, она была Нурбеком среди девушек... Почему аллах не создал меня такой!..

...Как и предполагали, нам несколько раз пришлось ночевать в открытой степи. И, как говорил Нурбек, вареное мясо, прихваченное в дорогу, не было тяжелым для ненасытного желудка Балкаша. Когда же приступили к утке и гусю, приготовленным Баршагуль, Найзабек предложил отдать всю дичь учителю, а остальным ограничиться баурсаками с куртом и маслом. Но Нурбек никак не пожелал согласиться с этим:

— Что ж,— говорил он,— неужели мы будем ему облизывать рот! Хотите быть щедрыми — отдавайте свои доли, а со своей я и сам управлюсь.

И он приналег на гусятину. Балкаш, кажется, обиделся и тоже стал настаивать, чтобы вся птица была разделена поровну.

Словом, на каждой остановке у нас вспыхивали споры, доходящие порой до скандалов. Мы ссорились и перед тем как улечься спать. Я стремилась лечь рядом с Жаныл, чтобы она чувствовала себя спокойно. Но она и на это не соглашалась. Она боялась отпустить от себя мужа и требовала, чтобы только он был возле нее.

— А Батес?— робко спросил Балкаш.

— Зачем тебе Батес-матес!.. Разве у нее нет своей телеги? Найдет там себе место! И раз я сказала тебе — иди, значит, иди!— сердито распоряжалась Жаныл.

Я посоветовала Балкашу не спорить с женой:

— Устроюсь на ночлег, не беспокойтесь!— сказала я.

— Подождите! Хорошо, если женщины лягут вдвоем,— опять некстати вмешался Нурбек.

— Оставь свои насмешки!— разозлился Балкаш.— Шути со своими ровесниками. А здесь их у тебя нет!

И тут, как всегда, всех рассудил Найзабек:

— Не будем ссориться! Батес переночует на нашей телеге, а мы с Нурбеком устроимся на траве.

Я, не раздеваясь, улеглась на кошмы, постланные в телеге, и опять долго не могла заснуть. Милиционеры негромко разговаривали. Вдруг я отчетливо уловила слова Найзабека:

— Сегодня надо быть особенно осторожным. Мы находимся неподалеку от аула Сасыка. Сасык злится от обиды и стыда. Ведь сбежала нареченная невеста его сына. Он может натравить на нас своих прихлебателей.

— Но что они нам сделают?

— Ты, оказывается, совсем еще мальчик!— рассердился Найзабек,— возьмут и выкрадут наших лошадей! Попробуй потом их отыскать. Не только лошадей, но и цепи не найдешь! Они могут и сегодня это сделать. Представляешь, как тяжело нам придется на половине большого пути. Вот так и отомстят.

— Как же нам уберечься, Найзабек-агай?— заволновался Нурбек, забыв свои обычные шутки.

— Лошадей надо до рассвета привязать к телеге, а на ноги им набросить путы. Да и мы сами должны быть наготове.

— Даже после того как опутаем лошадей?

— Какой же ты легкомысленный, Нурбек!.. Что для опытного конокрада-барымтача путы?.. Долго ли открыть замок и легко порвать цепь? Надо сделать так, как я говорю, а на рассвете будем пасти лошадей по очереди. Но помни: стоит сомкнуть глаза, как их немедленно выкрадут. Не веришь? Попробуй засни, и, если лошади будут на месте, когда проснешься, я отрежу для тебя свой нос.

— Неужели конокрады недалеко от нас?

— А ты как думал... Ручаюсь, что они следят за нами из оврага и знают каждый наш шаг. Ты думаешь, Текебай зря выехал из аула? Он не угощенья пожалел, а поехал предупредить своих друзей. Заблудившиеся волки всегда находят друг друга, подвывая. Текебай волком рыщет по степи. Он уже оповестил всех нужных людей. Сейчас они наверняка где-то возле нас.

Все новые и новые страхи возникали на пути. Я спросила Найзабека:

— Что же нам делать?

— Ты лежи спокойно, милая. Осторожность нам не помеха. Если мы бодрствуем, к нам и тысяча побоится подойти.

И все-таки страхи не проходили. И от них, и от ночной прохлады меня охватывала дрожь. Я напряженно вслушивалась: вот привязали лошадей к телегам, вот опутали им ноги. Все трое — Нурбек, Найзабек и Жолдыбай о чем-то перешептывались. Я всеми силами старалась отогнать сон. Мне, казалось, стоит только заснуть, как появятся враги...

Так и случилось... С криком и шумом какие-то вооруженные всадники окружили ночлег, напали на нас и поволокли, словно козлят во время кокпара — козлодранья... Я слышала голоса «умираю!», «умираю!». В человеке, который схватил меня за волосы и поволок к телеге, я узнала Сасыка!.. Он был страшным, как дьявол. Намотав на одну руку мои волосы, он пригрозил: «Вот сейчас я тебе перережу глотку»,— и вытащил из кармана кинжал. Я не выдержала и закричала...

И в это же мгновенье я услышала заботливый голос:

— Что с тобой, Батес? Это мы!.. Найзабек и Нурбек...

И тут я спрыгнула с телеги и стала обнимать то одного, то другого. Я пришла в себя и поняла: все увиденное мною — сон.

— Если мы все так глубоко уснем, то сон может обернуться правдой,— заметил Найзабек.— В степи, действительно, неспокойно. Мы видели шныряющих в оврагах пройдох. Их, кажется, не так уж мало. Но они видели нас на страже и не отважились на воровство. Они вспомнили старую поговорку: «Где воры — там и погоня...»

В тревоге прошла эта ночь.

На следующий вечер я решила угостить своих спутников и открыла деревянный чемодан, которым снабдила меня мать. Чего только там не было! Я увидела казы — копченую колбасу из жирного мяса лошади, зарезанной в конце зимы. Тут были и крупные куски какпыша — сушеного мяса, и многое другое. Все это источало пряный запах копченостей. Бедная мама! Она ведь должна была помнить, что я не могу съесть даже ломтика сала. Для кого же она приготовила все это?

Балкаш сразу почувствовал щекочущий аромат и жадно взглянул на сало.

— Уау, уау,— радостно замяукал он, как кот,— вот где самое вкусное мясо.

— Что ты там увидел, Балкаш?

— Я увидел, что нам не угрожает голод. В телеге столько жирного мяса. Отрезай с краю и ешь!

Его попробовали сдержать. Ему говорили, что эту пищу мать приготовила для того, чтобы Батес поддержала себя в городе. Но не так-то легко было переспорить обжору Балкаша:

— Разве я не знаю Батес? Она не может съесть и маленького куска сала. Она все равно не притронется к этому мясу!— И, заранее предвкушая удовольствие, Балкаш глотал слюнки.— Уж мы его попробуем. Недаром говорят, пища мужчины и волка лежит на дороге... А для Батес что-нибудь найдется...

— Тогда начнем варить,— предложила я.

Найзабек еще раз попытался нас отговорить от этой затеи. Но мы с Нурбеком наполнили ведро копченым мясом и подвесили его к треножнику над костром.

— Если даже в его животе сидит бесыр (прожорливая сказочная змея) — все равно он один с этим не справится,— шепнул Нурбек так, чтобы не слышал Балкаш.

— Ведь тогда баранины было у нас, пожалуй, меньше,— сказала я.

— Дело не в том, меньше или больше. Вы посмотрите на эту копченость, синюю, как лед... Ее есть куда труднее, чем молодого барашка...

— Легче или труднее, это будет видно,— ухмыльнулся Балкаш.

Когда мясо в ведре сварилось, его стало еще больше. Оно едва умещалось на деревянном блюде, на котором недавно нарезал куски ягненка Нурбек.

После молодой баранины действительно трудно было есть копченое сало. К нему никто и не прикоснулся. Никто, кроме Балкаша. Он уплетал его, причмокивая и чавкая. Нас даже мутило от этого зрелища, и мы отошли в сторону. Но очень скоро Балкаш подал свой голос:

— Идите смотрите!

К нашему удивлению, на блюде оставался только кусок сала, величиной с ладонь. Но Балкаш тут же съел и его, а потом поднес блюдо ко рту и залпом выпил остатки жирного соуса.

— Да ты настоящий мешкей — обжора!

Эти слова Нурбека Балкаш выслушал с достоинством, как заслуженную похвалу.

...Если бы во время нашего пути не звучали песни Нурбека — он мог их петь без устали сколько угодно,— если бы нас не забавляло беспримерное обжорство Балкаша, нам, наверное, было бы очень скучно в пустынной степи. Особенно мне. Ведь нелегко девушке из аула беседовать с мужчинами. Начать разговор невежливо, а сами они редко задают вопросы. Может быть, они думали, что озабоченная своей тревожной судьбой, я не очень склонна к беседам, а может быть, и не знали, о чем со мной говорить.

Единственная моя спутница Жаныл надулась в первый же день дороги и продолжала сердиться на меня до сих пор.

...Мы долго ехали степью. Но вот вдали показались смутные очертания леса.

— Аманкарагай!— возвестил Нурбек.

Я знала этот бор, знала и запрятанные в его чащах семь озер. Довелось мне побывать и в русском селе, которое так и называлось Семиозерным. Это было в прошлом году, когда байбише Каракыз возила меня к своим родственникам. Многое повидала я тогда. Но особенно запомнились мне чудесный лес и прозрачная тихая озерная вода.

Мы держали направление на Семиозерное. Наступили сумерки. Мы остановились, и начался всегдашний спор о ночлеге.

Одному хотелось ночевать в селе, другому на берегу озера, в аманкарагайском лесу.

— Вы разве не знаете, что в селе продают не только мясо, но и кости. За все надо платить — и за ночлег, и за хлеб, и за мясо. Да и лошадей в селе даром не покормить!— И Балкаш уговаривал нас отдохнуть на берегу озера Аулие-коль в густом бору, подальше от села.— А в Семиозерном купим хлеба, калачей. Мясо же у нас есть...

Действительно, остатки копченостей — это приметил своими жадными глазами Балкаш — остались у меня в чемодане. Вершок казы, вершок конской ветчины и немного сальных шкварок. Сплошной жир и никакого мяса! Из всех моих спутников только один учитель мог съесть эту пищу без особенного труда. Ну что ж, пусть ест, если хочет, а то придется выбрасывать...

Нурбека на этот раз не прельщал ночлег в бору у озера.

— Кто нас заставляет ночевать под открытым небом, если рядом поселок,— ворчал он.— В лесу сейчас много комаров и мух, да и холодновато ночью. И нельзя утверждать, что преследователи отстали от нас. Лучшего места, чем лесная чаща, им не найти для засады. Да к тому же ночью, наверное, пойдет дождь. Под соснами мы от него не укроемся. Обоняние Балкаш-агая щекочет запах мяса; не беспокойся, агай, пожалуйста! Так и быть, сегодня на свои деньги я куплю жирную русскую овцу. У нее один недостаток — нет курдюка, но сальным мясом овцы в Семиозерном не уступают свиньям. Даже ты не сможешь съесть сам целой овцы. А сена мы с Жолдыбаем вдоволь накосим на берегу озера и его хватит с избытком нашим четырем лошадям.

Решающее слово оставалось за Найзабеком.

— Там посмотрим,— неопределенно ответил он на вопрос изрядно проголодавшегося Балкаша.

Дело кончилось тем, что мы подъехали к дому какого-то зажиточного русского крестьянина, у которого можно было взять и хлеба, и молока, и каймака, и масла. У него во дворе были и длиннохвостые черные овцы.

Переговоры с хозяином повел Найзабек. Он сходил к нему в дом и вскоре вернулся с булками и калачами. Под мышкой держал небольшую крынку. Отдувались и карманы его куртки.

— Ну, теперь нашего Накена хоть привяжи, все равно не удержишь!

Я не поняла, о чем говорит Нурбек.

— Ты только присмотрись к его карманам. Клянусь аллахом, самогон!

Я не знала, что такое самогон, и Нурбек объяснил мне:

— Самодельная водка, очень крепкая...

— А как ты догадался, что это она?

— И запах услышал, и по выражению лица Найзабека понял. Он золотой человек, но у него есть один недостаток: после того как побывал на фронте — стал пить, когда ему удается раздобыть водки. Давно он к ней не притрагивался. А сейчас радуется, что нашел самогон. Правда, с ним ничего не случается. Но если напьется, то будет молоть всякий вздор, надоедать, выматывать душу...

— Может быть, попросить его, чтобы он не пил?— робко предложила я.

— И не вздумай! Найзабек этого не любит. Лучше уж сделать вид, что ничего не подозреваешь...

Найзабек протянул нам булки и калачи, от которых шел приятный кисловатый запах.

— Вот, только что из печки, горяченькие! Есть и свежие сливки,— показал он на крынку,— макай в них горячие калачи и ешь. Знаменитая пища. Есть у меня и лук, и чеснок, и морковь.

Последние слова относились к Балкашу:

— Овца нужна? Если очень хочешь, куплю и овцу.

Балкаш промолчал.

— Не горюй, друг мой!— продолжал Найзабек.— Сегодня мы сварим копчености, оставшиеся в сундучке у Батес. А если ты еще слопаешь и эти вкусные калачи с каймаком, то досыта наешься, пусть у тебя по-прежнему шевелится в животе семиглавая змея.

— Ведь я же у тебя ничего не прошу,— обиделся Балкаш.— Не ты меня кормишь. И в селе и в лесу я всегда себе найду пищу.

— Да я шучу,— успокоил его Найзабек.— Не принимай близко к сердцу. Знаешь пословицу: хорошо гнаться за лисой, когда она петляет; приятно посмеяться, когда в разговоре много скрытых шуток.

Балкаш дал понять, что он больше не обижается.

— Тогда уйдем к озеру!— решил Найзабек...

— А я бы, если можно, до рассвета остался в селе,— неожиданно сказал Нурбек.

Найзабек удивился.

— Хочу помыться в бане. Я вернусь в срок, как вы мне скажете. Не беспокойтесь за меня.

— Хорошо, оставайся,— согласился Найзабек,— а мы немного отдалимся от села и заночуем на берегу. Там и комаров не бывает. Приходи, как только забрезжит рассвет.

Нурбек остался в селе, а мы двинулись к озеру Аякколь. Заходило солнце. Лошади легко шли рысцой по песчаной дороге, проложенной в густом сосновом бору. К месту нашего ночлега мы приехали уже в сумерках.

Аяк — последнее... Видимо, это озеро было названо так, потому что оно находилось в сторонке от остальных шести озер. Широкое и ясное, оно совсем не было последним по красоте. Песчаный берег его, ровный, пологий,

казался выстланным струганными досками. Обычно прозрачная, как слеза, вода в этот сумеречный час выглядела белесой; и само озеро, окруженное плотной стеной сосен, напоминало кумыс в резной, ярко раскрашенной чаше.

Здесь было очень много птицы. Встревоженные нашим появлением гуси, утки, чайки, чибисы то шумно поднимались, то садились и опять взлетали.

А в центре озера на расстоянии ружейного выстрела по молочной глади плавно и спокойно скользили два лебедя. Их, казалось, не касался птичий переполох. Но это только казалось. И лебедям передалось беспокойство. Завидев людей на берегу, они захлопали крыльями по воде, поднялись и улетели.

Наступила тишина.

Как здесь было красиво! Я не могла налюбоваться озером Аяк!

...Лошадей выпрягли и привязали к соснам, опутали им ноги.

— Ну как, Батеш-жан, сварим копчености из твоего чемодана?— обратился ко мне Найзабек.

Я принялась за дело.

Пока мы вдвоем с Жаныл ходили по воду, мыли мясо и складывали его в ведро, мужчины наломали сушняка и разожгли костер. Когда пища была готова, Найзабек поставил на дастархан две большие бутылки.

— Это, товарищи, и есть самогон, словом, самодельная водка. Я знал, что ночью у озера бывает прохладно. И, чтобы мы не замерзли, я его на всякий случай прихватил... Нам с Балкашем хватит. А Жолдыбаю — и просить будет — не дадим. Пусть охраняет лошадей. Жаныл, может быть, и пробовала, но Батес, наверняка, не знает, что это такое...

Жаныл помотала головой:

— Я тоже никогда не пила...

— А ты, Балкаш, верно, не возражаешь?

— Немного могу,— согласился Балкаш.

— Тогда начнем потихоньку. Закуска есть — хлеб с чесноком...

Балкаша не пришлось долго упрашивать.

Посуды у нас было немного — три небольшие деревянные чашки. Мы пили из них либо кумыс, либо сурпу — мясной бульон. Найзабек наполнил доверху две чашки. Самогон имел противный запах стоячей воды солончакового озера. Правда, я слышала и раньше, что су-

ществует арак — водка, но мне еще никогда не приходилось ее видеть И я решила, что водка так же плохо пахнет. Мне случалось наблюдать, как люди пьянеют от кумыса — краснеют лица, спор становится горячее, но никто никогда не лишается рассудка. А от водки, как рассказывали, некоторые прямо сходят с ума: начинают драться, разговаривают сами с собой. В нашем ауле не было пьяниц и ни о ком не говорили, что он пьет водку. Поэтому у меня так тревожно сжалось сердце, когда я услышала сплетни о пьянствующем Буркуте.

И вот теперь я вижу арак, вижу впервые самогон в руках Найзабека, этого умного, сдержанного человека... Зачем же он пьет этот плохой напиток? Мне так захотелось увидеть Балкаша и Найзабека пьяными, что я мысленно пожелала, чтобы они скорее выпили водку.

Найзабек вручил чашку учителю.

— Так за что же мы выпьем?

— За добрый путь.

— Хорошо, за добрый путь.

Они стукнулись краями чашек и выпили. Странно, у Найзабека перекосилось лицо. Он понюхал чеснок, потом стал его с хрустом жевать. А Балкаш и глазом не моргнул. Он безучастно посматривал вокруг, словно выпил обыкновенную воду.

— Ну что, Наке, опрокинем еще одну,— предложил он Найзабеку, у которого все еще было страдальчески перекошено лицо и от горького самогона и от чеснока.

— Со-гла-сен! Вы-ыпь-ем еще!

Найзабек пьянел на наших глазах, но не хотел сдаваться. Они выпили снова. Руки уже не слушались Найзабека. Он взял калач и хотел обмакнуть его в каймак, но никак не мог найти широкое горло кринки. Кончилось тем, что он разлил каймак и отшвырнул кринку.

— Ой, не надо так делать!— попробовал его образумить Балкаш, но Найзабек скверно выругался. Однако, увидев меня, он застеснялся:

— Милая моя, это ведь ты здесь сидишь. Не буду ругаться, не буду! Если бы не ты, я его...

Он пригрозил Балкашу, выругался снова и опять стал извиняться.

— А ты, Балкаш, пей, пока жив. Иначе я тебя....— И он показал ему сжатый кулак.

На Балкаша угроза подействовала, он поднял чашку и выпил вместе с Найзабеком. После этой порции само-

гона наш милиционер совсем потерял дар речи. Он забывал, о чем начинал говорить, ругал всех подряд, кроме меня... И обрывая ругательства, неожиданно ласково обращался ко мне: «Ты, моя милая, Батес».

Впрочем, в пьяном бреду Найзабека был какой-то смысл. Он упрямо говорил, что Балкаш не друг, а враг и мне и Буркуту, что он решил помочь баям выполнить их хитрый замысел:

— Но попробуй только! Увидишь тогда, что я с тобой сделаю! Несдобровать тебе...

Балкаш сперва возмутился, возражал, но Найзабек стал так сильно напирать на него, что учитель приумолк и слушал, не раскрывая рта, угрозы и ругань милиционера. Испуганно слушала его речи и Жаныл. Она, словно коза, преследуемая собакой, искала и никак не находила места, куда бы ей спрятаться. Что же касается меня, то я не очень беспокоилась. Я была убеждена, что он меня не обидит, а кроме того, мне казались забавными странные слова и поступки Найзабека.

Спустя некоторое время он задремал. Тут Балкаш дал волю своей злости и принялся оскорблять спящего. Я сунула под голову Найзабека подушку и укрыла его чекменем.

— Я и прежде слышал, что он законченный алкоголик (тогда я не понимала значения этого слова),— злословил Балкаш.— Но такое увидел впервые. Настоящая собака.

— Ойбой, не надо так его ругать. Вам влетит, если он проснется,— пробовала я остановить Балкаша.

— Теперь и топором его не разбудишь. Водка его быстро осилила. Мы же ведь пили поровну. А ты, Жаныл, скорее дай мне поесть.

Сварившееся сало Балкаш мигом уплел, запивая его остатком самогона.

— Да ведь и ты будешь пьяным,— пробовала его остановить жена, но он только ухмыльнулся и сказал, что ему не повредит и бочка самогона. Балкаш предлагал выпить Жолдыбаю, но кучер решительно отказался.

— Ну, смотри, лучше присматривай за лошадьми.— И Балкаш выпил чашку самогона, предназначавшуюся Жолдыбаю.

«Отчего же так получается?— раздумывала я.— Даже не заметно, что Балкаш выпил. У него и язык не заплетается. А что же случилось с Найзабеком? Бывают же чудеса...»

Балкаш и Жаныл легли спать.

— Лошади остыли, теперь пусть попасутся на берегу. Ноги их спутаны, и я буду рядом,— сказал Жолдыбай.

— Я тоже буду около вас, агай,— предложила я кучеру, но он посоветовал мне лечь отдохнуть:

— С помощью аллаха я и сам сберегу коней...

Устроилась и я на своей телеге, но долго не могла сомкнуть глаз. Мысли мои перепутались. И особенную тревогу вызывали слова Найзабека о Балкаше, обо мне и Буркуте. Правда ли все то, что он говорил? Или ему одурманила голову водка. С этой думою я и заснула.

Меня разбудил выстрел, грянувший почти над самым ухом. Потом раздался второй. Вскочил Найзабек. Диковато, настороженно озираясь, он выхватил из кобуры наган. Степь вокруг посерела, приближалась заря и ясно было видно, как кто-то шел нам навстречу берегом озера.

— Стой, стрелять буду!— закричал Найзабек.

— Не бойся, это я — Жолдыбай!..

— А кто это стрелял?

— Не знаю.

— Где же наши лошади?..

— Были спутаны, паслись...— тихо и невпопад отвечал Жолдыбай...

— Ну, а сейчас где?

Жолдыбай ничего не сказал.

Между соснами показался чей-то силуэт.

Найзабек повторил свое предупреждение:

— Стой, стрелять буду!

— Да это я, Нурбек. Не повезло нам, будь оно проклято...

— Скажи толком, что случилось?..

— Украли лошадей...

— Как так!

— Шел я бором. И тут повстречал двух человек. Они вели на поводу четырех лошадей со стороны берега озера. «Неужели это наши?»,— подумал я. Окликнул, они не остановились. Тогда я выстрелил. Воры сели верхом, двух коней взяли за поводья и скрылись в соснах. Разве догонишь их?

— А где же ты был, Жолдыбай?

— Всю ночь караулил, почти до рассвета,— тихо промямлил кучер,— а тут на меня сон напал и я задремал.

— Задремал, задремал. Как Балкаш...

И тут мы заметили, что эта суматоха не повлияла только на учителя. Он богатырски храпел рядом со своей женой. Ее разбудили выстрелы и шум, но она от страха не подавала виду, что проснулась.

Пришлось все-таки поднять и его. Уже было совсем светло. Мы прошли вдоль озера. Следы наших лошадей и их похитителей вели в глубину бора...

— Эх!— вздохнул Найзабек,— найти бы сейчас хороших коней, мы бы быстро догнали воров.

— Ойпырмай, что это за собаки ограбили нас?— сокрушенно сказал Балкаш.

— А ты будто бы не знаешь,— отвечал Найзабек,— это прислужники Сасыка, не отставая, шли за нами. И у вороны есть свои родственники, а у него здесь в каждом ауле свои люди. Вот они и помогли.

— Как они только не побоялись. Ведь они же знали, что среди нас есть вооруженные милиционеры?— спросил Жолдыбай, пожалуй, главный виновник происшествия.

— Это же волки, разозленные степные волки,— отвечал Найзабек.— А разве эти звери чего-нибудь боятся?

НЕУДАЧИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Придет беда — и кислое молоко свернется. Так говорят в народе, так получилось и у нас. Мы все время надеялись, что кто-нибудь выручит, откуда-нибудь появится живая душа. Но напрасно! Нурбек уже собрался снова идти в Семиозерное. Однако наступил вечер, и мы снова переночевали у озера. Ранним утром Нурбек отправился в село, а Найзабек с Жолдыбаем вышли на дорогу поджидать случайную подводу. Они звали и Балкаша, но тот сослался на простуду и боли в пояснице. Причина, понятно, была другой. Как только милиционеры и кучер ушли, огорченный обжора, улегшийся накануне с пустым животом, заскулил:

— Теперь только и осталось, что умереть с голоду.

Я пробовала его успокоить:

— Что вы, агай! Зачем умирать? Есть ведь и русский хлеб, правда, немного подсохший, есть баурсаки, есть и курт...

Но Балкаш недовольно мотал головой:

— Это как пустая похлебка без кислого молока, как суpпа без блестков...

— Вам надо блестки, вам надо жир, агай... Тогда ешьте сало, оно в козьем бурдюке.

Но на этот раз я ошиблась. Сала в козьем бурдюке уже не было, потому что, улучив удобную минуту, прожорливый, потерявший всякий стыд Балкаш съел и его до последнего куска.

...К полудню возвратился Нурбек. Он привел четырех лошадей.

— У поселковых милиционеров взял. Отвезем наши арбы до Семиозерного. А потом поедем на перекладных в Кустанай... Батес, Найзабек и я. Жолдыбай пусть останется в селе. А Балкаша с Жаныл я отправлю верблюжьим караваном. Он идет из Тургая и задержался в Семиозерном.

Балкаш обиделся. Ему очень хотелось ехать на казенных лошадях:

— Что же мы будем плестись с караваном? Неужели всем нельзя поехать на перекладных?

— У Найзабека и у меня есть бумага для бесплатного транспорта, у вас же ее нет...

— Как хотите, как хотите... Для себя нашли, а для меня не можете,— окончательно надулся Балкаш.

— Ну зачем брать меня за горло?— вышел из себя Нурбек.

Как всегда в таких случаях в спор вмешался Найзабек:

— Запрягайте лошадей, доберемся до Семиозерного, а там договоримся...

Тургайский караван ожидал нас в селе. Один из восьмидесяти верблюдов был освобожден от клади.

— Вот на этого верблюда пускай и садятся Балкаш с Жаныл,— настаивал на своем Нурбек,— нам же милиция дает пару лошадей.

— Ну и езжайте, счастливого вам пути,— раздраженно произнесла обиженная Жаныл. А ее муж молчал, нахмурив брови, и пристально глядел на Найзабека, желая узнать, что же скажет он.

И Найзабек сказал свое решающее слово:

— Нет, так делать нельзя. Почему, спрашиваете. Сейчас объясню. Если бы мы выехали порознь, все было бы просто. Но мы едем вместе, и стыдно бросать товарищей на дороге. Ну как себя почувствует Батес, ведь Балкаш ее спутник до конца путешествия, а мы только до Кустаная.

— И как же нам поступить?

— Очень просто. Поедем все вместе с караваном.

Нурбеку это не понравилось:

— Есть лошади, а мы будем трястись на верблюдах? Кому это нужно?

— Ничего, мой друг, понадобится — пойдешь и пешком.

— Но зачем все это? И разве что-нибудь случится с Балкашем, если он приедет в Кустанай на день позднее нас.

— Дело не в этом дне, а в товариществе!

Какой он умный, справедливый наш Найзабек-агай! Он был бы совсем замечательным, если бы не пил. Да, пьянство может, как поняла я теперь, довести и такого человека почти до сумасшествия.

...От Семиозерного до Кустаная сто двадцать верст. Добрые лошади могут пробежать этот путь в один день. А мы с верблюжьим караваном три раза ночевали в степи, пока добрались до города.

Я слышала много о Кустанае, но увидала его впервые. Окраины города выходили на высокий берег Тобола. Река опоясывала Кустанай с востока, а сам город тянулся к западу. У моста нам пришлось остановиться. Мост был узкий, ненадежный, построенный из тальника, скрепленного глиной. Пора была самая оживленная — возили хлеб, сено, дрова. У переправы с обеих сторон реки скопилось множество подвод. Люди кишели, как в муравейнике. Дать бы волю Нурбеку, он бы со своим револьвером и сам бы прошел вне очереди и нас бы провел. Но Найзабек решил, что это нескромно, и мы долго простояли в ожидании, разговаривая о том, как лучше устроиться на ночлег в Кустанае. У Найзабека и Нурбека были квартиры, где они обычно останавливались, а у Балкаша в городе жили родственники жены.

— Вот с ними и надо ехать Батес,— предложил Найзабек.

Жаныл это не очень понравилось:

— А может, будем устраиваться так, как ехали прежде... Батес была на вашей телеге и теперь пусть будет с вами.

— Как вам не совестно, Жаныл,— пристыдил ее Найзабек.— И наши волостные руководители и Красная юрта доверили Батес Балкашу. Мы ведь только сопровождали ее до Кустаная. Вон въедем в те улицы — и все.

Будем прощаться. А Балкаш отвечает головой за девушку, пока не определят ее туда, куда нужно...

...А нужно меня было определить в советско-партийную школу в Кзыл-Орде. Так думала Асия. Ей казалось, что у меня достаточно знаний, чтобы поступить на отделение советского строительства. Туда принимаются беспартийные девушки. Одно могло помешать, что я из богатой семьи ,по это не имело особого значения, как говорила Асия. Она мне рассказала, что ее подруга работает в крайкоме, заведует женским отделом. Звали ее Шамсия Куптокова. Асия написала ей письмо, в котором все обо мне рассказала:

— Она поможет тебе, она сама тебя устроит в школу,— говорила мне на прощанье Асия.— И если не захочешь идти в общежитие, можешь жить дома у Шамсии.

Я не читала письма, но конверт, врученный мне, был таким толстым, что напоминал маленькую книжку. Я завернула его в полотно вместе с тем нехорошим загадочным альбомом и положила на самое дно чемоданчика, который русские люди называют «сакпаяшем».

...Я отвлеклась, вернусь к спору о моем почлеге. Хотя Жаныл и не понравилось предложение Найзабека, все же она устыдилась и повела меня к своим родственникам.

Родственники оказались милыми простыми людьми. Когда Балкаш познакомил меня с ними, я очень удивилась, что они уже и раньше кое-что знали о моей судьбе. «Да сбудутся твои желания, пусть ожидает тебя счастье на твоем пути!» Эти слова услышала я в их доме.

Когда мы пили вечерний чай, появился гость — невысокий, сухощавый джигит. Лицо у него было продолговатым, нос с горбинкой, уши слегка оттопырены. Одет он был по-городскому.

— А, Мусапыр!— и Балкаш рипулся ему навстречу.

Мусапыр! Я не раз слышала это имя. Он приходился двоюродным братом Буркуту. Калиса рассказывала, как Буркут с Мусапыром подрались прошлым летом в степи, когда выехали из нашего аула. Подрались они, кажется, из-за меня. Я тогда скоро забыла эту драку.

Так вот он какой, оказывается!

Едва Балкаш представил меня, как он заговорил ласково и покровительственно:

— Можешь нас не знакомить. Хотя я не видел Батес,

но знаю ее давно. Что же, давайте свою руку, сестренка!..

«Почему он меня называет сестренкой, ведь я еще не жена Буркута, даже не невеста»,— недоумевала я, но вслух не произнесла ни слова.

Мусапыра пригласили к чаю. Говорил он непрерывно. Приехал он сюда из Кзыл-Орды корреспондентом газеты, раскрыл, если верить его словам, много преступлений, разоблачал вредителей. Он изображал себя защитником справедливости, врагом бесчестности и лжи.

Мне показалось, что они с Балкашем давно знакомы и хорошо понимают друг друга.

У Мусапыра был с собой фотоаппарат. Он показывал много снимков, сделанных в аулах. Снимки были ясными, интересными. Сфотографировал он и нас за чаепитием.

Утром Найзабек и Нурбек заехали за нами на двуконном тарантасе, чтобы проводить до вокзала.

Балкаш отправился на вокзал еще раньше и обещал купить билеты. С ним пошел и Мусапыр, надумавший ехать этим же поездом. Они с билетами уже ожидали нас.

— Да... Уехать-то мы уедем,— протянул Балкаш,— но есть и затруднения.

— Что там с тобой случилось?— насторожился Найзабек.

— Мы все вместе хотели ехать в одном вагоне, но это не удалось. Пришлось взять билеты в разные вагоны. Один вагон купированный, другой — общий. Вот мы и гадаем: как же нам разместиться?

— Что же здесь трудного?— улыбнулся Нурбек.— Стыдно тебе будет, если ты с женой займешь купе, а Батес будет в общем вагоне. Лучше всего поместить в купе Жаныл и Батес, а уж вы с Мусапыром как-нибудь доедете.

Я не понимала, о чем идет речь. Я даже не знала, что такое купе. Не знала этого и Жаныл. Мы обе с недоумением смотрели на Балкаша, пока он нам не объяснил, что это отдельная комнатка с закрытой дверью. Бывают купе на двух и на четырех человек. Нам попалось на двух.

— Вам хорошо.

— Ну, а что такое общий вагон?— спросила тогда я.

— Внутри этого вагона нет отделений с дверями, едут все вместе, как на арбе,— отвечал Нурбек.

— Вот я туда и сяду, мне все равно с кем,— решительно сказала я Балкашу.

— Я не понял, в общий или в купе?— спросил он.

— Там, где нет никаких дверей...

— Почему же, все-таки, ты не хочешь в купе?

— А с кем я должна там ехать?

— Ну, скажем, с твоим братом Мусапыром...

Веселый Нурбек хихикнул, слова эти ему показались озорными до неприличия.

— Чего ты опять смеешься?— разозлился не принимающий шуток Балкаш.

— Э-э, а почему бы мне и не посмеяться. Где это ты видел, чтобы девушка с джигитом оставались наедине?

— Ты думаешь о старых казахских обычаях! В Европе давно не находят в этом ничего стыдного или смешного.

— А что, в Европе девушки бесплодны?

— Ну, пожалуйста, не скандальте,— попросила я своих спутников,— я буду ехать в общем вагоне, если вы мне только не запретите...

— Тогда зачем же разлучать мужа с женой?— подал голос Мусапыр.— Я сяду вместе с Батес в общий...

Нурбек взял мои дорожные вещи и повел меня в вагон. Народу здесь было — не протолкнуться. Мужчины, женщины, дети, старики... Многоголосый шум стоял в жарком спертом воздухе. Спорили за каждое свободное место, а иные, слишком ретивые, пускали в ход даже кулаки. Я уже думала, что для нас не найдется места. Однако Нурбек с большим трудом нашел две свободные верхние полки. Мусапыр пробовал было отвоевать среднюю полку, но какой-то рослый смуглый человек так тряхнул его за шиворот, что корреспондент до крови расшиб себе нос.

Когда мы, разгоряченные и уставшие, все же кое-как устроились, Нурбек посоветовал мне попрощаться с Накеном.

— Накен... А кто такой Накен?— недовольным тоном осведомился Мусапыр.

— Я говорю о Найзабеке Самарканове, нашем начальнике.

— И как только она с ним будет прощаться в этой суматохе?

— Не хотел бы я слышать таких слов!— Нурбек сердито посмотрел на нового моего спутника.— Найзабек ее

защищал, провожал до Кустаная. Он остался у вагона, не пожелав нам мешать. Теперь, конечно, ждет Батес.

Я пошла к выходу попрощаться.

— Погоди!— Нурбек опередил меня и, раздвигая людей, стал прокладывать мне дорогу.

А навстречу продолжали идти новые и новые пассажиры. У самого выхода нам пришлось посторониться. Нурбек загородил меня плечом:

— Пробирайся ближе к двери, Батес, здесь мы немного переждем, пока схлынет народ.

Так мы стояли в уголке, на нас никто не обращал внимания.

— Батес, я тебе выскажу три своих пожелания, три просьбы,— сказал Нурбек.

— Вот моя первая просьба. Я очень люблю шутить, и если по этой причине у меня с языка срывались лишние слова, ты прости меня, пожалуйста...

— Да я и не слышала таких слов... Что ты!..

— Тогда слушай вторую просьбу. Батес, не задерживайся в Кзыл-Орде, езжай прямо в Ташкент, к Буркуту. Там много учебных заведений, и он устроит тебя куда-нибудь. Когда он увидит тебя, он поймет, что ты его искала. Он простит тебе все свои обиды и будет еще нежнее, чем прежде.

— Тут я еще ничего не решила, Нурбек. Надо будет посмотреть.

— Ты не смотри, а делай так, как я тебе говорю. И третья просьба, третий совет. Будь осторожнее с этим человеком, который вьется вокруг тебя.

— О ком ты говоришь?

— Ну, об этом, с челюстью выдвинутой вперед... Мусапыре... Он юлит, утверждает, что приходится двоюродным братом Буркуту... А сам похож на червяка. Червяка, который проникает в позвоночник и начинает его разъедать... Смотри внимательнее, посадит он тебя на голый лед...

Тут посадка кончилась. Мы вышли к дверям и увидели Найзабека.

Ударил станционный колокол.

— Скорее сходи и прощайся,— поторопил меня Нурбек и вдруг зашептал на ухо:

— Если все будет благополучно, я хочу осенью переменить свою службу и приехать в Кзыл-Орду. Один че-

ловек обещал мне помочь. Но это секрет. Я и Найзабеку не говорил...

Он мне показался таким хорошим, что я ему от души сказала:

— Приезжай скорее, не заставляй скучать...

— Тише! Накен нас услышит.

Но я не боялась Накена, я очень уважала его и была ему по-настоящему благодарна.

— Агай!— сказала я ему на прощанье.— Пусть я молодая, но я уже знаю цену настоящим людям. За вашу доброту я буду всю жизнь обязана вам.— И я расплакалась, припав к груди Найзабека.

— Ну перестань, не надо,— успокаивал он меня.— Все, что я для тебя делал — по обязанности, возложенной государством!

— Нет, агай!— возражала я сквозь слезы.— Вы человеком были, хорошим человеком!..

И снова ударил колокол.

— Поезд отходит! Садись!

Я поднялась по ступенькам вагона, и хотя мне кто-то уже говорил — проходи на свое место, не мешай другим!— я продолжала стоять в дверях. Уж очень мне не хотелось расставаться с добрыми моими спутниками.

— Напомню тебе слова Абая,— говорил Найзабек:

Тропа нашей жизни, как согнутый лук,
Творец тетивою скрепил полукруг.
Будь зоркой на этой опасной тропе,
Иди без задержек, не падай, мой друг!

Медленно двинулся поезд.

— Крепче помни последние слова!— И Найзабек, шагая рядом с вагоном, приветливо помахал мне рукой.

— Запомню, агай, запомню!..

— Не забывай и мои дружеские слова!— крикнул вдогонку Нурбек.

Моих ответных слов он уже не услышал...

В слезах, я еле взобралась на свою полку. Мусапыр был рядом. Его голова на длинной шее напоминала воронью, когда птица сидит в гнезде на верхушке дерева. У меня не было никакого желания отвечать на его вопросы. Кружилась голова, стучало сердце, к горлу подступала тошнота.

Потом я забылась. Если я и спала, то очень немного.

Я хорошо помню, что глаза у меня чаще всего были открытыми, но я оставалась неподвижной. Мне не хотелось даже рукой пошевелить.

Мусапыр старался во всем угодить мне. То он пытался побеседовать со мной о чем-нибудь, то стремился рассмешить забавным рассказом, то предлагал во время остановок погулять по перрону, то покупал для меня лакомства. Но слова «нет» было единственным, которое я произносила на первых порах в вагоне. Я отказывалась от всего, как мусульманин во время поста — уразы. Отказывалась даже от воды, в рот не брала ни крошки.

Мусапыр, видя, что я остаюсь совершенно равнодушной ко всем его рассказам и шуткам, неожиданно принялся расхваливать Буркута.

— Какой же умный, честный и настойчивый джигит. Не только настойчивый, но и упрямый. От слова своего не отступит... Иногда это даже плохо... Он становится просто твердолобым...

Так, мимоходом, упомянул Мусапыр и недостатки Буркута, а потом принялся рассказывать о своей ссоре с ним в прошлом году.

— Знаешь, я тогда просто хотел его испытать и нарочно задел самолюбие. Но как он вышел из себя, как бесился! Глаза у него сразу налились кровью, покраснели. Он мог броситься на меня, как разъяренный верблюд. И я, представь, убежал. Ты не думай, что я испугался. Нет, я знал — одному джигиту все равно не справиться со мной. Я не пожелал до конца ссориться с человеком, с которым раньше не вздорил никогда. И когда позднее мы встретились в Кзыл-Орде, он был готов провалиться сквозь землю от стыда, и мы остались такими же хорошими друзьями, как были прежде.

Мусапыр помолчал и вдруг начал разговор о самом сокровенном для меня:

— А ведь это правда! Он любит тебя, как свою душу. Однако он поступил недостойно, когда ушел от тебя. Я ведь знаю, что и ты его любишь. Но ты тоже должна помнить, что настоящий человек должен себя уважать. Правильно говорили в старину люди: «Хочешь забрать мой скот — забери, но не отбирай у меня достоинство». Когда человека перестают уважать, он перестает быть человеком. Береги свою честь и ты. Пусть твою гордость почувствует и Буркут. Пальцем не пошевели, пока он сам тебя не разыщет. Он тебя найдет, если любит. А не

найдет — значит все его речи только красивые слова. Но если это тот Буркут, которого знаю я,— настойчивый и нетерпеливый, он к середине зимы, после каникул, обязательно примчится к тебе. И тогда вы помиритесь, и после таких испытаний ты для него станешь еще дороже.

Так меня обнадеживал Мусапыр, и я понемногу стала отходить, поддаваясь его вкрадчивым речам.

Потом он завел беседу о моей учебе.

— Ты ведь не представляешь себе, что такое советско-партийная школа. Там тебя ничему не научат, кроме политики. Поверь мне! Тебе придется вернуться в родные места и стать советским работником! Неподходящая работа для женщины, особенно для тебя. Лучше всего тебе поступить в Кзыл-Орде на подготовительное отделение педагогического института. Можно сделать что-нибудь, чтобы тебя приняли. Окончишь институт — будешь учителем, найдешь работу в любом городе, любом ауле. И ни от какого мужа зависеть не будешь: любит — будете жить вместе, а не любит — пускай!..

Эти рассуждения Мусапыра пришлись мне по душе.

...Позабавило нас в пути поведение Балкаша. После отъезда он и Жаныл не попадались нам на глаза почти целые сутки. Тогда их решил навестить Мусапыр. Он прошел во время движения поезда к ним в вагон. Со смехом он рассказывал, что Балкаш и Жаныл ведут себя как Юсуп и Зулейка наших дней:

— Как ни зайду к ним, они целуются. А ведь прошло уже несколько месяцев, как они поженились. Или потому, что Балкаш нашел невесту поздно, или потому, что он из породы женолюбов, но его сейчас никак не оторвать от Жаныл, даже если привязать к хвосту лошади!

На исходе второго дня Балкаш пришел к нам. Я притворилась спящей. Они меня уговаривали, тормошили, но я делала вид, что сплю очень крепко, и неподвижно лежала.

— Вот удивительно! Ведь она еще недавно не спала,— недоумевал Мусапыр, продолжая меня будить.

Но я не открывала глаз.

— Япырай, ну и ну! Спит, как мертвая.

И, желая показать свою ученость, Балкаш добавил:

— Я слышал про летаргический сон, когда человека никак нельзя разбудить. Может быть, как раз это случилось и с Батес?

— А кто его знает,— отвечал Мусапыр.— Я же тебе уже говорил. Она лежит и лежит, ногой не пошевелит. И не ела ничего и не пила. Странно, что ее жажда не мучит. Ну что ты скажешь...

— Виновата твоя робость!.. Одну девушку и ту не можешь подчинить своей воле...— начал было Балкаш.

— Тсс!— прервал его Мусапыр. Балкаш умолк. Я чуть-чуть приоткрыла глаз и сразу увидела, как Мусапыр заговорщицки грозил Балкашу пальцем, будто хотел ему сказать: «закрой рот!».

— Может быть, она притворяется спящей,— зашептал Мусапыр.

В эти мгновенья я подумала о том, что они хотят что-то скрыть от меня. Недаром же Мусапыр боится, что я могу подслушать. Я не выдала себя и продолжала лежать неподвижно. Балкаш и Мусапыр перестали обращать на меня внимание и затеяли шутливый мужской разговор.

— Вот не знал, что ты такой женолюб,— поддразнивал Мусапыр.

— Я ведь совсем недавно женился. Русские называют это время медовым месяцем. Еще не пришел срок охладеть...

— Это сладко, как мед... Не спорю. Но неудобно...

— Почему неудобно?

— Мы же должны придерживаться казахских обычаев. Где ты видел, чтобы казах целовал жену даже наедине? А уж на людях тем более!— раздраженно говорил Мусапыр.

— Это время и для казахов прошло. Это патриархальщина... Феодализм,— возразил Балкаш.

В споре замелькали слова, которых я и не знала. Да и Мусапыр с Балкашем, видимо, не успели к ним привыкнуть и произносили очень старательно.

— Пусть будет так!.. Но ведь марксисты утверждают, что пролетарская культура — это законное продолжение всех прежних культур, и мы перенимаем все хорошее, что было раньше...— щеголял своей ученостью Мусапыр.

— Значит, по-твоему, не целовать законную жену — хороший обычай?

— Самый лучший обычай!— горячился Мусапыр.

— Нет, ты яснее объясни мне...

— Старые люди говорили: с женою нужно обращаться так, чтобы молилась на тебя.

— Как это?

— Не надо ее целовать, не надо быть ласковым с ней, не надо льстить ей!— убеждал Мусапыр.

— Неужели ты думаешь, что следует брать пример с тех старых казахов, которые без палки с женой не разговаривали?

— Что ж, и палка бывает нужна, чтобы жена не села тебе на шею.

— Ого, ты, Мусапыр, настоящий феодал. Ну, а если ты сам женишься... Тогда будешь так поступать?

— О-бяз-за-тельно!— неожиданно сказал Мусапыр по-русски.

— На ком же ты собираешься жениться?

— Уж русскую в жены себе никогда не возьму...

— Ой, Мусапыр, ты, говорят, коммунист, а как же ты рассуждаешь?— У Балкаша на лице появилась злая улыбка.— Так ведь только националисты могут думать... Вот я, беспартийный, этих слов не произнесу...

— При чем тут национализм, если я хочу жениться...— Мусапыр говорил веско, с достоинством. И потом:— Не смейся над национализмом. Ведь у тебя самого — чистая казахская кровь.

— Ты, кажется, зашел далеко.— У Балкаша не было желания продолжать разговор.

— Женщина, скрывающая болезнь, и здоровую подозревает... Зачем бросать камень в того, кто и так пригнут к земле? Национализмом казахов попрекают каждый день...

Балкаш вздохнул.

— Я пошутил. И какое мне дело до этого несчастного национализма...

— То есть как это? Я тебя что-то перестаю понимать,— Мусапыр пристально посмотрел на Балкаша.— Значит, мы бежим от национализма?

— Почему бежим?— в голосе Балкаша послышался испуг.— Не бежим... Акан и Жакан верно говорили: мы готовы сложить головы на этом пути...

— Хорошо!— кивнул Мусапыр и добавил:— Алекен однажды сказал: не Жаканы и Аканы будут двигать вперед национализм, а мы, неонационалисты, то-есть националисты новой формы.

А я про себя повторяла — Акан, Жакан, Алекен...

В то время я не знала, кто они такие. И только значительно позднее мне стало ясно, что шла речь о видных националистах Ахмете Байтурсунове, о Жакыпбеке — дяде Буркута и об Алихане Букейханове.

— Слушай, не слишком ли громко мы стали разговаривать,— насторожился Балкаш.— Ты помнишь изречение Шортамбая:

Не говори, что мой весь дом,—
Вор притаился за углом...

— Не беспокойся, я об этом подумал раньше. В нашем вагоне нет казахов, нет даже татар и башкир.

— А может быть, нас поймет какой-нибудь русский...

Тут забеспокоился и Мусапыр:

— В самом деле, вдруг найдется такой...

Собеседники замолчали.

«Вот они какие, националисты,— подумала я.— Те самые националисты, о которых так много говорят и пишут в газетах. Жалко, что они прекратили свой разговор... А мне так захотелось глубже проникнуть в их тайну».

— Мусапыр!— заговорил Балкаш.

— Ау!— отозвался тот.

— Ты все-таки слишком жестоко посмеялся надо мной...

— Это когда назвал тебя женолюбом?

— Значит, понимаешь мою обиду. Я ведь тебе сказал, за что я люблю свою жену.

— А теперь я тебе скажу. Слушай: у тебя шесть братьев. Никому из них я не желаю зла. Избави аллах, умрет у тебя один брат, другие останутся. А я одинок... Если бедняк расплескает чашку с последним супом — ему хоть с голоду подыхай... Понимаешь меня? Ведь жену человек берет, чтобы оставить после себя потомство... И брось ты о любви говорить. Где ты видел казаха, который женился бы по любви? Разве у нас женщина не продавалась за скот? Разве сейчас ее не покупают? Пусть не за скот, а за деньги, тайно?

— И ты тоже?

— Почему же я буду невежливым?— засмеялся Балкаш.— Но оставим пока шутки. Мы же говорили о моей жене. Так вот, я ходил долгие годы холостым. Много здесь было причин. Хотел, было, уже взять в жены татарку, но потом убедился, что у них обычно слишком

много родственников. Только жена войдет в дом, за ней тянется полный двор людей. Разве я их всех прокормлю?

— И я так думаю,— засмеялся Мусапыр.

— Я искал среди наших девушек-казашек свободную от калыма и, представь, не нашел ни одной. Не решился я отбивать и чужую невесту. Ведь люди могут возмутиться... Вот так проходил год за годом, и я оказался пожилым человеком.

— Сколько же тебе сейчас, если ты себя стал считать пожилым? Если я не ошибаюсь, тебе всего тридцать один год!

— Правильно, Мусапыр. Но по паспорту я на год моложе...

— Ты уж не скрывай от меня, почему...

— Тут нет никакой тайны? А разве ты точно указал свой возраст?

— Не хотелось казаться старым перед поступлением в институт, вот я и сократил немного.

— Сколько же тебе сейчас лет?

— По-настоящему?

— Конечно, по-настоящему!

— Два-д-ц-ать се-е-мь!— раздельно прошептал Мусапыр, настороженно и с опаской озираясь, будто его могут подслушать.

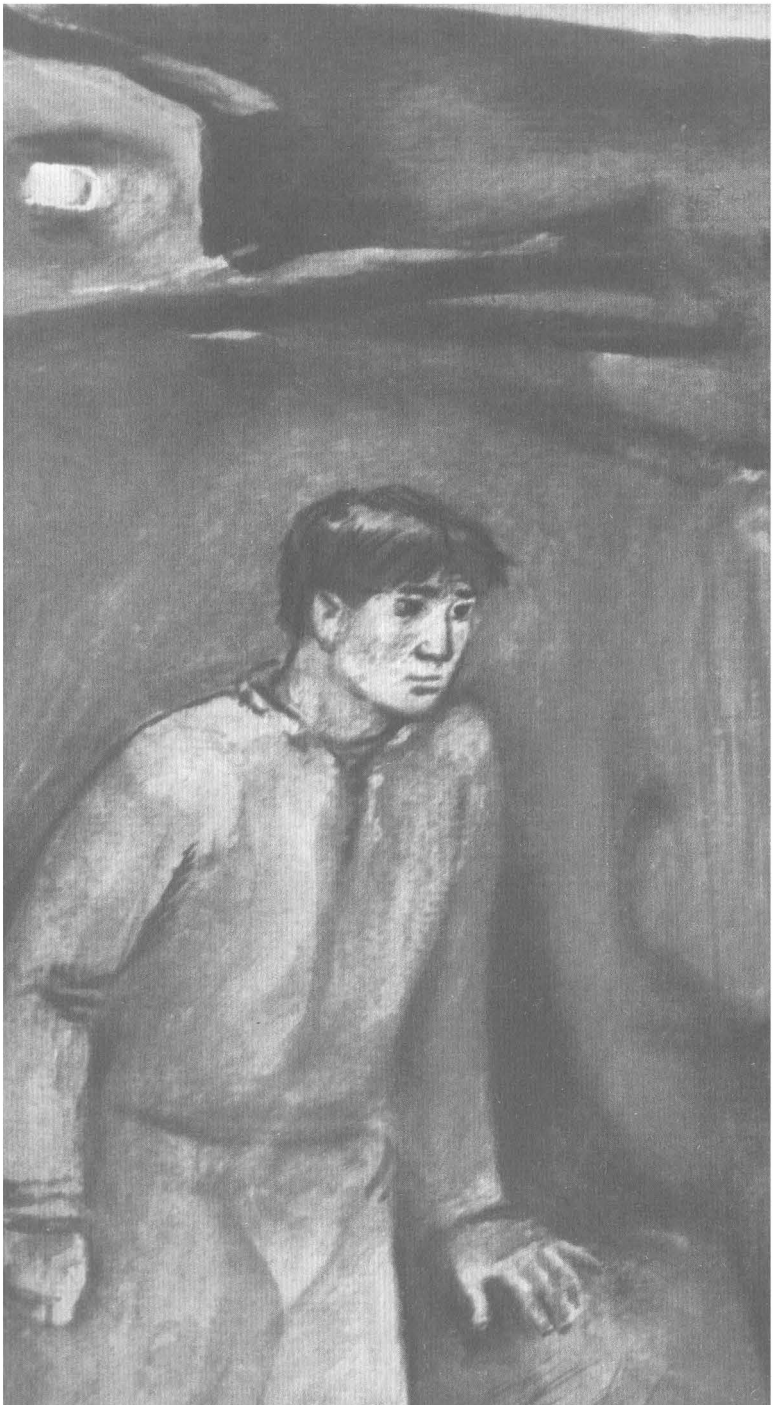
— Ой-бай-ау, ты уж тоже стареть начинаешь,— обрадовался Балкаш.— Пора и тебе жениться!

— Жениться, жениться... Жена похожа на недоуздок. Просунешь в него голову и уже не освободишься. Жена не убежит от меня. С тобой же ничего не случилось до тридцати одного года... Дай и мне до твоих лет пожить без недоуздка.

— Ты уж меня совсем в старики произвел,— отозвался Балкаш.

— Ладно, я опять пошутил! Ты продолжай свой рассказ, а то мы отвлеклись...

— Тогда не перебивай и слушай. И вот приехал я на родину нынешним летом, и один друг спрашивает меня все о том же — почему я не женюсь. Я ему пожаловался, что нет подходящей девушки. Он мне пообещал найти. Я поинтересовался, что за девушка. Он рассказал. Нельзя, говорит, утверждать, чтобы она была особенно красивой и стройной. Не байская дочь. Отец ее скромный работящий человек. Большого калыма не просит. Будет, мол, достаточно, если заплатишь за одежду и постель.









А трудно будет расплатиться сразу — может и в долг поверить. Женись на ней, уговаривал меня мой друг. Ты же одинокий джигит, тебе хочется иметь детей. А мать этой девушки — плодовитая женщина. За двадцать лет она родила больше двадцати. Невеста твоя, кажется, третья ее дочь. Две старших уже отданы замуж и будто бы не отстают от матери... Вот так меня и уговорил мой друг.

— Сколько же времени прошло, как ты женился?— сквозь смех спросил Мусапыр.

— Немногим больше двух месяцев...

— Ну, и действительно, она пошла в свою мать?

— Слава аллаху...

— Тогда поздравляю. Пусть у тебя родится сын!— И Мусапыр взял Балкаша за руку.

Остановился поезд. Балкаш распрощался и ушел.

— Ну, иди теперь к своей любимой жене!— продолжал Мусапыр подшучивать над Балкашем.— Твоя Жапыл, которую ты так горячо полюбил, наверное, уже обижается: где же мой Баке, почему он опаздывает. Не обижай ее, смотри...

Уходя, Балкаш сначала показал на меня, а потом сжал руку в кулак и сделал знак Мусапыру, мол, «будь крепким!» Я так и не поняла, на что он намекал...

Вскоре я заснула.

— Проснись, Батес, проснись!— Я открыла глаза. Поезд стоял. Начинался рассвет.— Пора выходить, Батес. Мы приехали в Кипель. Надо делать пересадку на ташкентский поезд.

Я приподнялась и протянула руку к саквояжу. Он был у изголовья, за подушкой. Был... Но сейчас я его никак не могла найти. Может быть, его взял Мусапыр? Но он мне с удивлением ответил:

— А что, разве саквояжа нет на месте?

— Нет!

— Куда же он мог деться? Может быть, ты его положила внизу?

— Разве бы я тогда спрашивала...

— А вдруг его украли, Батес!..

— Кто же мог украсть его?— спросила я, глупая головушка.

Мусапыр начал расспрашивать соседей, но те только ругались и посмеивались. Мол, что мы можем знать о пропавшем чемодане.

Саквояж исчез!.. Я сама плотно сложила в него свою лучшую летнюю и осеннюю одежду. Саквояж оставался дома, когда Найзабек и Нурбек со скандалом увезли меня. В Красную юрту саквояж привезла моя мать. Когда мы вдвоем с Асией в ее юрте раскрыли саквояж, то кроме моих платьев обнаружили еще целый мешочек бус, лежавший под замком в сундуке байбише Каракыз.

Мать потом рассказывала мне, как заплаканная байбише перебирала бусы и причитала:

— На что мне они сдались, эти проклятые украшения, если моя Боташ отделилась от нас.

Мать в такие минуты прощала Каракыз:

— Не она тебя родила, а я,— говорила мать,— но она, бедная, так пропиталась твоим запахом, так привыкла к тебе, что не перестает плакать после твоего отъезда. У нее уже помутнели глаза от слез.

Но меня не расслабили жалостные материнские слова. Я думала о том, что впереди, а не о том, что я покинула.

Между тем, мать развязала мешочек и вытряхнула украшения на скатерть. Это не были драгоценности, собранные каким-нибудь известным баем. Сделанные из дешевых камней и серебра, они мало чем отличались от обычных бус и колец, которые терпеливо собирали небогатые казахи для своих дочерей. Среди этих подарков Каракыз — застежек, крючков и перстней — самым дорогим было монисто из рублевого серебра. Каждую из двух цепочек я вплетала в косы в первые годы девичества, а потом почему-то забросила. И еще находился здесь один удивительный камешек. Называют его у нас в Тургайской степи слюной змеи. Существует поверье: если змея оближет стебель ковыля, вокруг стебля образуется твердый мелкозернистый нарост. Когда его снимаешь, он напоминает кольцо — твердое, словно свитое из металлической проволоки, серого цвета. Аульные женщины считают, что змея никогда не ужалит ребенка, если к его одежде прикреплено это колечко со стебля ковыля. У меня тоже была «слюна змеи», и вот байбише отыскала ее и положила в заветный мешочек. Был у меня и маленький-маленький камзол без рукавов. Его я носила пока мне не исполнился год. Сшитый из разноцветных кусочков бархата и шелка, он был густо усеян бусами. Кроме бус к нему по старинному обычаю была прикреплена нитками нога филина, чтобы не приблизи-

лись к младенцу черти — шайтаны и злые духи — джинны. Я уж давно вышла из люльки, давно бегала по аулу, а байбише все мне подкладывала его под подушку. Порой она его крепко прижимала к лицу: «Скучаю я, Боташ, по твоему младенческому запаху». Не забыла она положить мне на память в мешочек и этот маленький камзол с ногою филина.

И вот пропали и одежда и все бесхитростные памятки аульного детства.

Удивляйтесь — не удивляйтесь: хотя мне было очень жалко украденного саквояжа, я не расплакалась, даже не прослезилась. Зачем плакать? Ведь это было достояние старого мира, от которого я убегала. И мир этот остался позади и его дары. «Пусть аллах простит мне не старые грехи, а поможет в будущем...» Только этого я и желала...

Пропал и альбом Буркута. Проклятый альбом! Как я боялась его потерять, задумав уехать из родного аула. Я вначале зашила альбом в подкладку камзола, обернув его в кусок плотной материи. Но, как говорится, виновник пропажи вещи — сам ее хозяин. Надо же мне было после приезда матери в Красную юрту, распороть материю, извлечь альбом из подкладки и положить на самое дно саквояжа...

...И вот альбома нет... Чем же я теперь смогу доказать вину Буркута?!

...Скоро в Кинель подошел ташкентский поезд, и все мы без приключений устроились в одном вагоне, но в разных концах: снова Балкаш с женою, а я с Мусапыром. Легли мы на средних полках, друг против друга. Я свернулась в клубок и думала о своем. На этот раз мои спутники решили, что я горюю о потерянном саквояже. Ну и пускай себе решили, не все ли мне равно...

Невеселый путь от Кинеля до Кзыл-Орды. Как говорят казахи, даже собака сдохнет на полпути... Проходили дни, проходили ночи!.. Поезд, как мне казалось, летел стрелою, изредка задерживаясь на остановках. Летел стрелою, нет, летел быстрее ветра. Так представлялось мне, знавшей прежде только верховую езду. Сама удивляюсь, но я довольно быстро привыкла к этому стремительному движению. В первые дни путешествия в поезде у меня кружилась голова, а теперь я могла спокойно смотреть из окна на ровные безграничные степи. Я не-

вольно повторяла про себя стихотворение Сакена Сейфуллина «Экспресс», заученное мною еще в школе:

Мчись, экспресс! Лети, свети!
Вихрь во мгле крути в пути!
Как звезда в ночи, лети
Бурям всем наперевес*.

На эту долгую дорогу вступила и я. Куда я приеду, где остановлюсь? Но как бы там ни было, мне хочется скорее приехать!

Говорят, нет дороги, которая не имела бы конца. Мы уже приближались к Кзыл-Орде, несколько дней назад казавшейся недосягаемой. Было же далеко за полночь, когда меня разбудил Мусапыр. Я вспомнила, что Асия, вручая мне письмо для Шамсии, говорила:

— Я ей пошлю и телеграмму. У мужа ее на работе есть лошадь. Они тебя встретят. Ну, а если не смогут, на конверте есть адрес, и ты сумеешь найти дом Шамсии. Вот и Балкаш должен помочь. Я ему поручаю о тебе позаботиться, найти, если нужно будет, извозчика и самому довезти до Шамсии.

Помнится, Балкаш все пообещал сделать, но теперь я на него не очень надеялась.

И когда Мусапыр сказал, что скоро нам выходить, я заволновалась — встретит меня Шамсия или нет? Письмо к ней пропало вместе с саквояжем. Об этом, видимо, не знал Мусапыр. Однако он настойчиво отговаривал меня остановиться у Шамсии.

— И зачем ты пойдешь к незнакомым людям? Городские жители — учтивые, но гостеприимства у них мало. Они ведь сидят на зарплате. Им трудно принимать гостей. Они еще могут расщедриться перед теми, кого почитают... Но ты этой щедроты не жди. Шамсия может тебя встретить и несколько дней она и виду не подаст, что тяготится. А уж потом постарается быстро избавиться от тебя. Ты же не знаешь, сколько дней придется тебе устраиваться. Почему бы тебе не пожить в моей квартире?

— Нет, Мусапыр, я пойду, как договорились...

На вокзале я растерянно осматривалась. Никто меня не встречал. Вдруг подошел по-городскому одетый человек:

---

* Перевод Мих. Львова.

— Скажи мне, милая, откуда ты приехала?

Мусапыр довольно грубо вмешался:

— А зачем она вам нужна?

— Ты что думаешь, я ее съесть могу?— отвечал черноусый.— В этом поезде должна приехать девушка, которую я ищу.

— А откуда вы ждете девушку?— Мусапыр на этот раз был уже вежливее.

— Из Тургая...

— Я из Тургая!— воскликнула я.

— Скажи мне свое имя, девушка.

— Батес!

— Тогда, милая, тебя-то я и встречаю... Твоя старшая сестра Асия послала своей сестре Шамсие телеграмму... Но Шамсии нет дома. Она поехала в Москву и Ленинград. А я ее муж. Зовут меня Аманжол Амандыков.

И Аманжол поздоровался со мной за руку:

— Лошадь тебя ожидает, милая...

— А когда ее сестра приедет?— спросил Мусапыр.

— У тебя, джигит, ехидный язык,— отвечал Аманжол,— ты же, девушка, знай: если нет сестры — есть ее дом, а в этом доме для тебя есть и ночлег и пища...

— Вы что, не узнаете меня, товарищ Амандыков. Я — Балкаш!— подал голос учитель.

— Балкаш?— удивился Аманжол.

— Да, Балкаш Жидебаев...

— А-а! Кажется, помню. А вы откуда едете?

— Из Тургая. Вместе с Батес. Асия, вы о ней сейчас говорили, просила меня довезти девушку до Кзыл-Орды и помочь ей устроиться.

— Тогда поедем сейчас к нам. А уж завтра отправитесь по своим делам.

— Хорошо, но нам нужно посоветоваться,— отвечал Балкаш.

Аманжол отошел в сторону.

— Будь бы дома Шамсия, она бы тебя встретила и все было бы хорошо, Батесжан,— рассуждал Балкаш.— Она ведь женщина, ей проще тебе помочь, легче тебя понять. Спасибо и Аманжолу за встречу. Но что теперь тебе делать? Разве можно идти с мужчиной в дом, где нет женщины?— рассуждал Балкаш.— Я бы тебя позвал к себе, но комнатка наша так тесна, в ней так много людей, что даже не найдется места, где тебя положить.

— Что же вы мне посоветуете?— перебила я Балкаша.

— А что, если пойти в дом, где живет Мусапыр? Хозяева хорошие, просторно. Вот и поживешь там, пока не уладишь все свои дела. Пойдешь?

— Пойду!

А что я могла еще ответить? Разве мне выпадают удачи? Разве не обрушивались на меня беды одна за другой... Но самое большое несчастье, наверное, ожидает меня в этом доме... Должно быть, это так!

МЕНЯ СНОВА ГРАБЯТ

— Тысяча и одно спасибо вам, товарищ, за ваш приезд на вокзал в эту темную ночь!— С такими словами Балкаш подошел к Аманжолу, дожидавшемуся в сторонке нашего решения.— Все мы земляки, тургайские... Посовещались и пришли к мысли, что лучше всего Батес идти с нами. Девочка едет из родного аула учиться. Будем здоровы, завтра же начнем ее устраивать. А там подъедет Шамсия, и Батес навестит ее.

— Не буду спорить,— отвечал Аманжол,— но уж извозчика вы не нанимайте, я сам отвезу вас.

— Не беспокойтесь!— попробовал отказаться Балкаш.— Нас ведь надо отвозить в разные концы.

— Хоть бы в десяти местах жили, все равно же это в нашей Кзыл-Орде, а значит — недалеко... Ну, садитесь.

— А мне нужно на самую окраину,— ввязался в этот спор Мусапыр.

— Что-то мы слишком много разговариваем,— с иронией сказал Аманжол,— я своих лошадей не нанимал, чтобы спорить «далеко ли, близко ли, прямо или криво». Хотите наконец ехать — садитесь!

По казахским обычаям в моем представлении после этих слов мои спутники должны были отказаться от услуг Аманжола и нанять извозчика. Но они поплелись вслед за ним к телеге, стоявшей под деревьями на вокзальной площади. На козлах тарантасов сидели извозчики и, привлекая пассажиров, старались перекричать друг друга: «Садитесь ко мне!» «Садитесь ко мне!» Они наперебой расхваливали своих лошадей, называя их то рысаками, то иноходцами. В предрассветном сумраке я приметила похожих на лошадей животных, размером

чуть больше полугодовалого теленка. Шепотом я спросила у Балкаша:

— А это еще что такое?

— Ты разве никогда не видела?

— Никогда!

— Так это и есть ишак.

Интересно, как я их могла видеть, если во всей Тургайской степи, где я родилась и выросла, их не было и в помине.

...И вдруг я услышала грубый и громкий рев. В испуге я призвала на помощь аллаха и прижалась к Балкашу.

— Что с тобой случилось?— удивился учитель.

— Кто это так ревет?..

— Батес, так это и есть ишак...

Виновник моего испуга между тем закончил свой отчаянный рев каким-то плаксивым визгом.

— Чего это он так старался?

И Балкаш объяснил мне, что ишаки в этом похожи на петухов: они голосят на рассвете, в полдень и на закате солнца. Но в курятниках поют только петухи, а тут от ослов не отстают и ослицы.

Ишаки... Почему-то говорят и даже в книгах пишут, что они беспримерно глупые. Вот я и повидала и услышала ишака.

Мы сели на телегу Аманжола. Лошадь нас помчала рысью по улице, мощенной неровными камнями. Кое-где на воротах домов неярко горели фонари, но и без них уже было хорошо видно вокруг.

— Тише!.. Тише!..— без конца повторял Балкаш, недовольный тряской в безрессорной неудобной телеге.

Улица была обсажена двумя густыми рядами деревьев: они порою совсем скрывали низенькие дома.

— Это самая главная улица нашего города,— рассказывал мне Балкаш,— от вокзала до поворота она называется улицей Энгельса, а от поворота — улицей Карла Маркса.

Вскоре мы свернули, как объяснил Балкаш, на улицу Ленина, а потом долго кружили и петляли, пока наконец Балкаш не попросил Аманжола остановиться у каких-то ворот.

Балкаш помог сойти Жаныл, потом взял свои вещи и пожелал нам счастливого пути.

Теперь дорогу указывал Мусапыр.

— К садам, к Айранбаху!..

Аманжол стал погонять свою бойкую лошадь.

— С этим джигитом была его сестра или жена? Жена, говорите. А она случайно не беременная? Почему я спрашиваю? Да потому, что он надоел мне своими просьбами ехать потише. Будто никогда не ездил на телеге. Вот я и подумал, что он боится, как бы не случился выкидыш...

— Вы догадались!— сказал Мусапыр.— Этот Балкаш больше всего на свете хочет ребенка. И боится всего, что может причинить вред жене.

— А кому из вас родственница эта сестренка?— Аманжол указал на меня.

— Нам обоим.

— Почему же тогда Батес не осталась с ними. Ей было бы удобнее устроиться под одной крышей с близкой женщиной.

— Это правда. Но у них тесно.— Мусапыр как будто смутился.— Батес для меня очень близкая родственница. Поэтому она и едет со мной...

— А-а!— протянул Аманжол и замолчал, видно не желая продолжать эту беседу.

Мы долго блуждали в кривых и тесных переулках. Уже было светло, громко перекликались петухи и неистово лаяли собаки. Как много псов в этом городе! Они бегали стаями, выскакивали из подворотен...

Беседа у нас не клеилась. В молчании мы выехали из города. Кончились улицы, сады... Вокруг была степь, усеянная мелкими, издали напоминавшими чайники, бугорками. Из этих бугорков выходили люди. Я спросила, что это такое.

— Кепе,— объяснил Мусапыр,— жилище городской бедноты. В холме или в овраге выкапывают пещеру, ставят на выходе что-то вроде шанрака — обруча юрты, чтобы проникал свет, и жилище готово.

— И много в Кзыл-Орде таких кепе?

— В самом городе нет, только на окраинах. Говорят, каждый четвертый кзылординец живет в кепе. А некоторые и просто в юртах, только юрты в этом краю чаще всего черные. Почему? Здесь много оседлых казахов, занимающихся земледелием. Они бедняки, и у них не бывает не то что белой юрты, а даже серой. Они живут в дырявых черных юртах. А у самых бедных нет и такой юрты. Большинство кетменщиков ютятся в землянках — кепе. На той стороне Дарьи есть даже аул, который на-

зывается «Кырык-кепе»— сорок кепе. Видно, их столько было вначале, а теперь больше ста... Трудно приходится сырдарьинским казахам. Они вручную орошают посевы. Тяжелая работа. Тургайским скотоводам куда легче жить...

С грустью глядела я на кепе. Однако между этими землянками встречались и небольшие плоскокрышие дома. Около одного из них мы остановились.

— Вот здесь моя квартира!

После долгой дороги по сыпучим пескам лошадь Аманжола устала, покрылась белой пеной. Мы заехали в открытый двор — ворот здесь не было. Из дома навстречу нам вышел мужчина средних лет. Мне бросились в глаза длинные черные усы, подкрученные кверху, и богатая лисья шапка.

— А, ты уже вернулся, Мусапыр!— пожал он ему руку.

— Ну как, здоровы ли твой скот и твоя семья, Кузеке?— почтительно спросил мой спутник.

— Алла, да это Мусапыр приехал!— к нам вслед за хозяином подошла рябая толстая женщина в белом платке. Едва я успела подумать, что они, вероятно, муж и жена, как почувствовала их пристальные недоумевающие взгляды. Мусапыр предупредил их любопытство и коротко сказал, что я приехала сюда учиться из Тургайской степи.

Хозяева улыбнулись, видимо, решив, что я невеста Мусапыра. С Аманжолом они не поздоровались, должно быть, приняв его за возчика.

— А мы, Есектас, и не знали, что будут гости,— обратился хозяин к жене.— Уж на базар схожу я сам. Ты же перемести детей из гостиной в переднюю комнату и устраивай Мусапыра. Да побыстрее! Сегодня воскресенье. Базар уже начинается. Я возьму эту телегу и доеду на ней...

— Нет, ты на ней не доедешь,— ответил Аманжол.

— Это почему же?

— Потому что мой дом совсем в другой стороне.

— Пусть в другой стороне, но я же тебе уплачу...

— У тебя не хватит денег!

Кузен, позднее я узнала, что его зовут именно так, оскорбился и начал дерзить Аманжолу:

— Да за кого ты меня принимаешь, как ты смеешь мне так говорить?

— Не кипятись!— нахмурился Аманжол.— Скажи лучше, за кого ты меня принимаешь? Может быть, ты слышал о человеке по фамилии Амандыков...

Кузен растерялся и промямлил что-то неясное. Он не ответил и на вопрос жены, а только сделал ей знак губами ,чтобы она придержала свой язык.

— Ну, продолжай, продолжай петушиться!— насмешливо посмотрел Аманжол на Кузена, который по всем признакам отнюдь не был рад этой встрече и даже заикался от волнения:

— Я не по-одума-ал! Вы извините!..

Хозяева пригласили нас в дом. Мы стали прощаться с Аманжолом.

— Вот не знал, что встречу здесь этого проходимца Кузена. А как ты, Мусапыр, связался с ним?

— А вы что, хорошо его знаете?— ответил Мусапыр вопросом на вопрос.

— Он ведь известный жулик и спекулянт. Чем он только не торговал, кроме разве жены и детей. Впрочем, он отъявленный картежник, однажды проиграл в карты и ее, отыграв обратно лишь через несколько месяцев. Это, наверное, та самая женщина, которую он называл Есектас. Есектас — каменный ишак! Не очень веселое имя. Досталось бедняжке, да и Кузен — хорек, не слишком приятно звучит. Ведь маленький кузен — один из самых вредных зверей. Он и кур душит, он не боится разрывать могилы погребенных.

— Откуда вы знаете его?

— Я начальник городского финансового отдела...

— Ага, понятно,— в словах Мусапыра чувствовалась сдержанность.

— Что же вам понятно?— спросил Аманжол.

— Вот вы сейчас сказали, что Кузен спекулянт. Действительно, финотдел не дает ему вздохнуть, душит налогами. Но мне кажется, он не совсем такой, каким вы его себе представляете. Правда, я не живу в этом доме. Моя квартира в городе у старшего брата Кузена — Карсака. Они наши дальние родственники по четвертому поколению. А о Кузене вы неправильно говорите. Сам он болеет, у него астма, работать кетменем или лопатой он не может. Нигде он не учился. И торговля, которой он занимается, разве это спекуляция? Скота у них нет. Покупают и продают всякое старье. Выручают копейки, этим и живут.

— Ты Кузена совсем не знаешь. А может, знаешь и нарочно говоришь так. Ну, а нам-то он хорошо известен,— резко ответил Аманжол.

Весь этот разговор Мусапыру был явно не по душе. Он всячески старался его прекратить, хотя сохранял сдержанность, пытаясь казаться равнодушным. Воспользовавшись случайным предлогом, он собрал свои вещи и зашел в дом посмотреть, все ли там готово.

Когда мы остались одни, Аманжол торопливо и взволнованно сказал мне:

— Я тебе, милая, задам один вопрос. Только ты его не принимай близко к сердцу.

— Я готова вам все сказать, Аманжол-ага!

— Скажи тогда: ты не связана с этим Мусапыром?

— Сохранит меня аллах!— испуганно воскликнула я, понимая, что он спрашивает о самом сокровенном.— Сохранит меня аллах! Он только мой спутник, мой земляк, я ехала вместе с ним и больше я ничем, ничем с ним не связана!

— Тогда я тебе, милая, скажу так:

Цена любого иноходца
Легко по бегу узнается.
Повадка выдает без слова.
Повадка выдает без слова.

Все повадки Мусапыра определенно его выдают! Он привез тебя в дом плохого человека! Неужели он не мог найти ничего лучшего!.. Не оставайся здесь, милая!.. Поедем к нам.

— Мне совестно, агай!.. Как я могу без разрешения покинуть своего спутника... Мы ведь вместе ехали из родных мест.

— А где ты будешь учиться?

— Не помню... Об этом должен знать Мусапыр.

— Ну, мне пора!

Аманжол взялся за вожжи. Я стояла, не зная, что мне делать. Выезжая на улицу, Аманжол остановил лошадь и приветливо сказал на прощанье:

— До свиданья, милая, до свиданья. Поглядел я на тебя — ты совсем ребенок. У тебя на губах еще следы материнского молока, а со спины не сошли отпечатки зыбки. Хорошего тебе пути, милая!

Как много, оказывается, на свете добрых людей. Помоги мне, творец, быть среди них!

Дождавшись отъезда Аманжола, Мусапыр и Кузен вышли из дому. Кузен нес за плечами мешок, приготовленный для базара.

— Ну, я отправился... Скоро вернусь...

Мусапыр приблизился ко мне почти вплотную:

— Этот Аманжол никак не может насытиться взятками. Ему все мало, мало. Он и людей ненавидит. Одного назовет баем, другого муллой, третьего спекулянтом. Дадут взятку ,он их не тронет, выгородит. А не дадут — обложит налогом, пока не разорит. Он разыскивает даже таких, как Кузен, которые еле-еле существуют. И душит их, если откажутся дать взятку. Все, что он говорил,— это так, для отвода глаз. И мы как будто привели Аманжола к дому бедного Кузена. Теперь он ему не даст житья.

— Совсем он не похож на такого человека,— возразила я.

— Не слушай его речи, посмотри на его дела.

— Но если эта семья ни в чем не виновата, мы же можем сказать Аманжолу.

— Так он тебя и послушает!..

Вышла Есектас и пригласила нас в дом.

Я вошла и поразилась. В первой комнате, разделенной пополам кирпичной печью, не было никакой мебели и подстилок. Самовар и посуду густо облепили мухи. Вторая комната, гостиная и спальня, мало чем отличалась от первой. В углу возвышалось подобие нар, сделанных из глины. Они были устланы лоскутной материей и старым широким полотном. На левой стороне стояла кровать, сколоченная из грубых досок. Из-под заплатанного одеяла на грязной подушке торчала взлохмаченная голова худенькой маленькой девочки. Блестящими глазами, очертанием лица она очень походила на Есектас. Мухи и здесь кишмя кишели. Но никаких следов богатства или довольства я не приметила...

— Вы ехали долго, озябли на рассвете,— сказала Есектас,— ложитесь, отдохните немного. Нас тот, усатый, оскорбил, спекулянтами назвал. Разве у спекулянтов дома так бывает, что и гостям постелить нечего...

— А я что говорил?— поддержал хозяйку Мусапыр.

— Хоть мне и стыдно, но вы укрывайтесь своей одеждой!— сказала Есектас.

— Да вы не смущайтесь!— И Мусапыр привел пословицу:— Нельзя в руки взять то, чего нет.

— Учтивый говорит откровенно,— вспомнила пословицу и Есектас,— если уж не скрывать правды, так в доме этого спекулянта сейчас нет даже еды. Ну, ничего, мы принесем вам что-нибудь с базара, пока вы тут отдохнете...

— Не надо беспокоиться, женгей!

— Как мне не беспокоиться! Вначале стесняются гости, а потом стыдится хозяин дома. Ты, Мусапыр, здесь свой человек. А ведь Батес еще не отведала пищи в нашем доме...

Я подумала про себя: откуда только Есектас узнала мое имя.

Она дала наставления своей дочке, черноголовой девочке со злыми глазами, лежавшей под одеялом, и ушла.

Кодык — так звали хозяйскую дочку — пристально и не по-детски зло посматривала на меня.

— Может, ты ляжешь вместе с ней?— спросил Мусапыр.

— Ну, нет... Уж лучше я лягу в углу на полу... Ты мне скажи, почему здесь так грязно? И спекулянт он или не спекулянт этот Кузен?

Мусапыр усмехнулся.

— Денег я его не считал, но, наверно, их меньше, чем у твоего отца.— И замолчал, не желая подробно распространяться...

Мусапыр лег в одном углу комнаты, подложил под голову пальто и повернулся к стенке. Я села в другой угол и снова заметила, как прищуренные черные глаза Кодык уставились на меня. Она лежала без движения и пристально следила за мной. Мне не хотелось спать, но я не выдержала ее пронзительного взгляда и, подостлав камзол из верблюжьей шерсти, легла, как и Мусапыр, лицом к стене.

Мне не давали покоя мухи. К тому же сюда залетали желтые, противно и тонко жужжащие комары. И блохи здесь были и еще какие-то насекомые, которых я не знала. Называются они клопами. Так мне сказали потом. От их укусов начинало зудеть тело.

Я исцарапала все тело. Едва только погружалась в дрему, как снова просыпалась от зуда. А Мусапыр уже похрапывал как ни в чем не бывало. Наверно, заснула и девочка, закрывшись с головой одеялом. Но сон ее был неспокойным...

Уж такой у меня характер, что мое плохое настроение

проходит так же быстро, как и возникает. На этот раз его исправило солнце, заглянувшее в окно.

Солнце нашего Тургая очень редко бывает таким ярким. Оно обычно поднимается из облаков, закрывающих горизонт. А когда восходит на чистое небо, то, как молодая невеста, мгновенно набрасывает на лицо легкую кисею тучек. Или, как молодая жена, соскучившаяся по отцовскому аулу, всплакнет сквозь облако-платок, прольется легким дождем. Наше тургайское солнце в ясные дни жжет только в полдень, да и в такое время чаще всего дует прохладный нежный ветерок, чтобы легче было и людям и животным.

Нет, кзылординское солнце совсем не такое. Оно пылает уже с утра, а когда поднимается к зениту, то греет так сильно, что непривычному человеку нечем дышать. Я вышла на улицу освежиться, но вместо степного прохладного ветерка меня обожгло таким нестерпимым зноем, что я тотчас возвратилась в комнату. Мусапыр попрежнему храпел — видно он привык и к духоте и к насекомым. Девочка, как и раньше, беспокойно ворочалась под одеялом...

Снова ложиться мне не хотелось, и я решила умыться, привести себя в порядок. Я переложила косы со спины на грудь и вдруг увидела, что ленты, которыми я заплела косы, исчезли. Чудесные ленты с монетами на концах. Косы мои совсем расплелись, рассыпались... Где же ленты, где же черный шелковый шнурок, подаренный мне Калисой. Не было еще случая, чтобы развязывались ленты на моих косах. И в Кустанае, перед тем как мы садились в поезд, я тщательно заплетала косы. Да и здесь, в этом доме, все было на месте. Куда же могли деться мои ленты? Какой джинн или шайтан мог их украсть? Кто подкараулил меня в ту минуту, когда я заснула. Ведь сон мой был коротким, неглубоким. Не мог же взять ленты Мусапыр. Зачем они ему? Да и он захрапел сразу, как только лег. Или эта девочка Кодык? Она посматривала на меня, и даже когда укрывалась с головой, беспокойно переворачивалась с боку на бок. Но ведь она совсем маленькая. Ей и в голову не должна прийти мысль о воровстве. Ну кто же все-таки взял? Ведь в комнате, кроме нас троих, никого не было.

Я была огорчена этой неожиданной потерей.

Для девушки-казашки родные всегда приберегали серебро. По нашим аульным понятиям, оно бывает чистым

и нечистым. На монетах чистого серебра — гривенниках, полтинниках, рублях ребра кружков покрыты зигзагообразными черточками. Кроме того, на одной стороне обычно изображена царица-женщина. Эти монеты звенят очень мелодично. А монеты нечистого серебра с изображением царя-мужчины звякают, как медь. Ребра их шероховаты. В аулах чистое серебро считалось драгоценным, а нечистое — низкосортным.

Потом я узнала, что наши казахи в той своей оценке были по-своему правы. При российских царицах — Анне, Елизавете и Екатерине в монетах действительно было больше серебра, чем позднее, во время царствования Александра и Николая. Вот казахи, особенно те, что побогаче, и охотились за екатерининскими рублями, заказывали из них для своих дочерей браслеты, кольца, монисто.

Байбише Каракыз подвесила к моим лентам по чистой рублевой монете. И, конечно, не екатерининское серебро было дорого для меня, а память близкого человека... Сначала пропали бусы вместе с саквояжем... И эти две монетки смотрели на меня, как глаза байбише, как материнские глаза, а лента, соединявшая их, была светлой, как взгляд доброй женгей Калисы. Не было теперь рядом этих глаз, этого взгляда.

Вот почему я так была огорчена, вот почему так пылало мое лицо.

Говорят, при потере дорогой вещи можно залезть даже за пазуху матери. А меня не оставляла мысль, что ленты с монетами украла девочка. Я подошла к ней и сорвала одеяло. Какая она была худая, все ребра можно пересчитать сквозь тонкую кожу. Черные угольные волосы, взлохмаченные, как у ягненка, давно не знали гребешка. Девочка проснулась. Она моргала маленькими черными глазками, словно собиралась заплакать.

— Кодык, ты взяла мои ленты?

Ее черные глазки стали еще уже, злее. Она покачала лохматой головой.

— Отдай, если ты взяла!

Она опять покачала головой.

Мусапыр проснулся, поднял голову и, протирая красные воспаленные глаза, спросил:

— Что случилось, Батес?

— И в поезде воры и здесь воры! Как наконец от них освободиться?!

И я расплакалась.

— Что случилось, скажи толком!..

Я рассказала ему о пропаже, но он только удивлялся и не строил никаких догадок.

— Мусапыр, я должна уйти из этого дома, я боюсь одного его вида. Я сейчас же уйду!

— Постой, куда ты пойдешь?

— У меня есть язык, глаза и ноги. Буду спрашивать и найду все, что мне нужно.

— Не торопись, пожалуйста. Что ты будешь искать?

— Как что? Учебное заведение.

Мусапыр насильно задержал меня, завесил окно, в котором жгуче светило солнце, своим пальто и моим чапаном, усадил меня рядом и начал успокаивать:

— Запомни, Батес, Кзыл-Орда не Тургай! Ты не найдешь здесь нужный тебе дом, как в своем ауле. В городе не принято спрашивать: где, мол, дом такого-то человека. В городе надо знать улицу, номер дома, иначе будешь блуждать зря. Не надо так делать, Батес! Я же тебе обещал в пути помочь устроиться на любую учебу, которая по твоим силам. Я сдержу свое слово. А сейчас еще слишком рано... Только семь часов... Все учреждения закрыты. Подождем хозяев. И тогда можно будет идти. А о твоей ленте я даже не знаю, что сказать. Если она у тебя была, ума не приложу, куда она могла деться. Может быть, когда ты задремала, сюда вошел чужой человек и стащил ее. Но трудно поверить. Ты на всякий случай скажи хозяевам — вдруг они найдут.

И я, уже совсем потерявшая надежду отыскать свою ленту, после слов Мусапыра оживилась, загорелась и не стала грозиться, что сейчас же уйду.

— Ты все-таки легла бы, отдохнула. Сейчас в доме стало прохладнее, можно заснуть.

— Нет, спать здесь я не хочу,— ответила я Мусапыру.

Мы оба помолчали немного, а потом он стал мне рассказывать о Кузене:

— Когда я около года назад заходил к ним, такой убогости здесь не было. Ведь хозяин в свое время был богатым джигитом. Случалось ему служить и приказчиком у бая. Теперь дела у него пошли плохо. При Советской власти трудиться надо. А трудиться он не может — здоровье плохое, да и не умеет. Расшаталось его хозяй-

ство, и довольства нет в доме, хотя кое-что запрятано... Но, как говорится:

Собака, облизав бревно,
Не будет сытой все равно...

Какая там у них выручка от продажи старья на базаре...

Мусапыр вздохнул и принялся описывать дни благоденствия Кузена и его семьи. А когда он почувствовал, что эти рассказы меня никак не интересуют, принялся расхваливать Есектас.

— Ты не смотри на нее, что она такая черная с виду,— говорил он,— она добрая в душе.

Зачем он ее только расхваливал? Неужели я должна остаться здесь жить? И я раздраженно оборвала Мусапыра:

— Ну какое мне дело до того, как они жили раньше. Ведь это тот самый дом, в котором и на привязи собака не будет жить.

Мусапыр не стал больше говорить о Кузене и его жене и принялся на все лады хвалить институт, куда он решил устроить меня на подготовительный курс.

— Директор Молдагали Жолдыбаев хорошо знакомый мне человек. Поможет аллах, и я устрою тебя к нему в институт...

За дверью послышалоя шорох, шум. Мы прислушались, а девочка, тихо лежавшая под одеялом, внезапно заголосила:

— Апа, мама!

На ее крик отозвалаеь возвратившаяся с базара Есектас.

Кодык продолжала реветь.

— Что с тобою, мой светик?— пыталась ее успокоить мать.

— Она била меня!— и девочка с плачем кинулась на шею матери.

— Кто?— удивилась Есектас.

— Да вот она, она!— и Кодык указала на меня пальцем.

— Боже сохрани, когда я ее била?— напугалась я.

— Била, била!— визжала девчонка.

Есектас приняла сторону дочки:

— Чего бы она плакала, если бы ее не били?

— Я не дотрагивалась до нее, женгей. А то, что у

меня потерялась лента для волос — истинная правда. И я спрашивала у Кодык, не брала ли она ленту.

— Что это за лента?

Мы с Есектас стояли друг против друга, почти вплотную. Я рассказала о ленте и о том, как все это произошло.

— Ты потеряла свою ленту до того, как сюда пришла. Ты, наверное, не заметила, как ее у тебя украли в поезде.

— Не так, Есектас! Лента была со мной, когда я пришла к вам и прилегла вон в том углу...

— Тогда куда же она делась? Мыши на нее не польстятся, а кроме мышей здесь никого не было. Или ты все-таки думаешь, что ее украла моя девочка ростом с мизинчик?

— Ветром, что ли, ее унесло?— рассердилась я.

— Ойбой!— ехидно вздохнула Есектас.— Я все думала, почему ты уехала из родного аула. Теперь мне ясно,— ты сбежала, потому что ты шальная!

— Не надо так говорить!— вступился за меня Мусапыр.— Она совсем не шальная. Я ведь тоже не убежден, что взяла твоя дочка. Несмышленый ребенок. Разве она может воровать? Должно быть, взял кто-нибудь из соседей, когда Батес задремала.

— Не будем больше говорить об этом. Лента моя. И пусть она пропадет. Но тому, кто ее взял, я пожелаю, чтобы она камнем застряла в горле!

— Только плохие женщины любят проклинать. Ты молодая, а уже научилась... Не знала я, что ты такая.

И Есектас с девочкой на руках вышла из комнаты.

— Взяла действительно она!— сказала я Мусапыру.

— А как ты это узнала?

— Я догадалась. Она сказала, что я ее била. Ведь я же не трогала ее. Мне сейчас вспомнилось, что в нашем ауле была вороватая девочка, любившая красть бусы и украшения у девушек и молодых женщин в праздничные дни. И когда что-нибудь пропадало и у нее спрашивали, она вот так же кричала и заливалась слезами... Если пострадавшая молчала — все сходило с рук, если же не молчала, тогда ее мать, подобная Есектас, сама подымала такой шум, так начинала ругаться, что всякие поиски тут же прекращались. Их боялись одинаково: маленькая воровка стоила своей матери!

...И все-таки мне пришлось попробовать хлеб в этом доме.

Есектас приготовила чай и положила на дастархан наломанный кусочками хлеб. Он мало напоминал хлеб, который едят у нас в Тургае. Это были лепешки, тандыр-нан,— хлеб, испеченный в особой глиняной печи. Он немного походил на булочки, приготовленные в нашем краю на сковородках. Но лепешки, которыми нас угощала Есектас, были очень черствыми. В фарфоровые чашки-кесе хозяйка разлила белую густую ниппаллу — сладкую, но очень вязкую. Я ее не могла пить. И еще она предложила плавленый сахар — кумшекер, желтый на цвет и горьковатый на вкус. Я почти не прикоснулась к сладостям, съела маленький кусочек тандыр-нана и выпила пиалку крепкого чая.

Время уже приближалось к полудню, когда мы с Мусапыром решили идти в институт. Он вышел на улицу и возвратился:

— Солнце прямо-таки палит! Надо идти в легкой рубашке, иначе не выдержишь. Ты, Батес, тоже оставляй здесь верхнюю одежду.

— Нет, не оставлю!— сказала я.— Я все возьму с собой и не приду в этот дом, даже если будут тащить насильно.

— Ну, хорошо, не приходи, если не хочешь. Но в жару не таскай с собой ничего лишнего. Оставь здесь, потом я наведаюсь и заберу.

— Нет и нет!— ответила я.— От вредного человека и святой сбежит. Я ухожу из этого дома, я не вернусь сюда больше. Здесь, где у меня украли ленту, и от одежды ничего не оставят. Эти платья мне шили близкие люди. Я вижу их глаза, когда смотрю на свои обновы... Хватит с меня и того, что меня два раза ограбили. Больше я этого не хочу!

ПОЧЕМУ ОН МОЛЧИТ?

Я надела поверх платья безрукавный камзол, взяла в руки все свои пожитки. Я не хотела больше возвращаться в этот дом.

От палящего зноя мою голову оберегала меховая шапка из выдры. Байбише Каракыз запрещала ее снимать. «Если солнце согреет твои волосы, то они потеряют цвет»,— говорила байбише.

Аульные девушки в те времена не носили ботинок. И, как у всех, у меня были сапоги. Я их снимала только

перед сном. «Девушке нельзя показывать ноги»,— говорила байбише.

И как бы ни было жарко у нас в Тургае, я никогда не потела. Но здесь стоило мне пройти несколько шагов от дома Кузена, как я почувствовала, что вся обливаюсь потом и таю, как лед под солнцем...

— Я же тебе говорил, Батес, но ты не послушалась!— пожалел меня Мусапыр.— Я повторяю: вернись, оставь хотя бы ту одежду, которую несешь.

И когда я снова отказалась, он почти насильно выхватил у меня из рук мои платья.

— А теперь возьми свою шапку и безрукавный камзол.

— Не возьму!— упорствовала я.

— Но ты же мокрая от пота!

— Ничего от этого не случится.— И я рассказала Мусапыру, что когда-то в старину несколько тургайских казахов возвращались на родину с хаджа — паломничества в Мекку. Почти все они погибли от жары,— сквозь тонкую одежду легко проникали разящие солнечные лучи. Живым остался только Алдабай, который строго соблюдал аульные обычаи. Он был в лисьем треухе, в шерстяном толстом чапане и в сапогах с войлочными чулками. Он знал, теплая одежда оберегает и от солнца. Вот и я, как этот Алдабай, защищалась от жары. И не только не сняла камзола, но еще взяла у Мусапыра мой бешмет и набросила его на плечи.

— Над тобой же будут смеяться!— отговаривал он меня.

— Ну и пусть смеются! Смерть, наверное, страшнее смеха!

Я послушно шла за Мусапыром туда, куда он меня вел. Я вся была в поту. Казалось, в голенища сапог налили теплой воды. А солнце? Чем выше подымалось оно, тем раскаленнее становился воздух. Я удивлялась, глядя на Мусапыра: и капелька пота не выступила на его лице. Значит, он привык к горячим лучам?

— Может быть, ты снимешь бешмет и камзол?— посоветовал он. И хотя его слова были совсем не обидными, мне почему-то становилось стыдно, и я отказывалась.

Город находился довольно далеко от дома Кузена. По дороге мы очень скоро испытали еще одну беду. Серая кзылординская пыль подымалась клубами после проезда каждой встречной телеги. Удушливая густая

пыль! Чем ближе к базару, тем больше телег попадалось нам навстречу. Поднятая их колесами пыль нависла плотным туманом. Она набивалась в рот и нос — густая, едкая, горячая. Она щекотала горло и вызывала кашель. Я старалась не открывать рта, но от этого было не легче. Временами, когда рассеивалась пыль, я замечала насмешливые взгляды, а потом слышала и возгласы:

— Посмотрите, палит солнце, а девушка закуталась, как в мороз!

— Да в своем ли она уме?..

Меня эти насмешки не огорчали. Постепенно свыкаясь с жарой и пылью, я всматривалась в городскую сутолоку и подивилась множеству ишаков на улицах Кзыл-Орды. Чем только они не были навьючены — дровами, сеном, мешками. Многие кзылординцы ехали верхом на ишаках. Седоки в сравнении с маленькими животными казались грузными, неуклюжими, большими. Особенно забавно было видеть, когда на одном ишаке сидело несколько человек. Да, ишаки крепкие, выносливые! И хотя сами они безобразны, у них хорошенькие жеребята — кодык, как случайно узнала я, наблюдая одну уличную картинку, когда прохожий кричал другому:

— Вот твой потерявшийся кодык.

В центре города пыли было совсем мало. Прямо на улице в больших казанах здесь продавали ту самую сладкую нишаллу, которой угощала меня Есектас. Продавцы громко зазывали прохожих полакомиться нишаллой и разливали ее ковшами в посуду покупателей. Здесь, уже поблизости от базара, торговали разными вещами и платьями. Мусапыр остановился:

— Слушай, ведь одежду у тебя украли. Давай купим платье и белье.

— Зачем?

Наверное, Мусапыр подумал, что в душе я вовсе не против покупки и, присмотрев узкое платье, сразу начал торговаться с продавцом.

— Нет, я такое платье носить не буду!

— Ну, ладно! Тогда купим материю и кто-нибудь тебе сошьет по твоему вкусу.

...Наконец мы достигли какого-то сада и под тенью его деревьев прошли к площади. Мусапыр привел меня к большому кирпичному дому с красной крышей. Поразило меня в этом доме множество окон.

— Вот мы и пришли к институту!— сказал Мусапыр.

Сколько юношей и девушек сновало в его коридорах! Одеты они были и по-городскому и в аульные наряды.

— Такие же, как ты, приехали учиться!— шепнул мне Мусапыр.

Мы остановились у дверей, куда то и дело заходили и учащиеся и преподаватели.

— Подожди меня здесь,— сказал Мусапыр и скрылся за дверью.

Ждать мне пришлось довольно долго. Наконец, Мусапыр позвал меня в комнату, где должна была решиться моя судьба. Кроме нас там были двое: плосколицый толстогубый человек с гладко выбритой головой сидел за столом и еще какой-то важный мужчина пристроился в сторонке.

— Значит, это та самая девушка?— сразу спросил толстогубый.

Мусапыр ответил утвердительно и вполголоса сказал мне, что это Молдагали Жолдыбаев, директор института.

Молдагали, топорща густые брови, внимательно осмотрел меня своими выпуклыми большими глазами. И вдруг все его лицо мне показалось смеющимся.

— Симпатичная, красивая девушка!— заговорил он.— Таких девушек хитрые аульные активисты часто перехватывают по пути и не пускают учиться в город! Как же они не разглядели ее?

— Я расскажу вам позднее, Молдеке. Все расскажу, подробно!— серьезно ответил Мусапыр.

— Зачем рассказывать? Я не изучаю биографий, чтобы писать драму или роман. Я просто хочу сказать, что хорошо бы посылать из аулов не только тех, кто там не нужен, но и стройных, приятных девушек. В сущности, в каждом народе есть и красивые и некрасивые. Посмотрите на русских девушек в институтах. Вы встретите среди них и привлекательных и непривлекательных. А вот наши казашки, приехавшие учиться, почти все невзрачны. Но отправляйтесь из Кзыл-Орды в любом направлении, и в каждом ауле вы обнаружите красавиц. Наверное, я был прав, когда сказал об аульных хитрецах: не отпускают они своих невест в город...

— Молдеке, эта девушка почти ребенок,— прервал Жолдыбаева второй мужчина.— Ты ее утомил своей философией. Она впервые приехала в город, стоит перед тобой ни жива ни мертва, а ты смущаешь девушку, в глаза оценивая ее красоту...

— Что же ей смущаться,— Жолдыбаев весело взглянул на меня.— Знаете пословицу:

Хорошему — хорошее воздай.
И ты, хороший, от похвал сияй.
Плохому прямо говори, что плох...
Пускай в ответ услышишь тяжкий вздох.

— А ты, милая, садись.— И он показал мне на стул.

Но я лишь склонила голову в знак благодарности.

— Если ты такая вежливая, пожелаю тебе долголетия и счастья, милая. Раз уж ты приехала из далекого Тургая, мы, конечно, тебя примем. Кого же нам тогда принимать? Поступишь на первый подготовительный курс. Даже туда нужно шестилетнее образование. А ведь у тебя только четыре года. Не правда ли?

Я подтвердила, что это так.

— Ну, ничего. Будешь стараться, закончишь первый подготовительный... А о твоем отце мне рассказывал Мусапыр. Знал я его, почтенным он был человеком. Может быть, испортился теперь... Условие я тебе ставлю такое: ты будешь дочерью института, пока его не окончишь. Все заботы о тебе мы берем на себя. Понимаешь? Ты же будешь думать только об учебе.

— О чем же еще ей думать?— засмеялся тот, немолодой джигит, который все время молчал.

— Эх ты!— прикрикнул Молдагали.— Никогда не стыдно говорить правду. Она же почти взрослая девушка. Разве у нее в городе не найдутся поклонники. Они толпами бродят здесь. Откуда мы знаем, что один из них не закружит ей голову? Я правду говорю, милая...— Молдагали пристально посмотрел мне в лицо и продолжал:— Договоримся, пока не закончишь институт, и не думай о джигитах. Ты меня поняла?.. Ну, тогда пиши,— обратился Жолдыбаев к тому джигиту,— пиши, что она принята...

— А как же с экзаменами?

— Мы не будем экзаменовать девушку, приехавшую из далекого Тургая. Пиши, я тебе сказал, что принята. Не сможет заниматься, пусть винит сама себя. Ну, иди, дочка. Завтра получишь нужные бумаги.

Я поблагодарила Молдагали и уже направилась к дверям.

— А жить у тебя есть где?— бросил он мне вслед.— Нет, говоришь. Тогда завтра устроим в общежитие.

— Какой хороший, этот Молдеке,— сказала я Мусапыру.

— Ты права. Очень хороший. Только любит пошутить. Надеюсь, тебя не обидели его слова?

— Я не знаю, на что мне обижаться? Ведь он давал умные советы и душой болел за меня!

Мусапыр предложил пойти куда-нибудь отдохнуть.

— В дом Кузена ты уже, конечно, не пойдешь...

— Хоть голову мне отрежь, не пойду.

— А хочешь в дом его старшего брата? Ты удивляешься? Я же тебе говорил утром, что у него есть брат Корсак и живет он в центре города.

— Я помню это. Но едва ли старший брат будет лучше младшего.

— Не говори так, Батес:

И пестрый конь и вороной
Рождаются от матери одной.

Ты ведь ничем не похожа на свою старшую сестру Какен. Вот так же и Корсак с Кузеном. Корсак — приятный человек. И жена его Бодене — славная женщина. Они гостеприимны, все готовы отдать. У них широкий дастархан и щедрые открытые ладони. Не веришь? Пойдем посмотрим, Батес.

Мне не хотелось идти и к Корсаку, но усталость одолевала меня.

— Ладно, пусть будет по-твоему, но ведь ты говорил, что он ремонтирует свою квартиру.

— Пойдем, там видно будет.

Я еще никогда не видела таких домов — низких, с плоскими крышами и глухими стенами, без окон, выходящих на улицу. Серые глиняные стены, запертые ворота чем-то напоминали крепость. А если смотреть изнутри, со стороны дворов, то частые маленькие оконца придают этим домам сходство с осиными гнездами. Во дворах — такие же глинобитные серые сараи, отличающиеся от домов только отсутствием окон. Дома, сараи, глиняные заборы — дувалы так тесно жались друг к другу, что мне, выросшей в открытой степи, и представить трудно было, как же здесь можно жить... Вот сюда и втиснул Корсак свой домик и дворик. Хозяева уже вселились в отремонтированную квартиру.

Каким же толстым и неряшливым был брат Кузена Корсак! Не каждый человек мог бы его обхватить рука-

ми. С лысой головой, похожей на картофелину, с двойным подбородком, свисающим на грудь, грязноватый и потный, он и одет-то был в серую от пыли засаленную одежду. Представьте себе штанины полотняных брюк размером в добрый мешок, пудов на пять пшеницы каждый, широкую рубаху пестрого ситца, цветную узбекскую тюбетейку и стоптанные, напоминающие верблюжьи копыта, чувяки.

Ну, а его жена Бодене действительно оправдывала свое имя — Перепелка. Пухленькая, юркая, маленькая, она была и впрямь похожа на черную жирную перепелку. Неряшливость мужа передалась и ей. Она была босой, и это очень удивило меня, потому что у нас, в тургайских аулах, не только в байских, но и в самых бедных семьях и женщины и девушки никогда не ходят босиком. И все же Бодене была очень приятной, даже красивой — и смуглой своей кожей, и черненькими блестящими глазками под дугами густых и тонких бровей. Особенно украшали лицо зубы — жемчужные, блестящие, ровные.

Мусапыр говорил правду. Корсак с Бодене были гостеприимными людьми. Сам Корсак, оказывается, бывал у нас в доме, хорошо знал отца и мать, встречавших его с полным уважением. Они и меня сразу назвали своей родственницей, и я услышала от них теплые ласковые слова.

— Забудь ты про это общежитие!— сказал мне Корсак.— Живи у нас. К осени отстроится наш новый дом, а пока и здесь как-нибудь разместимся: и дом есть, и сарай. Нас ведь только двое. Ты думаешь, у нас не было детей? Были. Да ни один из них не остался живым. Словом, как в пословице:

Джигит работал в меру сил,
Джигит добро нажил.
Жена рожала сыновей,
Да ни один не жил.

Я слушала и удивлялась, глядя на Бодене: ведь она была такой молодой.

А Корсак продолжал:

— Будешь приветливой, хорошей, заживешь у нас как родная дочь.

Я не спешила с ответом. Я подумала, что сначала надо присмотреться к этой семье, навестить общежитие, а уже потом решать.

В доме Корсака меня удручали беспорядок и грязь. Молодые супруги, как видно, совсем не заботились о чистоте и уюте.

После чая Бодене мне предложила отдохнуть:

— Хочешь, милая, дома, хочешь в сарае.

Я выбрала сарай. Хотя там и была кромешная тьма, но зато легче дышалось.

Не раздеваясь, я легла на постель и сразу уснула мертвым сном.

Меня разбудила Бодене:

— Крепко же ты спала, девочка. Целый день спала. Сейчас уже время последнего намаза. Впереди у тебя целая ночь. Пища готова. Давно вернулся с базара и Мусапыр.

— А разве он не отдыхал?

— Нет, его не было дома. Он покупал тебе материал на платье и еще какую-то одежду.

Я ничего не ответила Бодене, но подумала про себя: и зачем только он это делает? Ведь я его просила ничего не покупать мне.

Я вышла из сарая. Солнце уже закатывалось, и в тенистом дворе не было прежней жары. Я вздрогнула, заметив, что во дворе умывался почти голый мужчина. На нем были только короткие синие штаны. И вдруг я догадалась: это Мусапыр. Худой, согнувшийся, он был непривлекателен в этом виде.

Я освежилась, привела себя в порядок и стала помогать Бодене. Мы вместе убрали сарай, расстелили дастархан и приготовили посуду.

— А угощать вас я буду пловом. Специально для тебя варила...

Плов, плов... Я слышала об этом южном кушанье, но никогда не видела его. Когда кто-нибудь из наших аульчан долго гостил в чужом доме, про него обычно говорили: «Что это он так задерживается, или там готовили пылау...» Я представляла себе, что это очень вкусно... Но это был обыкновенный сухой рис с мелкими кусочками куриного мяса, урюком и изюмом. В наших краях никогда не сеяли рис. Мы узнали его вкус в голодные годы, когда в наши аулы пришла продовольственная помощь. Обычно из риса варили кашу. Но стоило немного поправиться степному хозяйству, как тургайские казахи перестали покупать рис — им все равно не насытишься, и к тому же он отдает водой. Но зерна в плове, приготовлен-

пом Бодене, были рассыпчатыми и плотными. Как мне объяснила сама хозяйка, хороший плов и должен быть таким.

Узнала я в этот вечер и как пекут тандыр-нан. В круглой печи, напоминающей небольшой шатер, поддерживается огонь до тех пор, пока кирпичи не раскаляются. Потом выгребаются головешки и зола, и на горячие кирпичи наклеиваются круги раскатанного теста. Лепешки выпекаются мгновенно. Тандыр-нан из белой, хорошо просеянной муки был удивительно вкусным. Ни в какое сравнение с ним не шли старые черствые лепешки в доме Кузена.

После сытного плова и крепкого чаю Мусапыр предложил мне прогуляться:

— Вечер прохладный, Батес. Давай пройдем в сад.

Но я и не представляла себе, что такое сад и что мы там будем делать.

— Ничего и не будем делать. Просто погуляем и подымем настроение,— рассмеялся Мусапыр.

— Нет, не пойду, устала я сегодня...

— Тогда я один пройдусь, а ты отдыхай... Дорога для тебя была непривычной, долгой... Но ведь ты хорошо выспалась днем и теперь долго не уснешь. А ты, Бодене-жентей, не трать попусту время. Выкраивай Батес платье и начинай шить.

— Нет, сама я, пожалуй, не сумею. По соседству есть женщина-мастерица. Она быстро сошьет.

— Ну, это еще лучше. А теперь посмотрите!— и он разложил перед нами два отреза тонкого шелка — один ярко-красного оттенка, другой — черно-пестрый.

— Что ты так тратишься, Мусапыр!— сказала я.— Зачем?

— В долг!— отвечал он с едва заметной улыбкой.— Пока ты не кончишь учиться, не устроишься работать и не будешь получать много денег. Да, Батес, совсем забыл. Твоя меховая шапка тяжеловата для Кзыл-Орды. Вот взгляни, что я тебе купил!— Мусапыр показал вышитую узбекскую тюбетейку.— Сапоги тоже мало подходят здесь, а ботинки, решил я, ты не захочешь носить. А вот это, пожалуй, тебе придется по душе.

Он положил рядом с тюбетейкой ичиги.

В самом деле, и тюбетейка, и цветные узорчатые ичиги понравились мне.

— Ты совсем разорился, дорогой родственник!— покачала головой Бодене.

— Оставь, пожалуйста. Это не имеет никакого значения. Денег у меня хватит. Да и Батес мне не чужая.

И с этими словами Мусапыр ушел.

Мне вспомнилась слышанная в детстве аульная басня.

Один охотник, подсыпав в бараний курдюк отраву, положил его неподалеку от волчьего логова и сам притаился поблизости в овраге. Волк подошел к курдюку. Что за чудеса! Целый пуд сала зря валяется в степи! Недолго думая, хищник с жадностью сожрал курдюк и скоро издох. Охотник стал снимать с него шкуру, приговаривая:

— Вот он, отравленный курдюк! Вот оно, проглоченное сало! Вот она, волчья смерть, а моя шкура!

Подозрительная щедрость Мусапыра не выходила у меня из головы. Уж не подсыпана ли отрава и в эти подарки?

Бодене поторопила меня:

— Идем к портнихе. А то совсем поздно будет.

Соседка-мастерица, узнав о моих несчастьях, тут же согласилась сшить мне платье. Она ловко его скроила и вскоре первое платье было готово.

Когда мы вернулись домой, Бодене предложила мне пойти в баню. Я и понятия не имела, что это такое и спросила:

— Там моются наедине?

— Нет, милая, у нас такой бани нет. В нашем городе баня для всех...

— Нет, туда я не пойду.

— Кого же ты стесняешься? Ведь там моются только женщины.

— Все равно не пойду! Стыдно...

Как ни убеждала меня Бодене, я стояла на своем. Я не могла согласиться. Байбише Каракыз прочно внушила мне: девушка никому не должна показывать своего тела. Его может увидеть только муж.

— Как же ты, Батес, смоешь с себя эту грязь, эту пыль.

— А вот возьму кумган, пойду в уголок двора и умоюсь в темноте.

Так я и сделала.

Я уже дремала на своей постели в сарае, когда вернулся Мусапыр, Бодене и ему постелила здесь. Сама с

мужем она устроилась в комнате. Я знала, что есть казахский обычай, разрешающий джигиту идти к взрослой девушке после того, как в доме уже все уснули. Идти, не спрашивая у нее согласия. Однажды один джигит, ночевавший у нас в доме, решил поступить так же, но получил от меня пощечину. Когда теперь Бодене стелила постели мне и Мусапыру в сарае, я подумала про себя: «Зачем она это делает?» Но вслух ничего не сказала. Хотелось мне и проверить,— как себя будет вести Мусапыр.

И вот он зашел и тихо спросил:

— Батес, ты спишь?

Я ему ответила, что я выспалась днем.

Чиркая спичками, он отыскал свою постель:

— А меня знаешь, сильно клонит ко сну.

Прошло несколько минут, и я услышала его легкий храп.

Но я все-таки остерегалась его и долго лежала с открытыми глазами. Может быть, тому причиной был и мой дневной сон, но я дождалась рассвета и вышла во двор. Бодене тоже встала к этому времени, успела подоить корову и выгоняла ее на улицу, чтобы отвести в стадо на окраине города. Я пошла вместе с Бодене. В каком-то саду я умылась в арыке, причесалась и почувствовала себя совсем хорошо.

На обратном пути Бодене показала мне свой новый строящийся дом. Вокруг было еще много ям и выбоин — следы старой снесенной постройки. За разрушенным забором росли фруктовые деревья.

— Вот когда закончат этот дом ,будешь жить с нами. Отдадим тебе целую комнату.

Я не обидела Бодене отказом, но и не сказала ей, что будет так.

Солнце уже поднялось высоко, когда мы вернулись домой. Мужчины уже встали, Корсак разжигал самовар.

После чая мы с Мусапыром сходили в институт и взяли все нужные бумаги.

— Твоя воля, Батес,— говорил он мне,— хочешь живи у дяди Корсака, хочешь — иди в общежитие.

Я сказала, что лучше устроюсь в общежитии.

— Но только дай мне слово позднее перейти в новый дом Корсака. Если разрешишь мне, и я там буду жить. Я ведь хочу одного — чтобы тебе было удобно. Вот я наблюдаю за тобой и думаю: трудно тебе будет в общежитии, не уживешься ты там.

Эти слова Мусапыра я вспомнила уже в общежитии. Действительно, там мне было не очень удобно. Больше всего меня раздражал шум. Двадцать с лишним девушек жили в одной комнате. Прежде я думала, что только женщины могут сориться и громко говорить наперебой. Но, оказывается, и молодые девушки им в этом не уступают. Среди них, убедилась я, много любящих попусту чесать языком. С утра до вечера не прекращаются насмешки и шутки. Я уставала даже от песен. Нет, я никак не могла привыкнуть к такому шуму. Я выросла в тишине и была, словно дикая козочка в горном ущелье.

В комнате у нас никогда не было порядка. Здесь девушки и стирали, хотя была прачечная, готовили пищу, хотя была столовая. Правда, столовая не нравилась и мне. Все блюда казались мне там безвкусными. Картошка, капуста, всякая трава, да я это и за еду не считала. Я ведь не знала другой пищи, кроме кумыса и мяса, кислого прохладного айрана и жирного каймака, масла и сушеного аульного сыра — курта и иримшика. Я чувствовала себя голодной. Я завидовала тем девушкам, которые душу были готовы отдать за дыни, арбузы, яблоки. А я была к ним равнодушна. Не все ли равно — огурец или яблоко. Трава есть трава.

Но как бы там ни было, я решила набраться терпения — и жить, как все здесь живут, и учиться, и ждать... Я все описала полностью, как могла. Рассказала все, что видела с часа нашего расставания и до устройства в общежитие. Рассказала я все и в письме к Буркуту в Ташкент. На почту меня провожал Мусапыр.

Неожиданно меня навестила Таслима, жена дяди Буркута Жакыпбека. Она увела меня к себе домой.

Таслима предложила мне поселиться у них, в комнате ее тринадцатилетней дочки Сафии. Я познакомилась и с девочкой, попробовала заговорить с ней по-казахски, но она не сумела мне ничего толком сказать, хотя, очевидно, понимала мою речь. Зато по-русски Сафия говорила свободно. Ведь и родители ее хорошо знали русский язык. Да и сама Таслима ничем не походила на аульную казашку. Она носила русскую городскую одежду, косы у нее были острижены, волосы подвиты.

Жакыпбек, должно быть, был очень богатым. Я судила об этом по убранству комнат, по красивым и дорогим вещам. Но я решила остаться в общежитии, сослав-

шись на то, что мне удобнее готовить уроки вместе со своими сверстницами.

...Мусапыр часто заходил ко мне, и мы навещали Корсака и Бодене.

...Наступило время учебы. Зря пугали меня словом институт. Наивная, я думала, он стоит так высоко, что до него не дотянуться обыкновенному человеку. Да, это действительно гора. Но я убедилась, что на эту гору может взойти каждый, если будет упорен. Поняла я и другое: у меня хватило бы сил учиться не на первом, а на втором подготовительном курсе. Я уже так и решила сделать, но отговорил меня Мусапыр: не торопись, так лучше будет.

Мусапыр все время находился в Кзыл-Орде. Выполняя поручения своей газеты, он часто разъезжал по другим городам и аулам. Но как только он возвращался из поездки, непременно навещал меня. Он спрашивал, есть ли вести от Буркута. Но их все не было и не было. Я была убеждена, что он ответит на мое первое письмо, но он молчал. Из гордости я долго ему не писала второго. Но терпения не хватило и на месяц. Я написала опять, и снова не было ответа.

Вернулась из Москвы Шамсия и разыскала меня. Она одобрила мое желание не уходить из общежития.

— И наш дом к твоим услугам, пожалуйста,— говорила она.— Пусть мы и не очень богаты, но живем неплохо, и ты нам не будешь обузой. Однако скажу откровенно, нет необходимости тебе жить у нас. Я ведь тоже выросла в степи. Я знаю, как приходится девушке в ауле. Ее чуть ли не с десяти лет считают хозяйкой очага и не выпускают из дому. Всем аулом подстерегают каждый ее шаг и движение. Разве нет такой пословицы — сорок домов усмиряют одну девушку. И вырастает она, бедная, будто придавлена к земле. Но девичья скромность тут ни при чем. Иная нескромница и сорок запоров преодолеет и найдет своего джигита. А сдержанная девушка и одна среди мужчин будет вести себя достойно... Недавно мне Асия прислала письмо, там много говорится о тебе. Она, между прочим, тоже считает, что тебе лучше жить в общежитии. Кстати, а где то письмо, которое она посылала мне с тобою.

Я рассказала Шамсии, как оно потерялось.

— Жаль, очень жаль,— вздохнула Шамсия,— кажется, там было много интересного... А с тобою мы догово-

римся так: общежития ты не бросай, будешь жить вместе с девушками. Это тебе пригодится и для ученья и для твоей дальнейшей судьбы.

Она расспросила меня о Буркуте, о котором ей подробно писала Асия. Я стеснялась и отвечала односложно, неопределенно.

— Любовь, понятно, дело сердечное,— говорила Шамсия,— и постороннему человеку не надо вмешиваться. Но у меня больше опыта, чем у тебя, и я могу дать дружеский совет. Вам, действительно, нужно некоторое время побыть вдалеке друг от друга. Поразмыслить, присмотреться, проверить свои чувства, свою привязанность. Нельзя терять своего «я». В любви обе стороны имеют одинаковые права. Жизнь хороша, когда обе чаши ее весов в равновесии. Представь себе, разве будет хорошо, если одна чаша опрокинется на землю, а другая поднимется до самых небес. Чтобы не допустить такого, любая сторона — будь то джигит или девушка, не должны униженно просить — я люблю тебя, будь со мной! Они должны идти навстречу друг другу и соединиться, как равные. И жизнь их будет настоящей. Не пиши письмо за письмом, не унижайся!.. Задерживается ответ, наберись терпенья... Если он любит тебя, он рано или поздно обязательно напишет...

— А если долго, слишком долго придется ждать?

— Что значит долго? Месяц, два месяца, три... Если же он решил совсем не отвечать, то его слова о любви были ложью.

— Нет, Шамсия-апай, он совсем не такой!— И я тяжело вздохнула.

— Почему ты так утверждаешь — не знаю. Казахи говорят:

Все сразу отличают по масти пестрый скот,
Но пестрый человек неузнанным живет.

Поэтому акын Акмолда и сказал:

К себе ты в душу посмотри,
Ее почисти изнутри,
Чтобы за внешней красотой
Не оставались гниль и гной...

Ты еще молоденькая, ты встречала мало людей и, может быть, тебе еще не попадались красавчики с гниль-

цой изнутри. Я же повидала и таких. Нет, я в них не влюблялась, ты плохо обо мне не думай. Но мне по разным поводам приходилось с ними встречаться. А в супружеской жизни мне повезло. Я по любви вышла замуж за Аманжола и знаю, что такое счастье.

Я пришла в дом Шамсии в полдень, а вернулась домой в сумерки. Слова Шамсии запали мне в душу, я была тронута ее теплотой.

Но трудно мне было поступать во всем так, как она советовала. Я прождала еще неделю, но не выдержала и отправила Буркуту третье письмо.

Я ЗАБЛУДИЛАСЬ

Шли дни за днями. Безрадостные дни! Среди всех институтских девушек, наверное, я одна сохла от тоски. У одних моих подруг по общежитию не было любимых, а другие были довольны своими джигитами. Словом, у них была спокойная ровная жизнь. И в свободное от учебы время не смолкали у нас шутки и смех. Девушки любили гулянье, надолго уходили в город и, когда возвращались, рассказывали обо всяких интересных встречах, загадочно улыбались, пытаясь увлечь и меня в милый веселый круг своих молодых забав. Но у меня душа не лежала ко всему этому. Я много занималась и мало бывала на свежем воздухе. Румянец мой исчез, лицо стало бледным. Я никогда не была особенно полнотелой, а здесь, в Кзыл-Орде, стала так худеть, что это уже бросалось в глаза. И мои подруги, и учителя, и немногочисленные знакомые часто спрашивали меня, что это происходит со мной? Я делала вид, что сама удивляюсь, или, наоборот, принималась доказывать, что ничего особенно не случилось, что я совершенно здорова и хорошо чувствую себя. Но мне не верили, и я поневоле соглашалась и начинала все объяснять уже по-другому.

— Поймите!— говорила я.— Я же впервые приехала в город. Учиться мне нелегко!.. Образование-то у меня маленькое. Я едва поступила в институт. Если я не буду стараться, мне не одолеть учебы. Я много читаю, очень много. Оттого, наверное, и худею.

— Не надо так надрываться, Батес! С ума сойдешь!— жалели меня.

Я делала вид, что слушаюсь, и опять принималась за свое, неделями не выходя из общежития.

В один из таких дней, когда я была одна в нашей большой комнате, ко мне зашел долго не появлявшийся Мусапыр. Он на этот раз ездил куда-то в сторону Чимкента и, как только появился в городе, направился по заведенной привычке в наше общежитие.

— Ой, Батес, что с тобой?— с огорчением воскликнул он.

— Что же такое со мною?— удивленно переспросила я, хотя хорошо знала, что он имеет в виду.

— Ойбой, ты еще похудела после нашей последней встречи. Ты сохнешь, как глиняный горшок на солнце. Уж не заболела ли ты?

— Нет, у меня ничего не болит.

— Ничего — это пустое слово! Бывают болезни, о которых сам больной и не подозревает. Ты к врачу ходила?

— А зачем мне к врачу ходить, если у меня нет болезни.

— Эх, Батес, Батес! Когда же ты перестанешь своевольничать?— Мусапыр был раздражен не на шутку.— Разве можешь ты знать без врача — здорова ты или больна.

— Представь, я это знаю.

— Отчего же ты тогда худеешь?

— От ученья!

— От ученья, ученья!— передразнил Мусапыр.— Да разве только ты одна и учишься? Многие не отрывают голову от книг. И не худеют так, как ты. Может, про тебя сказал Абай:

Когда любовь одолевает в схватке —
Худеешь ты, как будто в лихорадке...

Неужели и тебя иссушила любовь, Батес?

Я ничего ему не ответила.

— Ты так и не получила письма от Буркута?— наступал Мусапыр.

Но и тут я не произнесла ни слова...

— Значит, нет!— Мусапыр разозлился и, продолжая разговаривать, резкими шагами ходил по комнате.— А он в своем ли уме? Вскружил голову молодой девушке, опозорил ее на людях и оставил в ауле. А когда она поехала его разыскивать, стала учиться в Кзыл-Орде и шлет ему письмо за письмом, он молчит, как в гробу, и не считает нужным ответить.

Я печально сгорбилась у стола, а он подошел ко мне совсем близко и заговорил уже другим тоном:

— Ты меня извини за грубость, Батес. Но ведь он по-свински отнесся к тебе. Настоящая свинья.

— Не ругай его так, не надо!— попросила я.

— Что же мне прикажешь говорить? Он сам виноват, что я произношу эти слова. Как двоюродный брат я сам напишу ему откровенно о его свинском поведении. Посмотрю я, как он себя поведет после этого. А тебе я советую (тут в голосе Мусапыра почувствовалась теплота) оставить свое упрямство. В городе есть и кино и театр, в городе хороший сад для гулянья. Развлекайся. Кстати, сегодня в кино интересная картина. Пойдешь?

— Нет.

— А в театр? Там сегодня вечером идет пьеса Беимбета «Проделки Малкамбая». Кишки надорвешь от смеха. Хочешь посмеяться?

— Нет.

— Ты знаешь, что такое ресторан?

— Проходила мимо.

— Там сегодня, Батес, интересно. Приехали артисты-цыгане и дают концерт. Знаешь, как увлекательно! И музыка, и песни, и танцы! Цыгане пляшут лучше всех в мире. Таких чудес тебе еще не приходилось видеть. Пойдем туда?

— Нет!

— А на эстраде в саду хочешь посмотреть артистов из Узбекистана?

— Не пойду туда!...

— Еще цирк остался,— с обидой и уже без всякой надежды говорил Мусапыр, зная наперед, что и туда я не соглашусь пойти.— Еще цирк остался! А в нем китайские фокусники. Они — прямо волшебники.

Я покачала головой.

— Туу!..— Мусапыр рассердился и повысил голос.— Ты, кажется, преждевременно состарилась. Что мне остается тебе предложить. Пройдемся просто по улице, подышишь чистым воздухом, освежишься.

— Не пойду я и на улицу!

— Нет, сегодня с тобой ничего поделать нельзя. Я больше не буду настаивать. Ну, а завтра под вечер, хоть силком, но уведу тебя куда-нибудь туда, где можно поднять настроение. И согласия у тебя не спрошу!

— Еще посмотрим.— Мне, признаться, уже надоела эта цепкость Мусапыра.

— Не посмотрим, а пойдем!..

— Я и говорю — посмотрим.

Мусапыр истолковал эти слова в свою пользу.

— Ну тогда хорошо,— сказал он.— Завтра вечером приду за тобой.

И, действительно, он пришел. В комнате общежития было довольно много девушек, с которыми я училась. Они уже познакомились с ним и догадывались о его благосклонности ко мне. Некоторые, вероятно, знали о том, что он двоюродный брат Буркута. Мусапыр заговорил сразу, не стесняясь моих подруг:

— Куда нас с тобой зовут, туда нельзя не пойти. Я уже нанял извозчика.

— Куда это?— полюбопытствовали девушки.

— Куда, вы спрашиваете? На угощенье! А что у казахов выше угощенья! Куда угодно можно не пойти, а здесь отказываться нельзя. Наш долг — идти!

— Правда, идите, идите!— зашумели девушки.

И я подумала про себя, что надо идти. Я хорошо знала, как относятся к угощению в аулах. Мне приходилось видеть, как враждовавшие родственники мирились за угощением. Я знаю пословицу: за день, когда ты принял угощенье,— на сорок дней тебе благословенье. У меня в памяти стих-наставленье: тот, кто не любит угощенья, путевым может не считаться. Я слышала и проклятье: да застрянет в горле и убьет тебя угощенье! Эти изречения вместе с молоком матери вошли в мою плоть, мой ум. А ведь мы — казахи — понимаем так: то, что в тебя вливалось с молоком,— уйдет с костями от тебя потом.

Вспоминая слова старой аульной мудрости, я все-таки спросила Мусапыра:

— Чье же угощение нам предстоит принять?

— Узнаешь, когда приедем,— отвечал Мусапыр.

— Чье бы там ни было, иди,— зашумели девушки.— Ты и так засиделась. Прогуляешься, освежишься и вернешься в хорошем настроении!

И девушки склонили меня согласиться, да и я сама решила, что недостойно отказываться от угощения. Но, чтобы Мусапыр не зазнавался, я сделала вид, что одеваюсь с большой неохотой, и медленно, нарочно задерживаясь, вышла вслед за ним на улицу.

Была уже середина ноября. В это время в Кзыл-Орде обычно не бывало снега, а если он и выпадал, то сразу же таял. Нынешняя зима пришла рано. Ночами сыпалась ледяная крупа, мелкая, как зерна проса. Дни чаще всего стояли сухие и холодные. И на этот раз сухой мороз, пронизывающий тело, сковал землю, и конские копыта звонко стучали по ней, как по каменной мостовой. С севера дул холодный ветер. Когда сухой мороз соединяется с северным ветром, стужа проникает к тебе в самую душу. Теплого пальто у меня не было, и мне было очень холодно. Шамсия и Таслима хотели купить мне теплое пальто, но я решительно отказалась. Мусапыр и спрашивать у меня не стал — купил. Но как он ни обижался, я его не стала носить и отнесла в дом Корсака. Про себя я думала: «Кто я им, чтобы бесплатно брать от них одежду. Разве я нищая?»

...Сегодня днем сначала потеплело и разошлись облака, но к вечеру опять похолодало, и сильный ветер поднял степную пыль, давно не видавшую влаги...

Извозчик-арбакеш, продрогший в ожидании, быстро погнал лошадь, словно желая от нас избавиться.

Мы сворачивали с одной улицы на другую, лошадь бежала все быстрее и быстрее, и наконец мы выехали на окраину города.

— Куда мы едем?— начала я беспокоиться.

— Подожди, скоро увидишь...

— Кому нужны эти загадки? Если ты сейчас не скажешь, я спрыгну с тарантаса.

— Я тебя не пущу!

— Тебе что, хочется поиздеваться?— И я стала вырываться из рук Мусапыра.— Пусти!.. Я слезу!..

— Зачем пугаешь девушку?— сердито сказал арбакеш.— Ведь ты ее не убивать везешь, объясни!

— Ой, какие ты нехорошие слова говоришь,— отвечал Мусапыр.

— А хорошие ли дела ты делаешь?— отрезал арбакеш.— Разве так приглашают в гости? Почему ты не отвечаешь девушке? Не скажешь, поверну обратно!— И арбакеш стал заворачивать тарантас.

— Ну и сумасшедший ты человек,— Мусапыр ухватился за вожжи.— Неужели ты мог подумать что-нибудь плохое? Я же тебе, кажется, сказал, что она невеста моего двоюродного брата. Батес, подтверди, что это правда. Так что же, я не могу пошутить со своей сестренкой?

— Но ты все-таки не ответил, куда мы едем!— опять спросила я Мусапыра, все еще не выпускавшего из своих рук вожжи.

— Но какое дело до этого арбакешу?

— Я тебя спрашиваю, ты мне скажи!

— В дом Кузена!

— Что это он вздумал нас приглашать?— удивилась я.

— И не только нас, но и Жакыпбека с женой, Балкаша и его Жаныл, Корсака с Есектас...

Арбакеш фыркнул себе под нос.

— Чему это ты смеешься?

— А почему бы мне и не смеяться?— отвечал арбакеш Мусапыру.— Твои слова и мертвого могут рассмешить. Все идут в гости с женами, а ты пристроился к двоюродной сестренке. Странно чужим ушам слышать это. Сначала она была невестой твоего брата, а теперь, если вдуматься в твои слова, стала твоей невестой.

Мусапыр не то удивился, не то рассердился.

— Не притворяйся, ты не настолько глуп. Ты хорошо меня понял. Ты болтун!— Мусапыр косо взглянул на арбакеша, и оба спорщика замолчали.

Я не стала искать больше отговорок и тоже молча ожидала конца нашей поездки. Будь что будет. Мусапыр не зря скрывал, куда мы едем. Скажи он мне об этом сразу, я бы решительно отказалась.

Когда арбакеш получил у ворот дома Кузена плату за проезд, он сказал:

— Знаю я этот дом, куда ты приехал в гости. Недаром говорят:

Когда наступит темный вечер,
Вор с вором тайно ищет встречи.

Как только ты нашел дом этого нехорошего человека, которого давно не любит народ?

— Не болтай!— У Мусапыра глаза стали выпуклыми, злыми...

— Сам не болтай!— арбакеш повернул обратно и, немного отъехав, крикнул мне.— А ты, сестренка, если в тебе есть честность, не ходи сюда!

Мусапыр вдогонку арбакешу выругался самыми грязными словами.

Раздалась ответная ругань арбакеша. Мусапыр швырнул ему вслед твердый комок глины, но тарантас уже скрылся в пыльных вечерних сумерках.

— Хулиган!— зло, с придыханием, произнес Мусапыр это, должно быть, русское слово.— Попадется как-нибудь он мне в руки.

— Найти бы человека, кроме тебя, который хвалил бы этот дом,— приняла я сторону арбакеша.

— Кузен совсем не такой плохой,— внушал мне Мусапыр.— Ты приехала в дни, когда они бедствовали. Но взгляни на соседний дом. Это теперь его дом. У этого джигита такая хватка, что он в один день успевает быть и бедным и богатым...

Мы вместе вошли в ворота... Интересно, собрались ли уже гости Кузена, думала я.

Навстречу нам вышла Таслима с папироской, зажатой в зубах. Мне стало немного легче.

— Что это вы так долго заставляете себя ждать?— обратилась она к нам.

— Да вот немного запоздали. А здесь уже агай?— почтительно спросил Мусапыр.

— Он уже совсем собрался ехать, но его вызвал к себе редактор Елтай Ерназаров. Как только освободится, поспешит сюда. Лошади за ним уже посланы. Ну, заходите, заходите!..

В передней на нас дохнуло запахом жареного мяса — куырдака и доваривающейся баранины.

Мы вошли в гостиную. Корсак, Бодене, Балкаш, Жаныл и Кузен расселись на полу вокруг белого дастархана и пили чай. Есектас, пристроившись у самовара, то и дело наполняла пиалки. Возле нее была Кодык в нарядном платье. Нас приветствовали, весело и шумно усадили к дастархану. Балкаша я частенько видала в институте, но с Жаныл встретилась впервые после нашей поездки. Бедняжка, как она изменилась. Даже широкое платье полосатого шелка не могло скрыть ее большого живота. Лицо ее потемнело и покрылось пятнами.

Я огляделась вокруг. Кузен с Есектас стали жить лучше прежнего и быстро обставили свои комнаты.

Обратила я внимание и на то, что здесь пили уже не только чай. Одна бутылка около Кузена была пустой, другая выпита наполовину. Но не только бутылки выдавали мужчин, а и горячие, несдержанные разговоры.

В гостиной показалась Таслима. И опять в углу ее рта торчала папироса. Она с жадностью затягивалась и выпускала дым сразу изо рта и ноздрей.

— Жакан, наверное, запаздывает,— и она повесила

у порога свое пальто,— должно быть, серьезные дела. А мы, сказать правду, порядочно проголодались. Что, если, не дожидаясь Жакана, приступить к куырдаку. А к его приезду и мясо сварится.

— Ты сказала, женгей, значит так и будет!— обрадовался Кузен.— Жакан не обидится, он часто отведывает нашу пищу. А этого барана я зарезал в честь Батес. В тот день, когда она приехала, я бедствовал и готов был от стыда провалиться сквозь землю. Ведь девчонка не могла знать, что сегодня я бываю бедным, а завтра становлюсь богачом. Вот смотри, милая!..

И Кузен вытащил из карманов груду смятых червонцев.

— Все теперь есть — и деньги и имущество.

— Да не хвастайся!— оборвала его Есектас.

— А почему бы мне и не похвастать. Я же правду говорю, не лгу! Для меня и всему этому имуществу цена — копейка! Ах, Батес! Почему ты избегала нас. Я бы тебя одел в самые дорогие шелка. А ты брезговала нами, забыла наш дом! Сегодня я для тебя зарезал скотину, помни, я хочу, чтобы ты убедилась в нашем достатке. Пусть этот день будет началом прочного знакомства. Ну, жена, неси куырдак!

Есектас поставила на дастархан два блюда мяса, поджаренного с картошкой. Куырдак — мое самое любимое кушанье. Ко мне подсела Таслима. Ей подмигнул с хитроватой улыбкой Кузен.

— Неси!— Она сразу поняла знак хозяина.— Только белого не надо. И так я опрокинула две рюмки. Пусть его пьют мужчины. А нам подавайте мед-пиво.

«Что это еще за мед-пиво?— подумала я.— Неужели тоже водка? И это ведь нам — женщинам!»— Мне стало страшно. Значит, здесь и женщины пьют.

Кузен извлек из-под кровати две бутылки водки и передал их Балкашу.

— Разливай, дорогой! А это, товарищи женщины, ваша доля!

И он вручил Таслиме большой медный кумган. Мужчины наполнили чашки водкой, а нам Таслима налила из кумгана что-то коричневое, густоватое.

— Вот это и есть мед-пиво. Сладкий и кисловатый напиток. Вроде кумыса. Выпьешь и хочется еще. И хоть ведро выпей — пьяной не будешь,— ласково говорила Таслима, ставя передо мной полную чашку.

— Я сама сварила балсыра — мед-пиво. Мука и сахар. Больше там ничего нет. Бочку открыла совсем недавно. Хорошо пенилось, в самую пору... А по сладости меду не уступит. Ну, Батес, бери!— И Есектас взглянула на меня приветливо, совсем не так, как в первый день нашего знакомства.

— Ну, Батес, бери!— повторили гости и подняли свои кесе.

Но я даже не прикоснулась рукой...

— Не надо принуждать!— сказала Таслима.— Она выпьет. Вот что я хочу сказать: вы же знаете, что и Буркут, и Мусапыр наши родные племянники...

— Знаем!.. Хорошо знаем!— зашумели гости.

— Знаете, что дядя любит их, как свою душу.

— Знаем!.. Знаем!

— Сейчас здесь нет Буркута, но есть Мусапыр, есть и Батес. Она приехала с ним вместе из родного аула. Давайте выпьем за их здоровье и счастье!..

— Молодец, Таслима! Правильно!— поддержали ее гости.

Но сколько меня ни просила Таслима и все остальные, я не притронулась губами к краям своей чашки.

— Она никогда не пробовала мед-пиво, никогда не видала его!— заступилась за меня Таслима.— Но, как говорится, за белым козлом и овцы бегут. Мы-то пробовали, мы-то знаем, мы и начнем.

Все подняли свои чашки и выпили. Выпила, к моему удивлению, и Жаныл.

— Сладко ли, невестка?— спросила ее Таслима.

— Слаще меда!— отвечала Жаныл.

И опять были наполнены кесе, опять меня начали уговаривать: давай, Батес, давай! Это в твою честь, Батес! Выпей одну чашку. Не понравится, больше не будешь!

Я решила: надо попробовать! И отпила несколько глотков. В самом деле, балсыра оказалась приятной на вкус, кисло-сладкой. Я хотела уже поставить кесе: мол, отведала и довольно. Но все остальные снова зашумели: пей до конца, пей! И тогда Таслима подхватила кесе снизу и подтолкнула к самому рту. Будь что будет, подумала я, и выпила чашку залпом.

— Ура!— захлопали в ладоши и хозяева и гости.

Кто-то предложил налить еще по одной, и опять передо мною стояла полная кесе.

— Не правда ли, милая моя, какое вкусное пиво!— говорила Таслима.— Пей. Если не будешь пить, значит, ты не уважаешь всех, кто сейчас сидит за дастарханом...

Я снова выпила и не заметила, как со мной начало происходить что-то неладное. В какое-то мгновенье мне показалось, что вся комната с гостями, мебелью, угощением вдруг сильно качнулась и стала опрокидываться. Что со мною случилось после, я толком не знаю до сих пор...

...Я открыла глаза и поняла, что лежу в крепких мужских объятьях. Я вздрогнула и узнала Мусапыра. И он и я были нагие. Откуда эта кровать? Как я попала сюда? Сон это или, может быть, я сошла с ума? Я провела рукой по своему телу, тронула ладонью лоб. Нет, это не сон. И я была в своем уме, хотя голова нестерпимо болела.

Я собрала силы, вырвалась из рук Мусапыра и, спрыгнув с постели, побежала к тахте. Пол был мокрый, я поскользнулась и упала на спину. Попыталась подняться, но не смогла... Я почувствовала себя совсем ослабевшей. Напрягаясь из последних сил, я закричала:

— Кто-нибудь здесь есть? Спасите!

В комнату вбежали Корсак и Бодене. Они словно ожидали у двери моего зова. Корсак взглянул на меня, обнаженную, смутился и вышел.

— Ну, что с тобой случилось?— Бодене склонилась ко мне, обняла меня.

— Это ты мне скажи, что случилось?

Бодене приподняла меня. Но, несмотря на ее поддержку, я снова падала и вопила:

— Скажи мне, Бодене, что случилось со мною?

Мои крики разбудили Мусапыра. Он вскочил с постели и, сразу же придя в себя, натянул белье и бросился ко мне:

— Что ты, Батес? Что ты кричишь?

— Уйди от меня, свинья!— Я плюнула ему в лицо, но он хватал меня своими худыми руками. Тогда я впилась зубами в его плечо. Он завопил от боли.

— Бесстыдник! Проклятье тебе!

На шум в комнату вбежали Кузен и Есектас.

— Она сошла с ума!— орал Мусапыр, отбиваясь от меня.

Сильный Кузен сгреб меня и бросил на кровать.

— Неси аркан!— приказал он жене.— Так с ней не управиться. Надо ее связать.

Кузен так тяжело навалился на меня, что я не могла шевельнуться. Есектас принесла аркан. Меня завернули в одеяло и стали обматывать веревкой. Я ловила ртом воздух, задыхаясь от боли и обиды. Я, кажется, теряла сознание и едва только пришла в себя, начала громко всхлипывать.

— Надо заткнуть ей рот,— решил Кузен.

— Не надо,— в голосе Бодене послышалась жалость.— Связали и хватит.

Но меня душила злоба:

— Ищите вату, затыкайте рот!..

— Я же говорил, что она сошла с ума,— продолжал издеваться Кузен.— Если ей не заткнуть рта, она своим ревом соберет сюда толпу.

— Правда, правда!— поддакивала мужу Есектас.

— Свиньи вы, свиньи! Что я вам еще скажу, кроме этого.

Кузен притащил целую охапку ваты и уже хотел выполнить свое намерение.

— Оставь, бога ради!— Бодене взяла его за руку.— Я сама сделаю так, чтобы Батес больше не кричала.— Бодене подсела ко мне, я увидела, что из глаз у нее струятся слезы. Голос ее был ласковым, нежным.

— Батес, светик мой, пообещай им, что будешь лежать тихо.

Я пообещала. Но жестокий Кузен потребовал, чтобы я еще и поклялась. И только когда я дала клятву, он перестал настаивать на своем.

— Ну, хорошо. Но смотри! Примешься опять за свое, сверну челюсть. Пошли, Есектас.

— Куда вы?— удивилась Бодене.

— Теперь нам сидеть дома нельзя. Надо подумать, что с ней делать... В дом умалишенных везти — так ее там загрызут. Сходим к Кор-ишану, спросим у него совета. Рассказывают, он изгоняет бесов.

Я уже слышала, что на городском кладбище в могильнике живет мрачный Кор-ишан. Мне думалось, что они приведут его сюда, чтобы он вылечил меня. В конце концов, это было не так уж страшно.

Ушли Кузен и Есектас. Около меня осталась Бодене.

— Где я?— спросила я ее.

— Разве ты не видишь, что в нашем доме?

— А как я сюда попала?

— Сама попросилась к нам.

— Когда?

— Ночью, в доме Картежника (я поняла, что так зовут Кузепа). Мусапыр хотел отвезти тебя в общежитие, но ты отказалась и сказала ему: «Буду только вместе с тобой».

— Ты своими ушами это слышала?

— Куда там своими ушами. От этой балсыра я сама опьянела и свалилась. Меня положили рядом с тобой в арбу и привезли домой. Но все остальные слышали, как ты настаивала...

— Неужели я была такой пьяной?

— А разве бы иначе это случилось с тобой?

— Значит, это правда? Ну а остальные тоже опьянели?

— До той поры, пора я помню, были просто разгоряченные, но никто так сильно не опьянел, как ты...

...Днем многие люди заходили в переднюю, переговаривались, шептались. Бодене выходила к ним и снова возвращалась ко мне. Я тихо лежала, не всхлипывая, не разговаривая. Раскалывалась от боли голова. В желудке все горело. Учащенно билось сердце. Меня мутило, хотелось пить. Все я могла вытерпеть, только не жажду. И когда Бодене принесла мне чашку воды, я с жадностью ее выпила, забрызгав и себя и постель. Но увы, вода мне не помогла. Меня стало тошнить, мне стыдно вспомнить, что со мною было потом... Ведь даже Бодене из боязни перед мужем и Кузеном, как я ни молила ее, отказалась меня развязать даже на несколько минут...

В сумерках вернулись озабоченные Корсак и Кузеп.

— Батес здорова, она в своем уме,— начала было рассказывать Бодене.

— Обычно все сумасшедшие так обманывают,— не дал ей даже договорить Кузен,— ты ее только развяжи. Тогда увидишь, что она будет делать...

— Ничего не будет делать. Давай развяжем.

— Ну, хорошо, развязывай!

Но только обрадованная Бодене стала распутывать веревки, как сильным толчком Кузен отбросил ее в сторону.

— Помолчи, не суйся не в свое дело. Иначе и тебя отвезем к Кор-ишану.

Я поняла, что не Кор-ишан придет сюда, а меня до-

ставят к нему на кладбище. Кладбище!.. Я боялась подходить к нему, я и верхом объезжала его.

— Агатай, дяденьки мои, не надо везти меня туда! Я не сумасшедшая!— расплакалась я.

— Нет, ты сумасшедшая!..— стоял на своем Кузен.

— Я сделаю все, что ты хочешь, не везите только...

— Это он, Кор-ишан, скажет, что надо делать... Мы бессильны.

— А где он, где?

— В своем жилище.

— Нет, скажите, где?..

— Ты увидишь, когда приедем!

— Аллах мой, его жилище — могила, я знаю. Не надо, не надо, я и без него сделаю все, что только вы пожелаете!

Вместе со мной заплакала и Бодене. С моей мольбой слились и ее просьбы.

— Ты замолчишь или нет!— рыкнул на свою жену Корсак и шагнул к ней, но Кузен преградил путь старшему брату:

— Не будем пререкаться и терять время. Повезем ее быстрее.

Я призвала на помощь аллаха и громко разрыдалась, но Кузен плотно зажал мой рот, а Корсак взял припасенную еще утром вату:

— Начнет еще причитать в пути и опозорит нас. Нука, открой рот.

И я покорилась. Кузен и Корсак меня завернули еще в одно одеяло и, как младенца, вынесли на улицу. Уже совсем стемнело. Подымался буран — сухие вихри колючего снега и едкой пыли. Меня положили на телегу.

— Вот ее одежда!— услышала я тихий голос Бодене.

— Давай сюда!— также негромко откликнулся Корсак.

В этот вечер я могла думать о самом страшном. Мне казалось, что меня везут в глухое место, чтобы убить. Но зачем тогда взяли одежду! Значит, правда, везут к ишану!

Мои мучители гнали лошадей сквозь буран в кромешную тьму. Не знаю, сколько времени продолжался этот бег. Когда лошади остановились, я услышала осторожный топот и чьи-то незнакомые голоса. Я увидела силуэты нескольких человек. Они были одеты в темные чапа-

ны, и лица их были закрыты то ли от непогоды, то ли потому, что не хотели, чтобы их видели.

— Ишан ждет!— едва слышно сказал один из них.

Меня втащили в какую-то пещеру. В глубине ее тускло горела лампа.

— Можете все идти!— раздался глуховатый низкий голос.

Ко мне подошел большой чернобородый лохматый человек с лампой в руках. Ее неяркие лучи освещали его. Как злые маленькие змеи, свисали его усы. Большие, выпуклые, как у филина, глаза в упор смотрели на меня. Лицо его было белым, слишком белым и неприятным. Конечно, это был ишан.

— Несчастная грешница,— обратился он ко мне,— знаешь ли ты, куда тебя привели?

Я покачала головой.

— В страну Мопас! Ты сейчас в могиле. Это мое жилье!.. Тебе не нужно знать моего имени. Кор-ишан — и все! А теперь отвечай: знаешь ли ты, почему ты здесь находишься?

Дрожа от страха, я начала рассказывать о себе все по порядку.

— Пустые слова, пустые слова,— перебил он меня.— Твой джигит Буркут вскружил тебе голову. Русская старуха приколдовала тебя к нему. Весь колдовской яд сейчас в тебе!

— Колдовства нет, хазрет!— робко возразила я.

— Не спорь со мною. В этой стране могил я знаю все. Ты ела конфету из рук Буркута?

Я стала вспоминать. Да, действительно, ела во время свадьбы Какен, когда мы встречались наедине в овраге Тобылги.

— Знаешь ли ты, что конфета была заколдована? У тебя часто болит голова?

Я подумала: правда! С тех пор, как на меня посыпались огорчения, голова болела все чаще и чаще. И я сказала об этом Кор-ишану.

— Вот видишь! Теперь ты веришь, что здесь колдовство!

Я все больше проникалась верой к ишану. Горькая мысль вспыхнула в моем сознании. Ведь потому так страстно я и полюбила Буркута, что была околдована. Как же быть дальше? И, как бы отвечая мне, ишан заговорил:

— Есть два пути изгнания чар! Или вырвать с корнем все твои волосы. Или нарушить брак.

— Я не сочеталась браком, хазрет!

— Не спорь со мной, грешница. В детстве гостила ли ты в доме Буркута? Гостила. А пила ли кумыс в том доме? Пила. Это был не простой кумыс. Над этим кумысом шептал мулла и тем самым сотворил обряд бракосочетания. Ты не знала и об этом. А мне все ведомо! Что же ты теперь выберешь? Вырывать волосы? Или нарушить брак?..

Я дрожала от одной мысли, что у меня могут вырвать все волосы. И выбрала второй путь. Но как ступить на него? И Кор-ишан мне сказал:

— Ты должна познать другого мужчину.

— Я познала уже, хазрет!— расплакалась я.

— Какое это познание? Это просто блуд.

— Что же мне делать?— повторяла я в слезах.

— Сейчас я освобожу тебя от пут, потом скажу,— и Кор-ишан развязал меня.— Я отвернусь, одевайся!

Едва я успела накинуть нижнее белье, как он сказал:

— Довольно! Остальное не надо.

Странный глухой голос ишана подкосил меня. А он продолжал все глуше и глуше:

— Аллах запрещает нам жениться. Женщина для нас вместилище нечистых сил. Но, чтобы снять с тебя грех, избавить тебя от колдовства, я тебя положу с собой!

— Я благодарю вас за милость, хазрет!— старалась я твердо ответить ишану.— Вы сильный, я — слабая. Мне трудно сопротивляться насилию. Что я могу сделать в этой пещере, в этой могиле? Воля ваша! Но с вами я не лягу.

— Тогда у тебя вместе с волосами снимут с головы и кожу.

— Хоть голову снимайте с плеч!

У Кор-ишана от бешенства скрипели зубы. Он походил на разъяренного бура, самца-верблюда. Вот-вот, казалось, он задавит меня своим грузным телом. Я видела в степи, как змея своим пристальным, источающим злость и тайную силу взглядом заставляла спускаться жаворонка на землю. Так и я против своей воли склонилась было к груди ишана, прижавшего меня к себе. Но он схватил мою голову и придавил пальцами череп.

— Кожу сорву с тебя,— хрипел он.

— Рвите!.. Душите!.. Убивайте!— мне казалось, что он уже выполняет свою угрозу, так больно мне было.— Один аллах мне свидетель и заступник!

Ишан зажал мне рот ладонью, но мои стоны, как у ягненка с перерезанным горлом, неслись из глубины, прорывались к ноздрям.

— Не кричи, не кричи!— растерянно шептал он.

Я замолчала, и он убрал руку.

Светильник потух, и мы погрузились оба в жаркую темноту и не сказали друг другу ни слова, пока в пещеру не проникли серые лучи рассвета.

— Теперь, если хочешь совсем избавиться от колдовства, скорее, как можно скорее совершай обряд бракосочетания.

— Пусть будет так, хазрет!

— Ты будешь женой джигита, с которым спала вчера. Он предназначен тебе самой судьбой.

— Пусть будет так!— Что мне оставалось делать, как не отвечать так. Я ведь уже труп. И не все ли равно, чьей добычей он будет.

— Больше не лги. Иначе душа твоя попадет в геенну огненную,— ишан говорил уже спокойно и размеренно,— помни, порченых женщин, таких, как ты, шариат повелевает сжигать живьем. Нарушишь обещание — тебе не уйти от этой кары.

— Не нарушу, хазрет.

— Повтори трижды!..

— Не нарушу, не нарушу, не нарушу!..

— В знак твердости своей клятвы, целуй коран!— ишан протянул мне раскрытую книгу.

Я прикоснулась губами к холодной странице.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

РАСПУТАННЫЕ УЗЛЫ

(Из последней тетради Буркута)

Железною секирою я был,
Отточенною остро на граните,
Я зазубрился, жар боев забыл,
Меня для новой битвы наточите.
Махамбет

В РАЗЛАДЕ С ОТЦОМ

Я продолжу свой рассказ, напомнив последние страницы моей прежней тетради.

После ночлега в ауле Мамбета, когда остригли мою лошадь, я решил действовать открыто и с помощью милиции вырвать Батес из рук ее отца. Но, как вы хорошо знаете, Батес прогнала меня.

Однако я не обо всем рассказал в прошлый раз. Я сознательно умолчал о моем разладе с отцом. Теперь следует коротко рассказать о нем.

Крота казахи называют кортышканом. У нас в степи никто на него не охотится, никто не считает его промысловым пушным зверьком, шкурка у него маленькая, топкая и окраска не та! Правда, в других краях из таких шкурок искусно шьют дорогие и красивые меховые шубы. Но это в других краях, а не у нас в степи!

Крот — небольшой зверек. Охотится он за насекомыми, а за ним, жирным и медлительным, охотятся многие степные хищники; хорек, лиса, волк, ястреб, сокол и беркут охотно лакомятся его мясом. В пору моего детства отец весной во время линьки ловчих птиц ястреба и беркута, когда те не могли летать, подкармливал их кротами. Похудевшие птицы быстро поправлялись от этой жирной пищи.

Добывали мы кротов так же, как добывают сусликов: заливали их норы водой, и зверьки выбегали наружу. Должно быть, кроты чутьем угадывали, что их подстерегает множество бед, что и звери, и птицы, и люди — их враги. Вероятно, поэтому кротовьи норы очень запутаны. И если вода зальет одно убежище, другое часто остается сухим и там зверек может скрыться от опасности. Даже

сильные звери, разрывая лапами норы, не всегда добираются до крота...

Природа наградила крота необыкновенно чутким слухом. Крот издалека слышит шаги или шорох крыльев и мгновенно прячется. И нет ничего удивительного в том, что человека, наделенного острым слухом, иногда сравнивают с кротом.

Я так подробно описываю крота потому, что у моего отца был на редкость чуткий слух. Он по стуку копыт угадывал, какой джигит подъезжает к нашей юрте, и понимал каждый шорох в степи. Но не только поэтому можно сказать, что у отца всегда были навострены уши. Я еще в детстве наблюдал: он первым в ауле узнавал о самых различных событиях и поблизости и совсем далеко от наших мест. И если иной ловец новостей приходил к отцу и сообщал ему какое-нибудь интересное известие — мол, там-то и там-то происходит то-то и то-то — отец обычно его разочаровывал: «Ты только сейчас об этом узнал, а я уже давно все слышал». Все новые вести чаще всего исходили от моего отца.

И, конечно, отцу сразу стало известно все, что случилось со мной: как в ауле Мамбета остригли мою лошадь, как я пытался уехать вместе с Батес.

В сумерках, чтобы скрыть свой позор, я продал по дешевке остриженную лошадь каким-то проезжим русским людям. Я им не называл ни своего имени, ни нашего аула. На их телеге я доехал до какого-то селения и остался там. Я сказал, что у меня выкрали лошадь и попросил помочь мне добраться верхом до волостной канцелярии. Никому я не говорил, что лошадь остригли и что я ее продал. Удивительно, откуда все-таки узнал отец обо всем этом. Узнал с непостижимой быстротой. Вот что значит степной узун-кулак — длинное ухо!

Говорят, наши знахари — баксы умеют предвидеть неизвестное, у них есть особое чутье. Вот такое особое чутье, вероятно, было и у отца.

Скоро я нашел и подтверждение тому. Это было в день моего приезда в волостную канцелярию, когда по совету Еркина милиционеры были посланы за Батес. Я сидел в одной из войлочных кибиток Красной юрты и пил кумыс. Неожиданно вошел Кайракбай. У меня даже сердце дрогнуло. В такую даль Кайракбай мог отправиться только по наказу отца. Неужели отцу уже все известно? Я внимательно всматривался в лицо Кайракбая. Он, как

и всегда, улыбался. Ничто не выдавало, что он привез какие-нибудь тревожные вести от отца. Весело подшучивая, он немедля принялся за еду. «Пища, говорят, хребет человека»,— он запил кумысом свежие баурсаки и приналег на вяленое мясо, горой возвышавшееся на блюде.

— Хороший разговор помогает еде,— продолжал балагурить Кайракбай, уплетая мясо. И, поглядывая на женщин, отпускал скабрезные шутки.

Я наблюдал за Кайракбаем, не перебивая его болтовни. Мне хотелось угадать причину его приезда. Но этот плут вел себя как ни в чем не бывало и с прежним аппетитом уничтожал пищу, продолжая подсмеиваться и над хозяевами, и над гостями. Но я-то все равно понимал, что он не зря приехал туда, где нахожусь я. Меня только удивляло, что он не торопился объяснить мне цель своего приезда. Я с детства был с Кайракбаем в приятельских отношениях. И сейчас, отдавая должное его сдержанности, его умению утаить тайну, я снова вспомнил слова Пушкина о Евгении Онегине, переведенные нашим Абаем:

Как рано мог он лицемерить,
Таить надежду, ревновать,
Разуверять, заставить верить.

«Есть и у Кайракбая эти черты»,— думал я. А он, плут, все шутил и острословил. Надолго растянулось угощенье, а с ним и болтовня. Кайракбай, попивая кумыс и разговаривая, и виду не подавал, что у него есть какое-то спешное дело...

Но вот кумыс был выпит, и гости стали раходиться. Наступило время, когда в юрте не осталось никого: мы с Кайракбаем очутились наедине. Но тут мне уже не захотелось его ни о чем расспрашивать, и я вышел из юрты.

— Буркут!— окликнул меня вдогонку Кайракбай.

Я оглянулся и встретился с ним лицом к лицу.

— Ну что ты хочешь?— я отвечал как можно равнодушнее, чтобы избежать неприятного для меня разговора.

— Да нет, ничего не хочу,— в голосе его были радость и дружелюбие,— просто хотел справиться о твоем здоровье.

— Так ты же видишь, я здоров...

— Вижу...

— Ну, а если так — извини, я занят,— и я решитель-

но зашагал от Кайракбая. Но он быстро догнал меня и пошел рядом:

— А что, Буркут, если нам направиться к оврагу?

— Мне там нечего делать.

— Дела найдутся, и много дел!— В голосе Кайракбая появилась неожиданная внушительность.— Со мной приехал Текебай. Теперь тебе понятно? Он остался на той стороне оврага, чтобы никто не знал о его приезде. Ты догадываешься, что и меня и его послал к тебе твой отец. Надо серьезно поговорить.

— Скажи мне сейчас,— попросил я Кайракбая, начиная догадываться, зачем они приехали.

— Не надо торопиться. Текебай скажет тебе при встрече. Я не вправе произнести эти слова.

— Неужели пролилась кровь?

— Кровь, правда, еще не пролилась, но есть опасность, что прольется. И, может быть, это будет твоя кровь. Помнишь стихи?

Знай, если кровь должна пролиться —
Высокою с копье струей —
К тебе на выручку примчится
Быстрее птицы родич твой.

Твой старший брат Текебай всегда занимался только пастьбой скота. Его, бывало, и на аркане не приведешь туда, где нужны мужество и находчивость. Но теперь, когда он знает, что может пролиться твоя кровь, он поспешил к тебе, как брат. Повторяю, отец сам послал Текебая. А я кто? Простой коновод у него.

— Хорошо, но почему не приехал отец, если он хочет быть моим защитником? Или он на тебя полагается? Ты же молод еще.

— Я, дорогой Буркут, никогда не желал тебе ничего плохого,— уклонялся Кайракбай от прямого ответа,— я стремился делать тебе добро в меру своих сил. Знаешь, как говорили деды: у каждого хана есть свой серый жеребенок, свой красноречивый слуга. Кроме того, я не так уж молод. Ведь я почти на двенадцать лет старше тебя. Но я принадлежу к людям твоего времени, а не к поколению отца.

Овечьей бабкой умело играй,—
Из бабки будет биток.
Умного юностью не укоряй,—
И старость придет в свой срок.

Так говорили люди в старину. Я еще в годы твоего детства верил, что из тебя что-нибудь выйдет. И как только ты стал юношей, я решил быть твоим серым жеребенком, твоим подручным.

Кайракбай замолчал и тяжело вздохнул.

— Но теперь мне надеяться на это нельзя! Ты стал на дорогу, по которой я не могу идти с тобой.

— О чем это ты?

— О твоей новой дороге, дороге учебы. Она проходит далеко от нашего аула и, значит, недоступна для меня.

— Подожди, Кайракбай, не это ты хотел сказать...

— Ладно! Вот дойдем до оврага. Там твой старший брат и скажет тебе о самом важном...

— Ну, а ты, почему молчишь ты?

— Я уже сказал тебе, что не могу произнести этих слов. И не надо просить меня, Буркутжан. Понимаешь, не надо,— почти умолял Кайракбай.— Идем же наконец к Текебаю.

И тут я сжалился над Кайракбаем, и мы поспешили к оврагу.

Мы спустились в густые заросли таволги, которая в наших краях бывает выше роста человека. Из гибких ее прутьев в аулах делают куруки — шесты с петлей для зааркачивания неприрученных лошадей. Долго пришлось пробираться нам в кустарниках, пока в одной из расщелин дальнего края оврага мы не увидели привязанную лошадь. Текебая нигде не было видно. Кайракбай тихо позвал его, но никто не откликнулся. Только сорока, устроившаяся на вершине какого-то валуна, трещала тревожно и громко.

— Не станет она попусту стрекотать,— сказал Кайракбай.— Не зря она беспокоится. Скорее всего он там. Пойдем!

Я двинулся за Кайракбаем, который то и дело поглядывал на сороку.

— На пути сюда мы останавливались в одном ауле и пили кумыс. А ночью нам и заснуть как следует не пришлось. Вот он наверняка и отсыпается.

Сорока улетела, недовольно пострекотав.

Подойдя вплотную к валуну, мы действительно увидели Текебая. Громадный, тяжелый, краснолицый, мой брат Текебай растянулся на спине и громко похрапывал. Он потолстел за последнее время, не привык я к его большим черно-рыжим усам и бородке. Наверно он отказался

от бритвы, желая выглядеть мужественнее и старше. Как ягненок, которого поили молоком, Текебай выделялся среди других баев своим откормленным видом. Мырза, господин, не подступись к нему! Стремясь быть представительным, он носил широкую одежду. А когда выезжал куда-нибудь из аула, то напяливал на себя все лучшее, что у него только было, и выглядел непомерно толстым. Наивно считая, что красота господина в его одежде, он и жарким летом поверх камзола-безрукавки надевал лисью или хорьковую доху, щеголял в сапогах с войлочными чулками и в белом меховом треухе.

Я удивлялся, спрашивая, зачем это все, но отец считал, что так и надо. Одежда — полцены человека, говорил он.

За рост и ум цепят там, где знают,
А где не знают — шубу уважают.

Я взглянул на крепко спящего Текебая: тот же треух, та же доха, те же сапоги!.. И от палящего солнца и от утреннего кумыса на его красном лице выступил пот. Хоть на лошади перемахни через него — все равно не проснется! Ах ты, господин, господин!..

Кайракбай хотел было разбудить его осторожно, потихоньку, но я, раздраженный ленивым беспечным видом Текебая, склонился и крикнул во весь голос:

— А-а-а-а!

Оглушенный Текебай подпрыгнул так, будто его ударили по лбу!.. Мне захотелось продолжить злую шутку. Он еще не успел понять, в чем дело, как я набросил ему на голову его чекмень из верблюжьей шерсти, опрокинул его лицом вниз, сел на плечи и подмял под себя. Спросонья он, кажется, принял меня за грабителя и стал истошно орать, призывая на помощь.

— Отпусти, а то задохнется! — встревожился Кайракбай.

Но я не отпустил, и тогда Кайракбай начал стаскивать меня за пояс.

Я попробовал сопротивляться, но тут и Текебай нашел в себе силы высвободиться из моих рук. Когда мы все трое поднялись на ноги, мокрый от пота, тяжело дышавший Текебай сердито спросил:

— За что ты меня душишь?

И пока я молчал, собираясь с ответом, Кайракбай свел все к шутке:

— Эта игра как раз подходит для старшего и младшего братьев.

Да и я, не желая дальше злить Текебая, сказал с примирительной усмешкой:

— Ты звал меня, брат, вот я и пришел по твоему повелению!

Хотя Текебай и не скрывал обиды, но и сердиться он уже перестал:

— Нет, так нельзя шутить, дорогой. Ты меня бы просто мог задушить.

— Пожалуй, ты можешь выдержать тяжесть и побольше...

— Правда, правда!— шутливо подтвердил Кайракбай.— Ну, а теперь начнем наш совет.

Мы уселись. Я приготовился слушать, но Кайракбай с Текебаем словно воды в рот набрали.

— Что ж, будем играть в молчанку?— обратился я к брату и его коноводу.

— Текебай, ты должен говорить,— сказал Кайракбай.

Брат мой, не отличавшийся разговорчивостью, после спа на солнце никак не мог прийти в себя и только тер кулаком красные, воспаленные глаза.

— Ну, если вам нечего мне сказать, я пойду,— и, желая вызвать их на разговор, я сделал вид, что ухожу.

— Почему нечего!— Кайракбай посчитал мои слова за чистую правду.— Нам надо о многом договориться. Ты, Буркут, не волнуйся. Слово за тобой, Текебай!

— Начинай лучше ты сам!— почти приказал брат, продолжая зевать и потягиваться.

— Начинать так начинать... И когда же ты наконец совсем проснешься?— внушительно откашлялся Кайракбай.

Я устроился поудобнее и приготовился слушать.

— Все равно, это будут не мои слова, а слова Текебая,— предупредил Кайракбай.

И он стал задавать вопросы Текебаю, принуждая его отвечать.

— Ведь нас же вдвоем с тобой, Текебай, послал твой отец?

— Верно,— выдавил, широко зевая, Текебай...

— И послал он нас с такими словами: «Вы должны достигнуть цели или умереть».

— И это правильно...

И еще сказал отец, что все это зависит от Буркута. Не так ли?

Но тут ответа не последовало. Текебай снова задремал.

— Ой, что это за ведьма тебя одолела?!— рассердился Кайракбай, толкая моего брата кулаком...

— А-а,— испуганно вытаращил Текебай покрасневшие слезящиеся глаза.

— Спи! Спи!— издевался над ним я.— Ты умрешь, если не поспишь еще. С тобой, разжиревшим поросенком, через какую гору сможет перевалить отец?

Текебай начал злиться, но я, не обращая внимания на его злость, попросил Кайракбая вести беседу прямо со мной и больше не задавать вопросов этому сонному лежебоке. Кайракбай попытался было его защитить.

— Он ведь устал от дум и дороги!..

Но я настоял на своем.

Кайракбаю нельзя было отказать в уме, хотя он говорил несколько сбивчиво и по степным обычаям часто отклонялся от главного.

Кайракбай начал издалека. Он говорил, что после установления Советской власти по корням прежних родовых отношений прошелся топор. Но в народе еще придерживаются старых обычаев. Еще не сломаны родовые порядки.

Я не совсем понимал, куда клонит Кайракбай.

А он неожиданно завел речь об Амангельды.

— Один из первых борцов за Советскую власть Амангельды поднял знамя классовой борьбы, а не родовой вражды, выступил противником баев как друг бедноты. Верно я говорю?

— Верно, но к чему ты повторяешь то, что мне хорошо известно?

— Имей терпение, слушай до конца. Ты ведь знаешь, что алашордынцы объединились с белыми и неожиданно убили Амангельды, когда он был красным военным комиссаром Тургайского уезда.

— Но знаешь ли ты, чем закончилась эта вражда?

Нет, я никак не мог догадаться, куда клонит Кайракбай. А он все петлял и петлял, и вдруг перешел к рассказу о событиях двадцать третьего года, разыгравшихся в нашей тургайской степи.

— Ты, Буркут, должен помнить, что в тот год летом к нам приезжал твой дядя Жакыпбек Даутов. Но он был

не один. В Тургайские аулы прилетели из Оренбурга и другие важные птицы.

— Кто же это?— навострил я уши.

— Ахмет Байтурсунов, Мыржакып Дулатов, Сеитказим Кадырбаев, Ахмет-сафа Жусупов, Мыргазы Есиболов,— загибал пальцы Кайракбай... Видишь, пять важных алашордынских птиц.

— Но как же я никого не встретил?

— Э, милый, многое в жизни проходит мимо наших глаз.

— Где же все-таки они собирались?

— Чаще всего в Аулие-коле, в Семиозерном, гостили в окрестных аулах, как твой дядя Жакыпбек. Но Ахмет Байтурсунов безвыездно жил в поселке Семиозерном. К нему, к Ахмету, сходились все нити. В эти дни алашордынцы стремились помирить родственников некоторых алашордынцев. Ты обязательно должен был видеть: ведь они пировали не раз вместе с твоим дядей и твоим отцом.

Но, сказать по правде, я ничего такого не помнил. И тогда Кайракбая осенила догадка:

— Ты их, верно, потому не заметил, что они своей одеждой не отличались от обычных аульных казахов. Как раз в те времена твой дядя Жакыпбек завел моду на прежние чапаны и халаты. Он первый отказался от городского костюма, а за ним и все остальные алашордынцы.

Тут я действительно стал припоминать, что вокруг дяди в те дни было довольно много «черных тростей», как шутливо называли в аулах именитых казахов, не расставшихся для пущей важности с палочками.

Я вспомнил некоторые из них и стал описывать Кайракбаю самые приметные черты дядиных гостей, он тут же называл мне фамилии известных алашордынцев.

— Некрасивый, низенький, тихо говорит в нос...

— Ахмет Жусупов!— воскликнул Кайракбай.

— А этот, в позолоченных очках, с бритой бородою, такой смешливый...

— Ну, конечно, Мырзагали Есиболов...

— Откуда только ты их всех знаешь?— удивился я.

Тут Кайракбай рассказал:

— После того как ты с дядей отправился гостить в соседние аулы, мне и Текебаю выпала другая дорога. Твой отец велел навьючить на одногорбого верблюда бур-

дюк кумыса и передать это угощение вместе с кобылицей-трехлеткой почетным гостям.

Мы поехали и нашли гостей не в самом Семиозерном, а в белой юрте на поляне, в самой глубине Аманкарагайского бора. Тут были все те, кого я тебе назвал: и важные птицы Алаш-Орды, и местные «черные тросточки»,— вся тургайская аульная знать, все влиятельные баи. И хотя со всех концов степи свозили туда угощение, дар твоего отца, которого там все знали, не остался незамеченным.

Так рассказывал Кайракбай, а я подумал, что мой отец и мои родичи все это скрывали от меня. Я сказал об этом Кайракбаю, и он согласился со мной.

— Но почему ты мне об этом не говорил, Кайракбай?

— Я?— рассмеялся он.— Да разве у меня есть свой язык? Моя речь — это речь твоего отца... И если он мне велел молчать, значит, я молчу.

— Отец запретил тебе откровенно говорить со мной, с его сыном?

— Напрямик он, понятно, не запретил. Да он никогда и не приказывает открыто. Обычно он только делает намек. И я должен на лету понять и исполнять его желание. Так было и в этом случае.

— Слушай, Кайракбай, прошу тебя. Говори толком и покороче, зачем они туда съехались?

И вот что мне рассказал Кайракбай:

— Ты должен знать, что, начиная с шестнадцатого года, когда было поднято восстание, до убийства Амангельды в девятнадцатом, в Тургае, не прекращала литься кровь. Немало людей погибло в это время. И те, кого называют Алаш-Ордой, решили замести следы убийства, покончить с распрями и раздорами, примирить аул с аулом, потушить родовую вражду.

— Да-а,— перебил я Кайракбая.— Но какая сила, какой бог может примирить моего отца с Еркином Ержановым?

— Ты прав, такой силы нет. Да их никто и не собирается мирить. Баи остаются баями, бедняки — беднякими. Баи — эксплуататоры.

Я даже рассмеялся, услышав из уст Кайракбая это слово:

— Ты, однако, и политическую грамоту усвоил. Ты, наверно, знаешь и кто такие эксплуатируемые.

— А как же. Ты думаешь, я не бываю на собраниях

в ауле. Кстати сказать, не кто иной, как твой отец и принуждал меня ходить на эти собрания. Мол, пойди узнай, чем они там дышат? И я ходил и слушал. И узнал, как бедняки и батраки собираются уничтожить баев и добыть для себя хорошую жизнь.

— Действительно, Кайракбай, ты прошел порядочную школу.

— И не только эту школу. Ведь твой отец получает газеты и журналы. Ты знаешь эту его привычку. Так вот, сначала он меня заставлял их читать, а потом я и сам привык, втянулся...

— Кайреке ты мой, Кайреке. Ты, значит, притаился и за всем наблюдаешь в оба глаза. Но, однако, я просил тебя говорить покороче. Рассказывай о том, с чего ты начал. Итак, к чему же пришли алашордынцы в белой юрте на поляне Аманкарагайского бора?

— Они долго советовались, вспоминали о том, как много людей убито в аулах, и решили: должен быть уплачен кун за убийство только одного человека.

— За кого же это?

— За Амангельды! И ты знаешь, сторонники убийц долго шумели и не соглашались. Но Мыржакып прикрикнул на них и сам пообещал от себя прибавить долю к куну. Он убедил собравшихся, что кун за Амангельды куда важнее куна за Абдуганара. Пусть Абдуганар был в свое время самым большим баем среди кипчаков, пусть он был волостным и даже ханом. Но кому он сейчас нужен? Не все ли равно, будет за него уплачен кун или нет. Другое дело — Амангельды. Его помнят, его уважают, его любят. Попробуйте,— продолжал Мыржакып,— не уплатить за него кун, что тогда получится. Будут мстить не только родственники! Пока их удерживают лучшие люди из аргынов и кипчаков, вы упрямитесь и хотите снова разжечь пламя мести. Не надо кичиться. Не желаете думать о других, подумайте хоть о себе. Расстаньтесь с упрямством, если дорожите жизнью, семьями и скотом. Уплатите кун, давно назначенный аксакалом!— Так закончил Мыржакып, и сторонники убийц Амангельды согласились наконец с ним.

Я поинтересовался куном. И Кайракбай повторил слова, произнесенные перед принятием приговора:

— По усмотрению Касымхана, по старому распоряжению Есимхана, по семи приказам Аэ-Тауке. И после этих слов было принято решение — уплатить за Аман-

гельды тройной кун, выплачиваемый за убийство мужчины.

— А сколько это?— спросил я у Кайракбая.

— И у Абая сказано: «Цена его — сто коней и шесть дорогих вещей». Так в старину определяли цену мужчины.

— Сто коней — это понятно. Ну, а дорогие вещи?

— Ковер, например, меховая шуба, шкура выдры.

— Значит, за то, чтобы было прощено убийство Амангельды, надо отдать триста коней и восемнадцать дорогих вещей.

— Сказано вначале было так, но потом куп убавлялся и убавлялся. Стоимость одного мужчины простили в честь духов предков. Еще одну стоимость в честь Алаш-Орды. И хотя вначале воздвигали гору, дело кончилось маленьким холмиком.

— Ну, нет!— возразил я.— Конец еще будет! И больше любой горы.

Кайракбай не понял меня. И я ему терпеливо объяснил, что родственники Амангельды после купа должны отказаться от мести, но аульная беднота никогда не простит убийц. И чем сознательнее станут бедняки, тем сильнее будут они ненавидеть тех, кто убил такого мужественного и справедливого человека... И все равно они будут стремиться покончить с баями.

Кайракбай продолжал:

— После этого перемирия вражда совсем было утихла. Но теперь снова разгорается. И знаешь почему? Знаешь, кто всему виной?— Кайракбай помолчал, внимательно глядя на меня, и вдруг неожиданно закончил:— Виноват в этом, если говорить прямо, ты, Буркут.

Я не поверил своим ушам.

— Да, виной всему ты, твое желание жениться на Батес. Это настоящее бедствие для твоей семьи, для рода. Ты знаешь, что Сасык дурно пахнет. Недаром он носит такое имя. Но его слова не имеют запаха. И его богатство обладает прежней силой. Он купил голоса всех девяноста двух племен рода Аргын. И вот теперь аксакалы тургайских аулов сообщили твоему отцу, что очень недовольны твоим желанием взять в жены Батес. «Твой сын,— говорят они,— не должен жениться на дочери Мамбета. За него пойдет без калыма любая девушка из аргынов-кипчаков. Убеди сына! А если не убедишь — потом на нас не обижайся».

— Ну, хорошо. Пусть я по совету аксакалов отрекусь от Батес. А если Батес, разлучившись со мной, не пожелает идти за сына Сасыка, тогда что будет?

— Да ничего не будет. Сасык вовсе не стремится женить своего сына на дочери Мамбета, да и сын, кажется, равнодушен к ней.

— Не понимаю тебя. Объясни мне, наконец, чего они хотят?

— Они не хотят вашей женитьбы. Пусть Батес идет замуж за кого угодно, только не за тебя.

Я разозлился, нахмурился:

— Они мешают мне, а я помешаю им. Что они тогда сделают?

— Ой, не говори так!— испугался Кайракбай.— Твой отец послал меня и Текебая сделать все, чтобы ты не произнес этих слов. Слезы струились по бороде отца, когда он напутствовал нас. Он говорил: пусть не себя, пусть меня и мать пожалеет, пусть пожалеет своего старшего брата. Ведь если он женится на дочери Мамбета, аксакалы не пощадят ни его, ни нас. Бедствия обрушатся на нашу семью!

— Но что они могут сделать?

— Забавный ты человек, Буркут. Аксакалы не хотят, чтобы еще дальше росли богатство и сила твоего отца и Мамбета, не хотят их укрепления. И если это произойдет, они найдут за что ухватиться, чтобы потопить их. Вспомни многолавку. Они ведь вдвоем ее проглотили. Попробуй соединиться с Батес. Тогда посмотришь, что они сделают.

— А все-таки что?

— На твоего отца и Мамбета посыплются жалобы. И ничем нельзя будет их опровергнуть.

— Ну что я могу сделать?— тяжело вздохнул я.— Разве жалоб не будет, если я не женюсь на Батес. Все равно будут! Может, они и теперь сыплются. Откуда ты знаешь?

— Нет, сейчас пока спокойно, жалоб нет. Наверно, аульные аксакалы сдержали своих земляков. Они ждут конца событий, ждут, что произойдет у тебя с Батес. Не женишься — наступит тишина, женишься — все пойдет кувырком. И тяжелее всех придется твоему отцу с Мамбетом. Несчастных просто раздавят. Подумай об этом, Буркут!..

— Я уже не раз думал, Кайреке! Говорил раньше,

скажу и теперь: Батес я люблю и не могу отдать ее на растерзание баям!..

Наверно у меня было уж очень мрачное лицо, и Кайракбай наконец понял, что он не в состоянии убедить меня. Он принялся расталкивать брата:

— Текебай, проснись же наконец!

Текебай только лениво потягивался. Тогда Кайракбай поднял его своими сильными руками.

— В своем ли ты уме?— и Кайракбай встряхнул за плечи не успевшего еще как следует проснуться Текебая.— Ты приехал сюда держать совет или отсыпаться? Что мы здесь будем делать? Ведь становится жарко. Закончим разговор и пойдем!

— Конец уже наступил,— твердо сказал я.— Не только аксакалы аргынов и кипчаков, пусть аксакалы всей казахской степи, аксакалы всей России и, если хотите, аксакалы всего мира соберутся вместе и скажут «нет» — я не отрекусь от своей любви к Батес! Так и передайте моему отцу!— я поднялся и пошел к аулу.

— Куда ты, куда ты?— Текебай вцепился в меня и никак не хотел отпускать.

— Неужели ты думаешь заставить меня сказать то, что я не хочу говорить?

— Я умоляю тебя.

Брат попытался обнять меня, но я оттолкнул его. Он продолжал уговаривать — настойчиво, плаксиво, жалобно:

— Светик мой, родненький мой, послушай отца.

— Перестань ты плакать,— разозлился я.— Какой ты после этого мужчина, что ты ползаешь, как раб?

Мои слова, кажется, больше задели Кайракбая, чем брата. Кайракбай подбежал ко мне и неожиданно принял мою сторону.

— Буркут говорит правильно. Не надо по-рабски умолять его, если он не соглашается. Вы же как два ножа с одной рукояткой, вложенные в одни ножны...

Я пошел в аул, а Кайракбай продолжал успокаивать Текебая.

Я подумал: вот и закончился наш родственный совет. Но на самом деле все обстояло не так.

Прошло дня два-три.

После безуспешной попытки привезти Батес с помощью милиции, я решил поехать в ее аул с Еркином, Найзабеком и еще кое с кем. В это время в юрту вошел

один знакомый и шепнул, что хочет поговорить со мной наедине. Мы вышли, и он сказал мне, что в том же овраге меня ожидает мой отец.

— Пойдем, я хорошо знаю место, где он сейчас находится.

Я растерялся, не зная, что и ответить.

— Не кто-нибудь — отец тебя зовет. Самому потом будет стыдно, если не пойдешь!..

Я согласился, снова удивляясь: как быстро оказался отец рядом со мной.

Отец действительно ждал меня в том самом овраге, где я встречался с братом и Кайракбаем.

— Я все знаю, мне передали каждое слово,— так начал отец.— Люди в старину говорили:

Чтоб, жизнь завершивши, отправиться в рай,
Ты пост — уразу — и намаз соблюдай,
Чтобы горести жизни познать сполна,
В семье своей сына и дочь воспитай!

Вот так и ты, сын, принес мне много горестей. Но все-таки я тебе отец, а ты мой сын. Говорят еще, отец думает о ребенке, а ребенок думает о степи. Пусть твои мысли далеко в степи, пусть ты лягал меня, как норовистый жеребенок! Отцовское сердце не выдержало, я пришел к тебе. Смирился ты — хорошо, ну, а нет — это, может быть, будет наша последняя встреча. И говорят еще так:

Птица в силок за птенца попадет,
И в неводе рыба конец свой найдет.

Ты думаешь, что я преграда на твоем пути. Но разве ты искренне веришь, что, опрокинув эту преграду, ты достигнешь цели?

— О какой цели ты говоришь, отец?

— Да разве у тебя есть другая цель, кроме желания взять в жены дочь Мамбета-хожи?

— Есть или нет, но об этом, отец, мы не должны здесь говорить. Что ты мне еще хочешь сказать?

— Слушай, Буркут. Хоть ты и решил сбросить со своего пути и отца с матерью, и братьев, и родственников, и друзей, все же с дочерью Мамбета-хожи у тебя ничего не получится. Ты спрашиваешь, почему? Девушка не пойдет за тебя. Если бы она решилась, она бы уже при-

шла к тебе. С милиционерами или без милиционеров, но пришла бы.

— Нет, отец, она не пришла потому, что еще верна казахским обычаям, еще не осмеливается перечить отцу с матерью.

— И когда же она нарушит наши обычаи?

— Нарушит, когда я сам пойду за ней, отец!

— Нарушит, нарушит! Вот как она нарушит,— и отец сложил пальцами фигу.

Я обиделся.

— Что ты мне грубишь, отец?

— Потому грублю, что горько у меня на душе.

— Ну что ты переживаешь за меня?

Отец рассмеялся, но смех его был злым, неприятным.

— И ты меня еще спрашиваешь! Я — старый человек. Я, как говорится, поел все, что мне положено, пожил всласть, взял свою долю в жизни. Приходит срок, и человек думает о сыне. Человек хочет оставить на земле потомство. И поэтому отец желает сыну удачи и счастья. Я не отличаюсь от других. Я хотел, чтобы тебе было лучше, и сворачивал тебя с неверных троп. Сам не знаю, почему господь тебя создал таким своенравным, почему ты, упрямец, не подчиняешься моей воле.

— Что ты хочешь от меня, отец? Если я подчинюсь, скажи, что мне делать?

— Вся моя наболевшая душа подсказывает тебе: не отправляйся ты в этот путь! Ты спрашиваешь, в какой? Неужели тебе не ясно, что я говорю о доме Мамбета. И запомни навсегда: даже если ты туда придешь, эта девушка все равно не последует за тобой.

— Может быть, она откажется от меня потому, что вы все запугали ее?

— Об этом я ничего не знаю и ничего тебе не скажу. Но я твердо знаю другое. Ты пойдешь к ней по земле, а вернешься в землю. Позор падет на твою голову. Одумайся, не срамись!..

— Это все, что ты мне хотел сказать, отец?

— Все.

— За то, что ты болеешь душой за меня, я благодарю тебя, отец! Но путь мой лежит в дом Мамбета...

— Ты еще пожалеешь об этом.

— Ты, отец, говорил мне: упавший сам — не раскается... Ведь грех будет на мне, а не на тебе.

— Ну что мне с тобой делать? Я думал раньше, что

ты умный. А ты глупец: не видишь, где тебя ждет гибель...

Отец мой был очень огорчен, взволнован, но и мне боль жгла сердце. И поэтому, собравшись с духом, я сказал откровенно и резко, что клятва, которую мы с Батес дали друг другу, крепка, нерушима, и я не успокоюсь, пока не выполню ее.

Отец угрюмо взглянул на меня:

— А может случиться и так, что ты-то сдержишь слово, а девушка — нет.

— Может, отец, но это не от меня зависит.

— Сын мой!— он все еще пытался убедить меня и выбирал слова сильные и горькие.— Сын мой, ни одна тварь не желает бед своему детенышу. Даже самый кровожадный на свете зверь — волк и тот заботится о своем волчонке. Он готов пойти за него в огонь и погибнуть от пули. Ты больше всего боялся змей — есть ли твари гаже! Но и змея любит детеныша. Я сам наблюдал за змеями. Об этом можно рассказывать день и ночь. Но ты и сам многое знаешь. Зачем я буду все перечислять? Ты согласен со мной?

Я кивнул головой, а отец прослезился и продолжал:

— Неужели тебе непонятно, что тебя поджидает беда. Подумай, пока не поздно!

— О чем думать, отец?— отвечал я.— Ведь не старое это время, чтобы так бояться вражды. Теперь не соберутся родичи, не совершат набег, не уведут насильно невесту. В наши дни девушка выбирает джигита и джигит выбирает девушку. Это их воля. И кому какое дело, на ком я женюсь, за кого выйдет замуж Батес?

Отец пытался перебить меня, но я, осторожно смахнув слезы с его ресниц, попросил выслушать меня до конца:

— Потерпи еще немного. Я тебе самое главное хочу сказать. Ты правду говоришь, что горюешь, но горюешь не обо мне.

Отец уже не плакал, а пристально и сердито глядел на меня в упор:

— Не о тебе, говоришь, но о ком же тогда?

— О себе самом, отец!

Глухое восклицание вырвалось из его груди, но он переборол себя и ждал, что я скажу дальше.

— Если бы тебя, отец, не касались аульные пересуды,

ты бы никогда не противился тому, чтобы я взял в жены Батес. Не так ли?

И он неожиданно согласился со мной.

— Под конец я тебе вот что скажу. Ну, хорошо, допустим, я отрекусь от девушки. Но разве этим я облегчу твою судьбу?

— О чем ты говоришь, какую судьбу?!..

— Отвечай мне, отец! Я не хочу говорить о твоей жизни до моего рождения. Но вспомни свои поступки уже в мое время.

— Веди счет, веди,— тихо и грозно произнес он, покачиваясь из стороны в сторону, словно лодка, в которую ударяют волны.

— В год свиньи ведь был джут в нашем краю...

— Не только в нашем краю, но и на всех землях казахской степи.

— Ты хорошо знал в тот год, что надвигается джут. И поэтому распределил свой скот среди жителей окрестных аулов. Я верно говорю?

— Но в чем ты видишь мою вину? Уж не в том ли, что я сохранил жизнь многим, которым угрожала голодная смерть?

— Погоди, все знают, что после джута ты брал за овцу — пять, и чужие слезы не трогали тебя. Ты отнимал лошадей у тех, кто ездил верхом, ты отбирал палку у пешехода.

Отец молчал.

— А вспомни шестнадцатый год! Не ты ли в дни народного восстания был проводником у царских войск и помогал им истреблять сарбазов Амангельды?

Отец съежился, сжался и вдруг пронзительно выкрикнул:

— Не я бы их, так они меня! Но кончай, Буркут, ради бога...

— Нет, я еще спрошу тебя: а что ты делал на берегах Сырдарьи?

— Сырдарья далеко отсюда. Мы в Тургае. Зачем вспоминать ее?

— Хорошо, поговорим о Тургае. Не ты ли, открыв «многолавку», вначале давал в долг осьмушки чая и ситец на платье, а потом под плач бедняка вел к себе в стадо последнюю его корову?

Отец всем своим видом показывал, что не желает больше меня слушать, но я продолжал:

— Не ты ли через своих подручных пытался внести разлад и смуту в артель «Ушкын»— первую искру новой жизни в нашем краю. Ты добился многого, но Еркин вернулся с учебы и разгромил всех твоих слуг.

— Не хватит ли?— резко остановил меня отец. Он был бледен, разгневан, слезы давно улетучились из глаз, сузившихся и злых.

— Не хватит ли?— повторил отец и стал передо мной.

— Мне осталось сказать тебе совсем немного.

— Я устал от твоих дерзких слов. Не трать их попусту, кончай!

— Повторяю: тебе люди хотят отомстить не потому, что я собираюсь жениться на Батес. Они не любят тебя за то зло, которое ты принес им. Чтобы спастись, тебе и таким как ты нужно, чтобы снова была прежняя царская власть, нужно свалить Советы. А на это ни у тебя, ни у кого не хватит силенок!

— Все?— и отец устало присел на землю.

— Да я, кажется, сказал все...

— Значит, здесь в овраге нам только и остается отрезать хвосты нашим коням, как говорили в старину, когда расставались навеки.

— Твоя воля, отец!

— И если мы встретимся снова, то встретимся как враги.

— И это в твоей воле, отец!

Отец снова вскочил и, не зная, куда направить гнев, стал ожесточенно хлестать камчой по земле, подымая клубы пыли:

— Да, все в моей воле. Но ты, Буркут, обо мне не печалься. Я — старая лиса, не раз уходившая от погони. Я умею хвостом заметать следы.

— Лиса примечать издалека могла начало паренья орла...

— Я вижу, когда меня собираются закогтить...

— Не спорю с этим, отец...

— И не только вижу, но умею постоять за себя!— кричал он, и в голосе его была угроза.

— Боюсь, уже поздно, отец. Тебе уже немного осталось хитрить.

— Что ж! Тогда иди в чека и скажи, чтобы меня посадили.

И отец вплотную подступил ко мне, словно собираясь огреть меня камчой.

— И без меня, если надо, посадят...

— Вот они как посадят!— он еще раз сложил из пальцев фигу и поднес кулак прямо к моему носу. Не рассчитав движения, он даже ударил меня, но я продолжал стоять, не шелохнувшись. Для отца это были секунды разрядки. Он опустил руку, вздохнул и опять вернулся к смиренному, даже жалобному тону.

— Если ребенок бежит к могиле, значит, он умрет. И ты, мой мальчик, не видишь вырытой для тебя могилы. Людям она видна, они тебя подстерегают. Но ты не хочешь остановиться и торопишься к ней. Понимаешь ли, что ты делаешь? Представь, что девушка не пожелает пойти за тебя. Какое горе тогда тебя ожидает! Сумеешь ли ты его пережить? Или... Подумай, сын! Я очень хотел пожелать тебе лучшего, но вижу, что лучшего не будет. Ты своими руками готовишь себе гибель.

— Хорошо, отец, ты можешь не приходить, когда надо мной, мертвым, будут читать молитву — жаназа.

— И не подумаю прийти, и тебя не зову ко мне на похороны.

Я пошел. Решительно пошел в аул. И, оглянувшись, увидел, как отец каменным идолом застыл в глубине оврага.

МАМА

Тяжесть отцовских слов я почувствовал не сразу. Они легли на меня горьким грузом только после того, как Батес отказалась идти со мной. До этого в моей душе еще теплилась надежда, что девушка не нарушит прежнюю свою клятву. Но почему же она не сдержала слово? Что заставило ее отречься от меня? Я думаю, главная причина в том, что патриархально-родовые отношения глубоко замутили жизнь казахского аула. И мой отец и ее отец, и другие родовые старшины так давили на Батес, что беззащитная девушка не выдержала. После отказа Батес я беседовал наедине с Еркином, как с другом, как с представителем Советской власти в ауле.

— Надо взять ее силой из родительского дома, другого выхода я не вижу,— сказал я Еркину.— Милиция придет нам на помощь. В дуло одной винтовки могут поместиться все враги нашей любви. Стоит им пригрозить, и они сойдут с дороги. И когда мы посадим Батес на нашу телегу, она нам откровенно скажет всю правду.

— Ты прав! Но забываешь об одном. Да, Советская власть очень сильна.— Еркин говорил убежденно, стро-

го.— И только в одном она бессильна. Она не может нарушать законы, которые сама издает. Личные права граждан оберегаются советскими законами. Это надежная, крепкая защита. Воля девушки — выбирать себе мужа. Воля девушки и отказаться от своего выбора. Никто не может ее принудить поступать вопреки своему желанию. Не откажись Батес от своих слов, мы бы ее увезли. И даже если бы весь Тургай был против нас, все равно мы бы сумели защитить Батес. Но ведь мы знаем, что она сказала — не пойду за него! И тут мы ничего не можем сделать. Понимаешь — ничего!

— Но я, Еркин, только об одном прошу — помогите вызволить ее из дому.

— Как же вызволить, если она сама сказала — не пойду!

— Убедите ее. Скажите, что надо поговорить наедине.

— Нет, Буркут, это будет нарушение закона. Не можем мы тебе помочь,— стоял на своем Еркин.

И как я ни убеждал его, он ни шагу не сделал мне навстречу. Я разозлился, не зная, что же предпринять.

— Эх, Еркин, Еркин! Ты прямо как аульный писарь, за каждую букву дрожишь. Ты хорошо знаешь сам, что девушка боится баев и беков. Неужели ты не в состоянии отступить от буквы, чтобы потом девушке было легче на душе?

— Ругай меня, как хочешь. Я все равно не обижусь, но и от закона не отступлю...

— Ты же хорошо видишь, что ее опутали баи, что это их проделки...

— Э-э, брат. Что поделаешь? Баи еще существуют. Наступит время, уничтожим их... Но пока такого закона нет!

Я понял, что на этот раз ничего не добьюсь от Еркина, и, раздраженный, ушел от него. Но спустя несколько минут вернулся снова к нему в канцелярию, подчинив свой гнев разуму. Мне надо было посоветоваться с Еркином, понять все до конца.

— Ты обижаешься на меня, Буркут, что я не выручил Батес из байского плена. Но не мог я действовать по-партизански. И закон я не могу изменить. Пойми, что русских капиталистов и помещиков не осталось после революции, а наши байские сливки еще не тронуты. Ведь мы даже на оседлость как следует не перешли. Нам так недостает сознательных работников из трудящихся, да и

классовое сознание у тружеников еще не созрело. А когда это все наступит — баям в аулах придет конец.

— Понятно!— я прервал Еркина, не желая затягивать этот скучный урок политграмоты.— Это дело будущих дней. Но разве можно давать волю баям сейчас?

— Здесь-то мы могли бы их утихомирить, но вся беда в том, что сама Батес не жалуется. Она отказалась от своего обещания. И тут власть не в силах тебе помочь. Пойми, Буркут, что происходит вокруг.— И тут Еркин стал мне подробно рассказывать, как сложилась к концу двадцатых годов обстановка в Казахстане.

— Притаились баи в аулах, притаились в городах их духовные вожаки. Ты знаешь, что партия казахских баев — это Алаш-Орда. Ее главарь — Алихан Букейханов служит в Москве. Заправилы западных алашордынцев, братья Досмухамбетовы — в Ташкенте. На советской службе и твой дядя — Жакыпбек Даулетов. Видный алашордынец и Жусыпбек Мауытбаев — директор института, в котором ты учишься.

— Знаю я их всех, особенно моего дядю и Жусыпбека. Директора я почти каждый день вижу. Конечно, он националист с головы до ног, но почему этим людям позволяют занимать такие высокие посты?

— Вот об этом-то и идет сейчас речь.

— Ой, Еркин, ты знаешь, как они распределяли скот, предназначенный в помощь голодающим?

— Это я знаю, но могу тебе еще кое-что сказать, если ты сумеешь держать язык за зубами. Только это тайна.

— Не веришь, так можешь не говорить, я же тебя не прошу об этом.

— Так вот! Об этом в нашем краю еще никто не знает. Скоро вашего Мауытбаева будут судить. Много людей опрошено по его делу, и все материалы направлены в Верховный суд.

— Что ж, на суде я могу быть первым обвинителем!

— Рад за тебя!— воскликнул Еркин.— Но помни: на суде будет большая борьба между новым и старым. И твой дядя Жакыпбек окажется в самом центре борьбы. Значит, ты и дядю будешь обвинять?

— Я пойду против всех, кто защищает старое!

— Тогда ты молодец!— и Еркин тепло и пристально взглянул мне прямо в глаза.

— Но я до сих пор не могу понять, почему Советская

власть не уничтожает старину, если у нее вполне хватит сил на это?

— Это, как говорится, политика. Объяснять все подробно — долгий разговор. Но усвой главное: пока до конца не уничтожены казахские баи, нельзя обуздать полностью их духовных вожаков. И они до поры до времени будут мешать нашему делу и пакостить всюду, где только можно. Это они разожгли раздор между тобой и Батес! И хотя у меня нет прямых доказательств, я совершенно точно знаю, что твой дядя Жакыпбек многое сделал для того, чтобы вам пришлось худо!

— Интересно, какая же у него была цель?— задал я вопрос Еркину, а сам в это время подумал, что точно такие же мысли уже давно гнездились в моей голове.

— Видишь ли, он служит своим хозяевам — всем аульным баям Тургая. Их желания — закон для него. Попробуй только он им перечить — не поздоровится ему тогда... Сасык, твой отец, отец Батес, не пощадят его... Пыль одна останется от Жакыпбека, да и ту развеет степной ветер. Они ведь знают все грехи Жакыпбека, знают все его козни против Советской власти. Пока они скрывают все это, но если поссорятся, ему несдобровать. Они выдадут его.

— Значит, сообщат властям, напишут?

— Сами-то вряд ли напишут. Других подговорят, найдут охотников. А сами — в сторонку, в сторонку... И даже аллах не отыщет следов.

Но меня, откровенно говоря, судьба дяди Жакыпбека волновала куда меньше судьбы Батес. И я стал советоваться с Еркином, что же мне делать.

Еркин вначале отвечал мне старой пословицей:

Плохо возвращаться в отчий дом
Дочке, что уже рассталась с домом.
Плохо с прежним встретиться врагом,
Чья жестокость хорошо знакома.

— Должен сказать, Буркут, Батес действительно рассердилась на тебя. Большим костром разгорелся ее гнев. И если бросишься прямо на костер — его не потушишь, а скорее загоришься сам. Не надо тебе сейчас заезжать к ней. Вспыхнешь и ты, толку не будет. Костер погаснет в свой срок. Лучше ты не сворачивай с пути, езжай на учебу. Батес подумает, поймет, что злилась зря. Она ведь умная девушка, догадается, что вас пытались пос-

сорить враги. Пусть она сейчас пылает, но потом остынет и раскается. Будь уверен, она поймет, что обидела тебя, и скоро попытается помириться...

Я верил словам Еркина, и уже угасавшая надежда вспыхнула во мне снова. А он продолжал:

— Когда она придет к таким мыслям, то обязательно поделится со своими друзьями в ауле. И я, конечно, узнаю об этом. Придет добрая весть, тогда уже я смогу тебе помочь.

— Эх, ускорить бы, Еркин, все это!— вымолвил я.

А он отвечал мне стихами:

Терпенье — клад! И в самом деле
Оно златых дороже гор.
Кто ждать умеет — достигает цели,
Удел нетерпеливого — позор!

Не погоняй Батес, не подкручивай! Рано или поздно она даст знать о себе... Если любит тебя, как ты ее...

— Но родители могут ее выдать замуж за другого джигита... Ты же об этом слышал!

— Не те теперь времена, да и Батес не подчинится насилию. Мы тоже сумеем ее поддержать. Поверь мне, наступит день, и я сам провожу тебя к ней.

Еркин помолчал, собираясь с новыми мыслями.

— И еще, Буркут, я вот что тебе скажу. Ты знаешь слово «гордость». В нем есть хороший смысл, его надо хранить в сердце. Твоя Батес должна почувствовать, что ты неспособен унижаться, что ты — гордый человек.

— Наверное, Еркин, ты прав, но как это сделать, посоветуй?

— Я уже говорил тебе: поезжай отсюда сразу на учебу. Но молчать не надо,— пусть Батес все узнает от тебя. Встречаться вам, конечно, не стоит. А письмо ей напиши. Я сам его отвезу, сам отдам в руки. Скажи, что обиделся, поэтому и попрощаться не зашел. Она будет в смятении, твердость ее поколеблется и гнев пройдет...

Я согласился с доводами Еркина, вскоре написал письмо и прочитал его ему. Письмо понравилось моему советчику.

Пока я искал попутчиков в дальнюю дорогу, наш край облетела неожиданная новость: в начале августа должен был состояться суд над Жунысбеком Мауытбаевым. Многие знакомые из тургайских аулов приглашены свидетелями по его делу; в том числе Еркин Ержанов и

председатель волостного союза бедноты Сактаган Сагымбаев. До суда оставалось всего несколько дней, и свидетели стали съезжаться в волость, чтобы вместе через Тургай и Иргиз добраться до Челкара, а там сесть на ташкентский поезд и ехать до Кзыл-Орды. Лучших попутчиков мне и не надо было. Я удивился и даже огорчился, когда узнал, что Еркин пока решил не ехать на суд. Но он объяснил мне, почему ему можно остаться. Его мнение хорошо известно следователям, а историю с распределением скота во время голода не хуже Еркина знал Сактаган Сагымбаев. Кроме того, наступало время уборки урожая, нужно было подсчитывать хлеб для сдачи государству.

В тот день, когда в волостной канцелярии толпилось много свидетелей, решивших наутро выехать из аула, неожиданно приехала моя мама Асылтас. Наша встреча произошла при не совсем обычных обстоятельствах. Оказалось, что для всех свидетелей, а их было около сорока, требовались удостоверения личности. Ни машинок с казахским алфавитом, ни машинисток не было в то время в аулах. Все канцелярские бумаги писались от руки. Но у бойкого расторопного секретаря волостного исполкома был очень плохой неразборчивый почерк. Еркин, знавший, что я красиво и четко пишу, попросил меня приготовить все эти свидетельские удостоверения. Я охотно согласился.

До революции в степи вообще не было канцелярий. Волостные правители и аульные старосты все свое небольшое бумажное имущество возили в переметных сумах — коржунах, притороченных к седлам. В первые годы Советской власти аульные работники носили под мышками деловые папки с бумагами, но своего служебного стола у них тоже не было. И только совсем недавно появились дома и юрты постоянных волостных канцелярий. Они были в новинку аульным жителям, и оттого здесь с утра до вечера толпился народ.

На этот раз, когда я засел писать удостоверения, в широкой войлочной юрте было особенно тесно. Меня обступили со всех сторон и следили с нескрываемым любопытством за каждым движением пера. Милиционер хотел было выпроводить любопытных, но его никто не послушался, и он махнул рукой.

Хочу упомянуть об одной забавной подробности. Несмотря на то, что тексты удостоверения были совершенно

одинаковыми и отличались только именами и фамилиями, каждый свидетель требовал читать бумагу вслух. Вручу одному, прочитаю, этого же хотят другой, третий, четвертый. В душе я и смеялся и злился. Но что поделаешь, хотелось исполнять желания аулчан.

И в этой-то суете я неожиданно услышал тревожный голос моей матери.

— Пусти, слышишь, пусти!— кричала она.

— Куда ты идешь, здесь и так полно народу,— остановив ее, уговаривал мужчина, видимо, милиционер.

— Я к сыну спешу, пусти меня!

Мама! Я устремился к ней навстречу, но не так-то легко было пробиться сквозь плотную толпу. Зажатый в людской гуще, мокрый от пота, я чуть не задохнулся. Но как лемех разрезает целинную землю, так и я раздвинул столпившихся людей и вдруг очутился лицом к лицу с родной матерью.

— Апа, моя апа!— и я крепко обнял ее.

Многие люди, в особенности женщины, роняют слезы и в минуты радости и в минуты горя, не в состоянии скрыть свои чувства. Но плач плачу рознь. И только у нас, казахов, я слышал этот плач во весь голос, плач навзрыд, громкие тягучие причитания, в которых ясно обозначался свой ритм, как в песне, как в стихах.

В наших аулах часто вспоминали, как мать моя в молодости слагала стихи и пела их. В детстве и я слышал не однажды песни матери. Летней порой, когда девушки и молодые невестки выходили вечерами качаться на качелях, к ним иногда присоединялась и моя мать. Конечно, на качели ее не отпустили бы из дому, но она находила благовидный предлог — посмотреть за овцами. Девушки просили ее спеть, мать сначала отказывалась, говорила, что стыдно ей, уже не очень молодой женщине, петь вместе с молодежью, но в конце концов соглашалась:

— Ладно уж, так и быть, спою, но вы сразу подхватывайте песню, чтобы дома не узнали моего голоса.

Мать начинала петь, и разноголосый хор вступал вслед за ней. Но, удивительное дело, девушки были не в состоянии приглушить голоса матери. Их напев — тихо, как сова, пролетал над самой землей, а голос матери по-орлиному взмывал вверх. А какие хорошие песни знала она. Песенный дар матери обнаружился после смерти ее отца Даута. Она около года носила траур и обрядовыми

песнями оплакивала покойника. Эти песни сложил для матери известный тургайский акын Карпык. Ее приезжали слушать жители из ближайших и дальних аулов.

Мы встретились в волостной канцелярии. И мать едва успела поздороваться со мной и, не обращая внимания на незнакомых людей, высоким своим голосом затянула грустную песню. В ней была и материнская нежность, и тоска, в ней были слова о моей судьбе. Слезы брызнули у меня из глаз. Но не только песня разбередила меня. Многие из невольных слушателей расплакались вместе со мной, приговаривая: «Глядя на такую встречу, разве удержишься от слез?»

Растрогавшись, я думал о том, что даже самых близких мы не всегда знаем до конца. Я считал, что в душе моей мамы нет уголка, который мне не был бы известен. Но оказалось не так. В первые же минуты нашей встречи я понял, что она многое утаивала от меня. Я думал раньше, что это дешевенькие и серые секреты мелкого человека. Так думал я прежде. Но теперь из ее уст от самых глубин сердца хлынули горячие и правдивые сокровенные слова. Они струились подобно кипящему роднику, который может пробить и камни...

Наверное она долго бы еще причитала, но люди, окружавшие сейчас ее, не смогли вынести этого надрывного плача. Стали раздаваться возгласы:

— Довольно, женгей! Ты должна успокоиться.

— Не плачь! Сын твой отправляется в добрый путь. Скажи ему на прощанье хорошее слово, не накликай на него беду.

Среди этих многочисленных возгласов только слова о беде заставили мать насторожиться. Голос ее становился тише и тише и наконец умолк совсем. Так потухает последняя головешка в костре, залитом водой...

Лицо ее сморщилось. И кожа стала походить на пенку, затягивающую казан с закипевшим молоком. Попробуй подбавить немного жару, молоко сразу закипит, забулькает, прольется через край.

Я решил, что мне надо побыть с матерью наедине. Пусть она успокоится, перестанет плакать, пусть ее освежит степной ветерок. И только тогда можно будет ей сказать все, что я хотел.

— Может быть, апа, пойдем подальше от юрты,— ласково обратился я к ней.

— Идите, идите,— зашумели люди, еще недавно вни-

мавшие каждому звуку ее причитаний.— Идите к оврагу. У матери с сыном всегда есть разговор, который не должны слышать посторонние.

Мы отошли от аула, сели на краю оврага и долго пристально глядели друг другу в глаза, словно безмолвно спрашивая, о чем же будет наша беседа. Мне показалось, что мать уже исчерпала все свои думы обо мне своим причитанием. Но что мне ей сказать?

Все наболевшее — я уже высказал отцу, высказал откровенно и резко. И не следует повторять этих слов матери. Она всей душой связана с обычаями старого аула. Она ничем не отличается от тех аульных женщин, про которых говорили:

То, что в мешок попадет,
Уже от жены не уйдет.

Словом, жена — это хозяйка воды и пищи в доме, а до остального ей нет никакого дела.

Я думал о том, что моей матери не следует говорить о борьбе в аулах, об общественных делах. Мои доводы здесь не принесут никакой пользы. Ведь топор только затупишь, ударяя о камень.

Не будет никакого толка и от того, если я начну жаловаться на отца: мать бессильна свернуть его с той дороги, которую он выбрал.

Но даже если я никого не буду обвинять, а просто поделюсь своим горем, как сын с матерью, посетую на свою судьбу, она будет мучиться еще больше: от нее и так остались кожа да кости.

Что же делать?

«Я убит разлукой злой»,— говорил Абай. Пытаясь скрыть от матери свое горе, свою опустошенную душу, я насильно заставлял себя улыбаться и ободрил мать словами утешения:

— Зачем ты так расстраивалась, зачем плакала? Неужели ты горюешь от того, что дочь Мамбета отказалась от меня?

— А разве это уже такое малое горе?— и она снова готова была расплакаться.

— Малое... Большое... А может, это вообще не горе?— перебил я ее шутливо.

— Как же не горе, сынок?— и в ее тоне я уже услышал нотки прежнего причитания у юрты.

— Какое уж тут горе. Каждый пьет кумыс, и не най-

дешь джигита, который бы не ходил к девушке. Нет горя в разлуке, нет радости и в сближении,— говорил я, не очень веря своим же собственным словам.— Девушка сказала мне «люблю», и я ее полюбил. Но если она произнесла «не люблю!», я отвечаю ей тем же. Я ее просто перестаю любить. И кто же, спрашивается, тогда опозорен в глазах людей — я или девушка?

Так я потихоньку успокаивал мать, и слезы уже не появлялись в ее глазах.

— Ты прав, сын! Опозорена девушка!— отвечала она, вставая горой за меня по старинным аульным обычаям.— Тебе, Буркут, нечего стыдиться. Ты склонил перед ней свою золотую головку, а она возгордилась. Чем гордиться? Своей потерянной честью? Кто ее уважать теперь будет? Разумный джигит не возьмет ее в жены. Разве что какой-нибудь старичок или калека?

— В чем же тогда меня обвиняешь, мама?

— Я ни в чем тебя не виню. Только... Только я оскорблена... То, что она рассталась с тобой, меня не волнует. Но ведь она разлучила тебя с людьми и родным аулом, разлучила тебя с твоим отцом...

И тут мать выругала Батес самыми грубыми обидными словами.

— Зачем ты так, зачем?

— Мне только и остается ее ругать. Будь бы другие времена, разве бы я одна поехала вслед за тобой... Все бы родственники отца-батыра были бы здесь... Они бы не смирились с оскорблением, как не смирились с ним родственники деда, да будет благословен его дух. Что стоят предки хожи по сравнению с моими предками... Все уменье предков хожи — это обрезание, вся хитрость — собрать с верующих зекет и кушыр. Да еще могут они читать молитвы у изголовья покойника и выклянчивать милостыню на поминках. Самого Шакшак-Жаныбека победил предок твоего деда-батыра.

— Ты еще не рассказала, мама, как выкрали тебя,— засмеялся я, вспомнив эту удивительную историю.

— Вот ты смеешься, а тогда не смеялись. Тогда, сынок, восхищались люди. Тогда в степи говорили, что ни у кого не хватит сил справиться с потомком калмыков, тех калмыков, что одолели самого Жаныбека.

Мать все больше и больше увлекалась этим разговором. Ее чувства нарастали, как столбик ртути в термометре при резком повышении температуры.

— Но Советская власть пригнула к земле батыров и баев,— зло вспыхнула мать.— Разве не выпущен закон, называемый равенством. Разве не говорят теперь ваши советы, что бай и бедняк, хороший и плохой, мужчина и женщина имеют равные права. Значит, теперь и оскорбления можно терпеть, как их вытерпел ты. Что это, по-твоему, хорошо? Случись это в прежнее время, твой отец не снес бы этого позора. Пусть ты стерпел, он бы не выдержал. Положил бы твою бесстыдную девку, как овцу, поперек седла и примчал бы в наш аул. Эх, и досталось бы во время набега этим несчастным потомкам хожи...

Как не похожа была моя мать в эти мгновенья на безответную грустную женщину, которая недавно навзрыд плакала в юрте волостной канцелярии. Я глядел на нее, и мне вдруг припомнился случай из уже далекого детства.

Однажды весной, когда наша семья перекочевала в Каракумы, отец взял меня на охоту в пески. Он обнаружил волчье логово, и по ему одному известным приметам определил, что самец ушел промышлять дичь, а в норе осталась лишь волчица с волчатами. Мы привязали наших лошадей в надежном затишке, сами же подошли поближе к логову с надветренной стороны, чтобы волчица не могла нас почуять. Отец, зарядив ружье, спрятался в скрадок недалеко от норы, а меня послал прямо к логову, чтобы я там попрыгал и пошумел. Расчет был верный. Волчица с отвисшими сосками выбежала, пугливо озираясь, из норы. Отец без промедления выстрелил. Волчица опрокинулась, но тут же поднялась и побежала обратно в нору к волчатам. Вдруг она неожиданно повернула прямо на отца, видимо, почувствовала, что ей все равно не спастись. Вот тогда я и убедился, какой смелостью обладал отец. Он не вздрогнул, не подался назад. Он продолжал стоять, как стоял, не спуская глаз с приближавшейся волчицы. И отец и я видели ее оскаленную пасть с копьевидными зубами, свисающий алый язык, ее прижатые уши, глаза, поблескивающие, как раскаленные угли. У меня душа ушла в пятки, и я юркнул за спину отца. В ту самую секунду, когда волчица, казалось, была готова прянуть на нас, раздался второй выстрел. Волчица снова упала на спину. Отец взял меня за шиворот и рывком выдвинул вперед:

— Ты что, боишься врага, хочешь быть трусом, смотри! Ведь еще не сдохла!

И я увидел, что уши у волчицы продолжали дрожать и хвост колотился по земле. Она сдыхала, но даже тогда стремилась всем туловищем приблизиться к своему убийце и не отрывала от него горящих ненавидящих глаз.

Я вспомнил этот случай потому, что на лице у матери появился такой же злой враждебный огонь. Она непримиримо относилась ко всему новому, что принесла в аул Советская власть. Недаром казахи говорят:

Что с материнским молоком впитается,
Потом с костями в землю погребается...

И еще казахи говорят:

Начнет птенец летать,— и ловит
Тех мошек, что видал в гнездовье.

Правильная пословица! Трудно избавиться от того, что воспринято тобой в детстве. Да, моя мать была дочерью известного бая и стала женою известного бая. Но ведь ничего светлого не видела она в старое время. Сколько унижений пришлось ей испытать. И вот теперь она тоскует по тому самому старому времени, которое и ей не принесло никаких радостей.

Но пора вернуться к описанию нашей беседы. Мне не хотелось спорить с матерью. Тем более, она пришла в себя после встречи в юрте волостной канцелярии.

— Тысяча и одна благодарность тебе, мама, за то, что приехала и отыскала меня. Я и так обязан тебе на всю жизнь, а теперь и вовсе в долгу перед тобой...

— Ничем ты мне не обязан,— отвечала мать,— простит тебе бог, прощу и я. Прощу все, что ты мне должен, светик! Я хотела ведь тебе сказать, сынок,— не склоняй головы перед нею, перед дочерью хожи. Но ты и сам уже все сказал об этом. И все-таки я тебе говорю. Помни старинные слова: «Женщина и батыра поражает насмерть».

Врагов батыр побеждал
И крепости сокрушал.
Но женщина, дочка зла,
Его врагу предала.

Ах, сын, сын, сын!.. Даже животные,— и те дерутся из-за самок. Уж на что смирные твари — овцы, но и у них бараны так бодаются, что разбивают друг другу головы. И все из-за овечек! А ты слышал об одном воришке

по имени Кулкара. Он еще до твоего рождения жил в нашем доме. Этот Кулкара промышлял так: возьмет на повод суку и идет с ней туда, где есть сторожевой или охотничий пес. И, представь, ему часто удавалось выкрадывать хороших собак...

Я рассмеялся, но мать серьезно меня отчитала:

— Не смейся, сын мой! Вовсе не для смеха я тебе обо всем этом рассказываю...

— Ну, может быть, ты и права. Не злись. Но все же я человек, а не баран и не овчарка...

— Я тебе, Буркут, хочу внушить, что немало людей погибло из-за женщин. Людей, не уступавших тебе ни умом, ни знаниями!

Я сделал вид, что мать победила меня в споре:

— Твоя правда. И я тебе обещаю не искать Батес. Я дождусь того дня, когда она сама придет ко мне.

— А если, сынок, тебе тогда не захочется ее принять?

— Почему, мама? Ведь говорят же старики:

Нам счастье принесет пропавший скот,
Когда аллах домой его вернет...

— Это так, но деды твои знали и другую пословицу:

Плохо возвращаться в отчий дом
Дочке, что уже рассталась с домом...

— Что ж, сынок!— тяжело вздохнула мать.— Я бы тебя позвала домой, но ты сейчас в разладе с отцом. И могу только пожелать тебе всего самого хорошего.

Я поблагодарил мать. И обнял ее. И сказал ей, что слова, услышанные мною сейчас, могли бы принадлежать моей бабушке. Такие они умные и ясные.

— Это потому, что они шли от сердца,— сказала мать и коснулась своей щекой моей.

— Я доволен, мама, нашим сегодняшним разговором. Правду сказать, увидев тебя, я растерялся и подумал: вдруг она обовьется вокруг моих ног и решительно скажет: не пущу! А теперь исполни мою просьбу: не плачь больше, не причитай перед своим отъездом, как сегодня.

— Не бойся, на глазах моих не появится слеза. Я ведь помню, как люди сказали мне: не накликай плачем беду на сына!

— Апа, мама. И еще об одном я хочу поговорить с тобой перед разлукой. Только дай мне слово, что ты не

обидишься. Скажи мне, ведь я же считался рожденным бабушкой, пока она не скончалась?

— Считался, Буркут. Это было всегда в казахских обычаях. Посмотрим, как у тебя, в твоей семье будет.

— Дай мне спачала жениться, апа,— рассмеялся я.— Вот обзаведусь детьми, тогда сама увидишь...

— Я уже все видела. Твоя женгей, жена Текебая, разрешает мне целовать моих внучат только когда она в духе, а если она чем-нибудь недовольна, то и понюхать не даст ребенка...

— Нет, апа, не надо беспокоиться, в моей семье так никогда не будет.

— Это уж твоя воля, сынок. А внукам я всегда буду рада. Только боже избавь, чтобы я зависела от них. Но ты, сын, не договорил до конца.

— Я, апа, скажу тебе правду. Когда я считался сыном бабушки, я хорошо знал, что ты — моя настоящая мать. Но порою, глядя на твои поступки, я жалел, что родился от тебя. Но теперь я рад, что именно ты, а никто другой, моя мама!

— Ойбой, мой мальчик, значит, все-таки ты думал так. Но знай, какими бы ни были ребенок и мать, они не могут казаться друг другу плохими.

И, целуя мать, я говорил, что ошибался:

— Ты меня победила, апа!..

Мама сдержала свое обещание. Она не плакала больше. Лишь в час моего отъезда кровь отлила от ее лица. Бледная, она подошла ко мне, расстегнула ворот моей рубахи и понюхала мое тело.

— Пусть будет у тебя дорога твоего батыра-деда, свётик мой!

Благословение матери болью отозвалось в моем сердце: я был еще слишком молод и продолжал верить в приметы, как учила меня бабушка, как учили меня родные. Мне было больно потому, что мой дед Субитей и мой дед батыр Жаутик — оба погибли в борьбе с врагами. Значит, и я могу умереть на дороге дедов, мелькнула в моем мозгу суеверная мысль.

Но эту горькую думу я скрыл от мамы.

Мы очень спешили и без всяких задержек скоро приехали в Кзыл-Орду. Я не отделялся от своих спутников и остановился с ними вместе на квартире, которую сам же нашел для всех. Один из наших тургайцев, которого мы послали разузнать новости, сообщил, что уже через три дня начнется суд над Мауытбаевым. Мне не хотелось ни с кем встречаться, и я отсиживался в квартире. Но уши моего дяди слышали все, что происходит и в городе и в степи. Он сразу же отыскал меня в моем укрытии.

Было это уже в сумерках, когда мы сидели за дастарханом, разостланным на нарах, и пили вечерний чай, ожидая пока сварится мясо.

— Вот так встре-ча-а!— протянул дядя вместо приветствия, перешагивая через порог. Он застыл как вкопанный и обвел глазами всех нас.— Слышал я, что здесь остановились наши тургайские. Хотел узнать, как их здоровье, какие новости в степи. А здесь, оказывается, и племянник мой.

Мне бы тут надо было поздороваться с дядей, но от растерянности, от неожиданности, оттого, наконец, что не слишком любил этого своего близкого родича, я выкрикнул:

— Да, это я!

Тургайские мои спутники повскакали со своих мест и заторопились пожать ему руку. Я тоже привстал, но, однако, не приблизился к дяде. Тогда он шагнул ко мне:

— Ну, а где же твое «здравствуй», племянник?

Я молча подал руку. Ему не понравилась моя неучтивость, и настроение его сразу испортилось. И хотя для него тут же освободили почетное место за дастарханом, он сел в сторону на сундук с явно недовольным видом. Когда дяде стали шумно предлагать угощение, он ограничился тем, что, привстав с сундука, нагнулся, отломил ради вежливости маленький кусочек хлеба и снова уселся в углу.

— Ты когда приехал?

— Да уже два дня здесь.

— Поездом, значит?

— Да, поездом.

— Что ж ты не сообщил мне о приезде? Не заехал?

— Все вместе ехали, расставаться не хотелось. Да потом подумал, что мы и не разместимся в вашем доме.

Дядя раздраженно хмыкнул и пригласил меня выйти во двор.

Я видел по выражению лиц моих тургайских спутников, что им не очень-то нравится моя встреча с дядей Жакыпбеком и, тем более, его стремление побыть со мною наедине. Отговаривать меня прямо им было неудобно, но они попросили меня не опаздывать к обеду. А дядю и не подумали позвать, вопреки обычному казахскому гостеприимству.

Дядя предложил пойти к нему домой. Я поблагодарил и вежливо отказался, сославшись на позднее время.

— А сейчас, дядя, давай побродим здесь или зайдем в сад.

— Тогда погуляем и поговорим.

— Нет, лучше пойдем туда, где мы никого не встретим. Я не хочу, чтобы наш разговор слушали чужие уши.

— Ну, тогда ведите, куда хотите...

В окрестностях Кзыл-Орды, особенно на юге и западе, много фруктовых садов. Их называют по именам прежних владельцев, городских богатеев. Когда-то они были окружены глиняными заборами — дувалами, но потом дувалы развалились, и скотина беспрепятственно заходила и обгладывала ветви деревьев. И хотя горкомхоз принялся недавно приводить в порядок сады, в городе считали, что там небезопасно.

Я побаивался этих садов с тех пор, когда еще учился в коммуне. Помнится, вместе с несколькими одноклассниками мы забрались в сад Мамай-бая. За нами кто-то погнался, и мы, ребята, до смерти испугались, едва унесли ноги.

И надо же было случиться, чтобы дядя повел меня именно в этот сад.

— Может быть, не стоит сюда,— предостерег я дядю. А он в ответ рассказал мне про батыра Турсунбая из рода Балта.

— Хан Аблай, возвращаясь из похода, в сумерках остановился на ночлег около одного кладбища, огороженного заостренными деревянными кольями. Дело было холодной осенью, и продрогшие воины решили приготовить горячую пищу. Все было — мясо, котлы, вода. Не хватало только дров. Батыр Турсунбай решил принести кладбищенские колья. Аблай согласился, но, улучив минуту, шепнул другим воинам так, чтобы не слышал Турсунбай:

— Пусть кто-нибудь из вас раньше него пойдет на кладбище и спрячется в могиле. Когда Турсунбай начнет вытаскивать колья — подайте голос.

Как приказал Аблай, так было и сделано. Один из воинов незаметно пришел на кладбище и лег в одну из могил. Как только появился Турсунбай, он зычно закричал. Но сердце Турсунбая не дрогнуло.

— Замолчи, лежи смирно!— спокойно ответил батыр.— Ты мертвец, а тут наш живой Аблай чуть не умирает с голоду!

Дядя тяжело вздохнул.

— Ты понял меня, надеюсь? Не такое сейчас время, чтобы бояться воров. Ты лучше скажи, куда нам деваться от большевиков, которые берут нас за горло? Сейчас смерть не страшна. Поговорят, поговорят в народе, что Жакыпбека убили... Вот и все...

— Но я ведь моложе вас. Мне еще хочется пожить...

— Ты уверен, что долго проживешь?— испытующе посмотрел на меня дядя.

— Почему же мне не пожить?

Однако на этот мой вопрос дядя не ответил.

Молча прошли мы в темный настороженный сад. Желая, вероятно, меня подбодрить, дядя поддерживал меня за левую руку. Шаги его были свободными, легкими. Мне показалось, ему все здесь очень привычно, знакома каждая тропка в саду.

— Далее, пожалуй, нам идти не надо. Будем прохаживаться вот здесь. Или хочешь — посидим.

Я ответил дяде, что пусть будет так, как ему удобнее.

— Тогда давай побродим этой аллеей.— Дядя взял меня под руку. Он говорил таинственно, тихо. И хотя было темно, я чувствовал его испытующий недоверчивый взгляд.

— В наши дни, Буркут, человек не верит человеку. И в прежние времена государство зорко следило за людьми, которым не доверяло, которых считало врагами. Так и теперь: ВЧК, или как теперь называют это учреждение, ГПУ следит за всеми, кто может причинить вред Советской власти. Всюду есть его глаза и уши... Даже среди наших баев...

— А зачем вы мне об этом говорите, дядя?.. Не думаете ли вы, что я слежу за вами?

— Избави бог, племянник! Тебе-то я верю. Ты сын

моей родной сестры, у нас с тобой одна кровь. Кому же мне верить, если не тебе!

— Но к чему тогда все эти предупреждения?

— В предосторожности нет позора. И, кроме того, я хочу, чтобы ты умел держать язык за зубами. Ты представляешь, что будет в мире, если родственники начнут выдавать друг друга.

— Хорошо, что вы мне верите,— попробовал я успокоить дядю,— но мне уж хочется от вас услышать то главное, зачем вы меня привели в этот глухой сад.

— Слишком ты нетерпелив, племянник!.. Не торопись! Понимаешь ли ты, что у тех, кого на языке Советской власти называют баями и националистами, становится все меньше и меньше надежды на хорошую жизнь... И нэп подошел к концу, и налоги увеличиваются, а теперь у нас готовится декрет о разделении и сенокосных угодий. Все земли одинаково поделят между богатыми и бедными. Как правые ни выступали против этого передела, ничего у них не вышло.

Эти речи дяди мне не понравились, и я ему напрямик сказал, что один из первых декретов Советской власти был декрет о земле.

— В России крестьяне давно уже получили помещичью землю,— продолжал я,— а у нас до сих пор самые лучшие угодья находятся у баев и беков... И один из таких баев — мой отец!

Слова об отце резанули слух дяди.

— Что ты сказал, повтори!

Я спокойно повторил:

— Один из таких баев — мой отец.

— Выходит, что ты не жалеешь даже своего отца,— в голосе дяди звучало раздражение.

— Ну, а если бы я даже жалел. Как будто Советская власть тогда приняла бы другой закон о земле! Ни у меня, ни у вас, ни у всех баев не хватит сил отменить законы.

— Сил, действительно, не хватит,— подтвердил дядя,— но, как говорится, пока соберутся поднять топор, дерево отдыхает, выход можно найти, пусть временный...

Дядя крутился вокруг да около, избегая прямо отвечать на мои вопросы.

Он водил меня по саду, трусливо оглядываясь, выбирая то аллеи поглуше, то открытые полянки, где были

сложены не то саманные кирпичи, не то кизяки, где все заросло кураем, в котором прятались змеи и пауки.

— Ну куда вы только меня завели, дядя? Неужели вам было плохо на главной аллее?

— Разве не сказано однажды акыном:

Не говори, что сгинул враг —
Он спрятался в овраг,
Не говори, что вор исчез —
Под шапку он залез...

Откуда мы с тобой знаем, что нас не подслушивают. В деревьях спрятаться легче, чем на поляне.

— Можете обижаться, дядя, но вы ведете себя как человек с сердцем зайца. Вас пугают звуки собственных шагов...

— Время такое, племянник...— начал было дядя, но я его оборвал:

— Время!.. Время!.. Неужели у нас такое время, что надо воровато плутать этим садом! Кому это нужно от всего таиться? Да и кто в самом деле будет здесь ночью шарить и следить за вами! Я знаю, что Советская власть борется с врагами. Открыто борется, смело. Есть, конечно, и тайная борьба, но она куда глубже, чем вы себе представляете. А здесь вы сейчас и сумасшедшего не встретите...

Мои слова задели дядино самолюбие.

— Не оскорбляй так,— почему-то по-русски воскликнул он.

— Совсем я не хотел вас оскорбить. Но, честное слово, вокруг нас никого нет, и вы бы уже давно могли мне сказать все, что считаете нужным.

Кажется, на этот раз он убедился в своей полной безопасности. Но, прохаживаясь взад и вперед, он опять начал столь издалека, что я никак не мог понять, куда он клонит. О чем он только ни говорил — об интервентах, об Америке, о том, как усиливается империализм. Словом, он выкладывал передо мной все свои не ахти какие мудрые представления о международной жизни. И всюду, понятно, он высматривал со слабенькой надеждой для себя угрозу нашему молодому государству.

Мне наконец надоела вся эта наивная байская политграмота.

— А что, дядя, если мы оставим этот разговор, он нам

совершенно не нужен. Прошу вас, скажите мне лучше то, что прямо касается меня.

— Если ты хочешь надеяться на хорошее, то не обижай народ, Буркут.

До меня не дошел и этот дядин намек, я попросил его высказаться яснее. И тогда он мне напомнил изречение дедов:

Ты, младший брат, за старшего держись!
Единством братьев наш народ велик.
Не проживешь ты одиноким жизнь,—
Без шубы не наденешь воротник!

— Старшие братья — это большое дело, Буркут. Старшие братья — сила народа. Ты, конечно, понимаешь, о ком идет речь. О твоем отце, о Мамбете, и о таких, как они... Ты их обидел и, значит, обидел народ. И уж если говорить начистоту, ты и приехал-то сюда, в Кзыл-Орду, чтобы вконец их перессорить.

Я вздрогнул:

— Откуда у вас такие вести?

— Будто бы ты не знаешь, что у народа пятьдесят ушей. Нельзя, племянник, затевать такие ссоры! Нельзя!

Я внутренне сжался и тихо, не выдавая своих настоящих чувств, спросил:

— Что же нужно сделать, чтобы наступил мир?

— Покориться воле старших, Буркут!

— Говорите, дядя, все. Ну что я должен по-вашему делать?

— Ты меня спрашиваешь о том, что сам хорошо знаешь!

Я освободил свой локоть от дядиной руки:

— Что я знаю, дядя? Вы, наверно, говорите о том, что я не должен жениться на дочери Мамбета?

— Ваши пути, кажется, уже разошлись?

— Вам, дядя, уже известно и это?

— Я уже говорил тебе, что у народа пятьдесят ушей. Слышат люди, слышу и я...

Тут я уже не мог сдержаться.

— Это и все, что вы мне хотели сказать? И вы меня потащили ночью в глухой запущенный сад, говорили об Америке, о которой сами ничего не знаете, ворошили мировую политику... И все это для того, чтобы корить меня дочерью Мамбета... Это мелко, дядя!..

— Тебе это кажется мелким, а для твоего отца и меня твои слова и поступки тяжелее камней.

— Для отца, наверно, это и в самом деле так.— Гнев подступил к моему горлу.— Но вы-то тут при чем, дядя?

— Я принадлежу, Буркут, к тем людям, которые только и думают о том, чтобы всем вокруг лучше было. И я тревожусь, когда возникают рознь, ссоры.

— Что же вы в конце концов от меня хотите?

— Махни ты рукой на эту девушку. Она не пошла за тобой и опозорила тебя на всю тургайскую степь. И чем теперь привяжет тебя к себе дочка Мамбета? Да и не стоит она тебя. Ты же сам знаешь. Тебе надо продолжать учиться и уж потом думать о женитьбе. Закончишь, я сам обещаю найти девушку получше этой!..

Я совсем разозлился и уже не мог этого скрыть.

— Значит, сами найдете, сами сводить нас будете?

Я злился, заикался, кричал.

— За кого ты меня принимаешь?— оскорбился дядя.— Неужели я буду действительно сводить джигита с девушкой?

— Но я действительно понял, что вы меня считаете быком, а девушку коровой...

— Я просто считал тебя разумным джигитом, а ты ведешь себя как придурок!

— Кто же тогда ты сам?— впервые в жизни я назвал дядю на ты, теряя к нему все уважение.

А он едва не задохнулся от злости и не смог ни слова произнести. Но тут, кажется, разум, покинувший его, вселился в меня. И я нашел в себе силу спокойно ему сказать:

— Ах, дядя, дядя! Вот уж никогда не думал, что вы такой человек.

— Какой такой?

— Низкий.

Нахлынувшая злость помешала дяде ответить, а я хладнокровно продолжал:

— Да, дядя, я молод и до сих пор думал, что люди, занимающиеся политикой, выше других, лучше. Настоящие люди, достойные. Я предполагал, что у них должны быть чистые души.

— Правильно!— воскликнул дядя, приняв эти слова на свой счет.

— Но вы-то, дядя, совсем не такой.

— Какие же у тебя доказательства?— он на этот раз стремился набраться терпения.

— Доказательства?! Они в ваших собственных словах. Еще куда ни шло, если против любящих друг друга джигита и девушки подымаются байские слуги, льстецы-аткаминеры, жестокие, тупые. Они и книгу никогда в руки не брали. Но ведь вы человек образованный, сознательный... Вы же сами, я хорошо помню, произносили слова: «Свобода женщин, свобода личности...» Как же низко вы пали теперь!..

Дядя смутился. Может быть, в нем чуточку пробудилась давно уснувшая совесть.

— Это не падение, милый мой...— мягко и растерянно проговорил он, но я не дал ему кончить.

— И слушать не хочу дальше.

Я решительно пошел из темного сада, а он мне крикнул вслед:

— Остановись, говорю тебе!..

Я продолжал свой путь.— Остановись!— еще раз крикнул дядя, уже приказывая мне. Я даже не замедлил шага.

— Все равно не спасешься,— прохрипел он, догоняя меня,— лучше остановись, договорим до конца!

— А если я не послушаюсь?

— Тогда... Тогда я сделаю все, чтобы эта девушка никогда не была твоей...

— А если ты сам погибнешь раньше?

— Ты что, собираешься меня погубить? Нет, без свидетелей ты мне ничего не сделаешь!

Я наконец остановился:

— Э-эх ты, несчастный!.. Вот почему ты хотел со мной говорить только наедине в этом темном глухом саду. Бедняга, не знаешь, что твое время прошло, наступило другое время, советское.

— От него я, признаться, не ожидаю ничего хорошего,— вздохнул дядя,— но если меня накажут, так за мои мысли, за взгляды. Ну, а ты? За что ты будешь наказан?

— Я? Почему я?

Он подался назад, вероятно, подумав, что я пущу в ход кулаки:

— Не о тебе я говорю, племянник, а о твоем отце. Но разве ты не он, а он — не ты?

— Нет! Нет! Мы — люди разные, мы порвали друг с другом.

— Не знал об этом, не знал... неужели так? Но я думаю, если вы даже и обидите друг друга, то никогда не доведете дело до расправы. Значит, говоря нынешним языком, вы теперь классовые враги?

— Называйте как хотите, но мы действительно враги.

— Так, племянник, так... И ты теперь можешь предать отца, можешь отдать его в руки ГПУ...

— ГПУ, ГПУ,— посмеялся я над дядиной трусостью,— так мышь считает, что кошка самый сильный зверь. Вся сила, дядя, в диктатуре пролетариата. В ее руках ГПУ.

— Но если ты так хорошо все понимаешь, почему до сих пор не вступил в коммунистическую партию.

— Когда буду вступать, вас не спрошу об этом.

— И ты думаешь, тебя примут? На, вот...— и я разглядел в темноте, как он сложил пальцами фигу.— Неужели ты нужен партии, ты, сын бая, сын контрреволюционера?!

— Погоди, это мы еще увидим.

Я опять зашагал к выходу, и снова мне вдогонку неслись дядины выкрики: «Остановись, остановись!» Мне все это уже надоело, и я не обращал на них внимания, пока он не пригрозил:

— Пожалеешь, не обижайся потом.

— Да что ты мне сделаешь? Изругаешь, изобьешь?

От угроз он опять перешел к увещеваниям:

— Значит, мы разошлись с тобой, племянник? Может быть, тогда не будем обижаться друг на друга?

— О какой обиде можно говорить, когда люди враждуют...

Каждый мой шаг отдалял меня от дяди. Спустя несколько минут я оглянулся назад. Неясный силуэт дяди едва различался в темноте. А еще через мгновенье его совсем нельзя было увидеть... Я думал, что всей своей душой отдалился от дяди Жакыпбека. И, кажется, раз и навсегда.

НЕТ, НЕ НАПРАСНО ПРОЛИТ ПОТ

Самый большой зал в Кзыл-Орде тогда находился в здании театра казахской драмы. Занавес впервые был поднят весной этого же года. До революции дом был всего-навсего длинным сараем — стойлом для верховых ло-

шадей уездной Перовской администрации. В тысяча девятьсот двадцать пятом году было решено перенести центр Казахстана из Оренбурга в Кзыл-Орду, как теперь именовался форт Перовский, возникший на месте старой кокандской крепости — Ак-Мечети. Во всей Кзыл-Орде для пятого республиканского съезда Советов нашлось одно единственное место — уездные конюшни. Они наскоро были превращены в клуб. Из досок сбита сцена, на земляной пол поставлены скамьи. А когда в Кзыл-Орде собрался коллектив первого казахского театра,— этот клуб и для него оказался вполне подходящим зданием. Только теперь уж неудобно было оставлять здесь земляной пол. Настлали доски. Небольшим был зал этого театра: всего двести пятьдесят нумерованных мест. Кроме того, здесь могло стоять еще человек пятьдесят. Обычно в театрах пол бывает несколько покатым, чтобы зрители задних рядов лучше видели происходящее на сцене. Но в Кзыл-Орде пол был ровным, и те, кто не сидел в первых рядах, с трудом разбирались в ходе спектакля и так шумели, что заглушали голоса актеров.

В этом зале и проходил суд над Мауытбаевым. Суд заседал открыто. Пускали, однако, в зал по билетам, и милиция у дверей с трудом сдерживала желающих попасть, но не имевших заветной бумажки.

Три дня длились судебные заседания. Они проходили и утром и вечером, в общей сложности ежедневно часов до десяти. Середина августа в Кзыл-Орде — очень жаркое время, и в тесном зале стояла невыносимая духота. Пахло потом и конюшней, дышать было просто нечем. Надо бы распахнуть двери для доступа воздуха, но театр окружала плотная толпа тех, кому не удалось попасть в зал. Они хлынули бы сюда, как вода в открытые шлюзы канала, и никакая милиция не справилась бы с этим потоком.

Несмотря на душную тесноту и тревожность всей обстановки, в зале было очень тихо. Люди боялись шелохнуться. Застыл и я, стараясь не сделать ни одного лишнего движения!

Здесь я хочу сделать короткое отступление. Я не слишком охотно принимал участие в обычных юношеских играх и забавах, но зато необыкновенно пристрастился к театру. Еще в Оренбурге я часто бывал на спектаклях русской драмы. Театр в Оренбурге существовал давно и занимал одно из лучших зданий в городе. Тогда я плохо

понимал русский язык, но не пропускал ни одного нового представления. Позднее, когда я уже освоился с русской речью, мне снова захотелось посмотреть виденные прежде спектакли. Многие герои по-настоящему полюбились мне, и я даже мечтал походить на некоторых из них, например, на Гамлета.

Суд над Мауытбаевым мне показался на первых порах таким же увлекательным, как интересный спектакль. Пусть его начало было несколько затянувшимся, пусть тот единственный документ, который называют обвинительным заключением, был написан скучным, казенным и далеко не для всех ясным языком, я был в числе тех терпеливых, которые не покидали зала и, мокрые от пота, затаив дыхание, ждали — что же будет?

Допрос свидетелей уже никого не мог оставить равнодушным. И вопросы и ответы настораживали зал. Свидетели отчетливо разделились на две группы. Большинство решительно обвиняло подсудимых. Меньшинство — их было всего человек десять, в том числе мой дядя Жакыпбек Даулетов,— защищали Мауытбаева и его сторонников.

Правда была на стороне обвиняющих. Что касается защитников, то их пустые, бездоказательные речи были, как любили говорить в те времена, чистой демагогией. Насмешники быстро переиначили его по-казахски «Демели кок», то-есть «серый конь, который надеется, что его поймут». И если кто-нибудь из свидетелей начинал говорить особенно речисто, торжественно и бессодержательно, к месту и не к месту вставляя высокопарные слова о родине, о народе, о казахах, в зале вспыхивали смешки:

— Садись на серого!..

— Нахлестывай!..

— Скачи, скачи дальше!..

Слова же тех свидетелей, которые обвиняли, были вескими, тяжелыми и попадали в цель, как камень в темя.

Обвинители и защитники так переругались, что в ходе судебного разбирательства то и дело возникали скандалы. Председательствующий поднимал руку, звонил в колокольчик, но ничего не помогало. Шум не смолкал, и вдруг в передних рядах свидетели противоположных сторон в качестве самых убедительных аргументов пустили в ход кулаки. Тогда их рассадили так, чтобы они не

соприкасались, а в центре для устрашения поставили милицию.

Особенно интересным заседание стало во время выступлений защитника и общественного обвинителя.

Главным защитником обвиняемых был Сергей Сергеевич Клинков, которого казахи, верные распространенному обычаю переиначивать имена и фамилии на свой лад, называли Садыкбаем Клышбаевым.

О Клинкове-Клышбаеве рассказывали много занятного. Говорили, например, что он вместе с Керенским в начале девятисотых годов учился на юридическом факультете Казанского университета. Закончив курс, он занялся адвокатской практикой и вскоре приобрел репутацию одного из самых крупных юристов России. В Петербурге и в Москве, в Киеве и Варшаве он вел очень запутанные дела и с успехом их выигрывал... Я слышал, как в перерыве между заседаниями Клышбаева расхваливал один из его почитателей.

— О, как он высоко ценит себя! Нелегко его уговорить взяться за дело. И уж если он берется, то требует многие тысячи золотом. Говорят, что один киевский миллионер, которому угрожало банкротство, заплатил ему двести тысяч. И Клышбаев ловко распутал петлю, совсем было сдавившую шею богача.

Кто-то спросил:

— А чем занимается ваш Клышбаев при Советской власти?

— Он был одно время у нас, в Казахстане, регистратором в уездном бюро юстиции, в Уюсте, а потом — в губернском, Губюсте. А в последние годы устроился в Москве юрисконсультом одного из комиссариатов.

— А почему он бросил адвокатуру?

— Я же говорил, что он учился вместе с Керенским, был его близким другом. Даже в одной эсеровской партии с ним состоял. Он, видно, трусоватый по природе, прятался у нас в далеком кочующем ауле. В двадцатом году его арестовали. Но так как, в сущности, никаких преступлений против революции он не совершал, его освободили и даже помогли устроиться на работу. Он теперь любит тихую спокойную работу. Не знаю, верить или не верить тому, но приходилось однажды слышать, что в тысяча девятьсот двадцать четвертом году после ареста известный эсер-террорист Борис Савинков просил советский Верховный суд поручить свою защиту Сергею

Сергеевичу Клинкову. Суд согласился, но вот Садыкбай не согласился. Он будто бы говорил, что оторвался от адвокатской практики и заржавел. Ну, а близким людям сказал по-другому. Мол, он бы согласился, если бы надеялся на хороший исход дела. Красноречием тут не поможешь. Все равно расстреляют. Зачем же напрасно проливать пот?

Тут не удержался от вопроса и я:

— Как же тогда взялся он защищать Мауытбаева?

— Это ведь не политическое, а скорее уголовное дело,— отвечал мне почитатель знаменитого защитника,— и потом многие видные казахи просили его. Кажется, Жакыпбек Даулетов и ездил в Москву, чтобы уговорить Клышбаева. А когда его уговоры не подействовали, сам Алихан Букейханов взялся за дело.

Этот почитатель адвоката, видно, сочувствовал и Мауытбаеву. Иначе, к чему бы он уверял всех своих слушателей, что тот будет непременно оправдан:

— Его бы и так не осудили, а теперь, когда защищать взялся сам Садыкбай, и капельки сомнений быть не может. Считайте, что он уже оправдан.

С виду Клышбаев был страшноватым, внушительным человеком. Высокий, сутуловатый, сухопарый, он чем-то напоминал борзую, может быть, своей удлиненной головой, посаженной на широкие плечи. Подбородок его был заострен, а маленькие впалые глазки хитро посматривали сквозь толстые стекла пенсне. Мне запомнились еще его тонкие длинные пальцы, узкий пиджак и брюки, подчеркивающие и без того поджарую фигуру. Ходил он стремительно, говорил протяжно, чуть вытягивая голову вперед, как слепой человек. Словом, он мало располагал к себе, этот знаменитый адвокат.

Рядом с Клышбаевым общественный обвинитель Корганбеков выглядел невзрачно. Уж больно простоват он был в глазах тех, кто его не знал до процесса. Невысокий, худощавый, с калмыцким лицом, он выделялся разве своими черными усами. Он был очень общителен, насмешлив, сам любил шутить и понимал шутки. Я узнал, что он родился и рос в семье шахтера рудника «Акжал». Кажется, он закончил всего два класса русской школы, а сейчас был председателем комитета профсоюза «Рабземлес». Он не изучал никаких юридических наук, никогда не работал в юридических учреждениях. Сторонники Мауытбаева волновались:

— Аллах, аллах! И этот человек будет общественным обвинителем?! Вот тот зубастый волк как схватит его, от него ничего и не останется.

Но были и такие, кто хорошо знал Корганбекова.

— Не надо горячиться!— успокаивали они.— Помните, что настоящего скакуна не узнаешь по гриве и масти. Вот начнется байга, тогда увидим, как он скачет!

Не знаю, все ли верили этим словам, но я в душе опасался: если длинноногий адвокат с места возьмет в карьер, скромный Корганбеков не увидит даже его хвоста. В душе я желал, чтобы шахтерский сын победил зубастого приезжего и с нетерпением ждал часа их выступлений.

...Наконец настала минута, когда председатель суда предоставил слово Клышбаеву. Я оглядел зал и увидел, как просияли лица обвиняемых и их сторонников. Что же касается обвинителей и тех, кто их поддерживал, то они насторожились, словно люди, крепящие свои юрты перед наступающей бурей.

Но бури вовсе не последовало. Правда, краснобайство защитника пришлось кое-кому по вкусу:

— Вот это сказал, голубчик!..

— Уничтожил, совсем уничтожил!..

— Подумайте только, какой тонкий, а сколько в него вместилось знаний!

Когда был объявлен перерыв заседания, я, поговорив со своими знакомыми, убедился: мы все одинаково думаем о Клышбаеве.

Многие разделяли мою оценку. Вот она:

Клинков-Клышбаев совершенно напрасно пытался блеснуть своими познаниями, ссылаясь то на римское право, то на средневековье, то на примеры из времен французской революции. Историческая часть заняла у него больше часа. Он утомил своей ученостью не только сидящих в зале, но и самих членов суда. Его перебили: говорите о том, что имеет прямое отношение к делу. Он состроил недовольную мину и продолжал как ни в чем не бывало свои исторические изыскания, а уж потом перешел к советской законности. Но и эти его размышления не касались существа процесса. Ему еще раз напомнили, что пора переходить от общих фраз к конкретным. Да и в зале начали шуметь:

— До каких же пор мы будем слушать этого болтуна?

Только после этого он с трудом повернул в сторону

и начал говорить о Мауытбаеве. Однако здесь его словно покинула прежняя уверенность. Он боялся оступиться, упасть. А может быть, у него просто не было аргументов для оправдания явного преступления. Так или иначе, но сильных слов, убедительных доказательств знаменитый адвокат не нашел. Как бы ни украшал он свою затянувшуюся речь, в памяти оставались только общие фразы: «Не о себе он думал, а о своем народе... Всему виной голод... Обстоятельства преступления таковы, что требуют оправдания...»

Я нарочно подсчитал, что эта речь продолжалась три часа сорок две минуты пятнадцать секунд. И произнесена она была не для защиты подсудимых. Защитник просто блеснул своими познаниями в истории права. А кому это было нужно?

Я вышел вместе с другими на улицу. И когда людской поток поредел, кто-то дотронулся до моего плеча. Я оглянулся — дядя! Мы ежедневно бывали в этом зале суда, но он старался не попадаться мне на глаза, а если и попадался, то делал вид, что меня не замечает. Удивленный теперь неожиданным поведением дяди, я молча смотрел на него и ждал, что он скажет.

— Пройдем, юноша, вон туда,— и он кивнул в сторону раскидистых деревьев, где совсем не было людей.

Даже после нашей ссоры я, по аульной привычке повиноваться старшим, не ответил дяде отказом. Когда мы уединились, он вкрадчиво заговорил:

— Тяжелые слова мы высказали друг другу, душа-племянник. Тяжелые, необдуманные слова. Они вырывались из наших уст, охваченных гневом. Но, как давно сказано, не должны расходиться люди одного корня. Я все тебе прощаю. Прости, милый, и ты меня...

— Вы же сами говорили, дядя: «Высказанное слово — пущенная стрела». Разве его теперь вернешь обратно?

— Сильно захочешь — и стрела вернется. Мы же родственники. Все еще можно поправить. Забудем прежний спор и все наладится само собой.

— Время покажет,— отвечал я, избегая на этот раз спора и не отбирая у дяди надежды на примирение.

— Правильно!— мягко и тихо произнес он.— У джигита большая дорога. И я склоняю перед тобой голову, хотя ты мне и сын по годам своим. Видишь, как я справедлив...

— Я сказал, дядя: время покажет, кто из нас прав...

— Хороший ответ. Одобряю! Но я в тот день слишком погорячился и забыл тебе сказать очень важное... Я был огорчен тем, что ты не остановился в моем доме. А потом я услышал, что ты, обманутый еще в ауле Еркином Ержановым, хочешь впутаться в одно недоброе дело.

— Это вы о чем говорите, дядя?

— Ты же догадываешься. И тургайские казахи и другие обвиняют Мауытбаева и его приближенных. Они убеждены, что суд плохо кончится для него. Но их старания — напрасно пролитый пот. У Мауытбаева много защитников — не только в низах, но и наверху.

— Но ведь суд идет, дядя. А если вы правы, то можно было бы не доводить дело до него?

— Суд и заседает для того, чтобы очистить воздух от сплетен и клеветы, оправдать Мауытбаева перед народом.

— И зачем вы все это говорите мне, дядя?

— А вот зачем: я знаю, что ты, племянник, против Мауытбаева. Тебя натравили на него тургайцы и ты даже собираешься выступить на суде.

Я удивился, откуда он узнал о моих намерениях. Я ведь о них почти никому не говорил.

Тут дядя стал мне рассказывать всякие таинственные истории. Дескать, как утверждают муллы, каждого человека сопровождают два невидимых ангела и записывают все его поступки. И вот один из этих ангелов ухитрился сесть даже на мой подбородок и точно записал все, что я говорил, думал и делал и в ауле и в городе в связи с судом над Мауытбаевым.

Выслушав эту дядину сказочку, я понял, что ему все хорошо известно, и не стал защищаться.

— Так вот, племянник, откажись от своих мыслей. Бесполезно обвинять Мауытбаева. Он все равно будет оправдан. Не позорься, не суйся в спор, где тебя обязательно победят. О тебе же забочусь. Родной же ты мне человек.

Дядины слова взволновали меня, но нисколько не изменили моих замыслов. Не желая здесь продолжать свои споры, я схитрил и сказал ему, что еще хорошенько все обдумаю.

— Ну хорошо, племянник. Только помни: можешь упасть и сильно, очень сильно удариться!

На этом мы и расстались. Я заподозрил неладное в дядиных словах, но не мог представить себе, что после явных преступлений Мауытбаев может быть оправдан. Это не вмещалось в мою голову, и я решил терпеливо ждать.

Через два часа судебное заседание возобновилось. Перед самым его началом я пробился к председателю суда и сказал ему, что готовлюсь выступить.

— Хорошо, напиши записку,— сказал он,— только сперва выслушай общественного обвинителя.

Я записался и отправился на свое место.

Когда слово было предоставлено Корганбекову, меня охватила дрожь. Я ведь еще до конца не освободился от религиозности, в которой меня воспитала бабушка, и довольно громко воскликнул!

— Помоги, о господи!

Сосед меня толкнул под бок:

— Тихо сиди!— и добавил то ли в шутку, то ли всерьез:— Смотри, как бы тебе по скулам не дали и язык не вырвали.

В первые минуты мне не понравился Корганбеков. Он, на мой взгляд, был недостаточно внушителен. Он стал протирать очки и оглядывал зал смеющимися глазами, словно собирался побалагурить. «Что это он?— с огорчением думал я.— Заранее извиняется за поверхностную речь, хочет предупредить, чтобы от него не ждали верных, весомых слов?»

Но вот он, словно артист на сцене, мгновенно согнал с лица улыбку, надел очки и начал быстро говорить без всяких бумажек. Я сперва пожалел, что он не приготовил письменного выступления. Тогда бы, подумал я, его речь была бы последовательней и доказательней.

— Председатель уважаемого суда!.. Уважаемые члены суда!.. Уважаемые защитники, обвинители!.. Все находящиеся в зале уважемые граждане и гражданки!— начал он внушительно и не без торжественности. И вдруг снова улыбнулся в усы:

— Где уж нам сравняться в знании законов с защитником, гражданином Садыкбаем Клышбаевым! Он ведь настоящая гора, а мы только бугорочек!..

— Оставьте эти шутки!— не выдержав, невольно выкрикнул я.

— Перед ученым придержи язык,— так говорят казахи,— продолжал Корганбеков, не обратив внимания на

мой возглас.— И еще говорят: «Не копай колодец возле большой реки...»

— К делу!— закричал кто-то из зала. Но Корганбеков не придал значения и этому возгласу и спокойно продолжал:

— Нам не пришлось изучать в институтах юридические науки. Своей трехчасовой лекцией по истории права гражданин Клышбаев немного приоткрыл нам глаза, показал нам свет. И за это лично я глубоко его благодарю.

Корганбекова снова прервали. Но он и глазом не моргнул, сохраняя в своей речи тот же насмешливый тон:

— Гражданин Клышбаев высоко парит, под самыми облаками. Поэтому он нам и рассказывал сказку, которую слышал в далеком небе. А мы, бедные люди, ходим по земле, поэтому и говорить будем лишь о том, что знаем и видели в нашей степи, в нашей стране...

И тут он стал приближаться к теме. Сначала поскакал мелкой рысью, потом взял быстрее и наконец помчался со скоростью поезда. Испытывая настоящее наслаждение, я замер и смотрел на него, что называется, во все глаза. И только однажды я оглядел весь зал и убедился, что не только я, а все присутствующие так же внимательно уставились на оратора.

Корганбеков сказал о себе правду. Он не взлетал на небеса, он не тревожил праха предков, чьи кости давным давно истлели под степными курганами или в глубине глинобитых мазаров. Он рассказывал, что происходило на казахстанской земле в наши времена. Нарисовав картину главных событий в жизни Советского Казахстана, он подробно остановился на причинах и последствиях голода тысяча девятьсот двадцать первого года, охватившего не только нашу степь, но и всю Россию. Он обстоятельно говорил о работе «Комитетов помощи голодающим» и о том, как баи в казахских аулах использовали эти комитеты в своих классовых интересах.

— Вы должны понять, почему именно баи в казахских аулах. В русских селах богатеи-кулаки этого делать не могли. Русские бедняки и батраки по своему классовому сознанию были намного выше аульной бедноты. По этой же причине Советы в русских деревнях возглавляли чаще всего крестьяне-фронтовики, активные участники революции. Не так было в казахском ауле. Сознание большинства батраков и бедняков дремало, а в аульных Советах обычно заправляли баи или байские прихвостни.

Корганбеков отпил из стакана несколько глотков воды.

— Эти горе-руководители, как я уже говорил, использовали комитеты помощи голодающим в своих корыстных классовых целях. Разъезжая по аулам как будто бы по делам комитета, они на самом деле выступали против Советской власти. Они стремились убедить население, что голод возник не в результате двух тяжелых войн, а по вине Советской власти. Вы уже слышали здесь показания некоторых свидетелей. Алашордынцы и их приспешники сумели пробраться в советскую печать и на газетных страницах «Казах тили» («Казахский язык») и «Бостандык туы» («Знамя свободы») печатали материалы, направленные против Советов.

В доказательство Корганбеков прочитал довольно много отрывков из этих газетных статей. Сколько там было яда! Это были насквозь контрреволюционные выступления, от которых стыла кровь.

— Как, по-вашему, это классовые враги или нет?

— Они! Они и есть!— зашумел зал.

В голосе Корганбекова появилось волнение:

— Значит, вы понимаете, что враги использовали комитет помощи голодающим. А вот второе доказательство. В Каркаралинском уезде Семипалатинской области живет известный бай Хасен, сын Актая. Я сам из этих мест и хорошо его знаю. Пронырливый, умный, жадный человек. До революции он держал в своих руках весь Каркаралинский уезд.

— Всю губернию!— раздался чей-то громкий голос.

— Можно сказать и так,— согласился Корганбеков.

— Я продолжаю говорить о Хасене, сыне Актая. После революции он горячо поддерживал в наших краях Алаш-Орду. А когда стали устанавливаться Советы, Хасен помог своим самым хитрым и бойким приспешникам проникнуть в партию. Пролезли они и в аульные советы, а Хасен отсиживался дома и тайно управлял через них аулами.

Когда в Семипалатинской области собирали помощь для голодающих, подсудимый Мауытбаев со своими сообщниками руководил этим делом. Хасен Актаев в лесистом ущелье каркаралинских гор на берегу прозрачного родника поставил белые юрты. Юрты были убраны дорогими яркими коврами, на шелковых одеялах лежали пуховые подушки. Словом, здесь можно было отдыхать, как

в раю. У юрт паслись на привязи жирные ягнята. Их резали на угощение по нескольку в день. В сундуках — кебеже хранилось вкусное копченое мясо. Тут же неподалеку из черных бурдюков рекой лился свежий кумыс.

Нарисовав такую картину многодневного тоя, Корганбеков вдруг резко обратился к Мауытбаеву:

— Правду ли я говорю, подсудимый? Отвечайте.

— Да,— отвечал Мауытбаев.— Так угощают гостей. Казахи, следуя своим дедам и прадедам, строго придерживаются этого обычая. И если вы сильны, запретите этот обычай. Запретите всем казахам, а не одному Хасену Актаеву.

— Казах казаху розны! Вы должны знать, с какой целью угождают баи. И если вы забыли, я вам готов напомнить слова Абая:

Что же, мясо готовь и на пир приглашай,
И того, кто стоит за тебя, угощай!

— Да разве только одни баи любят угощать? Приезжайте к любому казаху, рожденному в войлочной юрте, и он всегда примет гостя и угостит его.

— Правильно, угостит. Так велит обычай родового аула. Но бедняк угощает искренне, а бай всегда продажен. Абай прежде нас сказал об этом:

Ты пил его кумыс, его ты мясо ел,
Слугою быть его — твой горестный удел...

— Или наш великий поэт не так говорил?

— Абая надо правильно понимать!— смутился Мауытбаев.

Председатель суда, может быть, сочувствующий обвиняемому, прервал Корганбекова:

— Вы отвлекаетесь. Вы сейчас говорили о Хасене Актаеве и об уважении, которое он оказал Мауытбаеву. Продолжайте!

— Закончу одну свою мысль, перейду к другой.

— Только оставь Хасена. Какое он имеет отношение к суду?— подали реплику из зала.— Говори по существу дела.

— Придем и к существу!— спокойно отвечал Корганбеков.— Моя речь похожа на лестницу, по которой я добираюсь до сути.

— Но ведь Хасен не привлекается к суду!— снова повторил тот, кто подавал реплику.

И на скамьях в зале загорелась перебранка, быстро перешедшая в скандал. Даже председатель не мог унять спорщиков, и пришлось вмешаться милиции. Только тогда Корганбеков смог продолжать:

— Щедрость Хасена не ограничилась богатым угощением. Он приготовил для своих гостей скакунов и иноходцев, ястребов и кречетов. Хотите ехать на охоту,— пожалуйста!

— Но в этом я не вижу преступления!— перебил председатель суда.

— Я говорю то же самое!— вмешался в спор тот скандалист, остановленный милицией, и в зале снова поднялся шум.

Прошло несколько минут, прежде чем Корганбеков смог продолжать свою речь.

— Председатель правильно заметил, что охота еще не преступление. Но вы посмотрите глубже. В то самое время, когда члены комитета помощи голодающим охотились, местный ревком собирал скот. А в ревкоме были свои люди Хасена. И что же произошло? Хасен, владевший тогда табуном коней в три тысячи голов, пятью тысячами овец, сотней коров, десятками верблюдов, пожертвовал одну кобылицу, а бедняки, у которых не было ничего, давали по овце. И их принуждали к этому хасеновские прихвостни. «Нет у меня барана»,— говорил иной. «Ну, так и быть!— отвечал Хасен.— Я внесу за тебя, а ты мне своим трудом отплатишь». Так комитет помог Хасену раздобыть бесплатных батраков... И в Семипалатинской и в Акмолинской губерниях комитет помощи брал скот для голодающих не у баев, а преимущественно у бедняков.

— А доказательства есть?

— Есть ответы тысячи свидетелей, когда дело находилось на расследовании. Это может и председатель подтвердить.

Председатель подтвердил, что со всеми материалами знакомы и подсудимый и защита.

Корганбеков заговорил еще увереннее при одобрении большей части зала:

— Это настоящее преступление против Советской власти. И вы сами должны понять: если так собирался скот для помощи, то что могли творить «помощнички» на путях его доставки в Тургай. Вот слушайте!

Корганбеков положил перед собой лист бумаги:

— Есть официальные сведения, что в Тургай пригнали тысячу шестьсот сорок три головы. Но в газетах «Казах тили» и «Бостандык туы» черным по белому опубликовано в те дни, что было собрано для голодающих две тысячи сто восемьдесят девять голов. Куда же, спрашивается делись пятьсот сорок шесть голов? Перегон проходил летом, свежей травы было вдоволь, и скот в пути даже плодился. О падеже и речи быть не могло. Но я располагаю точными сведениями, куда делся скот. Оказывается, верблюды полностью сохранились. И с коровами все обстояло более или менее благополучно; их пропало всего семь голов. Но вот с лошадьми и овцами получается совсем другая картина. Грустная, должен сказать, картина.

По залу прошел легкий шепот. Всем стало ясно, куда они делись. Баранина и конина — излюбленное мясо казахов.

— Из пятисот пятидесяти шести коней, в том числе молодых жеребят и годовалых стригунков, сто четырнадцать как ветром сдуло. Вы спрашиваете, куда? Не торопитесь, все объясню. Дайте закончить расчет по овцам. Четыреста двадцать пять овец недосчитались в Тургае...

В зале шумели, негодовали, а у Мауытбаева от злости перекосилось лицо и он закричал:

— Клевета!

— Я все могу подтвердить документами. Итак, за два месяца сборов и перегона пропало семь коров, сто четырнадцать лошадей, четыреста двадцать пять овец. Всего пятьсот сорок шесть голов, то есть, почти четвертая часть скота, предназначенного голодающим. Вы настаиваете, чтобы я сказал, куда девался этот скот. Сейчас все будет ясно. Когда Мауытбаев и его приспешники гостили в юртах Хасена, начался большой той. Здесь собрались и щеголи-джигиты и красивые девушки. Праздник сменялся праздником, охота — байгой. Вместе веселились, вместе и спали.

В зале рассмеялись, а кто-то из сторонников Мауытбаева не удержался от вопроса:

— Какое же это имеет отношение к преступлению?

— А вот какое! От каркаралинских гор до самого Тургая продолжался этот праздник. И все пятьсот сорок шесть голов скота,— коровы, овцы и лошади пошли на угощение...

Из зала донеслись крики:

— Позор!

— Клевета!— вклинился в этот шум резкий голос подсудимого.

Ни колокольчик председателя, ни старания его помощников не могли остановить нового взрыва страстей и споров. И тогда был объявлен перерыв.

Это был дневной перерыв на два часа. Обычно в это время все расходились на обед и собирались снова к началу вечернего заседания. Но в этот день так не случилось. В углах и закоулках театра, во дворе и на улице в тени тополей люди сходились мелкими группками и горячо обсуждали речь Корганбекова на судебном заседании.

— Вот удивительный человек!— восхищался один из аульных посланцев.— Справедливо говорят, что настоящий скакун не имеет вида. Посмотришь на него — небольшой, невзрачный. А он, оказывается, крылатый конь — тулпар. Утром поскачет — к полдню обгонит. Хвалили тут этого сивого мерина из Москвы, говорили, что он победит и без состязания. А вышло, он даже за пылью из-под копыт нашего тулпара не смог угнаться и, как худая сибирская кляча, остался далеко позади. Его речь похожа на сказочку болтуна. Не то что у Корганбекова! Его каждое слово, как богатырский удар молота. И попадает куда надо и забивает крепко! Пусть обвиняемые сильны, но теперь они не смогут опровергнуть его доводов!

Это мнение разделяли очень многие, но находились и такие, которые старались сбить людей с толку и обелить подсудимых. «Не спешите, смотрите, как говорится, в конце букваря»,— ехидничали они. «Молока много, а угля мало... Вот и не закипит молоко». Кое-где вспыхивали споры. Сторонники Мауытбаева и сторонники Корганбекова не стеснялись в выражениях, порою пускали в ход и кулаки. Я стоял в стороне от этих споров и драк, но мне было интересно узнать настроение народа. Я понял: все простые казахи убедились в том, что Мауытбаев виноват перед Советской властью, перед народом. Теперь оставалось только дождаться справедливого наказания.

Так незаметно прошли два часа. Зал снова быстро наполнился, и Бек Корганбеков продолжал свою речь. Он рассказал, как скот, перегнанный в Тургай, едва не попал в руки аульных богатеев и как этому стремились помешать честные люди местных советов. И все-таки скот не

удалось распределить до конца по назначению. Много досталось баям!

— Скажу в заключение,— возвысил голос Корганбеков,— враги пролетарской революции, побежденные в открытой борьбе, все остатки своих сил отдали тайной враждебной деятельности. Они очень надеялись на голод. Они старались использовать голод для подрыва Советской власти. Дело, которое рассматривает в эти дни наш суд, дело Мауытбаева и его компании,— и есть ветвь этого контрреволюционного дерева. Я уверен, что преступники будут наказаны, как этого требует справедливый советский закон.

Зал горячо зааплодировал Корганбекову.

— Ну, а ты будешь теперь выступать?— спросил меня один из моих единомышленников.

— А что мне теперь говорить,— отвечал я,— за меня все сказал Корганбеков.

Вскоре слово было предоставлено подсудимому. Он заранее написал свою речь и вошел на трибуну с толстой пачкой переплетенных бумаг. Мауытбаев в каждом своем движении проявлял неторопливость и степенность. Он вытащил очки из кармана шелкового камзола и тщательно протер их стекла чистым и широким платком. Потом так же медленно надел очки, постоял, со вкусом высморкался, откашлялся. Все это начало надоедать присутствующим. Поползли смешки, разговоры...

Наконец Мауытбаев с прежней невозмутимостью взял бумаги, давая понять, что готов к своей речи. Снова откашлялся, пристально уставился в зал. И вдруг лицо его неожиданно скривилось и он расплакался. Сзади меня раздался возглас:

— Он может упасть, вызывайте доктора.

Я оглянулся и увидел дядю, который почти касался моего плеча.

Мауытбаев зарыдал еще сильнее. Всхлипывания время от времени прерывались протяжными и громкими стонами.

— Подсудимый!— сказал председатель.— Если вы не можете говорить, мы прервем заседание суда, а вы соберетесь с силами, и тогда вам будет предоставлено слово.

— Нет, этого не понадобится,—судорожно икая, отвечал Мауытбаев.— Не все ли равно. Наши деды говори-

ли: когда воет волк, он хочет сказать: «Я тебя съем». Рано или поздно, мне суждено быть наказанным!

— Вам предоставляется возможность оправдаться,— ободрил его председатель.— Говорите, слово за вами. Только обходитесь без общих слов. Ищите доказательства, факты. Попробуйте опровергнуть свою вину. Не сумеете, тогда пеняйте сами на себя.

Мауытбаев пробормотал, что доказательства легко бы нашлись, если бы он не сидел на скамье подсудимых, и что он теперь человек подневольный.

— Не говорите так!— вновь вмешался председатель.— Читайте, что у вас написано. Дополняйте своими словами. И помните: слезами делу не поможешь. Нужны только факты.

Мауытбаев около часа читал свою написанную речь. В ней не было никаких доказательств. Да он, кажется, и не пытался опровергнуть обвинителя. Он читал в надежде, что суд проникнется к нему жалостью. По его словам, он постоянно заботился о благе людей и просто не знает за собой вины...

В зале непрерывно раздавались выкрики:

— Это все пустые слова! Пусть он прекратит болтовню! Давайте факты!..

Но находились и одиночки — его сторонники: они одобряли Мауытбаева и громко спорили с теми, кто на него нападал.

Председатель безуспешно звонил в колокольчик и просил не прерывать подсудимого.

— Он имеет право говорить все, что хочет. Только не агитировать против Советской власти.

На этот раз возникла перебранка уже между председателем и залом. Кто-то разгорячился и требовал лишить обвиняемого слова потому, что его «смиренные» и «невинные» слова по существу направлены против Советов.

Колокольчик звенел дольше обычного.

— Вам надо скорее кончать речь!— обратился председатель к Мауытбаеву.— Слышите, как шумит зал. Вы до сих пор говорили бездоказательно.

Вероятно, на него подействовало председательское замечание, а может быть, к этому времени он успел прочитать все им написанное. Как или иначе, но Мауытбаев отбросил бумаги в сторону, стал находить живые слова, заговорил горячее и красноречивее. Но где-то он перешел грань и принялся открыто нападать на советский строй.

Видимо, он был уверен в том, что его все равно накажут и решил напоследок высказаться откровенно.

— Нет, это надо прекратить!— опять закричали в зале.

— Прекратить!— во весь голос закричал и я. И сразу почувствовал на своем плече тяжелую руку. Оглянулся,— снова увидел дядю. Его глаза покраснели и слезились. Такими они бывали в минуты гнева или злости.

— Заткни свою глотку.

— А если я закричу еще громче?

— Вот только попробуй!

Бесенята заиграли во мне. Потрясая кулаками, я закричал во всю мочь:

— Остановите его!

Мой голос, и без того сильный, прозвучал так громко, что зал притих и все уставились на меня.

— Дайте мне слово!— обратился я к председателю.

— Кто это такой?— уловил я недовольный шепот.

— Я обвинитель!— отвечал я.— Меня зовут Буркут. Моя фамилия Жаутиков. Я тургайский. Я хорошо знаю это дело от начала и до конца.

«Пусть говорит!», «Не надо!»— перемешались возгласы.

Председатель в это время посоветовался с заседателями, сидящими по правую и левую руку, и позвонил в колокольчик.

— Гражданину Буркуту Жаутикову будет предоставлено слово! Но только после того как закончит речь подсудимый Мауытбаев.

Однако Мауытбаев уже не был расположен говорить и коротко закончил:

— Я готов пойти в заточение за казахов, за свою родину. У меня все. Мне больше нечего добавить!

И он прижал платок к своим глазам.

На дядю эти слова подействовали удручающе: он заплакал. Я посмотрел вокруг и увидел еще одного, слывшего коммунистом. Видно, он был совсем плохим коммунистом, потому что смахивал рукавом слезы. Так он жалел Мауытбаева. И это вконец взбесило меня.

— Слова!— обратился я опять к председателю.

Он мне представил слово, но дядя поймал меня за полу и потянул на место.

— Садись, не вмешивайся!— дядя говорил тихо, дышал тяжело.

Я выругался, вырвался из его рук и поднялся на трибуну. Я весь обливался потом; в здании было очень душно, и говорил я с горячим волнением. Я говорил быстро, без запинки, стремясь высказать все, что накопилось во мне, все, что знал о тургайских делах. Не могу припомнить, долго ли я был на трибуне и какие именно слова были мною произнесены. Я знаю одно: когда я кончил, зал громко аплодировал.

Взмокший, усталый, я сел на свое место. Был объявлен перерыв до завтра. На улице меня окружили незнакомые люди и хвалили мое выступление.

— Замечательно говорил!

— Не рубил, а отсекал!

— Да процветает твое потомство!

Я себя чувствовал героем дня. На меня показывали пальцами, мною восхищались. Я воспрял духом и, вытирая лицо платком, думал: «Да, не напрасно я пролил пот».

Но уже назавтра эта мысль показалась мне обманчивой. Очень многолюдно было у здания театра. Люди собирались с утра, чтобы услышать судебный приговор. Простояли до самого полдня, но двери не открывались. Высказывали самые разные догадки. Все настойчивее и настойчивее передавался слух, что дело рассматривается в вышестоящих организациях. Где? В КазЦИКе? В Совнаркоме? В крайкоме партии? Этого никто толком не знал. Во всяком случае, «за оградой», как говорили тогда, намекая на лучшее в Кзыл-Орде здание, где были расположены республиканские организации. И еще намекали на то, что между руководителями разгорелся спор: одни считают Мауытбаева врагом Советской власти, другие защищают его.

И в этот день и на следующий никто ничего подробно не знал. Народ с утра собирался у закрытого здания театра, ждал до полудня и снова расходился.

Пересудам не было конца.

Наступило третье утро, и мы снова собрались у театра. Если первые два дня продолжались споры о самом Мауытбаеве, то на этот раз разговоры шли только о том, что происходит в «верхах», почему одни и слышать не хотят о его оправдании, а другие настойчиво ему помогают. Аульные и кзыл-ординские знатоки политики высказывали глубокомысленные суждения, вступали в азартные споры.

— Какая борьба началась!— ораторствовал один из таких знатоков.— Казахские националисты, то-есть алашордынцы, получали пока, главным образом, идейные удары. Суд над Мауытбаевым для них первый настоящий физический удар. Они предчувствуют, что после этого удара для них несчастье будет следовать за несчастьем. Вот они и съехались отовсюду в Кзыл-Орду. Говорят, здесь находится и сам вождь алашордынцев, прибывший якобы по делам Российского географического общества. В квартирах на дальних и глухих окраинах города у них днем и ночью идут совещания. Сырдарьинские баи привозят им бурдюки с кумысом, пригоняют скот. Защитники Мауытбаева в этих квартирах получают инструктаж Алаш-Орды, как вести себя на судебных заседаниях, что говорить.

— Так ведь это настоящая тайная организация!— рассмеялся какой-то простачок.

— Что же здесь смешного?— зло оборвали его и сразу же обратились к «знатоку»:— А коммунисты знают об этих собраниях?

— А как же! «За оградой» все известно. На то она и власть, чтобы знать, какие дела затеваются против нее. Там как на ладони видят, кто собирается у алашордынцев, о чем там ведутся разговоры. Известно и другое: некоторые правые оказались очень близки националистам и даже принимают участие в их сборищах. Они пошли в открытую и, не скрывая своих симпатий, защищают Мауытбаева.

— Чем же все это кончится?

— Трудно предвидеть,— ответил знаток,— у нас «за оградой» еще много зубастых правых и их единомышленников. Пока они находятся на руководящей работе, с ними нельзя не считаться.

«Знаток» говорил правду. Сквозь толпу решительной походкой проходил один из тех, кто был причастен к Верховному суду.

— Чего вы ждете, чего стоите?— небрежно бросил он.— Дело закончено. Судебное заседание закрыто.

Ему загородили путь, забросали вопросами.

— Все закончено,— повторил он.— Мауытбаев оправдан.

Шум волнами перекатывался по толпе.

— Не верите — не надо. Приходите вечером к дому Жакыпбека и увидите там в гостях Мауытбаева. Ну, а

теперь дайте мне пройти. Что вы кричите? Разве я виноват в том, что мои уши слышат. Или вы хотите запрятать меня в тюрьму вместо Мауытбаева. А если у вас есть сила, испробуйте ее лучше на правых.

И он, этот вестник печальной новости, пошел своей дорогой. Люди расходились с нахмуренными лицами, как будто из рук их ускользнуло что-то важное. Такое же настроение было и у меня и у моих тургайских спутников.

— Буркут!— окликнули меня. Обернувшись, я узнал Сактагана Сагымбаева. И от дневной жары и от гнева его лицо было багровым и напряженным, глаза казались болезненно тусклыми и угрюмыми.

— Я очень доволен твоей речью, мой милый!— сказал он.— Ты до конца оправдал свое советское воспитание. Теперь я могу сказать тебе всю правду: до твоего выступления в суде я не думал, что ты открыто и смело пойдешь против баев и их вожаков — алашордынцев.

— Мы тоже!— согласились тургайцы.

— Теперь я верю в тебя!— продолжал Сактаган.— Пусть ты сейчас не коммунист, но со временем ты можешь стать и коммунистом.

— Спасибо, рахмет, агай!— от души поблагодарил я.

— Но если ты, Буркут, доставил мне радость, то в эти дни я испытал и обиду. И ты, и я, и все, кто выступал против Мауытбаева, напрасно старались. Мы ведь защищали справедливое дело. И сумели его защитить. Особенно ты. Но что делает «высокая сторона». Ведь ей не меньше, чем нам, известны преступления Мауытбаева.

— Это все так. Но не надо думать, Сактаган, что наш пот пролит напрасно,— сказал я.

Сактаган не сразу меня понял.

— Дело же не только в том, чтобы враг был наказан,— продолжал я.— Надо еще разъяснить другим, кто наш друг, а кто — враг. Во время суда над Мауытбаевым это стало ясно.

— Что верно, то верно,— отвечал Сактаган,— однако...

Но я не дал ему договорить.

— И значит, мой дорогой, ни одна капля нашего пота не пролита даром.

Тут Сактаган во всем согласился со мной.

Если бы после оправдания Мауытбаев вернулся к прежней своей службе, я бы не поехал снова учиться в Ташкентский институт. Но стали поговаривать, что он, выйдя из тюрьмы, решил погостить в родных местах — в семипалатинских аулах, а осенью должен отправиться в путешествие по Крыму и Кавказу и только к концу года будет в Кзыл-Орде.

Вскоре стало известно, что Мауытбаев действительно выехал, и я вернулся в Ташкент продолжать учебу.

Все шло как и прежде. Только осенью директором нашего института назначили Смагула Садвакасова. Я много слышал о нем. Во времена «Старого Казахстана», как иногда называли Оренбургский период истории нашей республики, Садвакасов, известный своими националистическими взглядами, не смог подняться на большую работу. Только после нашего объединения с туркестанскими областями и перевода столицы в Кзыл-Орду он выплыл на поверхность и стал редактором газеты «Трудовой казах» и комиссаром по делам просвещения. Он приобрел вес, его знали в республике как одного из крупных работников. Но весною тысяча девятьсот двадцать шестого года на пленуме крайкома партии его опять основательно пробрали за национализм, и цена его, как говорится, упала. Вот он и оказался директором нашего института.

— Мое имя знают все шайтаны! — говорил однажды суфист-мусульманин в нашем краю.

Эти слова мог бы произнести и я, когда неожиданно для себя был приглашен в кабинет Садвакасова, который, к моему удивлению, слишком подробно знал все обо мне.

— Мне все известно, все твои слова, все твои речи. Особенно твоя речь, когда судили Мауытбаева.— Лицо Садвакасова стало жестким, даже злым.— Напрасно ты стараешься. Помни, Советская власть не очень нуждается в тебе — сыне бая, к тому же контрреволюционера. Тебя держат до поры до времени и без сожаления выбросят. Если завтра в нашем институте начнется чистка — первым вылетишь ты.

— И что же мне теперь делать? Что вы мне предложите?

— Я тебе ничего не предлагаю. Ты просто подумай о своих глупых поступках. Старайся лучше учиться. Остальное придет само собой. Помни:

Бывает сытым только тот,
Кто сдержанно себя ведет...

И еще говорили в прошлые времена:

Большой беды сумеет избежать
Лишь научившийся молчать!

Не бей зря в колокола, не стремись быть активным. Садвакасов дал мне много подобных советов. И я ни разу не перебил его, не пытался с ним спорить, а молча, повесив голову, ждал, когда он кончит свои наставления.

— Ну, что ж, ступай к себе и подумай над тем, что я тебе говорил. Как следует подумай!

Я вышел от Садвакасова огорченный, но поведение свое все-таки решил изменить. Я стал заниматься усидчивее, чем прежде. В прошлом году я помогал выпускать стенную газету, подправлял заметки, часто сам писал рассказы, юмористические зарисовки, стихи. Теперь я забросил все стенгазетные дела, не являлся на заседания редколлегии. Когда меня вызвали в партком и предложили возобновить общественную работу, я решительно отказался, сославшись на то, что запустил занятия.

Перестал я посещать и собрания литературного кружка «Алка». Он был создан в институте с год назад, когда писатели Казахстана в своих спорах разделились на два лагеря: одни считали, что у нас должна быть организация пролетарских писателей и в нее нельзя пускать националистов; точка зрения других была совсем иной: они утверждали, что у казахов нет классов, а значит, и не может быть классовой, тем более пролетарской литературы, поэтому в писательскую организацию надо принимать всех казахов, независимо от того, националисты они или нет.

Летом тысяча девятьсот двадцать шестого года в Кзыл-Орде была создана казахская ассоциация пролетарских писателей — КазАПП. Она выпустила альманах «Жыл кусы» и приступила к активной деятельности. Что же касается националистов, называвших себя «Алка», то они не очень-то шумели о себе, однако не выпускали из-под своего влияния выходящие в Ташкенте журналы «Шолпан» («Звезда») и «Сана» («Сознание»). В произведениях, публикуемых там, трудно было обнаружить любовь к Советской власти. Наш институтский литературный кружок «Алка» был по существу местом сборища этих писателей-националистов. Они спорили, читали сти-

хи, обдумывали свои планы, привлекали молодых сторонников. Я не был деятельным участником собраний, но посещал кружок довольно часто. В этом году я совсем перестал там бывать. А если кто меня и звал туда, я отказывался, говорил, что перегружен учебой.

В один из этих дней пришло письмо от Батес. В душе я был не очень доволен тем, что она приехала с Мусапыром. Но с этим еще можно было примириться, потому что я радовался и тому, что она учится, и тому, что устроилась в общежитие. Я ей не ответил, решил подождать до каникул, чтобы разузнать ее дальнейшие намерения. Я думал, она признает свою вину передо мной, мы забудем о нашей ссоре и все пойдет хорошо.

От Батес, между тем, стали приходить письма одно за другим... Четвертое, пятое, шестое. В короткое время я получил восемь писем. Но этот поток прекратился так же быстро, как и возник. Причина ясна — я ведь не отвечал, и Батес, понятно, обиделась. В иные дни я принуждал себя взять перо в руку, клал перед собой лист белой бумаги и все-таки не мог заставить себя написать. Но по ее письмам продолжал тосковать. Первое письмо Батес пришло мне в институт, остальные письма она отправляла до востребования на ташкентский почтамт. Когда письма шли одно за другим, я редко бывал на почте. Когда их поток прекратился, я каждый божий день, а то и несколько раз в сутки справлялся в окошечке, и мне неизменно отвечали: «Вам писем нет».

...Наши отцы и деды считали упрямство тяжелой неизлечимой болезнью. Упрямый все делает по-своему, наперекор рассудку. Где-то в пятом колене нашего рода жил Кисык, что по-казахски означает и кривой и упрямый. Родители словно нарочно дали мальчику это меткое прозвище. Память аульных стариков хранит несколько забавных и поучительных историй о Кисыке.

Первый рассказ. Кисык очень любил охоту с ястребом. Однажды летом он со своей ловчей птицей подъехал к незнакомому аулу и заметил, что в толпе затевается драка. Любитель поскандалить, Кисык отпустил ястреба и, подхлестнув коня, врезался в толпу. Он бил кого придется своей тяжелой камчой. Никто не мог ничего понять. Почему он дерется? И все побитые им набросились на него. В это время к аулу подъехали спутники Кисыка по охоте. Они попытались прекратить драку.

— Ойбай, не надо, не разнимайте!— закричал Кисык, продолжая размахивать камчой.

Товарищи удивились. Спросили его, почему не надо разнимать...

— Драка не разгорелась еще. Если вы не вмешаетесь, мы еще подеремся!— отвечал Кисык, которому и на этот раз досталось больше всех.

Второй рассказ. Косари косили сено на берегу озера Сарыкопа. В те времена спичек не было, огонь добывался кресалом, и угли обычно зарывались в золу. Так хранили огонь и косари Сарыкопа. У Кисыка не было кресала; угли, зарытые им в золе, тоже потухли. На пестрой кобылице-трехлетке он приехал к косарям за огнем. Ему подали тлеющую головешку.

— Наверно, будешь держать в руке?— спросил косарь.

— А ты думал, я привяжу ее к тороке седла?— задал встречный вопрос Кисык.

— Господи, неужели ты это сумеешь сделать?— пошутил косарь.

— А вот возьму и привяжу!— заупрямился, как обычно, Кисык.

Сколько его ни уговаривали, он стоял на своем. Даже заставил косаря помочь ему привязать головешку. А когда лошадь, которой прижгло бок, стала биться и ржать, он крикнул:

— Пестрая кобыла, если у тебя есть ум, скачи в озеро!

Третий рассказ. Была глубокая осень. В озере Сарыкопа уже замерзла вода. В ауле на том берегу озера умер один старый человек, и на его похороны был приглашен Кисык со своими аулчанами. Уже всадники тронулись, как один из них сказал:

— Эх, поехать бы нам прямо через озеро, вместо того чтобы объезжать его кругом!

— Напрямик по этому скользкому льду не проехать, припорошит его снегом, тогда еще можно,— возразил другой всадник.

Этого разумного возражения было вполне достаточно, чтобы Кисык заупрямился:

— Ничего не случится, поедем!

И поехал один. Его неподкованная лошадь, скользя копытами, кое-как добралась до середины озера. На середине она упала и встать уже не могла. Кисык бросил

лошадь и пришел в аул пешком. Покойника за это время уже похоронили.

— Где же твоя лошадь, Кисык?— спросили его.

— Сильный пришел, а слабый остался!— отвечал упрямец.

Если собрать вместе рассказы о своенравии Кисыка, получится целая книга. И вот — последний рассказ о том, как его собственное упрямство привело к гибели.

Четвертый рассказ. Уже престарелый Кисык грел спину у огня под куполом войлочной юрты. Неожиданно на него упало пылающее поленце. Невестка, работавшая рядом, крикнула: «Дедушка, сбросьте огонь».— «Ты его увидела, ты его и сбрось»,— ответил Кисык, не двигаясь с места и не обращая внимания на огонь. Говорят, он и умер от ожога, полученного в этот день.

Кажется, эта болезнь упрямства досталась и мне в наследство от дедов: я никогда не отступал от своего. Не только мои родичи и приятели знали об этом, понимал свою болезнь и я сам. Но, увы, понимание приходило обычно слишком поздно, когда раскаиваться было уже бесполезно. И как я ни хотел избавиться от этой своей черты, которую и сам отлично знал, мне это все равно не удавалось.

Я потому так подробно рассказываю о болезни упрямства, что она имеет прямое отношение к моим поступкам, связанным с Батес. Когда Батес не поехала со мной из аула, душа моя взбунтовалась. После ее приезда в Кзыл-Орду я по-прежнему считал себя оскорбленным. Я знал, что неправильно делаю, не отвечая на письма Батес. Но справиться со своим упрямством не мог. Изломал в щепки не одну ручку, изорвал в клочья не один лист бумаги. Что поделаешь, я не мог заставить себя написать письмо. Пропади ты пропадом наследство своенравного Кисыка!

Моя болезнь не проходила и в те дни, когда Батес надолго замолчала. Я думал, что она обиделась, и считал ее обиду справедливой. Теперь я должен был написать сам. И снова ничего не получалось. Упрямство оказывалось сильнее долга, сильнее моих чувств. Я выводил на бумаге первые слова — «Батес!», «Батес!..», «Акбота!..». Но то, что пело у меня в душе, что складывалось еще недавно в строки нежных и горячих признаний, внезапно улетучивалось, исчезало, становилось неуловимым для меня. Я мучился и огорчался, но убеждался опять, что мне не написать письма. И я говорил сам себе: «Вот при-

еду на каникулы, откровенно поговорим и поймем друг друга».

Но судьба рассудила иначе.

Перед самыми каникулами я получил горчайшее письмо. Почтальон отдал его мне в тот час, когда в общежитии за длинным столом я повторял с товарищами пройденный материал.

Прошлой зимой на мое имя приходило довольно много писем. Чаще всего писали мне из дому. В этом учебном году мне никто не писал, кроме Батес. Почерк на конверте этого письма был мне незнаком, отсутствовал и адрес отправителя. Я повертел письмо в руке и положил его на стол. Мои товарищи по общежитию стали гадать, откуда же Буркут получил весточку. И я нехотя распечатал конверт.

«Буркут! Ты меня не знаешь,— так начиналось письмо,— ну, а я тебя хорошо знаю и сочувствую тебе. Я хочу сообщить очень неприятную весть...»

У меня дрогнуло сердце. Я сразу заглянул в конец письма. Вместо имени и фамилии стояла подпись: «Твой доброжелатель». Дата — 17 декабря 1926 года. На конверте я разглядел штамп Кзыл-Ординской почты и число — 18 декабря. В мои руки письмо попало двадцатого...

— Ну, что это за письмо, Буркут?— полюбопытствовали товарищи, пристально наблюдавшие за моими движениями.

— Письмо как письмо... Обыкновенное!..— ответил я, стараясь быть как можно более равнодушным.

— Ты нас обманываешь, Буркут. Ты вначале выглядел очень беспечным, а когда вскрыл конверт, у тебя так переменилось выражение лица!

Я не стал отвечать и углубился в письмо, но разве можно угомонить молодежь,— студенты продолжали свои шутки. Один шустрый паренек попробовал даже настаивать, чтобы я читал вслух. Я не обращал внимания на галдеж и продолжал читать. Мне становилось страшнее и страшнее. И вдруг я не выдержал.

— Что он пишет?!— разгоряченный, я со всей силой ударил кулаком по столу, отшвырнул письмо.— Что он только пишет!

Кто-то из товарищей схватил меня за руку, кто-то пытался уговорить, кто-то обнял меня.

— Да пустите же вы наконец! Оставьте меня в покое.

Я кричал, злился, а они не слушали меня и, можно сказать, насильно усадили на койку.

— Ты просто сходишь с ума, Буркут. Что случилось с тобой? Опомнись!— успокаивали меня товарищи.

Я мало-помалу поддался уговорам и попытался взять себя в руки.

Но товарищи не унимались, хотя вели себя сдержаннее, тише.

— Скажи нам, что за письмо ты получил?

— Да он все равно не скажет. Давайте лучше попросим у него разрешения прочитать письмо вслух.

Я рукой махнул:

— Читайте! Чего уж там. И зачем мне его скрывать от вас?

Один из бойких и любопытных студентов начал быстро, почти скороговоркой, читать:

«Буркут!.. Ты меня не знаешь, ну, а я тебя хорошо знаю и сочувствую тебе. Я хочу сообщить очень неприятную весть...»

Тут он остановился и с испугом посмотрел на меня. Всем своим видом он как бы спрашивал: «А что? Может, и не стоит дальше читать?»

— Нет, нет! Продолжай!— сказал я с отчаянием.

Каждая строка письма болью отзывалась во мне: «Знают все твои земляки, знаю и я, что ты любил девушку по имени Батес. Известно и то, что много испытаний выпало на твою долю из-за этой любви. Когда эта девушка, о которой так много говорили в Тургайской степи, приехала учиться в Кзыл-Орду, я вместе со многими другими сгорал от желания посмотреть на нее: какая же она на самом деле? Отыскав ее, я даже разочаровался: ничего особенного, никакой красоты. Разве что миловидное лицо. Она совсем не изящна, просто недурна собой».

Он еще раз прервал чтение. Видимо, разочарованный этим описанием, он спросил:

— Это правда, Буркут?

— Не спрашивай ты меня ни о чем! Читай дальше!

И он продолжал:

«Эта девушка поступила в Кзыл-Ординский педагогический институт. И земляки радовались за нее. Недаром говорят, не красавица красива, а любимая тобой! Как было бы хорошо, думали мы, если бы они учились вместе и наконец соединились навсегда».

— Правильно они думали,— перебил кто-то из моих товарищей.

— Не мешайте, прошу вас!— взмолился я.

И он продолжал:

«Когда человек чем-то прославился, он привлекает к себе внимание, за ним наблюдают, о нем говорят. Вот так и мы присматривались к Батес. А когда ее долго не видели, то расспрашивали других о ней. И в ответ мы слышали только хорошее. Девушку хвалили за ум, способности, за воспитанность. Складывалось мнение, что Буркут выбрал девушку, которая может стать ему чудесной женой. Лишь бы они скорее сошлись!»

— В письме нет ничего плохого!— раздался возглас.

— Читай дальше!— глухо проговорил я.

Товарищи приумолкли, справедливо подумав, что вслед за добрыми словами прозвучат и злые слова.

И он продолжал:

«...После хороших новостей наших ушей коснулись дурные вести. Она оказалась испорченной девушкой. И не просто испорченной, а пьянчужкой. Где она только научилась пить вино?»

— Вот где началось безобразие,— сказал один.

— А что, если дальше мы читать не будем?— предложил другой.

— Продолжай читать!— настаивал я.— Вы, ребята, не бойтесь! Я в своем уме. Я не поступлю безрассудно. Я обещаю вам — буду слушать спокойно до конца.

И чтение было продолжено:

«Я не хотел верить этим словам. Но один надежный человек рассказал мне о том, что видел своими глазами. Батес была приглашена в гости в один дом на окраине города... И там она всем на удивление пила чашками домашнее вино. Она совсем опьянела, стала целоваться и обниматься с кем придется, не говоря уже о том, что с ее языка срывались грязные ругательства...»

Студенты стали сомневаться:

— Это, наверно, пустая болтовня.

— А разве она была пьющей?

Но я попросил закончить чтение.

«Человек, рассказавший мне об этом, не знает, куда она поехала и с кем была в тот день. Но ему хорошо известно все остальное. Твой двоюродный брат Мусапыр Пусырманов живет в одном доме с работниками горком-

хоза. В этом доме Батес затеяла пьянку, споила Мусапыра и бросилась к нему в объятия...»

Мои товарищи разозлились:

— Что он там только пишет?!

А тот, кто читал, пробежал письмо до конца глазами и кратко пересказал суть:

— Дальше говорится, что Батес подцепила Мусапыра на крючок и стала его женой. Тьфу, развратница!..

Он отбросил письмо, и студенты наперебой стали осуждать Батес.

— Теперь вам понятно, почему я расстроился?

Товарищи в общежитии горячо сочувствовали мне, и на лицах их я читал один и тот же вопрос: «Что-то теперь будет с тобой?»

Я медленно прошел по комнате и рухнул на койку лицом вниз. Слезы душили меня. Товарищи стали меня утешать. Но я попросил их не шуметь, не тревожить меня, не пытаться со мной заговаривать. Я сказал им, что мне хочется быть наедине со своими мыслями, и я сам позову их, когда наступит срок.

И снова уткнулся в подушку.

Я лежал без движения и больше не плакал. Товарищи мои переговаривались вполголоса, думая, что я заснул.

— Как бы не случилось несчастья с нашим джигитом,— отчетливо донеслись до меня слова одного студента,— оставлять его одного никак нельзя.

И тут же договорились не покидать меня и даже решили установить что-то вроде дежурства.

Наступили глубокие сумерки. Понемногу стихла болтовня в общежитии. Некоторые ребята, уставшие за день от подготовки к экзаменам, уже спали. А я продолжал лежать в оцепенении, в сотый раз задавая себе один и тот же вопрос: что же теперь делать?

Я приподнял голову и осмотрелся. За столом у керосиновой лампы, затененной листом черной бумаги, как самодельным абажуром, два студента молча просматривали свои тетрадки. Наверно, повторяли пройденный курс.

В это время дверь приоткрылась, и в комнату тихо, на цыпочках, вошел третий студент. Уж слишком беспокойными и осторожными показались мне его движения. Один из тех двух подал ему знак не шуметь. Впрочем, это было совершенно излишним, так как он, видимо, уже

был предупрежден обо всем. Когда неяркий свет лампы осветил его лицо, я сразу узнал в нем Актая Акылбаева, одного из моих настоящих друзей. С ним вместе я учился в Оренбурге, с ним вместе поступал в институт и здесь, в Ташкенте.

— Ты видишь, он теперь спокоен,— сказал Актаю тот студент, что ближе ко мне сидел за столом.— Кажется, даже заснул. Будить его нельзя ни в коем случае...

Актай хотел было что-то возразить, но ему не дали вымолвить и слова.

— Нечего суетиться в поздний час, подождем до утра.

— Тогда я буду дежурить с вами,— робко сказал Актай.

— Ты не можешь, Актай, быть сдержанным. Лучше иди в свою комнату и отдохни. Потом придешь...

Но не так-то легко было угомонить Актая. Хоть и робко, но он настаивал на своем:

— Я буду сидеть с вами вместе.

— Ты что, не доверяешь нам?— обиделся один из студентов.

— Мы считали тебя другом Буркута, а ты ведешь себя, как его враг. Ты можешь нам испортить все дело,— рассердился другой.

— Ладно, ладно!— согласился Актай.— Надо уйти, значит уйду. Я ведь только сейчас услышал, что с ним случилась беда. Плохо, очень плохо. Я знаю характер Буркута. Он способен бог знает что сделать. Когда он проспется, мне обязательно надо с ним поговорить. Меня он может послушаться.

— Пусть так, но сказали мы тебе, Актай, что до утра он будет живым и невредимым. Все студенты нашей комнаты поручились за него.

— А что, если и я присоединюсь к вам?— не успокаивался Актай.

— Неужели ты не веришь нам?— на лицах студентов появилось выражение досады.— Ты его друг, а разве мы враги Буркута? Доверься нам и спокойно иди домой!..

На этот раз Актай был побежден их доводами и вышел из нашей комнаты так же бесшумно, как вошел.

Я по-прежнему был в своем тяжелом оцепенении, но порою машинально наблюдал за своими товарищами. Они молча продолжали перечитывать учебные тетрадки. Есть ли у них что-нибудь на уме, кроме предстоящих

экзаменов? Ну, а мои мысли разбегались во все стороны...

Не знаю почему, но в душе я поверил этому письму с подписью «Твой доброжелатель!» Я последовательно припоминал все наши встречи с Батес, все испытания, выпавшие на нашу долю, поступки людей, помогавших нам и мешавших нам. И постепенно я пришел к выводу, что рано или поздно, но этот горький конец должен был настать. Что же мне остается делать? Убить Батес? Убить Мусапыра?..

Одна мысль страшнее другой завладела мною. Спасаясь от них, я неожиданно заснул.

Когда я открыл глаза, в комнате было уже совсем светло. Мои товарищи поднимались. Совсем близко от меня стоял мой друг Актай. Я разрыдался и бросился ему на грудь. Меня снова стали утешать, и самыми отрезвляющими оказались слова моего оренбургского друга.

— Я все знаю,— говорил мне Актай.— Я убежден, что все это ложь. Это все — одна ветка хитрых действий твоих врагов. Не веришь — поедем вместе в Кзыл-Орду. И если в письме правда — плюнь тогда мне в лицо!..

— Хорошо!— согласился я.— Поедем! Можешь быть спокоен: в лицо я тебе в любом случае не плюну. Но знаешь, Актай, если наши предчувствия бывают верными, то правда — в письме, а не в твоих словах. Сердце подсказывает мне, что это так...

Мне надо было сдать еще несколько зачетов. Но Актай, видя, что я не в состоянии заниматься, взял мою зачетную книжку и скоро принес ее с подписями преподавателей.

В каникулы мы, как договорились, выехали поездом в Кзыл-Орду. Остановились мы в тихой квартирке на окраине. Через земляков и знакомых мы вскоре узнали, что все написанное в письме — правда. Действительно, Батес и Мусапыр совершили бракосочетание в пещере Кор-ишана и сейчас живут в доме Корсака. О молодоженах говорили, что между ними мир и согласие. Мусапыр, как и раньше, служит. Батес учится. Но несмотря на всю достоверность этих рассказов, я желал сам убедиться во всем, своими глазами увидеть Батес и Мусапыра. Короче, я решил побывать в доме Корсака и сказал об этом Актаю.

— Ты хочешь застать их врасплох. Будь осторож-

ней!— предупредил Актай.— Можешь сам очутиться в ловушке. Но подумай о другом. Не покончить ли тебе со всем этим? Смирись с тем, что случилось, и ожидай лучших времен. Будет и у тебя много хорошего в жизни.

Может быть, слова Актая были и разумными, но они не пришлись мне по душе. И я сказал ему, что не успокоюсь до тех пор, пока не найду виновных и не накажу их.

— Подожди!— урезонивал меня Актай.— Я тебе хочу посоветовать поговорить с Батес наедине. Добейся этого обязательно, а после подумаем, что делать дальше.

Я послушался Актая, но в этот день не смог повстречать Батес, хотя ходил, как говорится, по ее следам. Актай, опасаясь, что со мной случится что-нибудь неприятное, не отставал от меня. Только к вечеру он так утомился, что мы потеряли друг друга. Темными улицами я прокрался к дому Корсака. Я его немного знал, как тургайского земляка, бывал у него на старой квартире, но никогда не принимал угощения. Знал я и место, где он строил себе новый дом. Теперь дом был уже закончен. Как мне рассказали, Корсак жил в первой комнате, а вторую, гостиную, он отдал молодоженам — Мусапыру и Батес.

Я подошел к этому дому, когда время приближалось к полночи. Во дворе стояло довольно много телег. Я заглянул в первое окошко и увидел Корсака и Бодене. Они пили чай. Труднее было разглядеть, что делается во второй комнате. Но, приникнув к занавешенному окну, я увидел Мусапыра, склонившегося над сундуком с откинутой крышкой. Поодаль, возле пышно убранной кровати стояла Батес в платье модного городского покроя. На плечи ее была накинута белая камчатная шаль.

Мусапыр достал из сундука синеватый металлический ящичек, извлек оттуда какой-то сверточек и сунул в карман. Батес, судя по всему, очень хотелось посмотреть ящичек, она потянулась к нему, но Мусапыр грубовато оттолкнул жену, а ящичек снова спрятал в сундук. Сквозь двойные рамы окна трудно было услышать разговор, но по-всему между ними разгорелся спор, и Батес обиделась на мужа. Мусапыр, однако, не подавал никаких признаков волнения и, не обращая внимания на Батес, стал раздеваться и потушил лампу. Странным мне показалось такое поведение молодого мужа. Нет, не может быть, чтобы это был брак по любви! И все-таки Батес находилась

сейчас с ним, а не со мной, и сердце мое бешено колотилось от ревности. Не знаю, сколько времени я простоял здесь. Наконец, погас свет и в первой комнате. Слишком много людей ночевало там, чтобы можно было пройти к Батес и Мусапыру. Будь бы у меня оружие, я бы выстрелил в счастливых супругов. Но оружия не было, и я принялся шарить вокруг, чтобы найти камень или какой-нибудь предмет, с его помощью выломать рамы окна и ворваться в комнату молодоженов. Мне удалось найти какой-то железный обломок и я подошел к окну, чтобы выполнить свое намерение. Но в эту же секунду меня крепко схватили за руку.

— Не пугайся! Я — Актай...

И в самом деле это оказался он.

— Ты что собираешься делать?

Я ему рассказал.

— Ну какой ты неразумный!— стал меня укорять мой друг.— Ты уж меня прости, что я пошел за тобой. Но хорошо, что я здесь. Пойми, несчастный, ты же сам себя отдаешь в руки врагов. Ты слишком дешево себя ценишь!

Я пробовал оправдаться тем, что гнев и ревность ослепили меня. Актай меня поругал:

— Что случилось — то случилось... Обдумывай теперь каждый свой шаг. Я же советовал тебе поговорить с Батес наедине. И ты со мной согласился. А сейчас пойдем отсюда, Буркут!

Бесполезно было спорить с Актаем, тем более, что он был во многом прав. И мы пошли на нашу скромную квартиру.

С утра я снова пытался встретиться с Батес, и опять у меня ничего не получилось. Я тогда вспомнил, что в Кзыл-Орде живет мой старый добрый знакомый, боевой милиционер Нурбек Касымов. Не расстававшемуся со мною Актаю я сказал:

— Надо будет вечером пойти в гости к Нурбеку, он может помочь мне. Хочешь, пойдем вместе. Там и заночуем.

Актай счел для себя неудобным навестить Нурбека. Но с ним он не боялся оставить меня. А чтобы я не передумал, довел меня до самой квартиры милиционера. Нурбек вышел нам навстречу, познакомился с Актаем, звал его к себе, по мой оренбургский дружок вежливо поблагодарил гостеприимного хозяина и ушел восвояси.

Нурбек со своей молодой женой занимал маленькую тесную комнатку. Я из письма знал, что он женился, но с его женой, очень юной и какой-то особенно чистой, приятной, встретился сейчас впервые.

Немного легкомысленный Нурбек, как всегда, начал с шутки:

— Ты догадываешься, что у милиционера не нашлось бы калыма, чтобы выкупить эту милую старушку. Весь мой калым — это песни. Они ей понравились, и я ее выкрал...

У Нурбека не было денег, они у него вообще не задерживались. Он поставил на стол овощи, яйца и бутылку водки.

Водка пришлась мне кстати. Опьяненному, мне легче было осуществить свой замысел. Нурбек даже удивился, как бойко я ее пил в этот раз. А ведь о своих несчастьях я ему ничего не рассказал.

Самым лучшим угощением Нурбека были его песни. Слушая их, я чувствовал, что весь степной Тургай с его неповторимой красотой входит в эту тесную комнатку городского серого дома.

Когда Нурбек пел, все, кто находился поблизости, приходили его слушать. Так было и в этот вечер.

Но устал хозяин, устали и гости. Нурбек предложил мне остаться, не преминув пошутить: «Ляжем втроем, мы — по краям, женгей — посередине». Я шутки не принял и уговорил Нурбека отпустить меня.

— Я могу проводить и до самой квартиры,— предложил он.

— Не беспокойся, пожалуйста. Не хочу я брать на душу грех — уводить тебя от молодой жены,— пошутил я. И тут же добавил, уже без улыбки:— Дай мне один из твоих пистолетов. Завтра я занесу его тебе в канцелярию.

Может быть, Нурбеку хотелось показать глубокое доверие ко мне, но так или иначе, он сразу же вытащил из кобуры револьвер и вручил его мне. Я попрощался с моим другом и, радуясь, что у меня есть оружие, зашагал по темным улицам к дому Корсака.

...Свет был уже потушен. Значит, они уже легли спать. Я огляделся вокруг: вчерашних телег уже не было. Вероятно, гости уехали. Я с опаской посмотрел по сторонам: не подкарауливает ли меня Актай? Но никого не было кругом. Только холодный ветер резкими порывами

закручивал пыль вместе с острым снегом. Погода портилась, но мне это было на руку: в такую бурю мне легче было выполнить свой замысел. Я подумал, что теперь без труда открою окно клещами, приготовленными днем.

Я быстро подошел к единственному окну гостиной, отогнул и выдернул гвозди и бесшумно снял наружную раму. Внутреннюю раму мне удалось снять еще проще. С наганом в руке я тихонько впрыгнул в комнату. Ветер со свистом врывался в дом, но я тут же прикрыл окно внутренней рамой и сразу стало так тихо, что я услышал ровное дыхание спящего. Чутко прислушиваясь, я понял: в комнате спит только один человек. Кто же это: Батес или Мусапыр? И если это Мусапыр, то где же Батес?

Я пощупал в кармане небольшой электрический фонарик и, осторожно пошарив руками в темноте, нашел занавес, откинул его и осветил постель. Батес спала одна. Дыхание спящей было ровным, глубоким. По-кошачьи, бесшумно я прокрался к сундуку и теми же клещами открыл крышку. Я сразу отыскал в сундуке тот металлический ларец, который видел через окно вчерашней ночью. Я положил ларец на подоконник и снова тихо приблизился к Батес. Когда я опять поднес почти вплотную к ее лицу включенный фонарик, она судорожно приподняла голову с подушки. Как взглянула она на меня! Страх, смятение, обреченность исказили ее черты. На мгновение она показалась мне белым затравленным зверьком, но жалость к ней тут же улетучилась.

— Одевайся!— скорее приказал, чем сказал я ей, понимая, что здесь говорить мы не можем.

Она молча кивнула мне головой. Я, опасаясь, что в комнату может кто-нибудь войти, стоял у двери с револьвером, зажатым в руке. В комнате было темно. Только на полу дрожал яркий круг света; я опустил фонарь, чтобы дать возможность Батес одеться.

Она пошатывалась, как в полусне, даже упала, набрасывая на себя зимнюю одежду. Но, утратив чувство жалости и сострадания, я и не пытался ей помочь. Скоро она сама подала мне знак, что готова. Я подошел к окну, снял раму, шепнул: «Выходи!» Она послушно пролезла в окно и, не рассчитав своих движений, снова упала. Я выпрыгнул вслед за ней с железным ларцом.

Снег валил сильнее, мела поземка, разыгрывался буран.

— А где же Мусапыр?— в первый раз во время этой горькой встречи голос мой зазвучал более или менее свободно.

— Мусапыр? Он отправился в дорогу.— Слова ее были словно заточенные, спокойные, она вышла со мной, готовая перетерпеть все, что будет послано ей судьбой.

— Давно?

— Сегодня вечером.

— А куда же?

— Куда-то в Уральскую область.

— Поездом?

— Да, поездом.

Батес удивляли мои вопросы. Она, видимо, не догадывалась, что у меня в эти мгновения возникла мысль догнать его. Но я теперь понял, что это мне не удастся.

— Скажи мне, ты за него вышла по своей воле или он тебя заставил?— спросил я.

— Не все ли равно сейчас, раз это случилось.

— Ты мне должна сказать правду. Иначе я могу тебя убить.

— Я не боюсь смерти, Буркут...

— Не боишься?

— Клянусь тебе, не боюсь!

— Ну, пошли!..

И я двинулся в сторону Сырдарьи. Батес шла впереди меня сквозь ветер и снег по едва приметной дороге, повинуясь каждому моему слову.

— Сворачивай направо! А теперь возьми левее!

Наган лежал у меня в кармане, а ларец я не выпускал из рук.

Мне вспомнился случай из далекого детства. Как-то я и Кайракбай верхом ехали степью. Кайракбай зоркими своими глазами первый приметил волка, гнавшего ягненка. Не успел он обратить мое внимание на эту погоню, как волк скрылся в овраге. «Наверно,— сказал Кайракбай,— волк потому не задрал ягненка, что хотел живым отдать его своим волчатам. Мол, пусть они сами его задерут, пусть поучатся. А мы теперь постараемся спасти ягненка. Я, кажется, знаю, где волчье логово». Кайракбай хлестнул камчой коня, и мы помчались. Мы перемахнули через холм. «Вот они, вот!»— закричал Кайракбай. И я увидел волка. Он подгонял свою добычу. В азарте я громко крикнул. Волк оглянулся, в одно мгновение схватил ягненка за хребтину, перекинул его себе

на спину и нырнул в лощину, заросшую густой таволгой. Кайракбай придержал лошадь: «Эй, Буркут! Ты загубил ягненка. Загубил своим криком. Может быть, волк не увидел бы нас. И тогда бы мы пересекли ему путь через овраг и подстерегли у самого логова. А теперь в таволге мы его не отыщем». Кайракбай был прав. Волк задрал ягненка и исчез.

Вот таким беззащитным ягненком показалась мне в этот вечер Батес. Она безропотно шла впереди меня. А я, заглянув в свою душу, вдруг почувствовал, что она сейчас темнее волчьей...

Прошло немного времени, и мы оказались на льду реки... Уже остались позади запорошенные снегом заросли тугая. Глазами, привыкшими к темноте, я легко различил уходящую вдаль замерзшую речную гладь. Только ветер разбушевался еще сильнее, взвихривая острый сухой снег. Злая мысль не давала мне покоя: я приведу Батес к той проруби для водопоя скота и застрелю. Застрелю и сплавлю тело под лед. Я еще вчера облюбовал эту длинную и широкую прорубь, когда возвращался из аула «Сорок землянок».

И вот сейчас Батес стояла па краю проруби.

— Стань вот сюда,— указал я ей место. Она послушно стала. Но тут я увидел, что вода уже затянулась льдом, присыпанным снегом. Я попробовал разбить лед каблуком, но поскользнулся и едва не угодил сам в воду. Я положил ларец на лед и вытащил наган из кармана.

— Вот так и стой!— приказал я Батес, выбрав еще раз ей место у края ледяной кромки.— Ты не сказала мне всей правды. Ну, а теперь ответишь ли ты мне, если я еще о чем-то тебя спрошу.

— Отвечу, если знаю,— тихо проговорила Батес.

— Ты должна знать, ты знаешь!

— Если знаю, значит скажу!

— Тогда скажи, что это за ларец?

Я поднял ларец и поднес к самым глазам Батес.

— Откуда мне знать?— отвечала она.

— Не узнаешь, значит? Не узнаешь синего ящичка, который хранился в сундуке в твоем доме? Синий ящичек...

— Да ну?— воскликнула Батес, еще не веря мне.

— Это тот самый ларец. Ты спала, когда я его достал из сундука.

— А как ты узнал, что он существует?

— Как узнал? Вчера ночью я подсмотрел в окно. Ты с Мусапыром как раз спорила из-за него.

— Это правда,— подтвердила она.

— Что же в этом ларце находится?

— Не знаю, Буркут.

— Ты лжешь!

— Клянусь богом, правда.

— Но если ты не знаешь, почему же спорила с Мусапыром?

— Он что-то прячет в этом ларце от меня.

— И ты говоришь мне правду?

— Чистую правду! Клянусь всем, что только для меня дорого!

Мгновенно в мозгу моем мелькнула мысль: «Боже, боже, какие ужасы скрыты в этом ларце!» Но Батес не дала мне долго раздумывать над этим.

— Ты зачем привел меня сюда?— спросила она в упор.

— Пристрелить тебя!..

— Так почему же не стреляешь?..

— Пока не поздно, надо подумать...

— О чем тут раздумывать?— Батес медленно и обреченно шагнула к краю проруби.— Стреляй! Я все равно мертвый человек.

— Нет, Батес, нет...— но мне не удалось закончить фразы. Батес бросилась в прорубь. И я не знал, поскользнулась ли она или сделала нарочно.

Я отбросил наган и рванулся вперед, чтобы помешать ей утонуть. Я успел схватить ее и вытащить из воды. Она захлебнулась, ее мучил кашель. Я кое-как сбросил с нее верхнюю одежду, разрывая то, что нельзя было расстегнуть, и, продрогшую, укутал в свое пальто. Она отталкивала меня, кричала:

— Пусти! Пусти! Я брошусь в воду! Не все ли равно, где будет мое поганое тело, а чистая душа должна покинуть его.

— Что ты сказала, Батес, что ты сказала? Чистая душа?

— Но теперь меня испоганили...

— Акбота, моя Акбота, что ты говоришь?

— Пусти меня, пусти, мой Бокен!

Для полной красоты ты убери
Всю грязь, что накопилась, изнутри.

Акмолда

Только темная ночь, жестокий буран и трескучий мороз знали, как я принес Батес домой. Ветер и снег словно заложили уши всей природе, всем вокруг. Никто не услышал, как мы проникли в дом. Корсак и Бодене спали крепким сном. Я не очень-то думал о спокойствии спящих, не старался ходить на цыпочках. Но все-таки вздрогнул, когда закашлялся, а Батес спряталась за полог. Я думал, что Корсак и Бодене проснулись, но они продолжали безмятежно спать. Ни звука не доносилось из их комнаты...

Да, трудным был наш обратный путь от сырдарьинской проруби в город.

Там, на реке, Батес, уже одетая в сухую одежду, спросила меня дрожащим голосом:

— А ты сам не замерзнешь?

— Я же мужчина, я не боюсь за себя... Пойдем.

— А куда, Буркут?

— В твой дом.

— Зачем же?— спросила она.

— Не спрашивай меня об этом,— сказал я.

И снова Батес безропотно шла впереди меня, как ягненок перед волком. Она знала, куда идет, а торопилась, должно быть, жалеючи меня: ведь на мне оставались только рубашка, брюки и сапоги.

Но я всегда гордился своей способностью хорошо переносить и жару и холод. Терпенье и выносливость впитались в меня. В жестокий зной другим казалась обузой и тонкая рубашка, а я мог ходить как ни в чем не бывало в плотном пиджаке и даже, ради упрямства, в пальто. Зимою же, не только в Кзыл-Орде, но и в метельные оренбургские морозы, когда другие кутались в тяжелые шубы, я, случалось, не раз ходил на учебу в одном костюме, с непокрытой головой. Я и теперь не боялся холода. Однако на пути к берегу Сырдарьи я был так разгневан и зол на Батес, что даже не обратил внимания — холодно было или тепло. Теперь, когда мы возвращались домой, я почувствовал, что мороз был довольно сильным. Но от быстрого шага и от сознания своей стойкости я испытывал то ощущение, которое хорошо знакомо

любителям купаться в ледяной реке, когда холод не заставляет дрожать, а обжигает, как жаркие солнечные лучи. И еще я вспоминал героев своих любимых книг и сравнивал свой поступок на берегу с их поступками, и думал о своей измученной душе и о чистой душе несчастной Батес. Она, продолжая быстро идти вперед, ни одного слова не вымолвила по дороге.

Она подошла к дому, откуда так недавно я повел ее к проруби, и молча остановилась. Всем своим видом она словно спрашивала меня: «Что же мне теперь делать?» Так же молча я вынул раму окна и подал ей знак заходить.

— А твоя одежда?— спросила она, помедлив.

— Зайду, потом возьму!..

— Ойбай, не надо,— голос ее был тихим, испуганным, она подняла обе руки и покачала головой.

— Не надо здесь разговаривать, заходи!— каждое мое слово ложилось тяжелым камнем на Батес.

Бедняжка, она влезла в проем окна, зияющего, как могила. Я посветил ей электрическим фонариком, а потом забрался в комнату сам и поставил на место оконную раму. Едва я снова зажег фонарь, как Батес махнула рукой — мол, не стоит, погоди. В темноте я слышал шорох — за пологом раздевалась Батес.

— Я готова!.. Возьми свою одежду,— вполголоса проговорила она.

Она мне подавала мои вещи.

— Ну, Батес, мне надо идти!— прошептал я.— И по нашему уговору ларец, в котором, быть может, скрыта разгадка всех наших бедствий, я возьму с собой.

— А ты вернешь его мне?

— Обязательно верну!

— Завтра?.. В саду бая Мамода?..

— Хорошо, встретимся там.

— Ты внутреннюю раму поставь на место, а о наружной я сам позабочусь... Вот и гвозди тебе оставляю, забьешь потом и тогда никто не догадается, что это окно открывалось...

— Ладно!..

Как сказали, так и сделали. Я пошел с железным ларцом под мышкой.

Долго я не мог заснуть в эту ночь. Я думал только о железном ларце. А что, если зажечь лампу или воспользоваться фонариком, вскрыть ларец и сразу разгадать

тайну. Не хотелось только беспокоить спящих детей, да и взрослых мог разбудить свет фонаря...

Разбудило меня резкое пронзительнее кукареканье. Уже начинался рассвет, и в комнате был серый утренний сумрак. Я неплохо разбирался в замках и, ничего не сломав, довольно быстро открыл крышку ящичка. В нем находились две толстые тетради с надписями «дневник», пачка связанных писем, фотоальбом и множество фотокарточек.

Зрение у меня острое, даже в сумерках я могу разбирать написанные и напечатанные мелкие буквы... Поэтому прежде всего я стал знакомиться с дневником. И сразу угадал по мелкому и красивому почерку руку Мусапыра. Первая общая тетрадь была заполнена описанием событий тысяча девятьсот двадцать пятого года, вторая велась в тысяча девятьсот двадцать шестом году...

С волнением я стал читать первый дневник. Вдруг на одной из страниц мне показалось, что из тетради выползают каракурты и скорпионы. Выползают и жалят меня. Я отбросил тетрадь. Долго ничего не мог понять. И снова стал вчитываться в ядовитые, так больно ранящие мое сердце страницы.

«1925. 15 июля. Я пришел в дом дяди Жакыпбека, который вчера прислал мне привет и приглашение. Дядя подробно объяснил мне свое отношение к Буркуту и Батес. «Во что бы то ни стало ты должен посеять между ними вражду и разлучить их,— говорил он.— Она поедет с Каракыз в сторону Троицка. Пока вы не выедете из аула, они, надо полагать, домой не возвратятся. Если Буркута охватит болезнь упрямства, находящаяся у него в крови, он, должно быть, помчится вслед за Батес, уехавшей погостить к родственникам. Чтобы он отказался от этой мысли, попробуй разжечь между ними вражду...»

Все низкие способы были пущены в ход, чтобы разлучить меня с Батес. Об этом подробно рассказано в двух тетрадях дневника. Кто только из жителей аулов не был против нас, кто только не принимал участия в этих злодейских делах: и отец Батес — Мамбет, и байбише Каракыз, и Коныр-хожа со своей женой Салихой, и Жуман с Бике, и мой отец Абуталип, и много других прислужников — аульных аткаминеров. Наши враги жили и в городе. К ним принадлежали и жена Жакыпбека Таслима, и Балкаш Жидебаев, и Корсак со своей Бодене, и Кузен

с Есектас. Даже наркомом юстиции Казахстана Кадырбай Азимбаев и Жунысбек Мауытбаев имели какое-то отношение к козням, затеянным против нас.

Почти два года подряд, судя по записям Мусапыра, продолжалась эта травля. Последняя запись была сделана вчера, в день отъезда Мусапыра на Урал. Вот она, эта запись: «Услышал страшную новость. Это случилось вечером, когда я пришел в дом дяди. На нем не было лица!.. «Что с вами?»— спросил я. «Плохие дела,— отвечал он.— Дело в том ,что вчера поездом в город приехал Буркут. Он остановился на окраине. Хотя, как меня известили, он ничего никому не говорил, но вид у него такой, будто душа у него горит. Значит, ему уже известно, что ты женился на Батес!»— «Что же мы теперь будем делать?»— спросил я, напуганный этой неожиданной новостью. «Не беспокойся!— отвечал дядя.— Я сам хотел тебя отыскать, хорошо, что ты пришел сам. Тебе надо уехать первым же отходящим поездом. Лучше всего это сделать нынешней ночью. Бери билет куда-нибудь подальше. Например, в Уральск. Если ты сразу не уедешь, он может убить тебя. А все остальное устроится. Я помогу». Я послушался дядиного совета. Билет уже в руках у меня. В двенадцать сорок я выезжаю. Буду в Орде, новом городе, Мангыстау. Разве меня отыщет там Буркут? А когда я вернусь, он примирится с тем, что Батес замужем».

В дневнике Мусапыра описана и история фотоальбома.

«1926. 1 мая. Я пришел к Буркуту в общежитие. Он собирался на демонстрацию. Я пошел с ним. После демонстрации Буркут сказал мне, что его приглашает в гости один товарищ. «Чудесно,— сказал я,— у меня есть фотоаппарат, я сделаю снимки». Буркут согласился со мной, и мы вместе отправились к Асану».

«1926. 25 мая. Все не было времени, только сегодня привел в порядок фото, снятые в Ташкенте. Погода была хорошей, снимки удались. И самое главное, получилось то, что я задумал. Впечатление такое, что этот праздник устроен не в честь сына Асана, а в честь свадьбы Вали с Буркутом. Она ведь любит его, как родного младшего брата, да и он к ней относится нежно, как к старшей сестре. Я их и снимал. Вначале я удачно воспользовался тем обстоятельством, что ребенка из больницы выносил Буркут. Еще раньше я фотографировал

Валю и Буркута и дома, и в саду, и на берегу озера...»

«1926. 26 мая. Я собрал все карточки, относящиеся к Буркуту и Вале, и увидел, что они являются ручательством любовной связи между ними! Вот смех!»

«1926. 27 мая. Показал только что сделанный альбом дяде и его жене. «Получилось отлично!— сказал дядя.— Если этот альбом попадет в руки девушки, она выйдет из себя. Она ведь из аула и очень гордая!.. Теперь альбом нужно послать в аул. Это надо сделать перед тем, как Буркут выедет на каникулы на родину! Почтой не годится. Вдруг пропадет где-нибудь в пути. Лучше поезжай сам, я на это время устрою тебе командировку редакции. Но альбома сам не передавай. Найди надежного человека». Я сказал дяде, что почтальон — мой друг. И дядя согласился, что так будет хорошо».

«1926. 17 июля. Почтальон оказался неисправимым лентяем. Он все еще не передал Батес альбома, который я ему оставил. В ауле говорят, что Буркут решил увезти Батес в город на учебу. И девушка уже дала согласие. Но ее родители и родители Буркута очень недовольны. Впрочем, они побаиваются волостной канцелярии и особенно председателя Еркина Ержанова. Завтра альбом будет вручен Батес».

«1926. 21 июля. До чего удачно все получилось. Дядя рассуждал правильно! Когда альбом попал в руки Батес, она просто вышла из себя. Разгневанная, она проклала Буркута, хотевшего взять ее из дома с помощью милиции. Я смеялся от всей души».

«1926. 19 августа. Поезд Кустанай — Москва. Из-за этого альбома пришлось ввести Батес в убыток. Альбом находился в ее чемодане. Я думал, что в Кзыл-Орде он легко может попасть на глаза Буркуту. И тогда я буду опозорен насмерть. Я колебался: может быть, выкрасть этот альбом из чемодана? Но Батес станет подозревать меня. Нужно найти другой выход. И тут я приметил очень подозрительного, похожего на вора человека, ехавшего с нами в одном вагоне. Я предложил ему помочь украсть чемодан с тем, чтобы альбом достался мне. Он согласился. Ночью он выпрыгнул из поезда с чемоданом, а альбом я спрятал у себя».

После того как я прочитал дневник Мусапыра и еще раз перелистал альбом, стало ясно, что он не врал в своих записях. А фото действительно выглядели так, что мы с Валей — муж и жена, и у нас есть ребенок. Не-

мудрено, что Батес поверила альбому, разгневалась, вышла из себя.

Теперь я понял, почему Батес запуталась в железных сетях старины и не смогла выбраться из них. Бедная моя, как правильно я сделал, что не лишил тебя жизни, что вытащил тебя из проруби...

ОТМЩЕНИЕ

Обычно преступление влечет за собой наказание того, кто его совершил. Этот непреложный закон существует, очевидно, с тех пор, как на земле появился человек.

Но главный преступник, бросивший в грязь нашу светлую любовь — это родовая байская старина! И справедливость требует сжечь эту старину, уничтожить! Однако для этого нет сил у меня. Да что там я? Даже Советская власть, самая молодая и самая сильная в истории человечества, пока не в состоянии победить цепкое прошлое до конца. Родовые обычаи в течение веков впитывались в сознание народа. Это ведь не занозу, которую можно одним рывком вытащить из тела. Много, много лет надо воспитывать людей, чтобы они избавились от власти позорных обычаев.

Хорошо зная главного преступника, я ясно себе представлял и конкретных виновников — аульных аксакалов, непримиримых седобородых старейшин. Это в их руках действовала палица, наносившая удары по мне и Батес. Палица приняла облик моего отца. И теперь я был готов разломать эту палицу на щепы и бросить их в костер. Но так сейчас сделать невозможно. В начале зимы в Ташкент приезжал Кайракбай. Он-то мне и рассказал, что мой отец и Мамбет бежали из нашей степи и находятся сейчас не то в Иране, не то в Афганистане.

Я с такою же силой был зол и на своего дядю. Кажется, я готов был загрызть его, разорвать на кусочки. Он был бы в моих руках, но и он, как я узнал, уехал. Уехал под предлогом сбора архивных исторических материалов и должен побывать в самых разных концах страны — в Москве, Ленинграде, Томске, Эмбе, Семипалатинске... Тут не только я, даже сыщик не найдет.

Мусапыра, как уже известно, тоже не было в городе. Никто не знает толком, где он разъезжает, когда приедет. Я мог бы вывести на чистую воду Корсака и Кузена. Но это слишком мелкие пташки!

Я решил посоветоваться с Нурбеком Касымовым, что же мне теперь делать. Пришел, возвратил ему револьвер, подробно рассказал обо всем случившемся со мною в течение этих суток. Он разволновался и зло ругал моих врагов. Потом спросил:

— Так что же ты надумал?

Ничего не тая, я поведал ему все известное мне.

— Надо убить!— угрюмо произнес Нурбек.— И не всех, а только Мусапыра. Твои враги — стрелы одного лука. Их направляла в тебя одна рука. И когда ты уничтожишь одного, считай, что отомстил всем. Только вот что, дорогой,— неожиданно предложил Нурбек,— поручи это дело мне. Я подожду приезда Мусапыра, подкараулю его где-нибудь в безлюдном месте и прикончу.

— А почему не мне самому это сделать?

— Так ты же в другом городе живешь. Пока тебе сообщат, да пока ты приедешь — и след его простынет. И еще я хочу тебе сказать, Буркут, что ты просто не сможешь его убить. Не думай, что так легко убивать человека... Иной и скотину не может зарезать...

Мы с Нурбеком еще долго препирались и наконец сошлись на том, что он будет поджидать Мусапыра и сразу же сообщит мне в Ташкент о его приезде. Я тогда примчусь в Кзыл-Орду и сам уничтожу своего врага. С этим я и уехал.

Любое ожидание выматывает силы. И я, готовясь к мести, считал день за днем и торопил время. Прошел месяц — Нурбек не дает о себе знать, второй месяц, третий — по от него ни слуха, ни духа. Что же случилось? Или Нурбек обманул меня, или Мусапыр до сих пор не вернулся. А может быть, с ним, с этим злодеем, что-нибудь произошло? Но как же мне об этом узнать! Легкомысленно было бы телеграфировать или звонить по телефону. И уж совсем напрасной представлялась мне поездка в Кзыл-Орду без твердой уверенности, что Мусапыр сейчас там.

В таком ожидании захватила меня и ранняя ташкентская весна. Появилась первая трава, первые листья. Дыханье весны согрело Сырдарью. Воды ее верховьев у слияния Нарына и Карадарьи вышли из берегов. Вот-вот должен был начаться ледоход в среднем и нижнем течении реки. А от Нурбека по-прежнему не было никакой весточки.

Теперь несмотря ни на что я собрался поехать в Кзыл-

Орду и зашел к директору нашего института Смагулу Садвакасову взять разрешение на поездку. Я ему сказал, что мне необходимо проведать тяжелобольного родственника. Но Садвакасов, словно мой давний друг, отлично знающий меня, по-своему истолковал мою просьбу и, заговорив о моих отношениях с Батес, спросил напрямик:

— Не потому ли ты и хочешь ехать в Кзыл-Орду?

— Нет, нет!— отказался я.

— Послушай меня внимательно. Заканчивается вторая половина учебного года. Дать сейчас тебе отпуск на несколько дней — значит, оказать тебе плохую услугу: вдруг ты не сможешь перейти на следующий курс? Ты, Буркут, джигит горячий, ты это уже доказал. А по глазам твоим вижу, что ты получил неизлечимую рану в сердце от любимой девушки. Твои глаза пылают. Они говорят, что ты всей душой стремишься отомстить своему врагу. Этого тебе не скрыть. В таком состоянии я тем более не могу тебя отпустить. Ты же можешь совершить преступление. И мне придется отвечать за тебя не только морально, но и по закону, уголовную буду нести ответственность. Ну, а если все эти длинные слова сказать коротко, так вот: разрешения тебе я не могу дать!

Говорить с директором дальше я посчитал бесполезным. Но ехать в Кзыл-Орду все равно было необходимо. Тут подвернулся и удобный случай. 22 марта по казахскому обычаю отмечалось начало нового года — Наурыз, как говорили верующие мусульмане,— «Великий день господний». Старые люди в аулах празднуют наурыз три дня. В последние годы наурыз стали отмечать и в городах. До меня дошел слух, что наш институт примет участие в праздновании. Сам Садвакасов, занимавшийся историей и этнографией, приготовился в канун наурыза прочитать о нем лекцию в институте. А потом, как говорили, наступит трехдневный праздничный отдых...

Все сложилось для меня как нельзя лучше. Вечером, после доклада Садвакасова, я присоединился к студентам, чьи родственники жили недалеко от Ташкента, и выехал в Кзыл-Орду.

Поезд пришел на рассвете, и я сразу же отправился на квартиру к Нурбеку. Чтобы не беспокоить в этот ранний час домашних, мы вышли на улицу.

— Ну, что же ты мне ничего не сообщил, Нурбек?

— Жалко мне стало Батес!— вот и все, что он мог мне сказать в свое оправдание.

— Нет, ты мне объясни подробнее!

— Она и без того несчастный человек, но будет еще несчастнее, если лишится и этого блудливого мужа. Что там ни говори, с Мусапыром ей все-таки легче.

— Ах, Нурбек, Нурбек! Ты, оказывается, сам помешал мне своими колебаниями. Зря ты стал сомневаться. Но ответь мне, где же сейчас Мусапыр?

— Говорят, он вчера уехал поездом в Казалинск.

— А вернется когда?

— Слышал я, через несколько дней уже будет дома.

— Значит, он после той нашей встречи много раз бывал здесь и подолгу жил в городе. Не так ли?

— Ты прав... Он в этот раз около месяца никуда не выезжал из Кзыл-Орды. И до этого неделями жил безвыездно.

— И ты мне не написал!..

— Я же тебе все объяснил, Буркут!

— Ах, Нурбек! У меня даже нет слов тебе для ответа!

Я не сказал Нурбеку, что решил остаться в городе и ждать приезда Мусапыра. Теперь, после его колебаний, мне больше нельзя было делиться с ним своими тайнами.

— Так что ты теперь думаешь делать?— спросил он.

Я вздохнул.

— Придется ехать обратно в Ташкент!

Нурбек принял мои слова за правду и обрадовался.

— Деды говорили так: «Пусть черная змея поит ядом черную землю!» Я, милый мой Буркут, поневоле убивал врагов в прошлую кровавую войну. А сейчас, в мирные дни, не хочу, чтобы проливалась кровь. Да, твои мстительные речи увлекли и меня. Я сам посоветовал убить Мусапыра, но потом кусал себе пальцы. Мне очень хотелось встретиться с тобой и все тебе объяснить, чтобы очиститься самому. Но вот ты приехал сам. Откажись от своих намерений, не проливай кровь. Пожалей бедную Батес.

— Ладно!— сказал я, притворно согласившись.

— Тогда пожмем друг другу руки?

— А зачем? Мы же обошлись без рукопожатия, когда договаривались убить. Обойдемся и теперь.

— Пусть будет по-твоему. Поверю тебе на слово.

Так мы попрощались и разошлись. Я подумал, что теперь мне еще труднее будет осуществить свою цель. Мне нельзя попадаться на глаза Нурбеку. Ведь он тогда начнет следить за мною и помешает мне отомстить! Значит,

нужно выехать за город. Я вспомнил, что на том берегу Сырдарьи живет дальний мой родич, бойкий торговый человек. Он знает все городские сплетни. Мышь пробежит в городе — и то он услышит. Конечно, ему известно все, что произошло между мной и Мусапыром.

Я достиг окраины города, перебираясь с бугра на бугор, спустился к реке, еще скованной льдом, и перешел на тот берег, к землянке своего родича.

Теперь, когда от меня отшатнулся Нурбек, я стал совсем одиноким. И поэтому при встрече с родичем мне сразу захотелось поделиться с ним своими мыслями, своими намерениями. Я так и сделал. И он во всем согласился со мной.

— Мне было стыдно за тебя, я сам был готов умереть. Снести такой позор нельзя,— заговорил он.— Ты должен убить своего врага! Сил у тебя хватит. Прячься пока у меня. Пусть даже соседи не знают. Скрывайся день, неделю, месяц, если надо. Будь здесь до тех пор, пока он не приедет. Как только он появится в Кзыл-Орде, я тебе немедленно сообщу. Ты застанешь его врасплох, сделаешь, что тебе надо, и скроешься. Оружие я тебе добуду.

И действительно, в этот же день мой родич вооружил меня. Это был старый громоздкий револьвер «Смит-Вессон», чем-то отдаленно напоминавший кетмень. Ствол пистолета был заржавлен, позеленели и гильзы. Я подумал, что вряд ли этот револьвер будет стрелять. Но с ним все-таки лучше, чем с пустыми руками...

Родич мой чуть свет уходил в город и возвращался в сумерки. Должно быть, и своих дел у него было много и мое поручение хотел выполнить. И однажды, когда наступившая и в Кзыл-Орде весна неожиданно сменилась непогодой и пошел снег, смешанный с дождем, он, взволнованный, распахнул двери землянки и сказал мне:

— Враг твой приехал и находится дома. Но в его доме ты ничего не сможешь сделать: какие-то гости собрались на квартире Корсака. Не знаю, что это за люди, однако идти туда тебе опасно.

Я еще узнал от своего родича, что новый дом Корсака, который он не успел покрыть крышей, пострадал от весенних дождей и сейчас, полуразрушенный, пустует. Корсак вынужден был перебраться на прежнюю квартиру и в этом же дворе устроил Мусапыра и Батес. Для ремонта своего нового дома он заготовил камыш, доски

и другие строительные материалы. Мимо этого склада Корсака, как сказал мне мой родич, ежедневно проходит Батес на занятия. И если Мусапыр дома, он обычно провожает ее, а порою приходит к концу занятий, чтобы возвращаться под руку со своей женой. Тоже нашелся рыцарь, подумал я.

Родич мой оказался на удивление наблюдательным человеком, к тому же вставшим горой на защиту моей чести. Узнав о возвращении Мусапыра, он стремился мне помочь с настойчивостью одержимого.

— Еще раз говорю,— упрашивал он меня,— доверь ты мне это дело. Я лучше тебя расправлюсь с ним. И можешь наплевать мне в лицо, если я не сдержу своего слова.

Но я на это не согласился.

— Ну, смотри! Пусть твой враг захлебнется кровью. Иначе ты будешь бабой, а не джигитом.

Я подумал, что мой родич далек от того, чтобы нарочно подогревать мои чувства, но тем не менее его слова волновали меня все больше и больше.

Мы решили вместе перед рассветом выйти в город. Я должен был спрятаться в камыш, сложенный конусом перед домом Корсака, а мой родич издали наблюдал бы за мной и в случае опасности пришел бы мне на помощь.

В эту ночь мы не могли сомкнуть глаз. Холодно и тревожно было в землянке на берегу Сырдарьи. Сильней и сильней гудел юго-восточный ветер.

— Да, быть сегодня бурану!— еще вечером обеспокоенно сказал родич. В полночь он снова вышел из землянки.— И ветер, и дождь, и снег бьют прямо в лицо. Боюсь, начнется ледоход, вода выйдет из берегов и мы будем отрезаны от города.

— Может быть, нам пойти сейчас?— в отчаянии сказал я.

— Да я не возражаю, только бы найти дорогу. Ведь вокруг темно, как в могиле. Земля раскисла. Ноги вязнут, словно в болоте. Давай-ка, я еще раз пойду на разведку. Слава богу, дождь кончился. Но ветер дует еще сильнее. Это хорошо: он подсушит грязь. Однако на Сырдарье может наделать много бед. Тронется лед, подымется вода, зальет все ямы с оврагами. Тогда нельзя будет и мечтать о том, чтобы перебраться на ту сторону.

— Значит, задерживаться нельзя. Решились, так идем.

— Пусть будет по-твоему,— согласился он,— но для смелости не раздавить ли нам поллитровку?

— Нет уж, выпейте лучше сами!

— Что ты отказываешься, чудак?

— Хватит с меня и той силы, которая есть сейчас во мне.

Родич мой насмешливо взглянул на меня, достал из-под кровати бутылку, выпил полный стакан и с хрустом откусил половину луковицы.

— Ну, а теперь можно идти,— и, уже выходя из землянки, добавил:— Смотри, не забудь пистолет!

— Он у меня за пазухой,— и я потрогал рукой оружие, надежно спрятанное под теплой удобной одеждой. А ветер и в самом деле ревел с яростной силой. Он бы меня мог свалить с ног, если бы я не ступал уверенно и крепко, чувствуя себя здоровым и молодым. В кромешной тьме трудно было различить, что находится прямо перед твоими глазами. Ноги хлюпали в жидком месиве грязи. Она была такой вязкой, что напоминала болотную тину, которую можно встретить в камышах. Такая тина может засосать с головой!

Несмотря на твердость своих шагов, я все-таки поскользнулся и упал.

— Ну как? Еще не отказался от своей мысли идти?— спросил меня подбодрившийся родич.

— Идем, идем!

— Только я лучше знаю дорогу и пойду впереди.

И я пошел за ним, храбро ступая в глубокую и вязкую грязь. Наш путь лежал к Сырдарье. Шум ветра заглушал все остальные звуки. И если бы кто-нибудь закричал, мы бы все равно не услышали. Да откуда и взяться было в такое время людским голосам... Ветер, ветер! Холодный и резкий, он словно стремился загнать обратно каждый твой выдох и душил тебя. Я, кажется, переоценил свои силы. Мне все труднее и труднее было идти против ветра по вязкой грязи. Мне иногда едва удавалось вытаскивать ноги из этой тины. И уже начинали болеть икры. А мой родич продолжал уверенно и быстро идти. Он был сильнее и опытнее меня.

Неожиданно раздался такой страшный грохот, что мне показалось, будто небо опрокинулось на землю.

Я вздрогнул и остановился, остановился и мой спутник. Грохот повторился снова.

— Быстрее, быстрее!— сказал родич.

Заныхавшись, я догнал его, спросил, что это все значит.

— Это пушки, Буркут.

— Пушки? Откуда же здесь могут быть пушки?

Он мне объяснил, выкрикивая слова сквозь неослабевающий ветер, что льдины с верховьев Сырдарьи собрались в излучине реки, уровень воды от этого поднялся и городу стало грозить наводнение. Поговаривали, что одной войсковой части поручили артиллерийскими снарядами разрушить скопление льда и открыть дорогу воде.

— Наверное, это они и стреляют. Как бы не тронулся лед. Тогда мы не попадем в город. Быстрее шагай, Буркут!

Я только однажды в жизни слышал, как стреляют пушки. Я находился тогда очень близко от них. Это было в Оренбурге, в день похорон Ленина. И хотя я знал, что никакой снаряд мне не угрожает, после мощного орудийного залпа я задрожал всем телом и не находил себе места. Но сейчас стрельба была куда страшнее! Снаряды, видимо, попадали в цель и, разрываясь, взламывали лед. Звуки оглушительной пальбы заволокли мне уши, и я не был в состоянии хоть что-нибудь вымолвить в ответ моему родичу. Но его слова о том, что мы можем не попасть в город, запали в мое сознание, и я торопился изо всех сил и уже не отставал от моего спутника.

— Да, с ледоходом рухнут наши планы,— продолжал он,— тогда на ту сторону мы сможем переправиться только на лодке, когда Дарья очистится ото льда.

— Может быть, еще быстрее пойдем?

Наконец, мы приблизились к берегу. И вдруг там, где по нашим предположениям должна была чернеть в эту непогожую ночь ледяная гладь реки, появилось что-то серое, похожее на кочующие облака.

— Ойбой, лед идет!— с безнадежностью воскликнул мой родич, подойдя к самому берегу.

Я стал рядом и увидел, как серые льдины покачиваются, ударяясь краями друг о друга, и медленно уплывают вниз по течению.

— Остались мы!— огорчился мой родич.

Я сделал шаг вперед и не заметил, как очутился на льдине, проплывающей вдоль берега.

— Ой, погибнешь, погибнешь!— закричал родич.— Прыгай сюда, иначе пропадешь.., Прыгай!..

Он с каждой секундой отдалялся от меня. Но разве я мог последовать его совету, если нас уже разделяла широкая полоса ледяной воды, чернеющая ночью, как деготь. Фигурка моего родича становилась все меньше и меньше, все дальше и дальше уходил от меня берег. Скоро я совсем потерял родича из виду.

Так я плыл на льдине по Сырдарье. Чувствуя опасность этого путешествия, я все же ощущал какую-то прелесть в его необычности. Я не знал, что будет со мною, но я отдавал себе отчет в том, что каждую минуту могу погибнуть. И все-таки мне было интересно плыть. А тут сама природа пожалела меня и дала мне возможность оглядеться вокруг. Начинался рассвет. Река с плывущими на ней льдинами обозначалась все яснее и яснее. Кое-где льдины шли густо, кое-где в отдалении друг от друга. Сквозь серый сумрак я приметил, что на некоторых льдинах плывут какие-то существа: то ли дикая коза, то ли овца, отбившаяся от отары, то ли, может быть, такой, как я, путешественник. И когда я почти поравнялся с одной из таких льдин, то отчетливо разглядел овцу с ягненком. Напуганная, голодная, она жалобно заблеяла: может быть, просила у меня пищи, может быть, искала спасения. А бедный замерзший ягненок жался к соскам матери, к ее теплу.

Занятно наблюдать ледоход. Словно нарочно пугая живых тварей, заброшенных судьбой на плавучий лед, словно пытаясь причинить им зло, льдины стремятся выплыть на стрежень реки, избегая приближаться к берегу. Они наскакивают друг на друга и снова расходятся, оставляя на воде обломки и ледяное крошево. Порою во время столкновения льдина ныряет под льдину. И я понимал, что мне надо вести себя осмотрительно и ловко. Каждую минуту и с моей льдиной может что-нибудь случиться. Меня могут подкосить ломающиеся льдины, и я могу оказаться под водой. Мне приходилось балансировать, прыгать с льдины на льдину, бороться за жизнь.

В какое-то мгновение моя сравнительно тонкая льдина натолкнулась на нагромождения вздыбившегося льда. И, отплыв в сторону, она сразу приблизилась к берегу и оказалась в спокойном заливчике. Я уже хотел попытаться сойти на землю, как до моих ушей опять донеслось жалобное блеяние овцы. Эта овца с ягненком была

значительно дальше меня от берега. Она съежилась, застыла от страха и не предпринимала никаких попыток спастись.

Сын казаха, сам еще недавно пасший скот, я пожалел и овечку и ягненка. Мне захотелось вытащить животных на берег. И я, перепрыгивая с одной льдины на другую, устремился к ним. Я уже был совсем близко, но вдруг овца испугалась и побежала от меня. За ней потрусил и ягненок. Они вот-вот могли очутиться в воде. Я зло выругался и, охваченный своим обычным болезненным упрямством, погнался за ними по скользкому блестящему льду. Я уже не мог остановиться. Поскользнувшись у кромки льдины, я растянулся плашмя, но успел схватить овцу за заднюю ногу. Я приподнялся и в это же самое время очутился на грани двух льдин. Быть бы мне под водой, однако моей неожиданной спасительницей оказалась овца. Я ведь крепко ухватился за нее и сумел удержаться на поверхности. К нам, не желая отставать от матери, подбежал и ягненок. Я его взял под мышку и, волоча за шею сопротивляющуюся овцу, попробовал добраться до берега. Но тут, сгрудившись, льдины снова пришли в движение. «Наверное, бог меня проклинает»,— вздрогнул я. Однако своего намерения не оставил и продолжал этот трудный путь вместе с животными. Еще рывок, еще усилие, и между мной и берегом оставалась довольно широкая полоса воды.

— Прыгай!— услышал я громкий голос и, устремившись взглядом в его сторону, увидел старого казаха. Он с удивлением и страхом смотрел на меня из прибрежных зарослей тугая.

— Прыгай!— снова взволнованно крикнул старик.— Здесь мелко, ты не утонешь. А если сейчас не спрыгнешь, уплывешь бог знает куда.

Не расставаясь с овцой и ягненком, я спрыгнул и по грудь погрузился в воду.

— Отпусти их, они и сами выплывут!— беспокоился за меня старик.— Выходи сюда скорее.

Я последовал его совету и отпустил овцу с ягненком; они поплыли, и я почти одновременно с ними выбрался наконец на берег.

Мои овечки безмятежно сушились на уже ослабевшем ветру и пощипывали мокрую маленькую траву.

— Сохрани тебя аллах!— радостно и сокрушенно по-

качал головой старик.— Лишь бы не простыл, не заболел... Быстрей раздевайся и выжми свою одежду. А вон там, в арбе, у меня большая шуба. Заворачивайся в нее, согрейся. Выжимай, выжимай... А уж как следует высушим у нас дома.

Я спросил старика, близко ли его дом.

— На краю города, возле водяной мельницы!

Я закутался в просторную овчинную шубу и чувствовал, как начинает проходить озноб после моего невольного купанья.

— А лошадь-то у вас найдется?

— Что же ты думаешь, я сам таскаю арбу? Конечно, есть! Уже запряжена. Скоро и поедем. Здесь я топливо заготавливал: тугай. Как увидел тебя на льдине — забеспокоился. Но ты, оказывается, настоящий джигит. И ловко же ты спас овцу с ягненком. Ты, наверное, вырос на пастбищах и любишь скот.

— Я же сын казаха, аксакал. Я жил в ауле и пас отары. Это все — родное для меня. А овцу с ягненком мне хочется подарить вам.

Старик не согласился принять этого моего подарка, убеждал меня, что я потратил слишком много сил для спасения животных, и хотя бы потому они теперь по праву принадлежат мне. А я, в свою очередь, говорил, что овцу принесло льдиной прямо к тем зарослям тугая, который он заготавливал на дрова.

— Ну, ладно. Давай этот разговор продолжим у меня дома.

Я сказал ему, что у меня есть дела в городе.

— Как же ты пойдешь в мокрой одежде.

— Очень тороплюсь, поэтому и вытерплю.

— А если бы тебя далеко унесла льдина!

— Не случилось же этого,— улыбнулся я в ответ.

— Ой, не будь дураком!— старик заговорил внушительно, серьезно,— и дед помрет, найдется время похоронить, и верблюд заболеет, найдут время его прирезать! Что ты спешишь, словно кровь рядом льется?

— Нет, дорогой аксакал!— мой голос тоже звучал твердо.— Пусть сейчас кровь не льется, но это может случиться очень скоро. Вот я и торопился, я хотел перейти реку ночью по льду, а меня, как видишь, понесло на льдине. И если уж остался жив, то пойду, куда задумал.

— Ты хоть переоденься у нас в доме. Найдем тебе одежонку.

Я согласился. Мы погрузили в арбу с дровами овец, сели рядом и поехали. Шуба хорошо согрела меня в это холодное весеннее утро. У себя в доме старик снова меня уговаривал отдохнуть, успокоиться, подкрепиться, но я стоял на своем.

— Ты и вправду очень торопишься. Не буду тебя задерживать. Хочешь, тебя отвезет мой сын-подросток? Он еще спит. Разбужу, и на этой лошади сразу доедешь.

Меня растрогала забота старика, но я решил идти пешком.

— По грязи тебе долго шлепать. А сыну все равно надо ехать. У нас есть дела в городе. Подожди, достану сейчас тебе одежонку.

— Хорошо бы казахскую, аульную,— попросил я старика.

— А у нас городской и нет.

И через несколько минут я стал похож на бедного аульного джигита. Хотя надо сказать, что одежда, которой снабдил меня старик, пришлась мне впору. И, главное, этот наряд очень годился для исполнения моих намерений.

— Ты, конечно, возьмешь с собой мокрую одежду и овец?— спросил меня старик.

— Я же подарил вам овец, аксакал. А одежда тоже пусть остается. Ее на днях я, может быть, возьму.

Старик многозначительно посмотрел на меня:

— От бога я возьму милость, от человека — нет. Я всю жизнь работаю на мельнице. Мне хватает моего заработка. Мне не нужно ни чужого скота, ни чужой одежды. Запомни, милок, когда бы ты ни пришел, все твое, что ты здесь оставил, будет целым.

Поблагодарив честного аксакала, я с его сыном-подростком тронулся в путь. Когда мы достигли окраины города, ветер утих, тучи разошлись и солнечные лучи сразу согрели и землю и воздух.

— Ну, мальчик,— сказал я своему возчику,— спасибо тебе, здесь я сойду.

— А может быть, вам дальше надо, давайте отвезу...

— Нет, отсюда мне совсем недалеко,— ответил я. Мне не хотелось показывать даже мальчику свою будущую засаду. Я спрыгнул с арбы.— Передавай привет отцу. И, кстати, скажи, чтобы не ждал меня.

Он ничего мне не ответил, и я пошел своей дорогой. Город был совсем пустынным в этот сравнительно ранний утренний час. Не обращая внимания на грязь, я старался идти как можно быстрее. Мне казалось, если кто-нибудь узнает, что я здесь — весть об этом немедленно распространится по всей Кзыл-Орде, и жители высыпят на улицу, чтобы только взглянуть на меня.

Наконец, я увидел дом Корсака с вынутыми оконными рамами и дверьми. Здесь тоже было безлюдно. Я забрался под камыш, сложенный для будущего ремонта, стебель к стеблю, и вдруг почувствовал себя как в шалаше: сюда не проникала ни одна капля дождевой воды.

Мне было очень хорошо видно все происходящее на улице сквозь щели, а меня надежно скрывал камыш.

Я бережно держал в своей руке пистолет, который незаметно для старика сунул за пазуху, когда переодевался в сухую одежду. Я с тревожным нетерпением ждал появления студентов. Я хотел увидеть их, торопящихся в институт, шутливых и смеющихся, увидеть, как по обычаю молодости, они идут, взявши друг друга под руки. Я решил пристально всматриваться в них, чтобы сразу отыскать Батес и Мусапыра. Особенно Мусапыра, которого я должен уложить метким выстрелом из револьвера!

...Уже проходили студенты мимо меня, но их все не было и не было...

Вдруг показалась Батес. Она шла в сопровождении незнакомых мне джигита и девушки. Она была такой же веселой, как остальные. И, взглянув на нее, я подумал, что она смирилась со своей новой жизнью и поверила зимой моему обещанию, что я больше не трону ни ее, ни Мусапыра.

Прошла Батес, прошла беспечная и веселая. Я решил теперь ждать до полудня, когда она будет возвращаться домой. Может быть, ее будет провожать Мусапыр, как говорил мой родич.

Пять-шесть часов, проведенных мною в камышовой засаде, показались мне пятью-шестью долгими годами. Терпение мое начало уже истощаться. А тут, словно издеваясь надо мной, на верхушку моего укрытия взлетел петух и принялся без устали кукарекать. Каждое его «кукареку» ударяло меня железом по темени. Я тихонько

возгласом «кыш» пытался прогнать его, но его нисколько не пугал мой шепот. Я пробовал слегка тряхнуть камыш, но петух продолжал горланить. Что за чудеса?.. Уж не один ли из моих врагов обратился в эту крикливую птицу. Я ударил его камышинкой, и только тогда он удалился. Но тут новая беда подстерегала меня. Как бы в насмешку надо мною стая собак рядом затеяла яростную драку. Впрочем, скоро и собаки умчались куда-то в другой переулок. Я даже начал скучать по ним и по крикливому петуху. А злость бередила мне душу и до краев наполняла сердце. Злость и ожидание переполняли меня... Что же мне теперь делать?

И неожиданно я услышал песню. Ее пели два голоса — мужской и женский. Я всмотрелся и увидел Батес с Мусапыром. Уж не бред ли это? Я протер глаза. Нет, не бред. Это они идут под руку. Их лица радостны, песня льется из уст.

На какое-то мгновенье во мне вспыхнуло желание не омрачать эту радость. Эта искра была яркой и быстрой, как падучая звезда в темной ночи. Промелькнула и исчезла. И снова пожар гнева и мести охватил меня, и я уже не мог избавиться от него. Я вспомнил слова Лермонтова, которым зачитывался в последние годы и считал своим пророком: «О самолюбие! Ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар!» Я повторил эти слова, как молитву, и почувствовал в себе новые силы.

С револьвером в руках я выскочил из камыша и появился перед Батес и Мусапыром. Они замерли в испуге. «Аллах!»— крикнула Батес, вырвалась из рук Мусапыра и попятилась назад. А он, ошеломленный, продолжал стоять на месте. Я страшно выругал его и нажал на спусковой курок пистолета. Осечка. Я снова начал взводить курок. Мусапыр воспользовался этим, побежал и нырнул в зияющий проем окошка дома Корсака. У меня потемнело в глазах, я ничего не видел, кроме своего врага, и бросился вслед за ним. Когда я впрыгнул в дом, то очутился лицом к лицу с Мусапыром. В руках он держал кетмень.

Я снова бешено отругал его, а он, почему-то не замахнулся кетменем, а смотрел на меня, страшно осклабившись, и мычал что-то бессмысленное, нечленораздельное.

— Е-е-е-е!

— Вот тебе — е-е-е-е!— воскликнул я и, схватив его вместе с кетменем, с размаху бросил вниз лицом на деревянный настил. Я взобрался на него верхом, а он даже не пошевельнулся.

Шапка Мусапыра отлетела куда-то в сторону, я изо всех своих сил ударил его пистолетом по голой макушке. Мне хотелось ударить еще раз, и я уже поднял пистолет, но тут его кровь горячим фонтаном брызнула мне в лицо и мне показалось, что вытекли мои глаза. Я прикрыл лицо ладонью...

...Не помню, что было после этого со мной. Когда я пришел в себя и осмотрелся, то увидел, что лежу в тесной каморке с наглухо закрытой дверью и узким, заделанным решеткой окном.

БАХЫТ — СЧАСТЬЕ

(Эпилог)

Суд рассмотрел мое преступление. Меня приговорили к десяти годам. Это наказание я отбывал в лагере, расположенном в дальневосточной тайге. Но пробыть там мне пришлось не десять лет, а всего семь.

Заключенные в лагере работали на лесозаготовках. Засучил и я рукава и, поплевав на ладони, усердно принялся за дело. Молодому и сильному джигиту любой труд, стоит ему захотеть, будет по плечу. Ежедневно я выполнял самое меньшее полторы нормы, обычно же две, а то и все три. Мне уже говорили, что если и дальше так пойдет, десятилетний срок мне сократят вдвое. К несчастью, не прошло и года, как на меня свалилась беда,— я заболел цингой. Поправляться мне пришлось долго. Почти год я никак не мог собраться с силами. По молодость взяла свое, и я опять принялся, не покладая рук, за дело. Так через семь лет после заключения я выехал в родные края.

В лагере я работал не только на заготовках леса. Я прошел двухлетние медицинские курсы и стал фельдшером. И, что удивительнее всего, часто очень удачно врачевал своих пациентов. Кроме того, я заведовал библиотекой. Лагерная библиотека была совсем маленькая. Насчитывалось всего несколько десятков книг. А ко времени моего освобождения она разрослась до трех тысяч. Малограмотным заключенным книги читались вслух. И одним из самых неутомимых чтецов был я сам. Я работал в клубе, помогал выпускать стенную газету, и в довершение стал киномехаником. Словом, не было в лагере такой культурной работы, в которой я не принимал бы участия.

И вот я еду в поезде полноправным гражданином с хорошей характеристикой. Через несколько дней я вы-

шел на Новосибирском вокзале и в справочном бюро узнал, что в одном из тупиков находится вагон «Караганда — Алма-Ата», который скоро будет прицеплен к новосибирскому составу. Я взял в кассе плацкарту в этот вагон и отправился его искать.

Вагон найти было не так трудно. Но тут моим вниманием до конца завладел человек, медленно прохаживающийся по перрону взад и вперед, и чем больше вглядывался я в него, тем тревожнее билось мое сердце. И вдруг я узнал его: это был Еркин Ержанов, друг моей юности, наш неутомимый волостной.

— Агай!— воскликнул я и порывистым движением крепко обнял его. Мог ли я в эти минуты удержаться от слез?..

— Боже мой, ты ли это?— В голосе Еркина слышался испуг. Прижимая меня к груди, он воскликнул:

— Из лагеря, Буркут?

Разжав объятия, он поцеловал меня в заплаканные глаза, окинул внимательным взглядом:

— Как ты возмужал, дорогой. Настоящий богатырь. Да и приоделся неплохо. Хорошо, Буркут, выглядишь...

— На душе у меня еще лучше!— И я протянул Еркину паспорт со своей лагерной характеристикой.

Он внимательно прочитал мои документы и долго тряс мою руку:

— Поздравляю, крепко поздравляю тебя, путь перед тобой теперь открыт.

— Спасибо, Еркин! Большое спасибо! Ты верь мне. Я уже не сын бая, чуждый труду. Прежде я бесился с жиру, метался, заблуждался, кончил тяжким преступлением. А теперь я простой труженик, советский человек. Настоящий советский человек. Ты верь мне, Еркин, верь. Школа труда была у меня не из легких, но я прошел ее. И после этой школы я всю остальную жизнь проживу честно. Можешь в этом не сомневаться.

Взглянув в глаза Еркину, я увидел, что он верит мне...

Сразу же за тупиком, где стоял вагон, начинался лесок. В раннюю осень, сухую и теплую, запах хвои, трав и коры, мягкий лесной запах успокаивает и умиротворяет. Еркин и я вдыхали его полной грудью.

— Так неожиданна наша встреча!— сказал я.— Вот смотрю я на тебя и вижу облик всего моего родного народа... Хочется говорить и говорить. Где нам лучше всего продолжать беседу — в вагоне или здесь, в лесочке?

— В вагоне слишком много чужих людей. Они будут стеснять нас. Ты иди, оставь там свой мешок, а потом до отхода поезда погуляем под соснами.

И мы ходили вдвоем, вдыхая хвойный аромат, как в далекой юности аромат степной полыни.

Еркин рассказывал о себе. Он был на советской работе в аулах до тридцать первого года, а потом его послали на трехгодичные курсы при Московской высшей партийной школе. Потом его взяли в аппарат ЦК партии Казахстана. Сейчас, оказывается, он возвращался из Кустаная после хлебоуборки. Еркин поделился со мной своими мечтами.

— Мы с тобой, Буркут, тургайские. Мне впервые довелось повидать кустанайский чернозем. Ну и жирная земля. Где еще можно увидеть такую плодородную почву? А мы, можно сказать, и сотой части как следует не используем. Буду говорить в ЦК. Должно же наступить время, когда это богатство не будет пропадать.

Еркин замолчал, я подумала о том, что многое изменилось в наших родных степях, а со временем изменится еще больше. Я вспомнил об одной странности своего характера,— о болезненном упрямстве. Я от него не избавился даже в лагере. После своего преступления я отрезал себя от Казахстана, будто все мои земляки были повинны в моих бедах. Находясь в лагере, я не писал в родные края, не подавал никому весточки, где я нахожусь. Я был настолько упрям, что не воспользовался лагерной библиотекой, чтобы выписать из Казахстана несколько газет и журналов. Понятно, о жизни нашей республики я знал очень немногое, случайно прочитывал то, что попадалось мне на глаза со страниц московских изданий, поэтому рассказы Еркина звучали для меня небывалой новизной. Все мне открывалось впервые. Дележ байских земель между трудящимися крестьянами в 1927 году, когда я был осужден, конфискация имущества крупных баев и феодалов, начало колхозного строительства.

Еркин нарисовал мне картину борьбы за создание колхозов и объяснил мне сущность перегибов, допущенных в то время, когда казахстанскую партийную организацию возглавлял Ф. Голощекин. В результате слишком крутых мер сельскому хозяйству республики, в особенности животноводству, был нанесен большой ущерб. Впервые я услышал от Еркина имя Мирзояна, исключи-

тельно деятельного, способного человека, быстро завоевавшего уважение казахстанцев.

— Знаешь, как быстро у нас растет экономика и культура? Ты, пожалуй, не узнаешь Казахстана...

Я все-таки решился задать Еркину вопрос и о своих родителях. Он очень удивился, что мне неизвестна их судьба. Да, конец моего отца был еще более горьким, чем я предполагал. Осенью тысяча девятьсот двадцать шестого года он собирался неподалеку от города Термеза перейти советско-афганскую границу. Его обнаружили пограничники, пытались задержать, но он пустился бежать, и тут его настигла пуля. Имущество родителей было конфисковано. Мать и другие родственники переселились на Урал. И, как слышал Еркин, живут сейчас в Тал-Кале...

Рассказал мне Еркин и о разгроме алашордынцев. Почти все они, если не считать единиц, находились еще в местах заключения.

Еркин, вероятно, не упомянул бы о Батес из боязни коснуться моей душевной раны, если бы я сам не спросил о ней. И я узнал, что она закончила Кзыл-Ординский институт, вышла замуж за своего однокурсника Акпака Адамбаева и учительствует в семилетней школе в одном из районов Акмолинской области.

— Во время весеннего сева нынешней весной я был в этом районе и заехал к Батес,— Еркин говорил, а сам внимательно смотрел на меня.— Живут они дружно, и муж очень уважает ее. Есть у них сынок, есть и дочка. Мать Жания и братишка Сеил вместе с ними. Каракыз умерла. Детей воспитывает бабушка. В доме полный достаток, и все так уютно, хорошо.

Еркин прервал свою речь, как бы задумавшись о чем-то. Потом дотронулся своей ладонью до моей руки.

— Не буду ничего утаивать, Буркут. Мы вспоминали и тебя. Она совсем не стесняется говорить при муже о своей молодости, о своих прежних чувствах к тебе. Кажется, это и не очень беспокоит Акпака. Но, знаешь, я понял, что в душе она продолжает любить тебя. Она мне сказала очень откровенно:

«Я чуть похожа на Татьяну, но нашего времени. Вот мой муж, моя семья, но как я желаю, чтобы он, горемычный, вернулся живым и здоровым». Акпак тогда полушутливо спросил: «Ты что же, при встрече обнимешь

его?» И она без всякого смущения серьезно ответила: «Да».

— Ну, а ты?— обратился Еркин уже ко мне.— Как теперь ты встретишь Батес?

— Во всяком случае я ничего не сделаю такого, что может взволновать или замутить ее спокойную жизнь.

...И этот день встречи настал для меня скорее, чем я мог предполагать.

Я остановился в Алма-Ате на квартире у Еркина в небольшом аккуратном домике, скрытом в тени фруктовых деревьев. Радостно встретившая меня женгей Баршагуль по-родственному ухаживала за мной. Спустя несколько дней она мне сообщила неожиданную новость:

— Батес вместе с мужем и сыном Бахытом отдыхает в горах близ Алма-Аты в доме отдыха для учителей.

Баршагуль сказала мне это за утренним чаем в саду. Вероятно, она уже обо всем посоветовалась с Еркином, потому что спросила меня:

— А что, если мы их пригласим на обед?

— Понятно, приглашайте!— отвечал я.

— А ты сдержишь свое слово, что дал мне там, в Новосибирске?— спросил Еркин.

— Я и прежде был верен своим словам,— я верен им и теперь.

Баршагуль взглянула на мужа:

— Тогда я, пожалуй, сразу после чая поеду к ним и приглашу.

— Я с вами вместе поеду, женгей.

— А удобно ли это будет?

— Очень удобно. Обещаю так повести себя, что Батес и ее мужу будет со мной легко и просто. Так будет лучше, а то они еще могут не прийти.

Еркин поддержал меня, и скоро мы отправились в горы. До учительского дома отдыха мы доехали на машине, а там пошли пешком. Когда мы взбирались по узкой тропинке, петлявшей между тяпьшанскими елями, на одном из крутых поворотов мы чуть ли не лицом к лицу столкнулись со счастливыми мужем и женой, которые вели за руки розовощекого здоровенького мальчугана. Беспечно смеющаяся Батес — это была она — сделала шаг назад. Кажется, она даже вскрикнула от испуга.

А муж — он знал меня хорошо по рассказам,— мягко и приветливо улыбнулся:

— Ты же говорила, что обнимешь его при встрече,

И, уже обращаясь к удивленному мальчугану, добавил:

— Что же ты не здороваешься с дядей?

— Значит, вас зовут Акпак?

И мы обменялись крепким рукопожатием.

— А этот будущий джигит и есть Бахыт, счастье?

Акпак кивнул головой.

— Тогда я хочу пожелать счастья и вам и Бахыту. И прошу разрешенья поцеловать сына.

Робкий на людях, мальчик сначала немного сопротивлялся. Как он был похож на Батес, полненький, пухленький, смуглокожий. Я поднял его, прижал к груди и нежно поцеловал.

— Живи долго, иди к высотам счастья, Бахыт.

Батес, не проронив ни слова, смотрела на всех нас и понемногу приходила в себя. Она зарделась и из ее карих глаз, засверкавших от радости, пролились крупные и чистые слезинки.

Конец

ОГЛАВЛЕНИЕ

От автора 3

Часть первая

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

Предисловие 6
Родная земля 7
О родительском доме 9
Тучи над аулом 17
Тревожные времена 23
Начало скитаний 31
Неожиданный гость 37
Как я ел змеиное мясо 46
Той в суматохе 50
Дорогами родных кочевий 66
Первая коммуна Тургая 75

Часть вторая

ЛЮБИМАЯ НЕВЕСТА

Нераскрывшийся бутон ландыша 84
Преданная любовь 96
Иду на риск 112
Мой спаситель 131
Обида 142
Самая красивая 154
Счастливая ночь 168
Неожиданное несчастье 186

Часть третья

БЛУЖДАНИЯ

Бет ашар 198
Еркежан 203
Зрелость 214
Клевета 229
Добрые мои наставники 248
Красная юрта 261
Волки в степи 286

Неудачи продолжаются 307
Меня снова грабят 326
Почему он молчит? 339
Я заблудилась 353

Часть четвертая

РАСПУТАННЫЕ УЗЛЫ

В разладе с отцом 370
Мама 389
Я рву навсегда с дядей 403
Нет, не напрасно пролит пот 411
На краю ледяной проруби 432
Разгаданные загадки 450
Отмщение 455
Бахыт — счастье (эпилог) 470

Сабит Муканов

СВЕТЛАЯ ЛЮБОВЬ

(перевод с казахского)

Редактор *Р. Токбергенов*
Художник *М. Искаков*
Художественный редактор *М. Алин*
Технический редактор *Б. Карибаева*
Корректор *Ш. Мукажанова*

ИБ 2131

Сдано в набор 21.10.82. Подписано в печать 04.02.83. Формат 84×108$^{1}/_{32}$. Бум. тип. № 1. Гарнитура обыкновенная новая. Высокая печать. Печ. л. 15,0+0,25 вкл. Усл. печ. л. 25,2+0,42 вкл. Уч.-изд. л. 27,4. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1331. Цена без супера 2 р. 20 к., цена с супером 2 р. 30 к.

Издательство «Жазушы» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Абая, 143.

Фабрика книги производственного объединения полиграфических предприятий «Кітап» Государственного комитета Казахской ССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, 480124, г. Алма-Ата, пр. Гагарина, 93.

Муканов Сабит.

М 90 Светлая любовь: Роман /Пер. с каз. А. Брагина.— Алма-Ата: Жазушы, 1983.— 480 с.

Роман известного казахского писателя Сабита Муканова «Светлая любовь» посвящен наиболее трудному этапу социалистического строительства в Казахстане. В центре повествования драма двух влюбленных — Буркута и Батес. Автор раскрыл внутренний мир своих героев через их дневники и правдиво отразил драматизм эпохи и процесс становления нового человека.

Через трудные испытания проходит Буркут — сын бая, и в конце концов становится настоящим гражданином нового общества.

Каз 2

М $\frac{4702230200-53}{402(05)83}$ 194—83

© Оформление, «Жазушы», 1983.

К сведению читателей!

В первом квартале 1983 года в издательстве «Жазушы» выходят следующие книги:

1. *Х. К. Андерсен.* **«Сказки»**
2. *М. Иманжанов.* **«Первые месяцы»**
3. *М. Сундетов.* **«Жду тебя, Дидар!»**